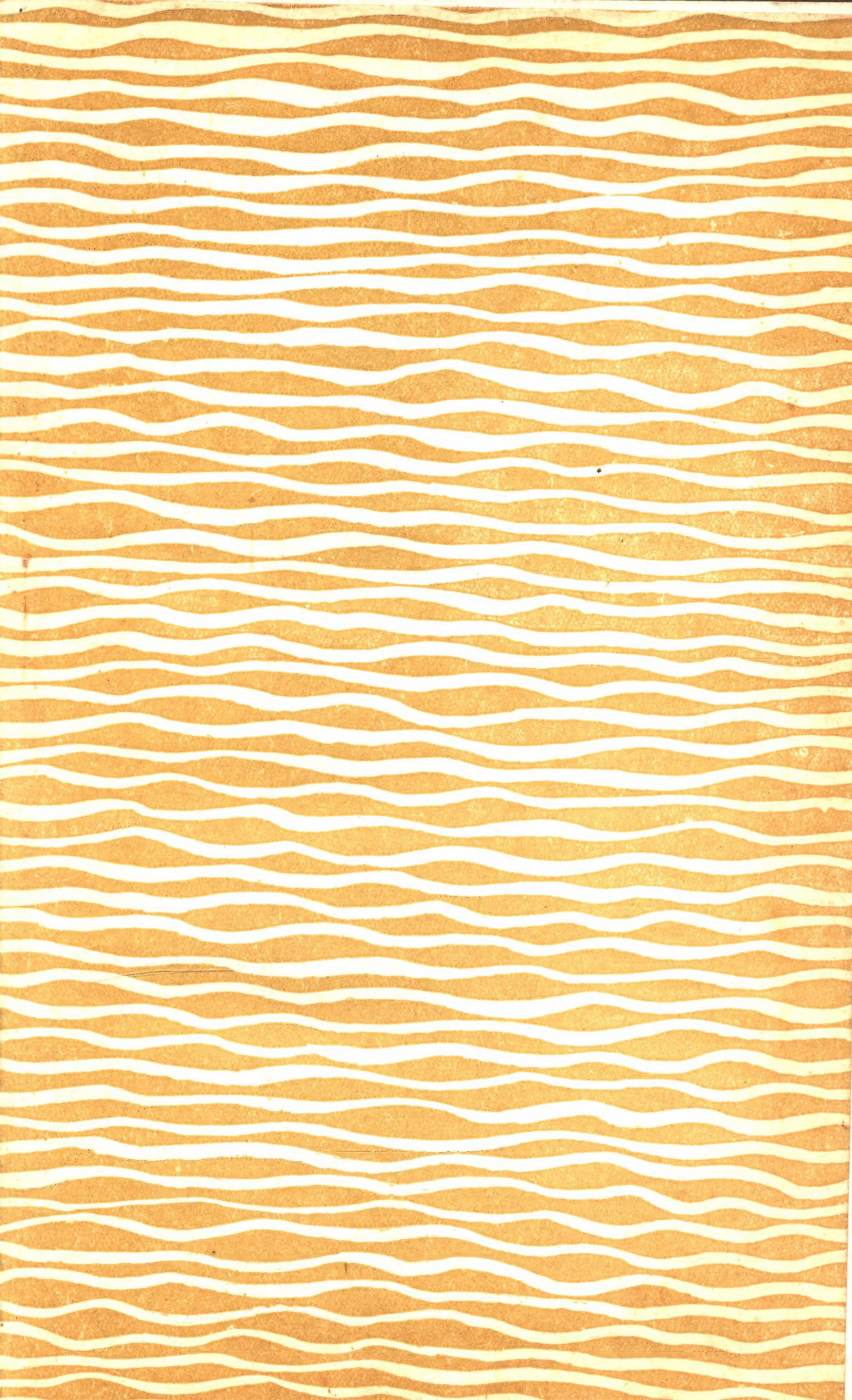
Олег Коряков





Очищение





На память
Нине Ильиничне
в день рождения.
22/VII 70 г.
от Я. К.

Средне-Уральское
Книжное Издательство
Свердловск, 1970



Олег Коряков

ОЧИЩЕНИЕ · РОМАН

РАССКАЗЫ

ХМУРЫЙ ВАНГУР · ПОВЕСТЬ



СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Вспоминается мне давняя беседа с П. П. Бажовым в его уютном кабинете, выходившем окном в маленький дворовый садик на улице Чапаева. Говорили мы тогда об альманахе «Уральский современник», о писательских текущих делах, о новых книгах.

— Вы Корякова знаете? Кто он такой? — спросил Павел Петрович. — Прочитал его повесть «Приключения Леньки и его друзей». Светлая книга... Не у каждого есть право писать о детях и для детей. Ему, думается, оно дано. Понимает и любит детвору. Писатель из него будет. Только скажите ему: зачем ребята для плота дерево валят? Не гоже это забавы ради. Мало ли в тайге сушняка. Лес надо беречь...

Когда думаешь о писателе Олеге Корякове, который отмечает свое пятидесятилетие, то припоминаешь прозорливые слова П. П. Бажова, сказанные в его адрес.

В своей первой «заявочной» книжке о похождениях Леньки, в последующих изданиях названной более романтично — «Тропой смелых», Олег Коряков весело и увлеченно рассказывал юным читателям, как герои его повести отправились в смелое путешествие по родному краю на поиски таинственной Джакарской пещеры. Первые самостоятельные шаги, первые серьезные испытания...

Книжка о Леньке и его добрых друзьях-товарищах, о богатствах уральской земли быстро завоевала ребячьи сердца. Герои ее стали примером подражания для ребят. Книгу Олега Корякова, получившую третью премию на Всесоюзном конкурсе произведений для детей и юношества, заметили в «Детгизе». С Урала она пошла к читателям всей страны. Позже ее узнали и юные читатели Болгарии, Польши, Румынии и других стран.

А писатель отправился в большое путешествие по жизни, ставя перед собой с каждой новой книгой все более усложненные задачи. Так начали появляться одна за другой его повести и сборники рассказов: «Остров без тайн», «Хмурый Вангур»,

«Лицом к огню» («Апрельские заморозки»), «Формула счастья», «Странный генерал» и другие.

Одна из важнейших обязанностей критики — посредничество между писателями и читателем. Оно заключается в том, чтобы помочь читателю глубже и полнее познакомиться с автором, подметить те стороны его творчества, главные тенденции, на которые он, читатель, мог не обратить внимания. Я на такую глубину и полноту разговора о всем творчестве Олега Корякова не претендую. Это задача критиков-профессионалов. Мне хочется здесь поделиться лишь своим личным отношением к творчеству писателя, отмечающего ныне важную дату в своей жизни, некоторыми размышлениями о его книгах. Я знаю его с того далекого времени, когда первой книгой он начал свой литературный путь.

...Конец сороковых и начало пятидесятых годов. Еще свежа боль от понесенных в войну утрат. По всей стране идет активное строительство и восстановление всего, что было разрушено и уничтожено немцами. Вчерашние солдаты стали строителями мирной жизни. Людей, донашивающих гимнастерки и кителя, с золотыми и красными ленточками ранений, орденскими колодками, мы видели на лесах новостроек, у станков, на полях колхозов, в учебных аудиториях, в лабораториях институтов. Недавние воины, солдаты, сержанты, офицеры теперь вступали в иные сражения.

Много молодых людей в шинелях появилось в те годы в редакциях свердловских газет. Среди них были и будущие писатели И. Акулов, В. Очеретин, поэты М. Найдич, М. Пилипенко, И. Тарабукин, Л. Шкавро. Был среди них и Олег Коряков. И за его плечами, как и у других молодых журналистов, была армейская служба.

Позднее, в одном из публичных выступлений, Олег Коряков, уже в ту пору признанный детский писатель, говорил:

«Всех нас не может не тревожить, что в наши дни, наряду с массовым проявлением истинно высоких помыслов и дел, в молодой, еще свеже-зеленой среде вырастают тунеядцы и хулиганы, осквернители идеалов народа... Но ведь и усатый хлыщ, этот репей на нашей ниве, прежде чем стать человеком, когда-то справедливо именовался цветком жизни. Значит, ответственность за него в какой-то мере — и немалой — лежит и на детской литературе.

Литература — воспитатель великий... Миллионам наших Ванюшек и Тань, Егоров и Наташ нужны высокие образцы для подражания, которые могли бы зажечь в их сердцах чистый пламень подвижничества, гражданственности, благородного слу-

жения людям, нужны книги, органично пропитанные советским, революционным духом, духом лучших традиций их отцов и матерей.

И важно, чтобы высокие понятия воплощались у молодого поколения не в слова, а в дела. Можно дать юнцу десять интересных книжек о десяти различных профессиях, но от них будет мало толку, если в этом юнце не разбудить и не воспитать главное — уважение к труду вообще».

Это позиция писателя. Высказанная здесь лобово, публицистически, она реализуется художником в книгах, в образах, в характерах героев его произведений.

В этом смысле программна повесть «Хмурый Вангур». Характер человека, в котором горит «чистый пламень», воплощен в образе геолога Бориса Пушкарева, внешне сухом и педантичном. Требовательный к себе, он так же сурово-требователен к людям.

Сюжет повести уральский: геологи уходят к далекой северной реке Вангур в трудный поиск ценной титановой руды. Автор, немало побродивший с геологами, людьми издавна распространенной уральской профессии, по самым глухим и малодоступным уголкам края, знает свой материал досконально. Но он счастливо избежал соблазнительной и легкой возможности, от которой не удерживаются иные молодые писатели, ошарашить читателя множеством экзотических историй из жизни людей этой увлекательной профессии.

Хемингуэй образно говорил, что у хорошего писателя, как у айсберга, девять десятых того, что он знает о своих героях, должно быть скрыто от читателя в подтексте. Олег Коряков не стремится выложить читателю все сведения о героях, и если не все девять десятых, то значительная доля ему известного растворяется в смысловой окраске произведения.

На малой площади повести «Хмурый Вангур» писатель сумел поведать о главном.

А это главное заключается в том, что характеры людей раскрываются зачастую не в словах и высоких фразах, а в поступках. В них — истинная ценность человека. Николай Плетнев, выдвинувший смелую гипотезу о возможном залегании ценных руд на Вангуре, сулящую в случае удачного подтверждения ее умножение наших богатств, поставленный в трудные условия, отказывается от своей же идеи, завершая отступничество предательством близких ему людей. Брошенное Плетневым пришлось завершать Борису Пушкареву. И он, едва не погибнув, удачно провел экспедицию, добился победы, хотя прежде и

сомневался, что на Вангуре могут быть руды. Нравственная сила этого человека заключалась в том, что он не гнался за успехом, славой, а выяснял Истину.

Рисуя этих двух героев-антиподов, писатель хотел оттенить разницу в характерах людей, стремящихся к подвигу ради славы и подвигу во имя Истины.

В первом случае, чаще всего, «герой» обнаруживает пустоту натуры, эгоцентризм, шкурничество; во втором — полное отрешение от эгоистических соображений, служение делу, каждодневное выполнение долга перед обществом, перед народом.

Каждая следующая книга писателя — это все более усложненный мир. Олег Коряков выдвигает все более глубокие нравственные проблемы, увлекает своего читателя серьезными размышлениями о времени, о своем назначении.

Особое место занимает в его творчестве романтическая книга «Формула счастья». Она интересна по форме: реальная основа соединена с фантастикой — люди двадцать первого века встречаются с теми, кто жил во второй половине двадцатого века.

О формуле счастья размышляет в своей дневниковой записи главная героиня повести — семнадцатилетняя школьница Инга Холмова:

«Я полезла в толковый словарь Ушакова. Вот что написано там. «Счастье, мн. нет, ср. Состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью. Успех, удача».

Я даже удивилась. Как мелко это звучит! «Довольство, благополучие...» Так и представляется мещанин, к тому же сытый, лоснящийся от съеденного поросенка и улыбающийся от «полноты жизни»: у него рижский гарнитур, десять ковров и в гараже своя автомашина.

Нет, счастье не такое!

А какое?

Хоть в словаре и написано, что «мн. нет», то есть множественного числа это слово не имеет, — сколько на свете разных понятий о счастье! Наверное, сколько людей, столько и понятий».

Не правда ли, ведь увлекательно заглянуть в будущее, пусть даже не очень далекое, к людям XXI века? Попытаться познакомиться с нашими потомками, их мыслями, планами, общественным устройством? Узнать, что могут думать люди следующего века о людях середины XX века, о нашей цивилизации?

Писатель говорит о том, что, может быть, когда наше настоящее станет для людей будущего историей, то окажется, что наши вроде бы повседневные поступки, заурядные тревоги полны глубокого значения, имеют важный смысл.

В двух планах времени — век XX и век XXI — и идет повествование о подростках в книге «Формула счастья». Писатель приглашает своего читателя помыслить исторически, посмотреть на себя с позиций будущего.

В повести очень схожи люди разных эпох, мыслящие социально близко. Можно было бы, конечно, предъявить автору жесткие претензии, что он несколько схематично представляет себе прогресс человечества, не раскрывает стадий, через которые пройдет общественное развитие, облегченно решает сложнейшие проблемы будущего, о котором сейчас немало спорят и пишут футурологи. Но не будем предъявлять автору счета за то, что он не сделал. Останемся благодарными ему за сделанное.

В книге есть свое большое обаяние, которое так привлекло к ней молодого читателя. Оно заключается в том, о чем я вскользь упомянул, говоря о том, **как,** по мысли писателя, отнесутся люди будущего к делам молодежи нашего времени и **как** оценят то важное и высокое, что явилось результатом их усилий.

Писатель подчеркивает, что все происходящее при нас предстанет перед нашими потомками в ясном свете, не замутненное ничем наносным, случайным.

Великое время, в которое мы живем, своими свершениями будет вызывать зависть людей следующих поколений.

Быть может, какая-нибудь девушка, как Рано в повести Олега Корякова, найдет однажды газету из «рыхлой, толстой, желтоватой бумаги» за 18 июня 1963 года и встретит на первой странице смеющиеся лица космонавтов Валентины Терешковой и Валерия Быковского.

«Лица этих космонавтов были знакомы Рано по книжным портретам. Но здесь они выглядели совсем по-иному. Черты лица были те же, а выглядели по-иному. На газетную полосу они вошли прямо из жизни, с фотографической пленки. Они улыбались, два молодых человека, слушая восторженный гул землян. Он и сейчас, через долгое столетие, вдруг почудился Рано в тихой светлой комнате архива. Она представила себя читательницей газеты тех дней и сразу ощутила, как сильно забилось сердце».

Она будет думать о жизни своих сверстников далекого прошлого:

«Они воздвигали могучие промышленные комплексы, лезли в глубины земли за рудой, воевали за каждую тонну металлического лома, делали машины, в заброшенных степях выращивали хлеб, а по вечерам упрямо листали книги или шли в кино, и радовались и смеялись, а кто-то печалился и негодовал, а где-то злой, падший человек наотмашь бил ножом другого в сердце...

Спазма сжала горло Рано. Милые, далекие мои предки! Как же нелегко и как гордо вы жили! Да, звериное прошлое еще корежило людей, еще поднимал человек на человека оружие, было трудно, а вы, упорные и целеустремленные, все же шли вперед, отшвыривая мерзости прошлого, расчищая дорогу будущему, нам...»

Дневники школьников Инги Холмовой и ее друга Дани Седых вроде ничем особенным не примечательны. Всякие школьные дела, будничные заботы, рассказ о том, как мальчишки затеяли клуб «Искатель», в который «тем, кто ищет пустых развлечений, безделья, танцулек, — дорога закрыта», первые любовные увлечения, горести и печали. Но автор поднимает читателя на такую высокую точку, с которой все эти события в жизни двух подростков становятся крайне важными. Мы видим, как формируются юные души, каким высоким смыслом полны их поступки.

Эта книга не может оставить равнодушным читателя.

С повести «Апрельские заморозки», вышедшей в Свердловске в 1961 году, в творчестве Олега Корякова начинается новая полоса. Его герой взрослеет.

В характере сталевара Егора Шагалова проглядывают черты Леньки из повести «Тропой смелых» и Дани Седых из «Формулы счастья». Шагалов — человек, который не принимает легких вариантов в жизни, сознательно выбирает дорогу покруче и посложнее, он противник компромиссов и сделок с совестью.

Писатель вводит нас в большой коллектив металлургов уральского завода. Люди огня, люди особой закалки. Огневая работа, обязательное чувство коллективизма у печи, где нужна особая спайка, по-своему формирует души. Мне лично жаль, что писатель первое боевое название повести «Лицом к огню» в последующих изданиях сменил на анемичное — «Апрельские заморозки». В первом четче и точнее выражался замысел повести.

Несмотря на повзросление героя, повесть по-прежнему адресуется к юношеству. Писатель приводит своих читателей в мир взрослых людей, в заводской коллектив, словно предупреждает, что это их завтрашний возможный трудовой путь. Автор словно

хочет сказать: «Смотрите же, с какими людьми вы сможете встретиться, смотрите внимательнее, как они живут и работают. Это скоро станет и вашею жизнью. Готовьтесь к ней!»

У нас не так много книг, из которых подростки могли бы узнать о жизни рабочих, проникнуться поэтикой рабочего труда.

Вот как Олег Коряков знакомит со сталеваром Егором Шагаловым в ответственный момент перед выпуском плавки:

«Внешне Егор был спокоен. Лишь быстрее обычного двигался, резче и повелительнее стали жесты и почти не поднимались на лоб прикрепленные к козырьку старенькой прожженной кепки синие защитные очки. Егор то подходил к смотровому глазку, вглядываясь в слепящую кипень металла и в свод печи, то устремлялся к пульту, то брался за лопату и в каждый момент оказывался там, где был всего нужнее. Время от времени, не от нужды, а так, по привычке, бросал подручным короткое, хлесткое: «Ходи бегом!» — бригада и без того «ходила бегом», несуетливо, но сноровисто справляя все, что полагалось».

Мир взрослых предстает в сложных противоречиях и борениях, в которых утверждается личность рабочего, как носителя всего передового. Егор Шагалов все свои поступки соизмеряет для себя с высокими задачами, так он воспитывает и свой небольшой коллектив.

Привлекателен в этой повести образ партийного руководителя мартеновского цеха Домны Илларионовны Поликановой, с ее трудной и славной судьбой. Она начала свой путь тридцать лет назад бойкой курносой девчушкой — рассыльной заводоуправления. В годы войны завоевала право работать горновой у домны. «И ее обласкали слава и почет. Но коварной была эта ласка. Совсем не женский труд горнового подорвал здоровье лихой девахи и навсегда лишил ее детей. Врачи запретили ей работу у домны». Поликанова — союзник Шагалова.

Автор показывает и противоборствующие силы. Их олицетворяет поверхностный, думающий не о сути всех дел, а о внешней показухе комсомольский руководитель Петр Соколкин, утративший связи с рабочей молодежью.

Писатель, создавая повесть, ставил для себя трудные задачи: приблизить, сделать понятной юношеству жизнь старших, сложные проблемы бытия.

Большим успехом пользуется у молодого читателя и роман «Странный генерал», в котором увлекательно рассказывается об уральцах Петре Ковалеве и Дмитрии Бороздине, участниках англо-бурской войны. Волею судеб рабочий старого, дореволюционного Урала оказался одним из любимых командиров повстан-

цев, отдавших много сил борьбе за освобождение угнетенных. Сам автор отмечает, что этот роман «первый в советской художественной литературе опыт повествования об англо-бурской войне, и фактическая точность в ее описании представлялась мне весьма важной». Эта книга — свидетельство широты интересов автора.

Еще свежа типографская краска на страницах последнего романа юбиляра — «Очищение». Он — о сложном и трудном времени в жизни советского общества, о борьбе советских ученых за истинную науку. В нем автор на стороне тех, кто не уступает в борьбе, не складывает ни на миг оружия, утверждая свою правоту. Роман этот входит в настоящий сборник.

Олег Коряков — писатель уральский в том смысле, что действительность нашего индустриального края является неиссякаемым живительным источником его творчества. И когда он подчеркивает уральское происхождение героев своих произведений, то это не условность, а выражение самой сущности.

Что такое уральский характер? Это наглядно показала война с немцами. Уральские, как и сибирские, дивизии были особенно стойкими на фронте, оказались особенно физически закаленными. Их героизм не раз создавал перелом в ходе сражений с фашистами на разных участках фронта. Суровая природа края, условия труда — горняков, металлургов, лесовиков, строителей, геологов, добытчиков золота, платины, драгоценных камней — воспитывали волевые качества. Черты уральского характера отражены в образах героев произведений Олега Корякова. Мне это хочется подчеркнуть.

Ему присуще активное отношение к действительности. В его книгах четок и наполнен пульс времени. Книги Олега Корякова актуальны, они всегда содержат попытки ответить на те вопросы, которые сейчас волнуют его читателя. В этом — причина широкой популярности писателя, постоянный интерес к его книгам.

Подводить итоги работы писателя преждевременно. Пятидесятилетие застает его за рабочим столом, за созданием новой книги. О чем она будет? Я знаю только, что о нашем времени, о наших днях, о нашем современнике. Мне, так же, как и его многочисленным читателям, интересно будет познакомиться с ней.

Пятидесятилетие — это возраст зрелости. Мне хочется пожелать своему сотоварищу по литературе Олегу Корякову идти путем, хорошо начатым двадцать лет назад.

Виктор Стариков.

Очищение

Роман

1.

Андрей Перевалов стоял у окна — невысокого роста, бравой спортивной выправки молодой мужчина. Густые брови его срослись на переносице, и это придавало в общем-то приятному лицу выражение жесткости. Такие люди редко улыбаются, зато улыбка особенно красит их.

Он стоял у окна, ему виделся город. В сумеречной синеве вдоль широкой просторной магистрали сияли огни. Их свет струился сквозь зелень деревьев. За деревьями поблескивали стеклом и пластмассой стройные легкие здания. Сверкая никелем и лаком, стремительно скользил бесшумный поток электромобилей. Луч прожектора врезался в небо, осторожно ощупал его, нежданно упал на улицу, высветив надпись над крышей длинного, припавшего к земле корпуса: «Купальный бассейн». Мгновение задержавшись на изваянии купальщицы, луч скользнул вправо, обжег белым огнем окна соседних домов, показал людям спускающийся пассажирский вертолет и помчался к тому концу магистрали, который упирался в большое искусственное озеро...

За окном грохотнуло: ветер налетел на полуоторванную водосточную трубу — и видение города сразу же растаяло, исчезло. Перед глазами был громадный заснеженный пустырь, изрытый экскаваторами. Андрей задернул занавеску, чертыхнулся. Тоже мне, состряпали дом! Только успели заселить — все отваливается...

Статья о городской архитектуре никак не получалась. Специально ушел из редакции пораньше, чтобы поработать дома,— и не получалось.

Несколько дней назад в горсовете обсуждали проект генерального плана застройки города. Пришли не-

сколько архитекторов, кое-кто из заведующих отделами горсовета, представители строительных организаций да два или три депутата. Обещал быть Федюнин, заведующий отделом пропаганды и агитации промышленного обкома партии, его долго ждали, и он-таки явился. Извинившись за опоздание, бегло осмотрел развешанные на стенах чертежи и эскизы, руками ощупал красивенькие миниатюрные макеты, сказал: «Что же вы, товарищи, тянете? Начинать надо» — и сел рядом с главным архитектором.

Обсуждение было длинным и скучным, ораторы повторялись, проект в общем хвалили, но чувствовались в речах какие-то недомолвки, скованность; так вода, пущенная по прорытому каналу, уже не смеет выплеснуться за пределы искусственного русла. Только один из депутатов, токарь с машиностроительного завода, красивый, с тонкими чертами лица парень, выступил против общего мнения. Он сказал, что в плане застройки маловато зеленых зон, а воздух трудягегороду во как нужен, и еще сказал, что надо бы все-таки подумать о пересмотре типовых проектов жилых зданий: экономия экономией, а клетушки-то к коммунизму все равно придется перестраивать.

— Я вот на себя сошлюсь. Получил новую квартиру и хотел купить рояль... А не улыбайтесь: жена моя, Маша, значит, из самодеятельности в консерваторию попала. Деньжат на подходящий инструмент мы наскребли, а вот втиснуть его в квартиру нет никакой возможности. Купили пианино, так чуть стены не пришлось ломать. И еще. Зачем это уж так на всякие украшения, например, на колонны, обрушиваться? Я, конечно, понимаю насчет излишеств... Но ведь излишества — нехорошо, а колонны, если к месту, это красиво, даже торжественно. Нельзя же все крушить огулом, шарахаться от красоты, как от чумы, если она... если ее... В общем, понятно?..

В зале одобрительно посмеивались и шушукались, но никто депутата не поддержал. Федюнин, взяв слово, говорил о расцвете советских городов, весьма одобрительно отозвался о проекте генерального плана, но сказал, что правильно его критиковали за недостаточную площадь зеленых зон, и тут же, добродушно высмеяв «некоторых прожектеров, желающих на дому

открыть музыкальные классы», закончил торжественно-суровым призывом поменьше хлюпать носом и побольше заботиться об удовлетворении нужд не отдельных граждан с большими претензиями, а массы трудящихся.

У Андрея от обсуждения остался горестный осадок. Тот парень, депутат, хотя его и не поддержали остальные, вызывал у Андрея сочувствие.

Верно ведь, опираться только на типовые проекты при застройке города вряд ли можно. Тут стоит еще поспорить. Может, именно на это надо сделать упор в статье?

И в то же время что-то мешало Андрею вступить в бой с уже принятым мнением. Ведь Федюнин, другие выступающие во многом были правы. Надо с кем-нибудь из толковых архитекторов проехать еще раз по городу, осмотреться повнимательнее... может, что и получится.

И тут же Андрей одернул себя: «Газета не будет ждать!»

Отойдя от окна, он сел за письменный стол, сердито ткнул окурок в пепельницу, смял и бросил в корзину лист черновика. Включил радио, снова закурил, придвинул чистую бумагу.

И зачем только привиделся ему город будущего? Впрочем, воображения-то хватило только на то, чтобы повторить избитые, уже использованные в писаниях фантастов черты грядущего градостроительства. Даже в мечте своей он оказался несамостоятельным. Андрей хмыкнул и, хмурясь, взялся за перо.

Позади негромко стукнуло что-то, Андрей резко обернулся.

У двери стоял Миша Нукин. Невысокого роста, худой, в коротких узких брючках, он походил на подростка, хотя учился уже на втором курсе педагогического института. Сейчас скуластое, бледное Мишино лицо было сероватого оттенка, губы поджаты так, словно человека очень и незаслуженно обидели.

— Что с тобой, Миша?

Нукин тихо швыркнул носом, пробормотал что-то и отвернулся. Андрей шагнул к радиоприемнику, выключил музыку и встревоженно повернулся к соседу.

— Я говорю, мама... умерла.

Ветер шаркнул в оконное стекло снегом, опять громыхнул трубой и, метнувшись вниз, на пустырь, завихрился по нему, подымая неспокойную, дергающуюся пелену. Миша поднял голову, и в его больших влажных глазах, прикрытых очками, Андрей увидел тоску и страх. Подошел к парню и положил руку на его костлявое, пронизанное дрожью плечо. Нужно было что-то сказать...

Андрей куснул губу, тихо позвал жену:

— Таня...

— Она там, у нас,— горлом проговорил Миша, прижался лбом к переплету рамы и заплакал.

Темно-рыжие сросшиеся брови Андрея дернулись. Он взялся за верньер приемника — глупо тренькнула балалайка; Андрей испуганно взглянул на Мишу и круто повернул верньер обратно — он жалобно щелкнул и сломался.

Агриппину Васильевну Нукину, усталую, но всегда бодрящуюся женщину, Андрей знал хорошо. Она работала с его женой в Институте биологии. А прошлой осенью они вместе вселились в этот новый, тогда еще сырой и холодный дом. Муж Агриппины Васильевны, бухгалтер небольшой торговой конторы, погиб на фронте. «По штату» погибать ему не полагалось: носил он узкие белые погоны и службу нес по своей мирной специальности при штабе одной из пехотных дивизий. Однако война не очень-то считается со штатным расписанием. Случилось, что штаб дивизии попал в окружение,— взяться за оружие пришлось всем. Накануне Дня Победы Агриппина Васильевна получила от фронтового товарища мужа поковерканные осколком мины карманные серебряные часы с надписью на крышке: «Комсомольцу И. И. Нукину за честный и самоотверженный труд. 1930 г.». Ему вручали их на строительстве Уралмашзавода.

Агриппина Васильевна осталась с двухлетним Мишей и трехмесячной Варей: за год до этого муж приезжал в отпуск. Не было у женщины ни образования, ни специальности. Перебивались с хлеба на воду. Поступила Агриппина Васильевна в Институт биологии уборщицей. Старательность ее заметили, через три года она стала лаборанткой. Шло время, ребята выросли. Когда Нукины получили квартиру в новом доме,

Агриппина Васильевна совсем расцвела душой. А теперь... надо же было такому случиться!..

Андрей подумал о том, как нелегко теперь придется ребятам, и посмотрел на узкие худые плечи ссутулившегося Миши.

Дверь с шумом распахнулась: с улицы ввалился деловитый медведистый Володька.

— Пап, за тобой машина. Дядя Вася сказал: «Быстрра!» — Володька явно форсил раскатистым «р».

Андрей сердито глянул на сына, будто тот был виноват в неурочном вызове. Но ничего не поделаешь, прислали машину — надо ехать. Газетчики — что солдаты: вызов в редакцию для них — боевая тревога.

Володька стоял у двери притихший, с раскрытым ртом: он слышал, как дядя Миша всхлипывал.

2.

Выбравшись с тряской, еще не замощенной улицы на асфальтовое шоссе, Вася прибавил ходу. Освещенные фарами снежинки летели из черно-синей тьмы прямо в смотровое стекло. Метрах в двух от него сверкающий каскад рассыпался в стороны. А из тьмы неслись новые и новые рои белых мохнатых мушек.

Тугими губами Андрей пожевал папиросу, нахлобучил шапку пониже, и откинулся на спинку сиденья.

— Чертовщина какая! — пробурчал он.

— Эта метель, почитай, последняя,— откликнулся Вася.— Больше снега, пожалуй, не будет.

— Я не о том...

Вася повернул к нему тяжелую голову, скосил внимательные глаза и промолчал.

В тридцатишестилетней своей жизни Андрей Перевалов перевидал смертей немало, но всякий раз они вызывали в нем боль и злили обидной и горькой нелепостью. Он не был сентиментален, и не любил отвлеченного философствования, ему просто было очень жаль людей. И сейчас, когда он думал об Агриппине Васильевне, все существо его замирало и ныло от жалости и тоскливого возмущения.

Агриппина Васильевна умирала долго и мучительно — от белокровия. Какие-то таинственные силы в глубинах организма нарушили привычный ход крове-

творения, исковеркали живые клетки, наполнили тело миллиардами лишних, ставших губительными белых кровяных телец. Радиация? Агриппина Васильевна работала в одной лаборатории с Таней...

Когда Андрей зашел в редакторский кабинет, Юрий Борисович Бурков читал полосу — свежую, только что оттиснутую в типографии газетную страницу. Андрей присел. Лишь дочитав до конца какую-то корреспонденцию, редактор поднял седую голову, снял очки и стал потирать припухлые покрасневшие веки. Глаза его сделались подслеповато-беспомощными и добрыми. Он мельком глянул на Андрея и сказал, будто удивляясь:

— Приехал?

По этому вопросу и по тону Андрей решил, что дело не очень уж срочное: видимо, редактор вызвал его, не поинтересовавшись вначале, в редакции ли Перевалов.

— Приехал,— ответил Андрей.

— Ну, я сейчас,— сказал редактор, повел плечами, словно ему мешали подтяжки,— у него была такая привычка — и снова уткнулся в полосу.

Кабинет был большой и мрачноватый. Старомодные громоздкие кресла, громадные книжные шкафы — все было выдержано в одном стиле, но дорогая обстановка эта странно сочеталась с небрежностью к ней.

На резной этажерке в беспорядке лежали старые комплекты газет. В шкафу, рядом с золочеными переплетами, были повтыканы потрепанные брошюрки и журналы. Такие же брошюрки и подшивки газет прикрывали сверху полированную гладь радиоприемника. Настольная лампа, возвышавшаяся среди бумажного хаоса, казалась вытащенной из свалки утиля, зато она была удобна для работы.

Странно выглядел и столик, помещенный у стены между двумя глубокими креслами. На нем стояли и лежали подшипники, миниатюрные модели гидравлического пресса и танка, куски минералов и еще многое из того, что отражало продукцию времен Великой Отечественной войны, хотя календарь показывал март 1963 года. Коллекция эта досталась редактору в наследство от его предшественника. Юрий Борисович

оставил ее в кабинете не потому, что ему хотелось ее оставить, а просто так — не дошли руки. Он даже и не замечал этого музейного набора, потому рядом с красивенькими моделями всегда можно было увидеть карандаши, строкомер, ножницы — вещи, может быть, не очень изящные, но в работе нужные.

Андрей стал смотреть, как редактор читает полосу. Тот читал, не выпуская ручки, и иногда делал в тексте исправления. Один раз зло отбросил ручку, длинными тонкими пальцами взял, не глядя, толстый красный карандаш и, подчеркнув им что-то, поставил три жирных вопросительных знака: видимо, обнаружил явную нелепость. Время от времени он вставал, молча подходил к книжному шкафу, быстро и уверенно находил необходимое, читал, уткнувшись близорукими глазами, хмыкал потихоньку и так же молча возвращался к полосе. Несколько раз звонил телефон, Юрий Борисович разговаривал неохотно и коротко.

Его худощавое лицо покрывали крупные морщины. Почти вся голова была белая, и только черные, начинающие по-старчески лохматиться брови говорили, что прежде Юрий Борисович был брюнетом. Читая, он часто потирал глаза, подергивал плечами и сутулился.

«Стареешь, мужик, стареешь»,— подумал Андрей и вспомнил, как десять лет назад впервые пришел в этот кабинет.

Тогда Юрий Борисович, задав обычные, анкетные вопросы, задумчиво погладил спускавшуюся на высокий лоб короткую челочку, не то покашлял, не то похмыкал и спросил:

— Ну-с... какая область хозяйства или культуры вам ближе? Что вы знаете лучше?

Естественный вопрос газетчику.

Что знал Андрей в свои двадцать шесть лет, в чем он разбирался глубоко? Да ни в чем.

Есть счастливые люди, которые с детства обретают будущую профессию. Какой-нибудь сопливый мальчонка возится целый день с железяками, сооружает из них что-то, и мать или соседка, кивнув в его сторону, скажут с ласковой усмешкой: «Машиностроитель будет!» Глядишь, через пяток лет он уже активист технического кружка в Доме пионеров, а еще лет

через десять в заветном ящике стола лежит диплом инженера.

Из школьных товарищей Андрея кое-кто начинал свой путь именно так или вроде этого. У него не получилось. Ни разу за школьные годы им не овладела прочно тяга к какому-либо одному предмету. Его интересовало все помаленьку. Занимался он и в техническом кружке — не понравилось, и в физическом, потом решил «переквалифицироваться» на археолога, увлекся птицами, затем историей... Так прыгал он с предмета на предмет, нигде не задерживаясь, ни во что толком не вникая.

Было, правда, у него сильное, но несколько расплывчатое увлечение. Он очень любил природу — лес, реки, озера, поля. Но это была скорее любовь к бродяжничеству, к узнаванию новых мест, к прелести ночного костра. За этой любовью не было прицела ни на геологию, ни на ботанику, ни на другие профессии. Ничто его не притягивало и в то же время все интересовало. Может, все это было только от юности.

Из этого состояния Андрея вывела смерть матери, главы семьи. Время было трудное, голодное: шел сорок третий год. Старшие братья были на фронте, по аттестатам приходили деньги, но что они стоили, эти почти призрачные военные рубли в сочетании с продуктовой карточкой простого учащегося!.. После девятого класса приятель помог устроиться учеником наборщика в типографию. Мастер, знакомясь с новым работником, долго рассматривал его и жевал бледные высохшие губы.

— Ничего, сойдешь,— заключил он в конце концов.— Тощий, конечно, и росточком мал, зато рыжий. Рыжие — они на работу отчаянные.

Школу Андрей не бросил, и весь год самым сильным, почти всепоглощающим желанием его было — спать. Он засыпал, притулившись у теплого отливного котла линотипа и сидя за наборной клавиатурой, в трамвае и за школьной партой. Содержание текстов, которые приходилось набирать, проходило где-то мимо сознания. Стрекот линотипов, легкое постукивание матриц, падающих из магазина машины на транспортер, словно бы гипнотизировали Андрея, и ворчливая брань старого мастера доносилась откуда-то из плот-

ного ватного облака. Школьные занятия он часто пропускал. Хорошо, что, жалея паренька, на это смотрели сквозь пальцы. Неправда, что жалость всегда унижает,— порой она просто помогает жить.

Десятый класс он закончил кое-как, а вскоре, гололобый и нескладный, потел, проклиная винтовку, противогаз и почти двадцатикилограммовый ствол батальонного миномета, на учебном полигоне воинской части. Германия уже рухнула, эшелоны теперь шли на восток, и поговаривали, что часть, в которой служил Андрей, отправят не то в Китай, не то на Японские острова, но никуда ее не отправили, и пришлось Андрею дослуживать свой срок на родном Урале.

Вернувшись в типографию, он почувствовал себя там как-то неловко: этакий бравый парень в гимнастерке, а вокруг писклявые девчушки-линотипистки. Хотел уехать куда-нибудь на стройку, а потом взял и, не долго раздумывая, пошел учиться на факультет журналистики. Все-таки нечто родственное.

Пять лет в университете его пичкали сведениями по литературе, языку, истории, политэкономии, философии и прочими необходимыми, но, в общем-то, не прямо полезными для практики премудростями. Однако об этом редактору, надо полагать, сказал диплом...

Бурков ждал ответа, уткнувшись в какие-то бумаги. Андрей шумно вздохнул и смущенно повел плечами.

— Трудно, Юрий Борисович, сказать, в чем я разбираюсь лучше. В линотипах. В стрельбе с закрытых позиций. В истории литературы. Так ведь все это газете не надо. Ни в чем я хорошенько не разбираюсь. Дилетант.

Редактор почиркал карандашом на чистом листке бумаги, усмехнулся.

— Дилетант... Это плохо. Газете нужны знающие люди.

Андрей молчал. Редактор поглядел куда-то в сторону, покашлял.

— Ладно. Месяца два посмотрим на вас, получится — останетесь.

Видимо, у Андрея получилось.

...Неслышно ступая по ковру, в кабинет вошел ответственный секретарь редакции Степан Васильевич Белкин, начинающий грузнеть, но еще подвижный,

быстрый. Склонив круглую бритую голову, он оглядел Андрея, перекинул языком из одного угла рта в другой изжеванную папиросу, подошел к редактору:

— Ты что Перевалова маринуешь?

Бурков сначала дочитал абзац до конца, потом, не поднимая головы, ответил:

— Ты мне своих вредных привычек не приписывай.

Они частенько пикировались, но все в редакции знали, что это — по-дружески.

Редактор дочитал полосу, расписался на ней и протянул Белкину:

— На, отправляй вниз.

Вниз — это в типографию.

— До чего избаловался! Уже и рассыльную сам не может вызвать.— Белкин покрутил головой и нажал кнопку за спиной редактора.

Послышалось шарканье валенок, в кабинет вошла старенькая Петровна. Ни на кого не глядя, взяла полосу и поплелась к выходу. В этот момент в дверь проскользнул Кислицын, заместитель редактора, человек уже в годах, сухощавый, с тонким красивым носом и черной повязкой на левом глазу. Он молча опустился в кресло.

— Зачем пожаловали? — без особого любопытства поинтересовался редактор, роясь в разложенных на столе бумагах: вопрос относился и к заму, и к секретарю.

— Следующий бы номер прикинуть,— сказал Кислицын.

— Это пусть Белкин прикидывает. А раз пришли, давайте Переваловым займемся. Собственно, не им — его хозяйством. Какая-то петрушка в Институте биологии намечается. А Перевалов там, наверное, не бывал вовсе, хотя и числится у нас заведующим отделом культуры. Наука-то — его ведомство...

У Юрия Борисовича была необычная манера говорить. Начало фразы он произносил негромко и напевно, а конец — скороговоркой и громко. Его речь словно бежала по волнам: вверх — вниз, вверх — вниз. Андрей слушал редактора внимательно.

Институт биологии, входящий в систему Академии наук, был недавно расширен. В него влилась лаборатория биофизики. Видимо, и раньше в коллективе института велись споры, назревали какие-то противо-

речия — с появлением новой лаборатории все это обострилось. В обкоме партии Буркову передали три письма из института. Судя по ним, борьба двух групп — директора института Рогожина и заведующего лабораторией биофизики Петрова — накалилась. Два письма были анонимными, третье подписал аспирант Гладилов.

— Гладилов? — Кислицын вскинул голову, единственным своим глазом обвел товарищей.— Он, по-моему, печатался у нас.

— По отделу пропаганды,— уточнил Белкин.— Статья об учении Дарвина.

— О Гладилове хорошо говорит в обкоме Федюнин,— вставил редактор.— Но это... Самим нам нужно разобраться.

— Так пусть Перевалов и разбирается,— проворчал Белкин.— Зачем по этому поводу совещания проводить?

— А я вас на совещание не приглашал,— усмехнулся Бурков,— я только Перевалова вызывал, вы сами напросились.

Глядя поверх головы редактора, Кислицын сказал:

— Это, может, даже и правильно, что напросились. Как говорится, одна голова хорошо... Не будем забывать, что жена Перевалова работает как раз в этом институте.

Он замолчал. Белкин насмешливо прищурился:

— Ну и что?

— Ну и все. По-моему, ясно.

— А по-моему, ничего не ясно. Если жена — значит, Перевалов не сунься в институт? — Белкин не любил Кислицына; разговаривая, он начал оттопыривать нижнюю губу, бритое темя покраснело, он злился.

Андрей хмуро смотрел в окно. Из тьмы летели торопливые снежинки и бестолково, вразнобой плясали перед стеклом. «Как там у Нукиных?... Кислицын прав, неудобно... А почему? Что уж, такая важная персона в институте моя Таня? Или оттого, что она моя жена, я покривлю душой? Мне не поверят? Чушь!.. Но все же неудобно, не принято это, семейственность...»

— Не страшно,— сказал редактор.— Или Перевалов не коммунист?.. Пусть разберется, решим, как поступить.

— Ну, смотрите сами,— развел руками Кислицын.

— Держите кляузы,— Бурков протянул Андрею письма,— и не откладывайте. Да. Где статья о городской архитектуре?.. Ну вот, так я и знал. Почему читатель должен страдать от того, что у Перевалова, видите ли, не получается? Чтобы завтра статья была у меня на столе. Ясно?

— Ясно. Но если завтра — будет не статья, а отчет с совещания в горсовете.

— Пусть отчет, лишь бы дельный.

Это было не очень интересно — писать обычный отчет, но Андрей даже обрадовался, будто свалил с плеч неприятный груз: не надо мучаться над статьей, копаться в материалах, с кем-то спорить и что-то доказывать.

— Отчет будет,— сказал он, упирая на первое слово.

— Ну и добро. А теперь садитесь сюда.— Редактор подошел к шахматному столику и начал расставлять фигуры.— Освежимся.

— Я не буду, Юрий Борисович.

— Вот те на! Кому же я мат поставлю?

Белкин поднялся:

— Давай я тебе...

— Пробуй.

Андрей вышел из кабинета. Он прошел в свою комнату, рассеянно оглядел пустые столы товарищей, закурил. Через открытую дверь соседней комнаты слышалось шуршание бумаги и вдохновенное посапывание: заведующий сельскохозяйственным отделом Ефим Семенович Косарик трудился над передовой статьей. Услышав шум отодвигаемого стула, он вышел из своей комнаты, обеими руками взъерошил и без того лохматые волосы, спросил:

— Это вы, Перевалов? У редактора были? А я передовую пишу. Как будто что-то получается... Вы читали в последнем номере «Коммуниста»?.. Позвольте, вы почему так долго в редакции сидите? Ах да, редактор... Ну, счастливо, пойду куплю папирос.

Быстрыми мелкими шажками он двинулся из комнаты.

Хороший старик. Но от тридцатилетней газетной круговерти нервы измочалились, видимо, окончатель-

но. Речь неровная, мысли скачут. Ефим Семенович уже не доверял своей памяти и, приходя к редактору, брал со стола листок бумаги и тщательно записывал все поручения и указания. Уходя, он забывал листок на столе.

Андрей невесело улыбнулся вслед Косарику.

3.

Редактор был прав: в Институте биологии Андрей до сих пор не бывал ни разу и знаком был лишь с очень немногими сотрудниками, товарищами жены. Однако откладывать визит не стал и на следующий же день с утра направился к профессору Рогожину.

Главным в приемной директора института был большой и мягкий ковер темновато-сумрачных тонов. Он устилал всю комнату, обставленную просто и строго. За небольшим столиком сидела секретарша, уже в годах, сухонькая, с интеллигентным лицом и желтыми волосами. Она встретила Перевалова внимательным холодно-предупредительным взглядом. Андрей сказал, что ему нужен товарищ Рогожин.

— Леонид Александрович занят,— ответила секретарша глубоким грудным голосом и поинтересовалась, откуда и с какой целью прибыл посетитель.

Андрей ответил. Женщина с едва заметным снисхождением попросила товарища Перевалова присесть, выждала с минуту, перекладывая какие-то бумажки на столе, затем сказала: «Сейчас я спрошу» и ушла за дверь, обитую кожей. Вернувшись, она уселась за стол и только после этого сообщила:

— Леонид Александрович просит извинить его, минут через десять он освободится и примет вас.— При этих словах она с некоторой долей благосклонности чуть кивнула головой и даже улыбнулась.

Вообще в этой секретарше все было *чуть и даже*. Она была чуть старомодна и даже изысканна, чуть мила и даже красива, чуть холодна и даже презрительна.

Андрей по привычке, которая выработалась у него в газете, стал от нечего делать наблюдать исподтишка за женщиной и размышлять, какова она. Наверное,

вдова какого-нибудь интеллигента, живущая сейчас бедновато и тщательно это скрывающая. Дома картошку она чистит, надевая резиновые перчатки, чтобы не попортить маникюр. Она встает очень рано, чтобы у старого потускневшего зеркала подмолодить лицо и «организовать» эту чуть небрежную прическу. Знакомым — у нее есть две-три «добропорядочные» знакомые семьи — она говорит: «Вчера мы с Леонидом Александровичем ужасно много работали». В гостях она пьет только виноградное и «только рюмочку», а дома — пиво с молоком...

Андрей вдруг покраснел, устыдившись собственной беспричинной злости.

— Здравствуйте,— негромко прозвучало у дверей, и в комнату вошла молодая женщина в белоснежном халате.

Пышные вьющиеся волосы мягко качнулись над ее чистым высоким лбом. С мимолетным, почти нечаянным поворотом головы она глянула на Андрея. Положив перед секретаршей лист бумаги, сказала:

— Агния Львовна, Василий Николаевич, уезжая, просил это подписать.

Какой-то короткий и неуловимый, без слов и жестов, только взглядами, возник и тут же прекратился между женщинами разговор.

— Хорошо,— сказала Агния Львовна,— оставьте, я передам Леониду Александровичу.

— Пожалуйста,— чуть наклонила голову женщина и пошла к выходу.

Андрей ждал, что она снова, хоть мельком, глянет на него, сердце его забилось, но она вышла, так и не подняв головы. Сердце все билось.

Андрею сделалось неловко перед секретаршей, и, стараясь говорить спокойно и вежливо, он обратился к ней:

— Агния Львовна, не стоит напомнить обо мне Леониду Александровичу?

Та чуть улыбнулась:

— Попробую.

Но тут зазвонил телефон, Агния Львовна сняла трубку и, узнав, с кем говорит, тотчас соединила с Рогожиным. Через полминуты прозвучал требовательный звонок из директорского кабинета. Агния Львов-

на устремилась туда, а вернувшись, снова взялась за телефон: директору срочно понадобилась машина.

Завидя эту суету, Андрей поднялся: так он мог остаться ни при чем. Он решительно направился к двери кабинета, но в этот момент она открылась, на пороге стоял сам Леонид Александрович Рогожин. Это был невысокого роста, с уже серебрящимися висками и почти совсем белыми усами мужчина весьма импозантного вида.

— Товарищ Перевалов? — шагнул Рогожин вперед, протягивая руку.— Простите меня великодушно, я вас подвел. И самому хотелось потолковать с вами, но сегодня, видно, не судьба. Вызывают.— Он многозначительно ткнул пальцем в воздух над головой.

— Жаль,— нахмурился Андрей.

— Очень жаль, очень жаль! — Рогожин тоже прихмурился.— Договоримся так: в любое время, все дела отложу, я ваш должник. Конечно, лучше, если вы предварительно позвоните. Или я вам. Вы оставьте у Агнии Львовны свой телефон. А сейчас — еще раз прошу извинить — я исчезну. Всего вам доброго... Да, может быть, побеседуете с Петром Анатольевичем? — Он наклонил голову в сторону молодого человека, который вышел вслед за директором из кабинета.— Рекомендую: Гладилов, без пяти минут кандидат биологических наук. Знакомьтесь. До свидания.— Директор поклонился и не спеша, но быстро вышел из приемной.

— Что ж, будем знакомиться? — сказал молодой человек.

Что-то подкупающее было в нем. Простое, несколько удлиненное, но красивое лицо. Строгие изящные очки в легкой позолоченной оправе. Ранние залысины. Голос негромкий и мягкий. Сильная рука.

— Пойдемте побродим по коридору, покурим. Вы курите?.. Мы, Агния Львовна, к вам еще заглянем.— Гладилов вывел Андрея в коридор, пустой и темноватый.— Я на этих днях как раз собирался к вам в редакцию. Мне поручено написать статью. Просили в обкоме партии.— Он взглянул на Андрея, словно бы извиняясь: дескать, через вашу голову, но что тут поделаешь.— Правда, подписать статью должен Леонид Александрович.

— Почему же он ее не напишет сам?

— Ну, он, конечно, примет непосредственное участие. Я, так сказать, чернорабочий. А подписывать — что же, ведь я только аспирант. Для газеты гораздо ценнее подпись профессора Рогожина. Как раз о статье мы и говорили с ним перед вашим появлением. Вас что-то смущает?

Андрей прислушался к себе. Да, что-то ему в этом не нравилось. Видимо, просто потому, что он вообще не любил, когда кто-то пишет за кого-то. И что-то не нравилось Андрею теперь уже в самом Гладилове. Может быть, его манера говорить — тихо и очень ровно, без остановок, как по-писаному. Однако Андрей сказал:

— Почему же смущает? Нет.

— Я так и думал.

Они стояли у окна над засыпанным снегом приинститутским сквером. День был хмурый. Вчерашний снег почернел, и сквер казался нахохленным и мрачным. Сначала Андрей решил, что Гладилов высматривает что-то там, потом он понял: у нового его знакомого такая привычка — говоря, смотреть куда-то в сторону. Так, видимо, ему легче было думать и подбирать нужные слова.

Гладилов рассказывал о содержании предполагаемой статьи. Оно совпадало с его письмом в обком. В институте создается нездоровая обстановка. Дело не во взаимоотношениях сотрудников, а во взаимоотношениях идей. Профессор Петров, заведующий лабораторией биофизики, пропагандируя идеи формальной генетики, пытается протаскивать и насаждать буржуазные идеалистические представления в противовес материалистической науке. Однако в целом коллектив института, взращенный на добрых мичуринских традициях, здоров, и надо надеяться, что идеалистическая чушь будет вытравлена. В статье не обязательно обилие фактов и боже упаси от ярлыков отдельным лицам. Теперь не те времена. Статья в большей мере должна носить теоретический характер.

Андрей помнил широко распубликованные в 1948 году материалы сессии ВАСХНИЛ — Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина,— которая нанесла, как писали тогда, сокрушающий удар по вейсманизму-морганизму. Теперь, по словам Глади-

лова, отдельные представители этой лженауки вновь подняли голову; видимо, надеются на послабление. Они не понимают, однако, что в борьбе с буржуазной идеологией мы по-прежнему непримиримы...

Андрей припоминал газетный отчет о только что состоявшейся сессии Академии сельскохозяйственных наук. Там ничего не было о морганистах, но много говорилось о плодотворной работе биологов-мичуринцев. Докладчик сказал, что они занимают ведущее место в мире в области генетики и селекции, хвалил работы академика Лысенко и потребовал более серьезного внимания к разработке вопросов теоретической биологии мичуринского направления...

С Гладиловым договорились встретиться, когда статья будет готова, и обменялись телефонами. Прощаясь, Андрей спросил, как ему найти этого воинствующего формального генетика Петрова.

— Трудно,— улыбнулся Гладилов.— Василий Николаевич в отъезде, оборудует полевую биофизическую станцию. Упрямый и хлопотливый старик с крепкой хваткой. Впрочем, свое мнение навязывать вам не хочу. Разберетесь сами: вы, газетчики, народ дотошный. Только без Василия Николаевича вряд ли стоит вам знакомиться с его лабораторией. Лаборатория — это прежде всего он сам. Для сотрудников своих он кумир. Бог и царь. Зажал всех в кулак.

Гладилов говорил, по-прежнему не глядя на Перевалова, но исподтишка наблюдая за ним. Он замолчал, молчал и Перевалов. Докурив папиросу, Андрей протянул руку:

— Ну что же, до встречи...

4.

Он появился в институте — большой и шумный. В нем все дышало силой: грубоватые черты лица, решительные жесты, властный бас.

Впрочем, в первый день, когда он прямо с поезда, заехав лишь в парикмахерскую, явился с официальным визитом к директору института, эти его черты еще не так сильно бросались в глаза. Зайдя в кабинет Рогожина, он представился с достоинством и скромностью.

Леонид Александрович встретил его приветливо, хотя из-за стола и не вышел.

Кожаное кресло натужно закряхтело под Петровым.

— Табакурство у вас не возбраняется?

— Пожалуйста, курите,— любезно разрешил Рогожин, скрывая недовольство: он не выносил табачного дыма.

Пока Петров толстыми волосатыми пальцами разминал сигарету и закуривал, Леонид Александрович мельком оглядел его. Совсем седая голова («Ему ведь за шестьдесят?»), а торс, как у циркового борца. Мужицкое лицо, крупный красный нос («Еще и пьет вдобавок ко всему!»), но одет превосходно, с испытанным вкусом. Манеры изящны, но, видать, настырен, груб. (Тут Леонид Александрович не смог четко сформулировать возникшие мысли — только понял, что с этим человеком, вторгшимся в его институт, им придется в свое время схлестнуться жестоко.)

Василий Николаевич затянулся аппетитно, почти сладостно, и, выпуская дым, повернулся к Рогожину:

— Начну, a limine*, Леонид Александрович. Мое беспокойствие, как вы, наверное, догадываетесь, прежде всего о помещении. Оное в каком состоянии?

Леонид Александрович улыбнулся не без игривости:

— Врасплох не поймаете. Помещение есть, тесноватое, но есть, готовится. Признаться, мы не ждали вас так рано. Судя по последнему письму из президиума, я полагал, что вы объявитесь примерно через месяц.

— О! Месяц — это же тридцать дней.

— И что же?

— Оборудование-то, как я понимаю, уже прибыло?

— В основном прибыло. Все коридоры на первом этаже загромождены.

— Почему коридоры, если есть помещение? — Петров задавал вопросы стремительно и громогласно. — Или монстры ** мои бездельничают? — Столь непочтительно и все же любовно он называл своих молодых сотрудников, приехавших раньше его. Леонид Александрович или не понял этого, или пропустил «монстров» мимо ушей.

---

* A limine (**лат.**) — с порога, сразу.

** Монстр (**фр.**) — чудовище, урод.

— Я уже упоминал, Василий Николаевич, помещение готовится. Ремонтируем, чтобы все для вас было в ажуре.— Улыбка уже не могла скрыть некоторого раздражения.

— Маляры, штукатуры, плотники? — Петров встал, развернув плечи, будто собирался предложить себя в помощь рабочим.— Ну-с, не смею дольше надоедать вам. Если не возражаете, пойду взгляну, что там деется.

Леонид Александрович проводил его до дверей...

С того часа в комнатах, отведенных под будущую лабораторию биофизики, все кипело и бурлило. То тут, то там слышались басовые раскаты голоса Петрова. То он ругал штукатуров и плотников, то сулил им по стаканчику, то давал советы, к их удивлению, весьма дельные. Он изводил заместителя директора института по хозяйственной части, угрюмо-молчаливого, тощего полковника в запасе Семочкина, «выбивая» то олифу, то краски, то дополнительных рабочих. Своих «монстров», веселых, злоязычных ребят, профессор, достав им через Семочкина спецодежду, приспособил в помощь малярам.

Леонид Александрович Рогожин, удосужившись как-то заглянуть в эту часть здания, озирался удивленно и растерянно:

— Да вы просто чудеса творите, уважаемый Василий Николаевич!

Измазанный чем-то белым и розовым, Петров хохотнул:

— Темпы! Bis dat, qvi cito dat... *.

Он успевал бывать в других лабораториях, знакомился с сотрудниками, влезал в тематику работы, выспрашивал о методике экспериментов, а вечерами занимался «кадрой» — подбором себе работников. «Кадра» ему была нужна: со старого места работы с ним приехала лишь часть сотрудников, гвардия, как говаривал он.

Пришла пора устанавливать и монтировать оборудование. Тут уж на один свой голос Василий Николаевич не надеялся, а ко всему прикладывал и руки. На то, как профессор Петров лихо ворочает тяжелен-

* Bis dat, qvi cito dat (**лат.**) — вдвойне дает, кто скоро дает.

ные ящики и орудует то плотницким топором, то миниатюрной отверточкой, сбегались посмотреть и юные лаборантки со всего института, и, будто невзначай, зрелые мужи науки. Василий Николаевич перекидывался с ними шуточками, успевая в то же время покрикивать на свою «гвардию»:

— Веселей, монстры, веселее! Этот ящик — в дальнюю комнату. Витя, шагай к Петровичу устанавливать электронный микроскоп. Джентльмены! Где же ваше рыцарское отношение к девам? Почему Лена взгромоздила на себя этакую тяжесть? Позвольте-ка, Леночка!.. Нет-нет, у меня силы еще ого-го!..

Юным лаборанткам старик нравился. Что касается зрелых мужей науки, мнение их не было единым...

Неприятности начались с плана работы новой лаборатории. Познакомившись с ним, профессор Рогожин немалое время пребывал в тягостном раздумье. Основное направление лаборатории определялось той ветвью молекулярной биологии, которая изучает действие радиации на живую материю. Что ж, само время требовало подобных исследований. Леонида Александровича насторожило и обеспокоило другое. Тематика радиобиологических работ была тесно связана с генетическими проблемами. Под флагом раскрытия физического механизма биологических процессов Петров и иже с ним протаскивали теорию о генах как носителях наследственности.

А для Леонида Александровича уже само слово «ген» олицетворяло псевдонаучную идеалистическую чепуху, и согласиться, чтобы под тем или иным соусом в стенах института возрождались исследования по формальной генетике, возились там со всяческими мутациями плодовых мушек дрозофил, он не мог. Они, эти генетики, охотно называли себя биофизиками, цитологами, химиками — кем угодно, лишь бы замаскироваться. Но нет, Рогожина не проведешь. Достаточно на его глазах было не только фельетонов о злополучной дрозофиле — летели со своих кресел ученые куда посолиднее его самого.

В то же время он знал, что общее направление работы Петрова находит поддержку в президиуме Академии наук, и отклонить своей властью предложенную тематику не решался.

Перед заседанием ученого совета Леонид Александрович пригласил Петрова на беседу. Начавшись хотя и несколько натянуто, но вполне пристойно, закончилась она размахиванием руками и даже криком. Два пожилых, уже поседевших ученых излагали друг другу достаточно элементарные сведения и все же никак не могли прийти к согласию. Леонид Александрович, вначале обходя выражения острые и прямые, упирал на идеалистическое существо вейсманизма-морганизма; Василий Николаевич утверждал, что морганизм давно стоит на прочной материалистической базе. Леонид Александрович, ссылаясь на указания партии о содружестве теории и практики, приводил в пример успехи мичуринской селекции и говорил о бесплодии формальной генетики; Василий Николаевич рычал, что современная атомная физика первые десятилетия своего существования тоже казалась бесплодной для практики, а теперь эвон какие творит чудеса...

Согласия достигнуто не было, и Рогожин намеревался дать солидный бой Василию Николаевичу на ученом совете. Но получилось по-иному. Петров в тот же вечер улетел в Москву. Что он там делал, неизвестно, только через несколько дней письмо от ученого секретаря отделения биологических наук заставило Рогожина принять план лаборатории биофизики.

Казалось бы, все стало на свои места, достигнуто перемирие, если не мир. На самом же деле перемирия не было. Шла «холодная война». Леонид Александрович сколачивал силы; Петров набирал темп работы, ему удалось добиться разрешения на создание полевой биофизической станции в глухом лесном уголке.

Фигура Василия Николаевича с первых же дней его пребывания в институте оказалась окруженной ореолом догадок и слухов. Рассказывали, что он почетный член двух или трех иностранных академий наук. Удивлялись его эрудиции и подсмеивались над речью, пересыпанной то учеными терминами и латынью, то вульгарными словечками.

Но никто не знал, что в институте, кроме дочери Василия Николаевича, приехавшей с ним, работает еще одна его родственница — Татьяна Перевалова, сотрудница лаборатории почвоведения. Девичья фамилия у Тани была Петрова.

5.

На похороны Агриппины Васильевны народу пришло неожиданно много. Толпились у подъезда, на лестнице, в тесных комнатках. У гроба стояли каменно. Суетились лишь несколько незнакомых женщин, перешептывались многозначительно и испуганно.

Начали выносить гроб. Варя бросилась за мертвой матерью, потом, оцепенев, застонала, упала на диван и забилась в рыданиях. К ней кинулись Таня Перевалова и Агния Львовна.

С кладбища Переваловы хотели увести Мишу и Варю к себе, но оказалось, что у Нукиных какие-то дальние родственники и знакомые собираются на поминки. Пришлось идти туда и Тане — помочь хозяйничать.

Андрея знобило. Он заглянул в холодильник, в сервант, не нашел ничего спиртного и поставил на газ чайник. Даже отопительные батареи казались холодными.

В дверь просунулась лысеющая, но всегда лохматая голова соседа.

— Входите, Марк Романович.

Гринфельд вошел, протягивая бутылку коньяка, почти полную.

— Хотите?

— Вы как догадались?

— Телепатия,— усмехнулся Гринфельд.

Андрей поставил на стол две рюмки. Сосед отодвинул одну: «Я — нет» и уселся на свое любимое место, в кресло-качалку. Качалка — Танина, ее прихоть. Хоть и тесно в двух маленьких комнатах, ей понадобилась качалка («Я на ней — как в детстве»).

Андрей убрал и свою рюмку, достал стакан, налил вполовину и выпил залпом.

— Остальное можете забрать,— сказал он Гринфельду.

Тот никак не реагировал. Вытянув длинные худые руки, легонько покачивался в кресле, полузакрыв глаза и склонив голову. Андрей уже почти привык к этому. Гринфельд мог сидеть так часами, нимало не смущаясь молчанием. Его громадный покатый лоб, большой нос и рот, все черты лица становились туман-

но-мягкими, но запавшие под крутые надбровья глаза иногда сумрачно взблескивали.

Кто-то робко, чуть слышно постучал. «Миша»,— догадался Андрей.

— Я посижу у вас? — сказал Миша и сел на стул. Руки он зажал в коленях, ссутулился и опустил голову.

Андрей принес чай, разлил в стаканы, придвинулся к Мише:

— Ну, что думаешь теперь делать?

Может быть, вопрос был преждевременным и жестоким. Ничего, так лучше.

Миша высвободил одну руку, провел ею по усталым глазам.

— А что делать? Жить надо. Работать буду.

Андрей долго раскуривал папиросу, потом размешивал чай.

— А институт?

— Ну что институт? Институт пока брошу. Или на вечерний...

— Где работать думаешь?

— Не знаю. Все равно. Не это главное. Варя. Беспокойно мне. Она и так последнее время была какая-то шальная, а теперь... Боюсь за нее.

И тут как раз вошла без стука Варя.

— Вон ты где. Идем. Тебя зовут там.

Миша встал. Лицо у Вари было красным и возбужденным, косы растрепались. Выходя, она пошатнулась и ударилась плечом о косяк.

— Налейте мне,— неожиданно сказал Гринфельд,— из бутылки.

Он выпил, морщась, пососал лимон и прошелся по комнате, сухощавый, жилистый, сутуловатый. Остановившись, повернулся к Андрею и длинными тонкими пальцами стал делать такие движения, будто сучил нитку,— хотел что-то сказать. Ничего не сказал и снова опустился в качалку.

«Тоже мается молча»,— подумал Андрей.

А вообще-то Гринфельд говорить умел — скупо, выверенно, книжно. Лишь иногда он как бы захлебывался потоком мыслей, фразы, обрываясь, лезли друг на друга, и тогда, смущаясь, Грин (так назвала его Таня) поглядывал на собеседников и взглядом спра-

шивал: «Ведь понятно то, что я говорю, понятно?» У него была превосходная память, он много знал. Когда он рассказывал что-нибудь, лицо его преображалось: высокий лоб, запавшие под лохматые брови глаза, крупный рот — все дышало обаянием интеллекта.

Он был, видимо, талантлив и... несчастен. Почему несчастен — этого Андрей не знал.

Он вообще плохо знал Гринфельда, хотя они жили в одной квартире несколько месяцев и виделись почти каждый день. Он не знал даже, сколько Гринфельду лет; иногда казалось — сорок, иногда — за пятьдесят. Марк Романович работал в отделе иностранной литературы областной публичной библиотеки. Надо полагать, он был неплохим специалистом, если сразу же по приезде получил комнату в этом новом доме. Но приехал лишь с двумя чемоданами и до сих пор ничем не обзавелся. В комнате стояли кровать, обеденный стол и табуретка, взятая у Переваловых. И еще были книги. Они прибыли отдельным контейнером и завалили всю комнату. Из-за них она казалась захламленной.

Первые два месяца Грин выходил из своей закниженной берлоги только на работу. В его комнате всегда было тихо, лишь слышался по вечерам шелест страниц. Но однажды Марк Романович принес две пары гантелей, а на следующее утро фыркал и постанывал в ванной под ледяным душем — решил закаляться. Это и послужило началом сближения: новоявленный спартанец заработал жестокий грипп, свалился в постель, и волей-неволей ему пришлось принять милосердные ухаживания Тани.

С тех пор он стал захаживать к Переваловым, пил с ними чай, сидел подолгу и молчал. Закаляться, однако, продолжал, и, хотя теперь его не покидал насморк, всю зиму Грин по утрам обтирался снегом. Таня посмеивалась, Грин не сердился.

— Скоро я завербую в свои ряды вашего Володьку.

— Ряды! — издевалась Таня.— Еще скажите: мощные.

— Мы создадим организацию с лозунгом: «Вперед через назад». Пояснить? Хомо сапиенс — вид, который, не успев устояться, начал хиреть. Цивилизация изнежила его. Доказательства? Человек слепнет. Обо-

няние его слабеет. Количество зубов уменьшается. Длина кишечника сокращается. Способность кожных нервов правильно реагировать на изменение температуры слабеет. Кости тончают. Половая сила падает. Растут только лысины. Достаточно?

— Вполне. Но что же вы этим доказали? — ершилась Таня.— Это закономерные следствия того, что изменяются жизненные условия. А хотите контрфакты? Продолжительность жизни человека все увеличивается. Рост его становится больше и больше. Бегаем мы быстрее и прыгаем куда как выше, чем древние греки и римляне.

— Ну-ну,— Грин даже в ладоши похлопал, потом лицо его сделалось злым.— Оттого, что я длинный, я не стал выносливее и здоровее. Оттого, что Брумель или какой-то другой чемпион, который только и занимается своими ногами, прыгает выше себя, я и мне подобный средний человек не делаемся ловчее. Мы становимся все более хилыми.

— И все же, Грин, извините, это ерунда. Цивилизация есть цивилизация. Одна только медицина делает человека в десятки раз сильнее.

— Она лишь балует и нежит человека. Медицина должна быть рассчитана лишь на крайние случаи, а не на поддержку тепличных условий. Согласитесь, без них, в первозданном облике, человек сильнее и устойчивее. Бушмен, например, может не есть несколько дней. Бедуину достаточно в сутки двух глотков воды и горсти поджаренной муки. Араб-кочевник в холод спит босой и раздетый, а в жару дремлет на раскаленном песке под солнцем.

— Вы ратуете за первобытную отсталость!

— За выносливость, здоровье, совершенство.

— Нет, пока что в вашем «вперед через назад» я вижу только «назад».

— Следствие вашей близорукости. Я вовсе не зову к отказу от цивилизации. Я зову вас к античной гармонии.

— Андрей, ты слышишь? В насморке он нашел гармонию!

— Насморк я ликвидирую,— сердито погрозил Грин.— Это — мелочь. Хуже и опаснее другое. Человек плохо подготовлен к дальнейшему развитию цивили-

зации. Нервная система его отстает от неудержимо меняющихся условий жизни. Отсюда, между прочим, и «противоестественные потребности» — алкоголь, никотин и другие возбудители.

— И обтирание снегом.

Андрей молча усмехнулся. Как же, переспоришь Таню! Грин бросил на него чуть растерянный взгляд. Но сдаваться он не думал.

— Снег — это как раз естественно. И, в конце концов, не в возбудителях дело. Это тоже частность. Главное в том, что человек становится анахронизмом. Развитие собственно человека осталось на уровне Александра Македонского, а созданное человеком уходит вперед. Мы уже немеем перед кибернетическими устройствами и со многими машинами без помощи машин же справиться уже не можем. В ужасе взираем мы на дело своих рук — ядерное оружие. Могут не понадобиться ни ваши медицина, ни вообще цивилизация.

Теперь растерянно оглядывалась Таня.

— Ну вот... Начали с насморка, а кончили ядерной бомбой.

Грин скривил рот в усмешке.

— Но ведь мысль развивалась логично? В эту бомбу теперь упирается все.

Андрей отложил папиросу.

— Нет, Марк Романович. Логика у вас, мягко говоря, одностороння и упрощенна. Вы все сводите к физиологии. Так действительно может показаться, что человек не подготовлен к дальнейшему движению цивилизации, что успехи науки, в частности атомной, преждевременны. А дело не в физиологии. Дело в социальных противоречиях, в социальном устройстве общества. Сметите капитализм, дайте простор коммунистической морали — и человечество станет иным, и не страшны будут ни атомные взрывы, ни злые кибернетические устройства.

Грин исподлобья бросил на него быстрый хмурый взгляд.

— Вы полагаете?

— Я в этом убежден.

— Что ж...— начал Грин, но не закончил и надолго замолчал...

6.

Таня позвонила и сказала, чтобы Андрей, чего доброго, не задержался сегодня на работе: будут гости. Какие гости? Тайна.

— Нет, вправду, кто?

— Вправду, тайна. Я только сегодня узнала... Но — молчу.— Ей, должно быть, очень хотелось рассмеяться, настроение, видать, было превосходное.

Представив ее физиономию с ямочками на щеках, лохматенькую непослушную челку, он и сам начал улыбаться.

— Ладно, матрешка, не задержусь...

И все-таки он задержался. Хотя газетчики и любят называть свои редакции «конторами», на конторы редакции совсем не походят. Это не канцелярии, где можно работать от сих до сих. Тут хозяйничает сама жизнь и крутит и вертит газетчиками как ей нужно, не очень-то считаясь с регламентом и, тем паче, с просьбами жен.

Едва Андрей положил телефонную трубку, его вызвал редактор и попросил дать в номер отчет с заседания в управлении культуры. Вопрос был важный, пришлось идти в облисполком. Просидев там часа полтора, Андрей забежал в обком — уточнить кое-какие данные.

В коридоре встретился Федюнин.

— Перевалов? Здравствуй. Зайди-ка ко мне.

— Тороплюсь, Игнатий Федотович.

— Я тоже тороплюсь,— Федюнин шагал к своему кабинету, не оборачиваясь.— Я ж тебя не на чашку чаю приглашаю... Проходи.

Он зашел за свой массивный стол, сам такой же массивный, тяжело опустился в кресло и начал просматривать какие-то бумаги. У него был мясистый нос и тонкие губы. Андрей, не дожидаясь приглашения, сел напротив.

— Слышал, что мы с клубами на период посевной намечаем организовать? — оторвался от бумаг Федюнин.— Всех шефов на ноги поднимаем.

— Я сейчас из управления культуры. Как раз об этом шла речь.

— Надо осветить. Пошире, знаешь, посолиднее ос-

ветить.— Федюнин пожевал губами.— Теперь скажи мне, чего вы задерживаете статью Рогожина?

— Жаловался?

— Я тебе, знаешь, отчитываться не обязан. Но могу сказать: нет, не жаловался. Просто мы следим за этим делом. Ты, может, думаешь: склоки или что. Это, брат, не склоки, это — политика. Почему не печатаете?

Андрей нахмурился.

— Статья Рогожина, писанная Гладиловым, набрана. Но сам я еще не вполне уверен в ней. Не во всем разобрался.

— До чего же вы, газетчики, самоуверенный народ!.. А тебе и не требуется во всем разбираться. На то, знаешь ли, есть специалисты. Вот Рогожин специалист, ему и карты в руки, и нечего тянуть тянучку.

— Специалисты —они разные. Взгляды разные. Мне бы нужно еще поговорить с Петровым.

— Ты, пожалуй, с самим Morга́ном, или как там его, поговорить захочешь! Только этого и не доставало. Печатайте — мы разберемся. Так и передай редактору. Хотя я сам ему позвоню. Вот так. Давай. Пока.— Он протянул руку.

Андрей уже выходил, когда Федюнин окликнул его и деланно-равнодушно спросил:

— Как там моя статья, не слышал? Буркову я передавал.

Эта статья лежала у Андрея. Юрий Борисович велел подготовить и сдать ее в набор сегодня.

— Слышал, есть такая.

— Ты бы посмотрел. Может, подправишь — запятые там, эпитет какой вставишь.

— Посмотрю,— сказал Андрей.

— Давай! Счастливо...

Снег в сквере перед зданием обкома почти весь стаял. Вдоль тротуаров робко журчали ручейки.

Рабочий день уже кончался. Писать отчет Андрей не стал — пошел в машбюро и продиктовал. Надо было еще передать задания корреспондентам в районы и выправить статью Федюнина.

Статья была длинная, правильная и... пустая. Андрей вымарывал целые абзацы. Но это было проще всего. Его раздражал стиль автора. Все было грамотно, но

до отупения выспренне и затасканно. Он читал эти фразы тысячи раз. Они перекочевывали из одной статьи в другую, из речи в речь, от человека к человеку. Слова были настолько стертые, что мысль за ними исчезала.

Пройдясь пером по первым трем страницам, Андрей по телефону позвонил курьерше и взмолился:

— Петровна, милая, чайку покрепче.

— Мне тоже,— с порога сказал входивший в комнату Белкин.

— И Степану Васильевичу, Петровна.

— Заварю, заварю,— пропела трубка старушечьим голосом.

— Все разбежались. Ты почему не разбегаешься?

Это Белкин спросил просто так, порядка ради. Видел же: работает человек.

— Разбежишься тут! Вот она,— ткнул в статью,— канатами к столу припутала... До чего ж все-таки привыкли мы пóходя бросаться высокими словами. И оттого из высоких они превращаются в высокопарные, пустые и казенные, перестают волновать. Пишем: «трудовой подвиг», а человек просто работал старательно, добросовестно. Принял коллектив обязательство — непременно: «с воодушевлением» да еще «с горячим». А никакого воодушевления не было, была хорошая деловитость. На ходули слово поставили!

Степан Васильевич скосил из-под очков усмешливый взгляд:

— Ты что это вдруг разбушевался? Укусил кто?

— Да,— медленно и внятно, но как будто сам с собой, не обращая внимания на вопрос, продолжал Андрей,— стираются и бледнеют слова. Но что-то надо делать. В первую очередь нам, газетчикам. Ведь нам нужны высокие, подлинно высокие слова... Слушай, Степан Васильевич, они очень нужны в наше великое время!

— Ну, вот,— усмехнулся Белкин,— ты почти таковыми и заговорил.

Шаркая валенками, вошла Петровна, поставила на стол два стакана крепчайшего чая, спросила:

— Вторую полосу куда, Степан Васильевич, подать? Сюда или в кабинет к вам?

— Туда, Петровна, туда, я сейчас приду... Давай-

ка, Андрей, статью, я взгляну, а ты шагай. Разбегайся.

— Нельзя. Бурков сегодня велел сдать, в следующий номер идет.

— Ну, я и сдам. Буркова сегодня не будет, уехал в районы по своим депутатским делам.

Андрей взглянул на часы.

— Эх, черт! Таня просила прийти пораньше...

7.

Открывая дверь в квартиру, Андрей услышал чей-то густой незнакомый голос:

— ...не значит ли это уподобиться питекантропам? Но у тех волосатых джентльменов жизнь-то была совсем невеселая. И насчитывалось их на безгрешной тогда планете сколько? Тысчонок двести...

— Извините,— послышался голос Тани,— по-моему, пришел Андрюша.

Бас загудел:

— Устроить ему «темную» за опоздание!

Из спальни выбежал Володька с громадным надувным резиновым крокодилом.

— Пап, смотри, кого мне дедушка подарил! Я на нем летом плавать буду.

— Ого! — озадаченно сказал Андрей, настораживаясь: «Какой такой дедушка?!»

Таня распахнула дверь в прихожую:

— Где же ты? Мы все заждались.

— Извини, каюсь и посыпаю голову пеплом.— Веселое требование устроить ему «темную» рассмешило Андрея. Он так и вошел в комнату, низко склонив голову и смиренно сложив руки на груди.

— Вот это и есть мой Андрей! — радостно сказала Таня.— Знакомься, Андрюша. Мой дядя...

— Петров, Василий Николаевич... Хо-хо, Танюша, ты посмотри на его лицо! Удивлен, потрясен, напуган.

— А это Маша, моя двоюродная сестра.

Улыбаясь, ему протягивала руку та молодая белокурая женщина, которую он мельком видел в приемной Рогожина.

Дядя? Сестра?.. Он ничего не понимал. Василий

Николаевич и Таня громко хохотали, размахивая руками.

Стол был уже накрыт. Стали рассаживаться, и только тут Андрей заметил Гринфельда. А Василий Николаевич распоряжался:

— Вы, джентельмены, берите в полон мою дщерь. Сюда — Марк Романович, сюда — Андрей. А я буду ухаживать за Танюшей. Танюша, он у тебя как, очень ревнивый?

— Андрюша-то? Чурбашка. Сердце — камень.

— Превосходный муж! — обрадовался Василий Николаевич.— А водку пьет?

— Обожаю! — через силу улыбнулся Андрей.

— Истинный мужчина! — похвалил старик и прочел стихи по-английски, тут же переведя их: — «Бордо — питье для мальчиков, а портер для мужчин; тот же, кто хочет быть героем, должен пить водку». Так писал в свое время лорд Байрон. Нальем же и выпьем за Танюшу, которая нашла своего старого дурака дядю и сделала его счастливым и которая... Давайте выпьем.

Андрей улыбался, а в душе было смутно. Каким это образом профессор Петров оказался его родственником? Андрей, конечно, знал, что девичья фамилия у Тани — Петрова, знал, что где-то есть у нее дядя, по профессии не то физик, не то биолог, но кто бы мог предположить, что именно этот дядя окажется именно этим профессором! Петровых-то на Руси — не сосчитать...

— Андрюша! Ведь с тобой разговаривают.

— Что? Простите, пожалуйста, задумался.

— Бывает,—Василий Николаевич благодушно усмехался,— пустяки. Я говорил, что кто-то из вашей газеты дважды уже был в институте, жаль, меня не было.

«Черт, и верно ведь — статья! Придется кому-то передать ее, теперь будет совсем неудобно».

Мария смотрела на него с прищуром, лукавым, испытующим, но благожелательным. Она, конечно, тоже узнала его.

— Это я был,— спокойно сказал Андрей.

— Даже?.. Ну ладно, сие дело служебное, как говорится, для ясности замнем.— Какая-то тень пробежала по лицу старика, но тут же он согнал ее, хохот-

нул: — У нас тут еще одна семейно-служебная махинация намечается. Можете, Андрей, поздравить меня: Танюша переходит в нашу лабораторию. Сказать по секрету, лаборатория пока никудышная, плохо оборудованная, а все же....

— Вот за это надо выпить,— сказал Грин; до сих пор он не проронил ни слова. Мария с любопытством взглянула на него.

Андрей кисло улыбнулся:

— Почему же «поздравить»? Может, она бездарна? И чем она будет у вас заниматься?

— Поздравить — это обязательно! И не только меня, а Танюшу тоже. Ведь ее тема непосредственно связана с распределением и миграцией радиоактивных изотопов в земной коре, почвах. В своей лаборатории она сейчас занимается этим одна, а у нас — целая группа. Танюша будет работать на нас, мы — на нее. Через год будет защищать кандидатскую. Вот вместе с Марией. Танюша — по почвам, Маша — по биологической очистке от радиоактивности. И поэтому,— Василий Николаевич поднял рюмку,— предложение Марка Романовича потребно признать вполне уместным. Ergo bibamus! *

В вестибюле, завидя Гладилова, профессор Рогожин приостановился:

— А вы-то, Петр Анатольевич, ради чего так долго задержались?

Гладилов улыбнулся почти игриво:

— А разве нельзя? Весна, ручьи... Я ведь человек холостой...

Это на него не очень походило, и Рогожин неопределенно — не то с удивлением, не то одобрительно — похмыкал.

— Несмотря на весну,— продолжал Гладилов с той же улыбкой,— я звонил в обком. Как я понял, там нажали на редакцию относительно публикации вашей статьи.

— Ну зачем это? — чуть поморщился Леонид Александрович, и было непонятно — чему поморщился: «нажали» или «вашей».— Все образуется и так.

---

* Ergo bibamus! (**лат.**) — Итак, выпьем!

— Устали вы после сегодняшней серии заседаний,— посочувствовал Гладилов.

— Что есть, то есть,— обрадовался Рогожин перемене темы и, задумчиво тронув усы, двинулся к выходу.— И семейство мое заждалось, так задержался.

— Всего лучшего, Леонид Александрович! Поклон супруге...

...Ели и пили гости не церемонясь.

— А плясать в этом доме дозволяется? — Василий Николаевич молодецки повел плечом и притопнул.

— Обязательно! — подхватила Таня, вскочила и тоже тряхнула плечами, притопнула, закружилась.

И чему она радуется? Или опьянела?

В доме был лишь старенький патефон, давно бы пора выбросить, а сейчас вытащили, крутанули ручку, ударили по струнам невидимые музыканты.

Василий Николаевич и впрямь пошел в пляс. Движения его грузного остаревшего тела были неожиданно легки и даже грациозны. Ногами он выделывал залихватские кренделя, а на лице, как у истого плясуна, застыли серьезность и старательность. Вокруг цветастой бабочкой порхала Таня. Она упарилась прежде, чем дядя, и оба с хохотом плюхнулись на диван. Впрочем, тут же Таня вскочила и поставила новую пластинку.

Чуть расхлябанный синкопами, но четкий, зазывной ритм поднял с места даже Грина. Андрей взглянул на него удивленно. Грин вел Марию очень правильно, но казался одеревеневшим. Мария смотрела куда-то вбок, ее губы чуть подрагивали. Неугомонный старик повел Таню.

Андрей присел к отодвинутому столу и закурил. Мир порозовел, досада уходила. «Чудак, чуть не распсиховался. Что же в том особенного, что у Тани обнаружился дядя? Может, наоборот, радоваться надо: как-никак родная кровь... Что-то она скажет, эта кровь, если газета выступит со статьей Рогожина? Но Василий Николаевич... почему он цепляется за обветшалые гипотезы и теории? Умный, говорят, человек. Пожалуй, не надо было посылать статью в набор, не переговорив с ним. Но все же Федюнин, хорош он или плох,

заведует отделом пропаганды, и ему, наверное, действительно виднее, кто прав. К тому же набранная статья — не напечатанная. И раз Петров вернулся из поездки, переговорю и с ним. Завтра, совершенно официально, не здесь же заводить этот разговор...»

— Андрей... Николаевич, приглашаю.— Перед ним в полупоклоне стояла Мария.

Не зря он всегда обижался на свой рост: лицо Марии оказалось на уровне его лица. Спина у нее была сильная и гибкая, от волос шел тонкий пряный аромат. Колдовские глаза, какие-то необыкновенные крупные и глубокие зрачки...

— Вы, как я вижу, неразговорчивы,— негромко сказала Мария.

Надо отвечать? А что? Он, и верно, не очень любит болтать. Но это она и так видит. Сказать: ах, нет, я очень разговорчивый и даже остроумный? Он никогда не был остроумным, порой завидовал другим, но утешал себя — не всем же блистать. Да и куда уж там блистать, когда и простая-то легкость в разговоре очень часто не давалась.

Мария едва приметно улыбалась, вглядываясь в него. Ему, как в юности, сделалось стыдно за свои даже зимой не смываемые веснушки.

— Взгляните-ка, что выделывают,— кивнул Андрей в сторону Василия Николаевича и Тани.

Мария покосилась на них и улыбнулась широко. Андрей невольно сравнил ее с Таней. Таня проще и ребячливей. Мария женственнее и по-своему, наверное, мудрее. Интересно, замужем ли она?

Он поймал внимательный и печальный взгляд Грина. Андрею почему-то сделалось неловко, словно его уличили в нехорошем.

— Теперь пить чаи!— объявила Таня и убежала на кухню.

Андрею хотелось пойти за женой и расспросить ее, но было неудобно покинуть гостей.

— Налейте мне вина,— попросила Мария.— Граждане, вы с нами выпьете?

— Охотно и неоднократно! — Василий Николаевич подсел к столу, однако рюмку свою лишь пригубил.— А ведь я этого зелья... Ну-ка, вспомни, Маша, наверное, с Нового года не принимал.



— Не знаю, отец. Я принимала.— Ответ прозвучал сухо.

— Все некогда. «Все нас гонят из дома дела, дела, дела». Так, что ли, поет твой Беридзе?

— Окуджава,— поправила дочь, не глядя на отца.— Странное дело,— повернулась она к Андрею,— никогда он ничего не забывает, хранит в памяти тысячи нужных и ненужных мелочей, а вот современных поэтов крестит каждый раз новым именем.

— Бывает,— охотно согласился Василий Николаевич.— Это что! Вот академик,— назовем его Э.,— почтеннейший и образованнейший человек, до сих пор не знает, остров ли Камчатка и полуостров ли Сахалин. Байкальский омуль для него — древесная порода: слышал старик выражения «дубовая бочка» и «омулевая бочка». Каково?

Андрей нахмурился. Чем-то не понравился ему этот разговор.

— От того, что я забуду, кому принадлежат стихи,— сказал он,— они не станут менее прекрасными. Остров или полуостров Сахалин — его пейзажи и богатства не обеднеют ни от того, ни от другого. Единственное, что худо, так это то, что ваш академик не познал вкуса омуля. Все остальное не имеет значения.

— Пиитический подход,— усмехнулся Василий Николаевич.

Грин тоже улыбнулся. Улыбка получилась покровительственной, голос был жесткий:

— Он прав, ваш Э. Зачем загружать память мелочами, если есть справочники!

— Что делается! — Мария нарочито театрально всплеснула руками.— Великие молчальники заговорили.— Смотрела она на Андрея.— Пойду-ка я лучше помогу Тане.

Но Таня уже вносила сверкающий никелем электрический самовар.

Разговор, круто повернувшись, пошел о способах заварки чая, о приготовлении кофе, и Василий Николаевич принялся рассказывать, как и что он пил в Англии, Италии и Франции.

Тане пришлось подогревать самовар: все, кроме Грина, пили заварку, не добавляя воды.

— Я из-за этого чая раньше свирепо ругалась с

Андрюшей,— призналась Таня.— Теперь, вот, видите, сама привыкла. Выводим стронций-девяносто... А что?

— А, ничего, правильно! — бодро закивал Василий Николаевич.— Вон Машенька может вам еще кой-какие средствия предложить.

Мария улыбнулась:

— Я как раз работаю над естественными концентраторами рассеянных радиоактивных элементов. Метод биологической очистки водоемов.

Андрей взглянул на нее с любопытством. Грин смотрел на Марию и слушал ее, но в то же время, казалось, прислушивался к чему-то и в себе. Похоже было, ему хотелось вставить некое словечко в этот сугубо специальный разговор о биологической очистке, что-то нервировало его.

— Этот метод мы уже применяли на практике,— сказал Василий Николаевич.— Пока — на крупных промышленных установках. Кто знает, может быть, придется пойти и дальше. Судите сами. Если за первые тридцать лет после открытия радиоактивности человечество имело в своем распоряжении около трехсот кюри излучающих веществ, то сейчас их производится не меньше миллиарда. Вот французы недавно опять учинили в Сахаре ядерный взрыв. Представляете, как растет загрязненность атмосферы, вод и почвы...

— Это же замечательно,— сказала вдруг Таня.— Этим и мне необходимо заняться. Микроорганизмы в почве — ведь и среди них могут быть подобные накопители, а, Маша?

— Видал-миндал? — Василий Николаевич озорно подмигнул Андрею.— Еще не так шурупики закрутятся... О чем я? Да. Взять тот же стронций-90. У него есть препакостная черта: активность стронция все возрастает, ибо, выпадая из атмосферы, он накапливается на земле. Если даже сейчас, в шестьдесят третьем, прекратить все атомные испытания, о чем пекутся ныне все здравомыслящие люди, эта активность на поверхности земли к семидесятому году, по сравнению с нынешней, увеличится. А если продолжать — возрастет в несколько раз. Это почти гибельная черта, мои дорогие люди...

Он замолчал, будто чего-то испугался сам, медленно озирая сидящих за столом.

— Эх,— и махнул рукой,— нашел старый милую тему для разговора. Да? А все Танюша виновата: сама начала. В наказание — стакан чаю мне, и по домам...

Андрей помог Тане прибрать в комнате, потом она на кухне мыла посуду, а он вытирал. Она была возбуждена и весело рассказывала, как сегодня утром, вдруг, догадавшись, кто этот знаменитый Петров (пронзило: это же дядя мой, папин брат!), тут же решилась поговорить с Василием Николаевичем; как обрадовался старик, и они часа два болтали, закрывшись в его кабинетике; как хорошо будет ей работать в его лаборатории — только бы разрешили! — и как удивились в институте, узнав об их родстве.

Андрей слушал вполуха. Чем-то обеспокоил его сегодняшний вечер, душе было неуютно. Андрей был взвинчен и раздражен, и очень не нравился себе сам. Со странно-тревожным предчувствием он думал, что теперь будет искать новой встречи с неожиданными родственниками.

— Ты чем недоволен, рыжик?

— Почему ты так думаешь?

— Я не думаю, я вижу.

— Я всем доволен, матрешка.— Он поцеловал ее в шею. Поцелуй был неуклюжим и холодным.

8.

Призрачно-голубым светом залиты типографские цехи. Негромко тарахтят линотипы. Льется расплавленный металл, прытко заполняя матрицы — формочки букв,— и застывает тяжелой газетной строкой. Одна строка к другой, они выстраиваются в колонку; подходит тискальщица, неспешно и быстро делает оттиски и уносит гранки метранпажам — искусникам, что составляют газетные полосы. Выпускающий, полпред редакции в типографии, что-то ворчит, смотрит поверх очков на часы, косится на телефонную трубку. Он недоволен: газета сегодня запаздывает.

Наверху, в редакции, тихо. Пусты коридоры, не слышно людского говора и хлопанья дверей, умолкли звонки, только стучит дежурная машинистка, стрекочет, торопится телетайп — самозаписывающий теле-

графный аппарат да мягко шаркают по линолеуму валенки Петровны.

Тихо в редакции. Но именно в эти часы Степан Васильевич особенно остро и радостно ощущает всю громадность жизни, ее напряженный ритм и лёт. Днем, в хлопотливой рабочей суете, это как-то не чувствуется. А к ночи, когда затихают редакционные кабинеты, могучий и стремительный пульс страны становится отчетливо слышным и ощутимым.

Стрекочет телетайп, ползет бесконечная бумажная лента. Москва и Ленинград, Свердловск и Рига, Алма-Ата и Норильск. Новая атомная электростанция. Невиданный рекорд добычи нефти. Высоковольтная трасса в нехоженой тайге. Миллион квадратных метров жилья. Подвиг полярников на дрейфующей льдине. Сев зерновых на юге...

Стрекочет телетайп. Новый взрыв на мысе Канаверал. Лихорадка на лондонской бирже. Очередные маневры войск НАТО. Бои в Алжире. Рост промышленного потенциала ФРГ...

Ползет бумажная лента, трепещет, дышит, кричит. На ней — весь мир, его радости и боли, проклятия и здравицы, голос ярой правды и гнусавый лепет лжи.

Дежурная кладет на стол Белкину ворох новостей. Спасибо. Так... Это подождет. Это тоже не к спеху. Это...

— Петровна! Скоренько к выпускающему, пусть набирают на первую полосу. И почему он держит третью? Пора подписывать в печать.

Петровна трусит рысцой. Старушечка превосходно знает цену ночным минутам газеты. Слава богу, шлепает по этим коридорам, почитай, тридцать лет. Всего навидалась здесь — и веселых редакторов, и хмурых, и самого Гайдара-фельетониста помнит. Сколько километров протопала она по этим коридорам? Тысячи! Все «скоренько» да «побыстрей».

Шаркают, шаркают старые валенки. Газета ждать не любит. Кому другому — не Петровне это напоминать...

Тихо в редакции. В эти часы секретарю лучше всего продумать тот номер газеты, который должен выйти не завтра, а послезавтра. А чтобы продумать один номер, составить его план, надо держать в голове и

уже вышедшие, и те, что пока еще в чернильницах, надо учесть и необходимые темы, и объекты, и жанры, и авторов, и расположение материалов на газетном листе, все, что было и что еще только может быть. Все надо учесть.

Степан Васильевич, прикрякнув,— тяжеленько,— снял с этажерки «портфель» редакции, толстенную в виде альбома книгу, между картонными страницами которой лежали оттиски набранных материалов, придвинул поближе опись статей, посланных в набор сегодня, взял карандаш...

Вошел, покашливая, Кислицын.

— Подгорели мы с тобой, Степан Васильевич: надо подвал на третьей полосе снимать.

— Уже готова полоса на подпись, дают.

— Что поделаешь, надо. Разбирал я сегодняшнюю почту... пакет Буркову с повесткой дня следующего бюро сельхозобкома. Как раз этот район будут крыть за плохую подготовку к севу.

— Почему решил, что крыть?

— А ты меня за простачка считаешь? Я, конечно, позвонил Пронину, выяснил. А как же?

— Так то за подготовку к севу. А подвал — об опыте одного из клубов.

— Ну, знаешь, так мы политику в газете не сделаем. Во-первых, уже одно то нехорошо, что район в прорыве, а мы его на щит. Хоть и за клубную работу. А, во-вторых, отчего они плохо к севу готовятся? Ясно, политмассовая работа не на высоте. А мы их в пример. Как же это не сообразить?

— Да ведь в этом-то клубе как раз «на высоте».

— Опять за рыбу деньги. Район-то критиковать будут. А ты ему конфетку в рот. И как я в обкоме отвечу? Ведь звонил Пронину. Скажут, советовался же... Нет, надо снимать. Настаиваю.

«Любишь ты советоваться, когда нужно и не нужно»,— с досадой подумал Белкин и начал листать «портфель». Хоть и пухлый, а выбрать трудно. Рецензия — в номере уже стоит одна. Очерк — не три же очерка давать сразу. Интересная корреспонденция, но автор ее уже выступает на второй полосе. Международный обзор —и так много зарубежной информации. Из этого города только что опубликовали боль-

шую зарисовку. Это устарело... Секретарь браковал гранку за гранкой.

— Слушай, Степан Васильевич, а статья Рогожина готова? Из Института биологии.

— Набрана. Вот она. Только визы Перевалова на гранках нет.

— Неважно. Ее и дадим.

— По-моему, он хотел еще что-то уточнить.

— Чего там уточнять? Правильная статья. Сегодня Федюнин опять напоминал, звонил мне. Давай команду выпускающему, пусть заверстывает, а я ее почитаю еще.

Степан Васильевич взялся за телефон. Кислицын примостился к столу. Перо его размеренно скользило над строчками гранки вправо и влево. Иногда оно замирало нацеленное. К словам «пример передовиков» очень хотелось дописать «вдохновляющий», к «идеализму» — «махровый». В рукописи бы он обязательно дописал, а исправлять готовый набор — уйдет много времени. Однако в некоторых местах его перо не выдерживало. Кое-что, на взгляд Николая Петровича, отдавало в статье двурушничеством. К примеру, Рогожин писал:

«Так сталкиваются две точки зрения. Не будем пока судить о конечной истине тех или иных исканий — нам важно отметить, что нужды сегодняшнего дня требуют прежде всего решения практических задач селекции».

Перо решительно прошлось по гранке. Написанное изменилось:

«Так сталкиваются две несовместимые точки зрения. Понятно, что восторжествовать должна первая: нужды сегодняшнего дня властно требуют решения практических задач, а не идеалистического умствования».

Кислицыну припомнилась очень подходящая к месту цитата, но от мысли вставить ее пришлось отказаться: и без того газета запаздывает. Пусть будет так. Все равно получилось лучше. Твердо и ясно... Что-то уж очень вольно стали обращаться со словом. Есть понятия незыблемые. Камень — твердый, вода — жидкая, зарубежная наука — идеалистическая. Это пусть ученые мудрят с четвертым или там пятым — кто их

разберет — состоянием вещества. У них дело темное. У нас, журналистов, другое: здесь формулы предуказаны, и наш долг — блюсти их. Николай Петрович Кислицын считал себя журналистом превосходным и непогрешимым.

Это началось давно. В комсомол Кольку Кислицына принимали как активиста-безбожника. Не шибко грамотные, но острые разоблачительные заметки селькора Н. Кислицына о делах церковников распахнули ему двери в редакцию районной газеты.

Постепенно Кислицын поднаторел и в писучем деле, и, как ему казалось, в политике. Его посылали учиться на всякие разные курсы, но он усваивал лишь цитаты и лозунги, привык верить в них слепо, не понимая, что само существо марксизма-ленинизма яро противоборствует всякой слепоте.

Решения Двадцатого съезда вначале потрясли его: кумир был низвергнут. Но скоро Николай Петрович оправился от удара. Ленинские нормы? Расширение социалистической демократии? По предложению Кислицына в редколлегию ввели еще двух работников редакции, а от заведующего отделом писем он, вместо одной в неделю, потребовал двух сводок «о движении писем трудящихся». Внимание сельскому хозяйству? Он неукоснительно следил за тем, чтобы материалы сельскохозяйственного отдела появлялись в каждом номере.

Николай Петрович был по-прежнему уверен в своей непогрешимости и политической зрелости...

Вошел выпускающий, сам принес третью полосу. Очки на его носу сидели ровнехонько, и это был не очень хороший признак: выпускающий сердился.

— Так я, конечно, и знал,— неласково сказал он, взглянув на почерканные Кислицыным гранки.

Николай Петрович покосился на него единственным глазом.

— Тебе лишь бы ворчать. Газета есть газета.

— А график есть график. Не я утверждал.

— Ладно,— примирительно сказал Белкин.— Подписывай, Николай Петрович, корректоры твои поправки перенесут.

Кислицын чуток подумал, подписал, еще подумал и против заголовка «А. Митрофанов опять оправдывает-

ся» пометил: «Мельче, светлым». Помедлив, два первых слова в заголовке он вычеркнул.

— Не к чему нам сенсации. Вот так. Поскромнее.

Белкин подмигнул выпускающему:

— Давай!..

9.

Леонид Александрович легонько похлопал ладошкой по заявлению младшей научной сотрудницы Т. В. Переваловой. Она сидела перед ним прямая, строгая, напряженная.

— Вы все взвесили, Татьяна Витальевна?

Он спросил это с особым, многозначительным выражением. За простым тривиальным вопросом крылись другие: отдает ли она себе отчет в одиозности фигуры Петрова, представляет ли то положение, в которое будет поставлена, работая с родственником, понимает ли, что рискует научной карьерой, связывая свою деятельность с сомнительным направлением?

А сам он в это время решал, удовлетворить или нет просьбу Переваловой. Он думал не столько о ней и ее теме, сколько о ее муже. Все-таки — газета. Переводя Перевалову, не усилит ли он лагерь Петрова? Отказав ей, не вызовет ли ненужную и опасную недоброжелательность к себе?

— Да, Леонид Александрович, я взвесила все,— твердым, но потускневшим голосом сказала Таня.— Возможностей для разработки темы в той лаборатории у меня будет значительно больше.

— С Василием Николаевичем вы, конечно, советовались?

— Безусловно.

— Так, так...— Это для него всегда было мучительно: принимать решение.— Что ж...— Отказать — значит влезть в новый конфликт, нажить лишние неприятности.— Хорошо. Будь по-вашему. Я не возражаю.

— Спасибо, Леонид Александрович! Вы увидите, работа там у меня...

— Желаю успеха,— прерывая ее, сухо сказал директор и коротко поклонился.

Попросив Агнию Львовну никого больше до обеда не принимать, Леонид Александрович взялся за пер-

вые главы гладиловской диссертации; он обещал прочесть их еще недели две назад. Однако диссертация не читалась: мешало сосредоточиться некое смутное беспокойство, вызванное собственной статьей в газете.

Рогожин ждал контратаки со стороны Петрова, взрыва, но не было контратаки, не было взрыва. Правда, говорят, вначале, прочитав статью, старик разбушевался, кричал что-то очень ругательное, потом уехал из лаборатории и, сказавшись больным, вот уже второй день отсиживается дома. Что он там замыслил? Строчит ответ? Придумывает какие-то каверзы? Готовится к бою?

Странно, Леонид Александрович не испытывал сейчас особого удовлетворения от статьи. Ее появления в газете он ждал почти с вожделением, теперь же она показалась малоубедительной, чрезмерно крикливой, некоторые места в ней резали глаза. Да еще в редакции кто-то прошелся по статье излишне пристрастным пером. Не раскаяние, но нечто вроде сожаления шевелилось в Рогожине — не стоило, пожалуй, затевать эту драчку...

Наука — извечное ристалище для схваток мнений. И не только рыцарские битвы вспыхивают на этом широком плацу. В борьбу идей включаются характеры, придумываются хитроумные тактические уловки, возникают распри, нередко могучий меч научных фактов оказывается бессильным перед разящими из-за угла стрелами злословия и политических выпадов.

Ну, а вот сейчас, с Петровым? Леонид Александрович был убежден, что бой дан честный, открытый, и все же что-то томило его, какой-то жучок точил совесть. Видел ли он в Петрове конкурента? Нет, вовсе нет. Пусть Петров — крупный ученый, но и у Леонида Александровича есть свои заслуги, и совсем не зряшные. Его труды по гибридизации животных давно получили признание. И потом — у Петрова совсем другие пути и другая тематика... И все же они противники. Петров занимается биофизикой, той ее отраслью, что именуется радиобиологией. Радиоактивный распад, ионизирующие излучения, их влияние на живой организм. Их влияние... Вот тут-то и скрещиваются мечи. Ибо здесь Петров оказывается в лагере тех, кому Рогожин противоборствовал много лет.

Биофизика — что ж, она признана наукой нерушимо. Еще Леонардо да Винчи и сам Исаак Ньютон пытались прикладывать физические понятия к объяснению биологических процессов. Революция в естествознании распахнула физике двери чуть ли не во все отрасли знаний; не избежала вторжения всесильной властительницы и биология. Грозное насыщение биосферы Земли ионизирующими излучениями не могло не заставить ученых заняться влиянием этих и иных излучений на живые организмы. У биофизики появилась мощная ветвь — радиобиология. Это, понимал Рогожин, необходимо и неизбежно. Но, изучая влияние радиации на организмы, их изменчивость и наследственность, радиобиологи возвращались к тому, что единомышленники Рогожина бесповоротно предали анафеме, — к хромосомной теории наследственности.

Они рассуждали при этом так.

Если в работах зачинателя формальной генетики монаха Менделя еще можно было нащупать какие-то материалистические рациональные зерна, то его последователи все учение Менделя превратили в идеалистическую чепуху. Уже Вейсман, выдвинув теорию непрерывности «зародышевой плазмы», всем материальным факторам развития предпочел нечто извечное, обретающееся как некий дух в смертном теле. Морган и морганисты, играя формулировками, лишь заменили «плазму» неким «геном», который, располагаясь якобы в хромосомах, извечно выполняет неизменные функции хранителя и передатчика наследственных признаков.

Так рассуждали те, кого Леонид Александрович называл единомышленниками. Значит, так же мыслил и он сам?

Рогожин хорошо запомнил жаркий август 1948 года. Его, уже немолодого кандидата наук, неожиданно пригласили в Москву, на сессию Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук. Леонид Александрович приехал из далекого племенного хозяйства, обожженный солнцем и степными суховеями; новые ботинки жали ногу; прогуливаясь по академическому парку, Рогожин то и дело поправлял галстук на вспотевшей под крахмальным воротничком шее. Собеседник, маленький лохматый старичок, воинственно размахивал

руками и крикливо говорил о высоких целях науки, одновременно посылая на чьи-то головы проклятия.

— Вы-то, практики, прекрасно видите, где истинная теория, а где блеф! Верно? Мы-то, представители истинной науки, превосходно это понимаем! А они-то, простите, эта сволочь, занимаются черной магией или там еще черт его знает чем! Верно?

Леонид Александрович кивал и поддакивал, не очень-то вникая в сумбурную речь старичка: томила духота, невмоготу хотелось пить.

Доклад президента был недвусмысленно резким и грозным. Он прозвучал трубным сигналом к смертному бою. Сторонники президента дружно атаковали инакомыслящих. Последние всем скопом были презрительно наречены «менделистами-вейсманистами-морганистами» и еще формальными генетиками, их обвинили в буржуазном идеализме. Попытки инакомыслящих уверить ученую сессию, что и они стоят на позициях диалектического материализма, что под генами они разумеют вовсе не какую-то таинственную животворную силу, а некие определенные вещества с пока еще не до конца разгаданными свойствами,— эти попытки во внимание приняты не были.

Леонид Александрович, к своему негаданному счастью, никогда не принадлежал к формальным генетикам. Всю свою жизнь в науке он занимался практической селекцией и гибридизацией. После сессии Академии его перевели в один из центральных научно-исследовательских институтов.

И все же сессия оставила в нем впечатление гнетущее. Еще долго он стыдился смотреть в глаза бывшим товарищам, которые не могли найти работы по специальности: их лаборатории и институты были или закрыты, или переведены на другую тематику, а места их заняли другие — те, что пошли за президентом.

Однажды к Рогожину пришел друг. Во всяком случае, он считался другом. И еще он считался восходящим светилом в науке, хотя был совсем молод. После сессии его лишили ученой степени и работы. Рогожину было очень жалко друга.

— Марк, дорогой, ты совсем почернел и высох!

— Ты, надеюсь, возьмешь меня к себе? — спросил тот напрямик.

— Да... но... Послушай, ты же прекрасно знаешь, что мы... что у нас...

— Ах, сколько местоимений! Конечно, я все прекрасно знаю. На собственной шкуре. И не помышляю о должности научного сотрудника. Но я неплохой экспериментатор, и лаборантом, рядовым лаборантом ты меня примешь?

— С твоими знаниями и способностями — лаборантом?!

— Не надо, Леонид.

— Но послушай... Ведь всем известно, что твои убеждения...

Леонид Александрович не успел охарактеризовать научных убеждений друга. Тот сказал:

— Ты или подлец, во что я не верю, или очень уж напуганный дурак.

— Ты сам дурак! — покраснел Рогожин.— Как же ты не понимаешь, что если я приму тебя на работу, то через неделю полетим мы оба. Или ты думаешь...— И опять он не закончил: друга в комнате уже не было.

Со временем все сгладилось, а потом и прошло. Все, казалось Рогожину, утряслось, биология пошла путем единым и прямым. Леонид Александрович стал готовить докторскую диссертацию.

Нельзя сказать, что раздумья и сомнения совсем не приходили к нему. Навещали... Упрямо штурмуя живую клетку, биологи уже прикасались к тайнам механизма наследственности. Все те же горох и мушка дрозо́фила, потом микробы и вирусы начинали вроде бы раскрывать секреты изменения наследственности — под электронными микроскопами, под воздействием различных химических веществ и излучений. Во всем мире заговорили о ДНК — дезоксирибонуклеиновой кислоте, молекулы которой, состоящие из многих миллионов атомов, несут в себе код информации наследственности. Таинственные гены начинали приобретать какие-то конкретные формы, свойства, химические названия.

Все это, конечно, не могло пройти совсем уж мимо профессора Рогожина. Но в то же время это не могло изменить его веру в одно и неверие в другое. Он не был равнодушен и старался вовсе не только ради собственного благополучия и личных успехов. Он искрен-

не радел о науке и считал, что выводимая им порода высокомолочных коров принесет пользу в хозяйстве страны. Однако, служа своей науке, он не заметил, как на его глазах появились шоры, не задумывался над тем, правомерно ли монопольное положение одного направления в биологии? Действительно ли оно имеет то всеобъемлющее значение, которое было приписано ему в августовские дни 1948 года?

Тогда мягкую душу Леонида Александровича несколько покоробила та безжалостная резкость, с которой изгнаны были из храмов науки «лжеученые», но в том, что они «лже», что они заблуждаются, он, в общем-то, не сомневался. Ведь «крамольное» учение было объявлено враждебным диалектическому материализму, менделевские схемы вылетели из всех учебников, к генетике «монаха» Менделя и Моргана стали применяться только самые уничижительные, ругательные определения. Став официальным «врагом» мичуринского учения, так называемый морганизм превратился в нешуточное пугало. Он стал пугалом и для Рогожина, правда, далеким, почти нереальным, потому что соприкасаться с ним всерьез Леониду Александровичу не приходилось. Теперь он соприкоснулся.

Попытка как-то повлиять на тематику работы Петрова ничего не дала, и предложение Гладилова написать статью Леонид Александрович принял как должное. Мысль о статье придавала ему уверенность в собственной правоте.

А вот теперь он ощущал сомнение и неуверенность. Не то чтобы он колебался в своих убеждениях, нет. Просто его настораживало благоприятное отношение Москвы к работе Петрова.

Теперь Леонид Александрович ждал, как отреагирует Петров, что скажут в обкоме, не будет ли звонка или письма из Москвы...

10.

Рогожин не заметил, что перевалило за пять. Напомнила об этом Агния Львовна. Неслышно войдя в кабинет, сказала почтительно и грустно:

— Леонид Александрович, сегодня вам нельзя за-

держиваться. Прошу передать мои поздравления Анне Семеновне и — от души — поздравляю вас.

Рогожин поднял усталые глаза, с растерянным видом погладил серебрящийся висок; наконец, сообразил в чем дело.

— Спасибо, дорогая.— Но Агния Львовна видела, что благодарит он почти машинально, все еще не ушел от своих дум.— Спасибо. И машину, конечно, вызвали?

Агния Львовна чуть склонила голову.

— Что бы я делал без вас? Ведь совсем запамятовал... Беспокоит меня Василий Николаевич. Не интересовались, может, серьезно заболел?

Агния Львовна замялась.

— Я не хотела передавать вам сегодня... Некстати. От него есть записка.

— Что же вы, голубушка? Давайте сюда, давайте.

Записка была неожиданной: Петров спрашивал, не сумеет ли Леонид Александрович выбрать часок, чтобы вечером навестить... С чего бы? Придумал какой-то ход? Ищет участия? Думает покаяться? Хитрит?.. Впрочем, сегодня Леонид Александрович пойти все равно не сможет.

— Агния Львовна, голубушка, у меня к вам величайшая просьба — не в службу, а в дружбу. Загляните на минутку к Василию Николаевичу, вам по пути, извинитесь за меня, объясните ситуацию. Очень прошу.

Петров был антипатичен Агнии Львовне. Но если нужно... И — всего на минутку. Кроме того, любопытно взглянуть, каков он в домашней обстановке, этот странный деятель...

Леонид Александрович велел шоферу ехать к центру. Нужно было купить жене какой-нибудь подарок: двадцать семь лет со дня свадьбы...

Анна Семеновна встретила его принаряженная, казалось, помолодевшая.

— Ты у меня и впрямь как невеста.

— Какая прелесть! — Она развернула небольшой старинный гобелен польской работы.— Владик, взгляни!

Из своей комнаты выглянул сын. Попыхивая сигаретой, он равнодушным взглядом окинул гобелен.

— Древность. Подарок вполне профессорский.

Анна Семеновна не обиделась — лишь потрепала за вихры сына. У нее было хорошее настроение. Се-

годня ей удалось неплохо поработать. Уже много лет, уйдя по болезни из школы, где преподавала историю, Анна Семеновна занималась любимой наукой дома, в библиотеках и архивах. Ее статьи о жизни античного мира, живые, с интересными подробностями, время от времени появлялись в журналах. Конечно, эта кустарная работа, если учесть и хлопоты по дому, была не очень производительна, но тем более радостны были редкие удачи...

Обедать сели вдвоем. Владик поел раньше. Однако, услышав, как всхлюпнула пробка у бутылки шампанского, он появился у стола. Холодная усмешка:

— Как же это — отметить такую торжественную дату без своего чада?

Три фужера сошлись над столом. Глаза Анны Семеновны повлажнели.

— Вот, Владик... Двадцать семь лет мы с папой... Ах, как мне хочется, чтобы у тебя все было так же хорошо!

— Почему «так же»? Во всем необходим прогресс.— Владлен сказал это с нехорошей усмешкой, но достаточно вежливо; впрочем, его глаз, прикрытых густыми длинными ресницами, было не видно.

Леонид Александрович нахмурился.

— Когда ты сходишь в парикмахерскую? Зарос,— ворчливо сказал он.

Владлен оказался нежданно уступчивым.

— Схожу... Еще полфужера можно?.. Неплохо бы мне деньжат, я приду, видимо, поздно. Завалюсь в общежитие к ребятам позаниматься...

Варя была грустная и, может быть, потому особенно красивая. Внимательно оглядев его, она сказала не то что удивленно, скорее озабоченно:

— Ты какой-то... изменившийся, Владик.

— Укоротил лохмы.

— А-а... Что будем делать?

— Давай захватим бутылочку и ухнем на голову одного знакомого.. У него есть отличные записи.

— Опять будет гвалт?

— Только музыка... и ты... Ах, Варь, знала бы ты, как мне тошно!..

Шампанское, видать, ударило по лирическим струнам. Анна Семеновна умиленно вспоминала цветущую оренбургскую степь, игрушечный поселок племхоза и закаты, пылавшие над головами двух влюбленных — молодого ученого-зоотехника и девчонки-учительницы. Далекое прошлое виделось ей как сказочная пора, все в нем представлялось прекрасным, она уже забыла, как душно пахли тяжелые, смазанные дегтем сапоги зоотехника, какие красные и грубые были у него руки, а сама она в линялом сарафанчике была конфузливо-неуклюжей и до стыда бессловесной.

Леонид Александрович слушал жену, привычно кивал, а внутренне морщился. Сейчас ему неприятны были ее сентименты, голос казался резким, он старался не смотреть на тучную, расплывшуюся фигуру жены.

Анна Семеновна вдруг замолчала, присела рядом, он не сдержался — отодвинулся.

— Леонид, ты не в духе? Что-то случилось в институте? Опять Петров?

— При чем тут Петров? — Леонид Александрович повысил голос.

— Но...

— Почему ты думаешь, что меня окружают только подлецы и пакостники, один лишь я хорош? А может, я... может, просто у меня плохое настроение?

— Но... Хорошо, Леонид, хорошо, прости. Ляжешь отдохнуть? Сварить кофе?

— Нет. Не надо. Спасибо. Извини...

Она пошла на кухню, стараясь тяжелые свои шаги сделать легкими.

У дверей позвонили... Гладилов протянул Анне Семеновне букет цветов. Цветы в апреле! И ясная белозубая улыбка.

— Я знаю, у вас сегодня торжественный день, извините за это вторжение. Поздравляю, от всей души поздравляю... Можно — лишь на минуту — увидеть Леонида Александровича?

Рогожин было обрадовался подвернувшейся разрядке, потом вспомнил, что так и не прочел гладиловскую рукопись,— неужто заведет разговор о ней?.. Плохо он подумал о своем аспиранте. Гладилов и не намекнул о диссертации. Он заглянул только, чтобы пожелать профессору новых счастливых дней и попутно сооб-

щить приятную весть. В обкоме очень хорошо воспринята статья Леонида Александровича.

— Ну, батенька мой, не моя — наша с вами. А с кем, интересно, вы беседовали? — Рогожин-то знал, что один сотрудник обкома — еще не обком.

— С Федюниным, по телефону. Игнатий Федотович, между прочим, сказал: «Это нам — помощь».

— Что ж, приятно слышать... Да что же вы стоите? Садитесь, пожалуйста. Аннушка, давай в круг, будем бражничать!..

11.

Дверь Агнии Львовне открыл сам Петров. Одет он был в пижамные брюки и простенькую застиранную куртку.

— О, приятный сюрприз! — пророкотал старик и тут же начал извиняться за свой вид.— Только что ушел столяр. Смастерил, знаете, великолепный стеллаж. Я, грешник, конечно, принялся немедленно сортировать книги, потому и одежку натянул подобающую.— Петров сделал шутейный реверанс.

— Я, Василий Николаевич, на минутку. Мне поручено...

— Проходите, уважаемая,— бесцеремонно перебил ее Петров,— устраивайтесь вот здесь, знакомьтесь. Подруга жизни моей, Дульсинея.— Сонно жмуря глаза, на Агнию Львовну вяло глянула большая ангорская кошка и, зевнув, отвернулась.— Я на одну секундочку.— Василий Николаевич исчез в двери, за которой виднелся на полу и стульях книжный развал.

Агния Львовна, присев на краешек тахты, покрытой громадным ярко-бордовым ковром, огляделась. Кроме тахты, в комнате были два вместительных книжных шкафа, радиоприемник и два стола — круглый обеденный и небольшой письменный у окна. «Марии Васильевны»,— догадалась Агния Львовна. Ей хотелось увидеть где-нибудь фотографии: ведь когда-то у Василия Николаевича была семья — фотографий не было. Лишь два изящных модернистских эстампа украшали стену над приемником. Комната выглядела вроде уютной, но уют был холодным, неприветливым. «Зачем они

повесили эти гладкие угрюмые гардины? — хозяйственно подумала Агния Львовна.— Здесь надо бы с этаким легким полупрозрачным рисуночком».

Кошка на тахте сладко потянулась, пушистой лапкой почесала за ухом и мягко спрыгнула на пол. В ту же секунду вошел Петров. Теперь он был в темном, превосходно сидевшем на нем костюме и при галстуке.

— Еще одну секунду, любезнейшая Агния Львовна.— Он стремительно прошел через комнату, направляясь к двери в прихожую.

— Но я по очень короткому делу...

Ее слова шлепнулись о его спину. Кошка вприпрыжку убежала за своим владыкой. Уже с кухни Петров весело возвестил:

— Кофий, Агния Львовна, будем пить, кофий. Наипрекраснейший напиток... А вы чего желаете-с, мадам? Молочка? — Лицо у Агнии Львовны вытянулось.— Сейчас, прекрасная моя Дульсинея, плеснем вам молочка...

Он еще что-то там произносил, любезно и витиевато — Агния Львовна не слушала. Сообразив, что профессор обращается уже не к ней, она перевела дух, встала и прошлась по комнате. Через полуоткрытую дверь был виден кабинет Петрова. Массивный письменный стол со множеством ящиков завалили рукописи и книги. Книги лежали и на диване, и на полу, многие из них были иностранными. Над диваном висела старинная картина (хотя Агния Львовна и плохо разбиралась в живописи, она сразу поняла, что это старинная и, как ей показалось, очень ценная картина), на которой в сумеречно-зеленой тени могучих деревьев отплясывали какой-то неприличный танец оголенные женщины. Агния Львовна отвернулась и, еще раз пройдясь по комнате, поправила прическу. «Что ж,— настраиваясь на чуть игривый лад, подумала она,— отчего и не выпить чашечку кофе, пусть и в неприятной компании этого чудака?»

Петров вовсе не выглядел чем-то расстроенным... Откуда ж Агнии Львовне было знать, как провел он два эти дня? Все метался по комнате, то яростно-злой, то раздумчивый, а сегодня, послав записку Рогожину, чтобы еще раз, может, в последний, поговорить неофи-

циально и прямо, всячески ругал себя за это, надеялся на встречу и разуверивался в ней и снова ругал то себя, то Леонида Александровича...

Он накрыл стол быстро и умело. Кофе оказался чудесным — ароматным и крепким, и кекс, хотя и покупной, был совсем недурен.

Прихлебывая кофе, Агния Львовна рассказала о цели своего визита и от имени Рогожина передала извинения.

— Ну, знаете, если уважаемый Леонид Александрович всякий раз будет извиняться через такую посредницу, я готов принимать его извинения хоть каждый день,— с явным уклоном в галантность пошутил Петров.

Агния Львовна не нашлась, что ответить, только легонько покачала головой, и это получилось у нее очень мило. Но лицо у нее стало вдруг грустно-потерянным. Отчего-то пришла мысль, что вот профессор Петров шутит с ней и даже говорит ей комплименты, как принято шутить и говорить комплименты всякой секретарше,— не как ровне. Лишь считанные люди, зная ее прошлое, относятся к ней с почтительным уважением и видят в ней не секретаршу, а вдову крупного инженера и ученого. И она когда-то принимала гостей, сервируя стол вот таким же дорогим фарфором, и у нее в квартире, большой и нарядной, стояла новая добротная мебель, и выслушивала Агния Львовна не такие вот натянутые, вынужденные комплименты, а ликующую хвалу ее красоте.

Она погрузилась в эти горестные мысли и не сразу поняла, о чем спрашивает ее Василий Николаевич.

— Простите, я что-то задумалась.

— Я говорю, давно хотел поинтересоваться, да все не было удобного случая, Варфоломей Никитич Линев — не ваш ли был супруг?

Агния Львовна чуть не задохнулась.

— Да, это мой муж. Варфоломей Никитич... Но откуда вы...

Петров положил тяжелую волосатую руку на ее пальцы, уцепившиеся за край стола.

— Знал я его. Мало, недолго, но знал. Великолепной души и редкого ума человек.

— Откуда же, Василий Николаевич?

— Приходилось встречаться на совещаниях по гидростроительству. Инженерам нужны иногда и мы, биологи... Я слышал, кончил он... трагически?

Агния Львовна сжалась, на лице ее вдруг резко обозначилась частая сеточка морщин, она покивала. Петров спросил мягко, опять касаясь своей ручищей ее пальцев:

— Очень трудно вам, Агния Львовна?

Она взглянула на него растерянно, пожала плечами и сделала рукой какой-то жалостливо протестующий жест. И вдруг быстро, путаясь в словах, перескакивая с одного на другое, неожиданно для себя стала рассказывать этому человеку о своей жизни. О том, как хорошо ей было с ее Варфоломеем, умным, уважаемым и обеспеченным человеком. Как гордилась она им и как помогала ему. И как все рухнуло, когда взрыв разнес плотину, а вместе с ней погубил создателя, творца. И уже никогда больше она его не видела и не увидит... Что значит трудно? Пусть бы и умножить все трудности, пусть! — было бы ради чего и ради кого! А вот этого-то как раз и нет. Валюша, их сын,— он так походил на Варфоломея — плавал на рыбацком сейнере, моряк был, и погиб: суденышко их разбило тайфуном. Она осталась одна. Совсем одна. Вот и работает, живет так, по привычке, по инерции, раз живая — надо жить.

Петров курил сигарету за сигаретой и слушал, легонько покачивая массивной седой головой. Агния Львовна немного успокоилась, рассказ ее потек ровнее, порой она даже пыталась улыбнуться, только улыбка никак не получалась.

— Вот так и живу, Василий Николаевич, никому не нужная бобылка. Воспоминания — это все, что есть у меня. Только воспоминания...

Он зачем-то прокашлялся и встал.

— Заварим-ка мы еще кофейку, а? Есть у меня ликерчик. С кофейком-то — хорошо... А насчет одиночества вашего — нарушим. На воскресенье приглашайте меня в гости. Я ведь кавалер еще хоть куда!

Опять он вел себя словно бы и бесцеремонно и фатовато, но это уже не претило Агнии Львовне.

Было поздно, когда пришла Мария. Гостье она не удивилась. Или не показала удивления. От кофе от-

казалась и, не поинтересовавшись, не помешает ли, забралась на тахту с книгой. Сказала:

— На ночь очень хорошо Лукреция читать. Сны снятся умные.

Агния Львовна спохватилась:

— Боже мой, как я засиделась! Уже одиннадцатый час.

— Пустяки,— благодушно сказал Петров.

— Сидите, Агния Львовна,— не то попросила, не то соблаговолила разрешить Мария.— Отец проводит вас. Он у меня ужасно галантный и очень любит провожать дам.

Это было сказано шутливо, с улыбочкой, однако шпилька, похоже, была со ржавчиной.

Агния Львовна поднялась. Василий Николаевич проводил ее до трамвая. Странно, но почти всю дорогу он молчал. Впрочем, Агния Львовна как-то не очень замечала это, поглощенная своими размышлениями. Она думала о сегодняшнем неожиданном вечере, о Петрове, он уже не казался ей неприятным чудаком, а представлялся вполне порядочным и милым человеком. Правда, сравнивать его с Леонидом Александровичем она еще не решалась.

12.

Рабочий день кончился, но Андрей задержался в редакции: еще с утра решил, что сегодня обязательно ответит двум старым авторам из числа дотошных писучих пенсионеров.

Эту категорию авторов газетчики порой недолюбливают и даже побаиваются, хотя и понимают, что пишут люди не столько от безделья, сколько от взыскующего сердца и, в общем-то, пусть и не всегда, приносят газете пользу. Авторы эти беспокойны и, хотя порой и мелочны, довольно объективны. Они до удивления настырны, влезают в каждую щелочку и при всем желании немедленно искоренить недостатки могут проявить чудеса выдержки, годами долбя в одну и ту же точку. Отвечать им надо очень вежливо, обстоятельно и хитро, ибо, почуя слабинку или фальшь, они без стеснения будут обращаться в инстанции наиболее высокие и

способны доставить хлопоты, расхлебывать которые придется с еще бо́льшей тратой нервов.

Однако на сей раз на письма пенсионеров Андрей отвечал почти машинально: думать мешал Косарик. Оторвавшись от очередной передовой, Ефим Семенович зашел к Перевалову, чтобы встряхнуться и, меряя комнату мелкими нервными шажками, размышлял вслух, искренне считая при этом, что интеллектуально обогащает молодого коллегу.

— Бегите, Андрей Николаевич,— говорил он,— бегите из газеты обязательно до сорока лет. Иначе она издергает вас, иссушит, выхолостит — выйдете в тираж. Вы согласны со мной? О, сейчас вы еще полны сил и не понимаете этого, однако потом поймете. Но потом будет поздно. Так что вы послушайте меня, послушайте. Я, знаете, думаю об этом написать. У меня уже сложилась в голове неплохая повестушка. Только все не хватает времени сесть за нее. Надо лишь записать. Есть интересные наблюдения. И целый ряд проблем. Взять наше сельское хозяйство...

В чем, однако, состояла точка зрения Косарика на сельское хозяйство, Перевалову не удалось выяснить: в комнату вошел Белкин и, презрев вежливость, оборвал Ефима Семеновича:

— Где передовая? Бурков уже кипит.

— Что? Передовая? Пустяки,— Косарик энергично взмахнул рукой, величественно взъерошил шевелюру и, уже напрявляясь в свою комнату, пообещал: — Через двадцать минут сдам.

Белкин скосил глаза на стол Андрея:

— Письма? Складывай в ящик. Пойдем со мной обедать. Или ужинать? Дома у меня — сам знаешь...

Андрей знал. Жена Белкина, довольно известная и талантливая художница, не признавала ничего, кроме своей работы. Как и где питалась она, Степан Васильевич толком не знал, сам же держался в основном на типографской столовой. С доброй завистью говорил он о других семьях, где все «по-людски», но гостить в них не любил.

— Ну так как? — нетерпеливо спросил Белкин; его нижняя губа начала оттопыриваться.

Андрей понимал: Степан Васильевич, превозмогая еще не совсем утихшую злость, идет на примире-

ние. После публикации рогожинской статьи они переругались. Поскандалил Андрей и с Кислицыным, но Белкину досталось больше: все же человек, должен понимать. Андрей чувствовал и свою вину: не надо было, не удостоверившись во всем окончательно, сдавать материал в набор. Но и чувство собственной вины, и обиду на грубую кислицынскую правку — все это он вылил на голову Степана Васильевича. Ссора была из редких между ними, и вот теперь Белкин, видимо, хотел снять с сердца досаду — шел на мировую.

Андрей понимающе улыбнулся и кивнул:

— Идем...

Несмотря на субботний вечер, посетителей в ресторане было немного. Белкин и Перевалов заняли столик в углу зала, медлительная официантка положила перед ними меню и направилась к своим товаркам, шушукающимся о чем-то за служебным столиком.

— Две бутылки пива,— успел крикнуть вслед ей Белкин и уткнулся в меню.

Они долго сидели, скучая, курили и ленивым, нарочито равнодушным «ресторанным» взором оглядывали полупустой зал. Разговор еще не клеился.

А поговорить с Белкиным Андрею хотелось. Теперь, когда горячность прошла и обида стушевалась, все больше проступало пока еще смутное понимание несправедливости к Петрову. Почему, собственно, он, Андрей, выслушав только одну сторону — Гладилова и Рогожина, спокойно отправил их статью в набор? Только потому, что Рогожин возглавляет институт? Или потому, что за статью ратовал Федюнин? Но ведь Федюнину Андрей пытался что-то возразить. Впрочем, именно лишь пытался: чуть поершился, будто ради бравады, и на том смирился. Значит, убежденности в том, что необходимо сравнить различные точки зрения, не было?

Не идет ли он вразрез с теми принципами, которые считает для себя, журналиста, обязательными? Или они остаются для него истинами книжными, не вызревшими во внутреннюю необходимость? Как же тогда он со спокойной совестью работает в газете, считает себя поборником истины и справедливости? Имеет ли он право на это?..

Его размышления прервал Белкин.

— Что ж она совсем забыла нас? — сердито буркнул Степан Васильевич, высматривая официантку.

Андрей тоже оглянулся и сразу же увидел входившую в ресторан Марию Петрову. Локоть ее поддерживал улыбающийся, видимо, какой-то только что произнесенной шутке Гладилов. Приостановившись, он указал ей на свободный столик у окна, но Мария в этот миг заметила Андрея. Приветственно подняв руку, она что-то сказала, кивая на Перевалова. Гладилов поклонился издали и мягко повернул Марию к столику у окна. Она все же направилась к Андрею. Гладилов двинулся вслед.

Мария подходила с улыбкой. В элегантном вечернем платье она выглядела броско женственной.

Андрей познакомил их с Белкиным. Сразу же появившаяся официантка поставила вазу с фруктами, и Степан Васильевич незаметно поморщился. Теперь молчать было уже неудобно, но, слава аллаху, Гладилов, видать, был обучен застольным разговорам. Непринужденно он стал рассказывать о болгарской кухне, с которой познакомился в туристской поездке, потом насмешил анекдотами о кухне армянской и, наконец, поведал, как надо готовить позы по-казахски и какая это отличная вещь.

— Мы думаем печатать в воскресных номерах постоянный раздельчик «Советы старого повара», — усмехнулся Белкин.— Не возьметесь вести его?

— С удовольствием. Если не будет обид на излишек соли и перца... А коли всерьез, собираюсь писать специально для вас новую большую статью. Конечно, не о кулинарии. Но об этом — не сейчас. Я как-нибудь зайду к Андрею Николаевичу и поделюсь своим замыслом.

— Милости просим,— без особого энтузиазма согласился Белкин и обрадовался: — На горизонте — калории!

Выпили — не без доли чопорности — за знакомство, и Гладилов заговорил о том, что хорошо бы почаще встречаться им, интеллигентам разных специальностей, вот так, без всякой официальности, а то замыкаешься в кругу профессиональных интересов и тем — недолго и закиснуть.

— Бросьте, Петр Анатольевич,— сказала Мария.—

Встретились — и ладно. Хотите еще — пожалуйста... Отличная лососина... Здесь танцуют?

— Разве ученые способны на этакое легкомыслие? — прищурился на нее из-под очков Белкин.

«Зачем эта подковырка полувековой давности? — подумал Андрей.— Тоже в тираж выходит старик?»

— Ученые способны не только на «этакое»,— весело погрозила Мария.— Вот погодите ужо...

От супа Андрей отказался и теперь уныло ждал отбивной.

— Дайте чистую ложку,— попросила у официантки Мария.— Держите, Андрей, хлебайте у меня селянку. Не стесняйтесь, по-родственному. Ну! — Она сама зачерпнула густой ароматной жижи и почти насильно влила ему, как ребенку, в рот.

— Превосходное хлебово! — бодренько сказал Андрей, взял ложку и, похмыкивая от смущения, принялся за еду.

Заиграл оркестр. Между столиками начали топтаться первые пары. Гладилов встал:

— Мария Васильевна, кто-то хотел танцевать.

— О! Благодарю.

Они пошли легко и красиво. Гладилов вел уверенно, чуть небрежно.

— Вот он, значит, какой, этот Гладилов,— неопределенно протянул Белкин.— Хотел я посидеть по-мужски, а не получилось.

— Да,— кивнул Андрей,— некстати они...

Разговор не вязался.

— Вот как ученые-то! — задорно сказала Мария, порозовевшая, с упавшей на лоб прядью волос, садясь на свое место.

— А когда будет «еще и не этакое»? — поинтересовался Белкин.

— До чего же все мужчины сегодня памятливые! Потерпите, может, будет «и не этакое». Ну вот, например... Андрей Николаевич, давайте пить на брудершафт. Прошу учесть, однако, товарищи, что этот брудершафт для нас совершенно естествен. Братство истинное. Ибо сей муж — муж моей сестры.— Заметив удивленные взгляды, Мария лишь улыбнулась. — Другие семейные тайны мы открывать пока не будем. Ну, Андрей!..

Гладилов посматривал на них настороженно.

Переплетя руки по старинному ритуалу, они выпили, и Андрей неуклюже поцеловал ее; за соседними столиками на них оглядывались.

— Теперь танцевать! — Мария потянула Андрея.

Опять ему было стыдно своего мелковатого роста. Прямо перед ним маячил ее бледный высокий лоб и в упор смотрели казавшиеся черными глаза.

— Молчун ты у меня, братец,— сказала Мария, ему показалось, с нежностью.

Он только кивнул, сказал, сглотнув слюну: «ага» — и тут же сбился с ритма.

— Ты почаще улыбайся, Андрей,— сказала Мария,— у тебя хорошая улыбка. И вообще улыбаться полезно. Даже для пищеварения.

Он взглянул на нее — лицо ее было вполне серьезным.

Когда они вернулись к столику, Гладилов и Белкин оживленно беседовали.

— Просвещает твоего приятеля,— шепнула Мария.

— Ну да, как же! — горячился Степан Васильевич.— Этак-то еще до пришествия христова древние скотоводы улучшали скот. Ведь по существу дела ничего вы не изменили.

— Верно, — с заметным снисхождением кивнул Гладилов.— Я вам могу привести такой факт. Английские коневоды гордятся, что руководствуются принципами, которые письменно изложены в Месопотамии еще в четырнадцатом веке до нашей эры. Они по сей день остались неизменными. Недалеко ушли и мы. Наши селекционеры до мичуринского учения, до Лысенко, до Иванова работали вслепую. В том и заключается наша сила, что теперь у нас в руках изрядной мощности прожектор.

— Только светит он все в одну сторону,— буркнул Белкин.

— Как и положено прожектору. Он высветил нам путь в борьбе с морганистами, да простит мне Мария Васильевна.— Гладилов не поленился даже отвесить ей полупоклон.— Впрочем, надо сказать, борьбу эту мы вели не без помощи и газетчиков.— Теперь Гладилов с хитринкой прищурился на Белкина.

Андрею сделалось неловко от этого, хотя и почти

невольного, наскока на дочь Петрова и от упоминания о помощи газетчиков: опять тронули больное. Однако вступить в разговор он не рискнул: слишком уж поверхностны были его познания в биологии и, тем паче, в селекции. Он скосил глаза на Марию. Невозмутимая, она лениво ела мороженое, только в чуть подрагивающих опущенных ресницах ощущались настороженность и напряжение.

— Поживем — увидим,— пошел на компромисс Белкин.

За столиком неподалеку вдруг радостно загалдели. Андрей обернулся: к той компании подходили какой-то парень и... Варя Нукина. Ее встретили как старую знакомую и сразу же протянули фужер с вином.

— Черт! — сорвалось у Андрея.

— Что такое?

— Зачем этих сосунков пускают в рестораны?

— А сам ты когда заглянул в ресторан? — усмехнулась Мария.

— Уже после войны, после армии.

— Значит, просто вам помешала война,— подхватил разговор Гладилов. Склонившись к Марии, он шепнул:— Взгляните, тот, что рядом с этой девицей, отпрыск Рогожина. Владлен Леонидович.— И, усмехнувшись, снова обратился к Андрею: — Война помешала, так? Но ведь виновата в этом не нынешняя молодежь. Зачем же на нее злиться?

— Затем, что ей тут не место!

— Ерунда, милый Андрей.— Голос Марии прозвучал пренебрежительно.— Очень уж модно стало валить на юность всяческие вины.

— Это всегда было модно,— сказал Белкин.— Люди склонны забывать свои прежние грехи и становятся брюзгливыми.

— Однако нынче,— поддержал Марию Гладилов,— нападки на молодежь, по-моему, слишком уж настойчивы.

— А она ни в чем не виновата,— с ехидцей вставил Белкин.

— Мы все виноваты,— сказала Мария запальчиво.— Да-да. Ссылаются на войну, на безотцовщину, на утрату идеалов. Может быть, и надо думать об этом, но я сужу как биолог. Если у человечества есть повод

тревожиться — так за свое будущее. Мы выращиваем все больше неженок, рахитиков и дебилов.

— Дебилы,— сморщил нос Степан Васильевич,— это что-то вроде идиотов?

— Без «вроде». Тепличные условия, которые изо всех сил создаются разными попечителями от цивилизации, уничтожили возможность естественного отбора и множат людей неполноценных.

Она сказала это сердитой скороговоркой, побрякивая ложкой о край вазочки и не глядя на собеседников, будто боясь своим взором уколоть кого-нибудь из них.

— Ну, знаете...— начал Белкин и умолк.

— Что-то ты перегибаешь, Мария,— сказал Андрей как можно мягче, хотя на языке вертелось очень злое сравнение с фашистами.— И потом я, например, имел в виду совсем другое: я вел речь о нормальных молодых людях.

— Все равно,— упрямо сказала Мария и теперь взглянула на Гладилова, как бы бросая ему вызов,— я ведь говорю не об уничтожении, а о совершенствовании человеческого рода.

— Породы, вы хотели сказать,— попытался шутливо поправить Гладилов.

— Я сказала то, что хотела. Порода — это уже по вашей части.

«Н-да,— подумал Андрей,— на зубы ей лучше не попадаться, огрызка волчья»,— и сказал:

— Ну-ну, ученые леди и джентльмены, вы не в своем институте, ваши споры нам со Степаном Васильевичем не так уж интересны. Скажи-ка лучше, Мария, что твоя машина? Таня говорила, уже прибыла.

Она улыбнулась, хотя и не без едкости.

— Значит, споры тебе не по душе, брат Андрей?.. Машина пришла. А девать ее некуда. Правда, Петр Анатольевич грозился приспособить чей-то гараж. Вы еще не изменили своего решения, мой уважаемый кавалер?

— Пока еще нет,— сказал Гладилов.

— Значит, терпите меня. Ну и отлично... А в семейные норы, граждане собутыльники, вас не потянуло? Меня — да.

...Они шли по ночной улице молча. Гладилова Мария спровадила, сказав, что лучшие провожатые

всегда — родственники. Белкин, прощаясь, смешливо посочувствовал Андрею.

— Не надо слез,— в тон ему сказала Мария и взяла Андрея под руку.

Ее каблуки звонко стучали по подстывшему асфальту. Андрей все никак не мог приноровиться к этому упругому легкому шагу. На улицах было пустынно. Изредка погромыхивали мимо трамваи. Пахло заводским каленым железом и не пахло весной.

— Это с чего товарищ Гладилов взялся ухаживать за дочерью профессора Петрова? — стараясь, чтобы в голосе звучала усмешка, спросил Андрей.

— А если не за дочерью профессора, а просто за мной?

— Тоже может быть,— сразу согласился он.

— Нет, не может. Он — за дочерью. Я таких знаю. Муж у меня был такой. Я его прогнала.

Андрей взглянул на нее. Лицо выглядело беззаботным, едва приметная злость была лишь в голосе. Неожиданно Мария метнулась на мостовую, навстречу зеленому огоньку такси:

— Едем за город? Проститься с зимой...

Машина шла ходко, шины звенели на брусчатке.

— Люблю, когда быстро,— сказала Мария и, сняв шляпку, тряхнула головой. Волосы ее коснулись лица Андрея, смутно блеснули глаза.

Шофер услышал, еще добавил газа — машина ринулась, словно по гудящей вибрирующей струне. Обочины дороги слились в бешено струящиеся темно-серые полосы.

— Вот так,— выдохнула Мария и, закрыв глаза, откинулась на спинку сиденья.

Андрей почувствовал, как бьется сердце, и закурил.

Сбавив ход, машина свернула с шоссе и на проселок и минут через пять остановилась на небольшой лесной поляне. Подплавленные дневным солнцем, ноздреватые сугробы покрывали землю. Ночь обманывала: снег казался совсем белым. Лучи фар уперлись в подлесок, высветив густую заросль елочек; золотистые колонны сосен пятились от автомобиля в непроглядную темень.

Выйдя из машины, Мария огляделась счастливо, жадно вдохнула густой смолистый воздух и, раскинув

руки, бухнулась спиной в снег. Шофер смущенно крякнул и сделал вид, что осматривает мотор. Мария рассмеялась и вскочила.

— Давайте жечь костер! А фары потушим.

Шофер — он был в сапогах — утоптал снег в сторонке от машины, сложил небольшую кучку хвороста и поджег. Фары выключили, и сразу стало видно, какое большое синее небо с блеклыми северными звездами нависло над землей. Черный лес стал загадочным, обещающим сумрачную сказку.

Каким маленьким и жалким и каким всемогущим был этот трепетный огонь на снегу! Легонько привалившись к Андрею, Мария сказала:

— Все очень любят смотреть в огонь, правда? В эти минуты в нас просыпается, наверное, кровь далеких предков. И, может быть,— потомков. Вот как ахнут по городам водородные бомбы — уцелевшие люди уйдут в леса. И вот так же будут жаться у костров великие и беспомощные создания, рабы своего разума.

— Это почему рабы? — насторожился шофер.

— На лирику ее потянуло,— усмехнулся Андрей.— А в лирике смысл — не всегда.

Мария возразила:

— У меня — всегда. Конечно, рабы. Мы же подчиняемся всему, что напридумывали сами. Изобрели атомную бомбу — боимся ее. Насочиняли всяческую химию — ею же и травимся. Придумали законы морали — и перед ними лапки вверх.

— Э, да ты анархистка,— сказал Андрей.

— Отчего же? Я просто констатирую существующее положение.

— Опасная философия,— покрутил головой шофер. Он был пожилой и, видать, с убеждениями.— Как же можно жить без установленного порядка? Эдак и государство не понадобится? Тоже установленный нами порядок.

— Ну зачем так? — поморщилась Мария.— Я вообще...

— А и вообще — тоже. И в мелочах. Есть, например, порядок в правилах движения транспорта. Тоже человек установил. Отмените — хаос получится.

— И верно ведь, — улыбнулась Мария,— в анархистки записали. Ну что ж. Порядок требует, чтобы

люди по ночам спали, а вот я вас в лес утащила. Нехорошо?

— Ну, это дело частное, это за ваши денежки,— насупился шофер.

Они помолчали. Костер утухал. Стыла ночь. Лес шуршал чуть слышно.

— За́мань,— тихо сказала Мария, не отрывая глаз от темной хвойной чащи.— Заманивает. Пойдем? — Она ухватила Андрея за руку и потянула за собой.

Ноги проваливались в снег, наст царапал их, в ботинках стало холодно и мокро.

— Нет,— вздохнула Мария,— это хорошо только издали.

Они вернулись, забросали снегом угли и влезли в машину. Всю дорогу до города Мария сидела нахохлившись, усталая и скучная.

Андрей курил и думал о Марии. Какая она? Сегодня она могла показаться этакой пошленькой обольстительницей, но он чувствовал: это неправда. Она мечется. То легкомысленная, то задумчивая. То вызывающе острая и злая, то беспомощная. Видимо, в жизни ее было когда-то что-то очень горькое...

13.

В воскресенье Андрей с утра ощущал на себе настороженное, бдительное око сына: парнишке был обещан поход в зоопарк, и сын беспокоился, как бы папа не улизнул куда-нибудь. Андрей же вел себя вполне прилично: уходить никуда не собирался, был занят важными хозяйственными делами — точил ножи, заменил сломавшуюся ручку у поломойки, починил перегоревший штепсель утюга.

Таня перешивала пуговицы на сынишкином пальто, потом обнаружила, что порван карман, и принялась за него, вздохнув смешливо и выразительно.

— Ничего,— бодро сказал Андрей.— Я на той неделе должен сделать большой и, конечно, талантливый очерк, гонорар пустим на Вовкину экипировку.

— А ты не разучился очерки-то писать? — кольнула Таня, склоняясь над шитьем.— Что-то давно их у тебя не было. Я не о деньгах — о тебе.

— Не знаю, посмотрим,— сухо отозвался Андрей.

Он не любил, когда жена заводила речь о его профессиональных делах. Как можно судить о них, не разбираясь в тонкостях? А тонкости ее, похоже, не интересовали. Любопытства в ней было вполне достаточно, любознательностью же, по его мнению, она не отличалась. А может, он сам отбил охоту у Тани вникать в его дела? Впрочем, и в своей работе она, как представлялось Андрею, не стремится уйти в глубину, боясь, наверное, не выплыть, не пробиться сквозь толщу непонятных наукой фактов и явлений. Тему своей диссертации тщательно обсасывает с поверхности, не пытаясь в нее вгрызаться. И, хотя не признается в этом, диссертация, должно быть, увлекает ее не сама по себе, а как дорожка к благополучию.

Он искоса взглянул на жену — под лохматенькой челкой хмурились тонкие брови. Хмурилась Таня редко, это было не очень привычно. О чем она размышляет? С нежданной и грустной растерянностью Андрей подумал, что, несмотря на семь лет супружества, он жену свою знает в общем-то плохо.

Таня подняла глаза на него.

— Слушай, я уже несколько дней хочу спросить тебя...— Она замялась, Андрей понял, что разговор предстоит неприятный.— Статью Рогожина, насколько я понимаю, готовил к печати ты. Откуда в ней этот полицейский тон? Как ты, не разобравшись в деле, позволил вытащить на страницы газеты совершенно огульные старорежимные обвинения? Снова трубите поход против классической генетики? Ты сам-то хоть понимаешь, что к чему?

— А ты понимаешь, что газета — это вовсе не я? Газету делает коллектив. Делают Бурков, Кислицын, Белкин, я, Косарик и десятки других людей.

— И каждый может воткнуть угодную ему формулировку? Я же не девочка из пятого класса... Знаешь, у нас в институте многих статья возмутила, а кое-кого и напугала.

Андрей досадливо поморщился.

— Я знаю, получилось нехорошо. Она должна была появиться в несколько другом виде. Мне хотелось предварительно переговорить и с Василием Николаевичем, но...

Стук в дверь прервал его. На пороге стоял Василий

Николаевич Петров. Бас его сразу же заполнил комнату.

— Слушайте, маэстро, когда у вас появится телефон? Журналист без телефона — что кучер без хлыста... Танюша, я хочу похитить твоего благоверного для визита к одной даме. Объяснять не буду, потом он тебе все доложит.

Из спальни вернулся Володька.

— Деда, а мы в зоопарк идем. Пойдем с нами?

— В зоопарк — это отлично. Это, Владимир Андреевич, доложу тебе, цивилизация. Живое чучело природы. Очень поучительно.

Интонация непонятных фраз была одобрительной, и Володька истолковал их по-своему:

— Мам, деда с нами идет. Урра!

Папа, искоса поглядывая на маму, объяснил Володьке ситуацию более популярно. Парнишка было скуксился, но боязнь потерять и последнюю возможность попасть в зоопарк заставила его смириться с походом в компании одной лишь мамы.

Уже с порога Петров сообщил Тане:

— Вчера был у меня твой протеже Михайло Нукин. Мальчишечка для науки хлипкий, но духом вроде подходящ. Пристроим.

Большой, грузный, Василий Николаевич шагал размашисто и быстро, на ходу объясняя Андрею, куда его тащит.

— Собрался я нагрянуть к одной уставшей одинокой женщине по имени Агния Львовна Линева. Вы, полагаю, мельком знакомы: это секретарь нашего достопочтенного Леонида Александровича.

Андрей помнил эту женщину, идти к ней ему вовсе не хотелось,— с чего это? Но Петров очень просил: он считал, что идти ему одному к женщине малознакомой неудобно.

— Идемте, идемте, Василий Николаевич,— подбодрил Андрей и себя и снизу вверх глянул на Петрова.— Прихватить бутылку вина с собой — это будет очень вульгарно?

— Вообще — нет, в данном случае — не стоит: она живет скромно. Цветов мы не найдем, а коробку конфет можно.— Петров хотел еще что-то добавить, но промолчал и полез в карман за сигаретой.

Молча пройдя с полквартала, он сказал с усмешкой:

— Умные люди попы. Они не проходят мимо тех, кто сир и убог, прихватывают. Невредно нам у них и поучиться. А?

Андрей не понял, шутит Петров или всерьез. Он все ждал, что Василий Николаевич заведет речь о статье,— наверное, для того и позвал, а посещение знакомой — лишь предлог. Но ни о статье, ни об институтских делах не было сказано ни слова. Сам же начинать этот неприятный и стыдный для себя разговор Андрей не решался...

Агния Львовна жила в небольшой чистенькой комнате с добротной, но очень старой мебелью. В уголке за ситцевой занавеской стоял стол с электрической плиткой: видно, хозяйка не любила общую с соседями кухню. Из-под полотенца, лежавшего возле плитки, виднелись резиновые перчатки. Андрей подавил улыбку, вспомнив, как рисовал себе быт секретарши Рогожина: совпадало.

Агния Львовна была смущена и, должно быть, обрадована. Хотя и сказала, что никак не ждала визита Василия Николаевича, было похоже, что притворялась. Скорой рукой накрыла стол, и на нем оказалась еда, приятная и разнообразная. Из настенного шкафчика, заменявшего буфет, Агния Львовна достала бутылку мадеры:

— На ваше счастье. Завалялась давно, еще с Нового года.

Эта марка мадеры появилась в городских магазинах лишь несколько дней назад; выходит, ждала Агния Львовна визита.

За столом говорил в основном Василий Николаевич. Разговор вел умело, собеседники хотя и молчали, ощущали себя именно собеседниками, а не слушателями. Андрей исподтишка приглядывался к хозяйке. Сегодня она показалась ему симпатичной. В поблекших ее глазах часто вспыхивала живая заинтересованность — наверное, когда-то эта женщина была совсем не безразличной не только к собственной жизни, но и ко всему, что ее окружало. Прошлого Агнии Львовны Петров никак не касался, а распространялся на темы околонаучные.

Вдруг,— а может, и вовсе не вдруг,— он заметил гитару на стене и заинтересовался, не музицирует ли Агния Львовна. Она чуть порозовела и ответила, что иногда к ней приходит подруга, они вспоминают старинные романсы, а вообще-то музыкой не занимается давно, с тех пор, как продала свою арфу. И неприметно вздохнула, пряча руки за скатерть.

— Может, вы, Василий Николаевич?.. Я бы с удовольствием послушала.

— Что вы, что вы! — сказал Петров, однако встал и взял гитару.— Юным будучи, бренчал, а сейчас... я и песенок-то модных не знаю.

Он легонько перебирал струны, прислушиваясь к ним, и неожиданно запел. Песня была древняя.

Что на синем славном море Хвалынском
Сходились мазурушки персидские
Да низовые бурлаченьки беспашпортные.
Они думали-гадали думу крепкую:
«Вот кому из нас, ребятушки, атаманом быть?»
«Атаманом быть Степану Тимофеичу!»
Атаман речь сговорил, как в трубу струбил:
«Не пора ли нам, ребята, со синя моря
Да на матушку Волгу, на быстру реку...»

Пел Василий Николаевич вроде и негромко, но сила низкого густого баса так и рвалась из него. Не только от песни, напевной и гулкой,— от него самого, от могутного тела его, от крупных грубоватых черт лица веяло духом разбойной волжской вольницы. «Живи он века на два раньше — отличный бы получился из него атаман»,— мелькнуло у Андрея. Он сказал об этом. Петрову, похоже, слова Андрея пришлись по душе. Он даже голову закинул молодечески.

— А что ж, и получился бы! Я, entre nous *, тех самых кровей и есть. Не вру. Впрочем, может, и вру, однако было в семье предание, что род наш идет от какого-то Петра, сподвижника и даже сродственника Степана Разина. В роду этом лихие чудаки бывали. Вот, скажем, прапрадед мой по отцу. Умственный, видать, был мужик и дотошный. Отслужил он длинную солдатскую службу и пристроился где-то писарем. Грамотей был. И почему-то увлекался географией. Посчитал он объем Гольфстрима, перебрал известные

* Entre nous (фр.) — между нами.

ему карты и решил, что за Грумантом, то бишь за Шпицбергеном, ветвь Гольфстрима должна упереться в некие теплые острова. Уж не знаю как, а подбил он несколько человек, в том числе и богатенького, снарядили они экспедицию и поплыли. Уплыли — и нет их. Год прошел, три года, семь — все нет. Потом объявился старик. Где же он пропадал?

Оказывается, выяснила экспедиция, что никаких теплых островов в Ледовитом океане нет. Повернула она обратно, к родимым берегам, а тут — шторм, дичайший, и оказался наш путешественник со товарищи аж в Исландии. Прибыли они во Францию, денег нет, подрядились сопровождать купцов в Марокко. Вестимо, дело скользкое, прадед мой попал в плен к арабам. Однако выкрутился, единоверные греки помогли ему бежать и товарищей вызволить. Очутился он в Греции и там узнал, что государыня Екатерина в состоянии войны с Оттоманской империей. Что же сделал старый солдат? Напал со своей ватагой на турецкое судно, овладел им и начал на Эгейском море ка́перство. В пираты записался. Но и тут еще точки не воспоследовало. Уловили старика турки. Снова плен и снова побег. На анатолийском побережье сколотил он форменный партизанский отряд. Это уже в семьдесят с лишком лет. Изловчились мужики и захватили три турецких корабля. Их-то и привел мой прапрадед к светлейшему Потемкину, за что жалован был серебром и медалью. Пропил, стервец, все награды, и сын его, мой прадед, бурлачил на Волге.

Агния Львовна, слушая его, даже разрумянилась.

— А дед мой,— не без горделивости продолжал Петров,— состоя на военной службе в Польше, в шестидесятые годы прошлого века стал членом тайной революционной организации. Был у него дружок — Андрей Афанасьевич Потебня, брат известного филолога, наверное, слышали. Тот погиб в рядах повстанческого отряда, а дед мой угодил во Сибирь. Отец же по царским казематам отсидел чуть не четверть века, состоял в переписке с Плехановым и жизнь положил на алтарь нового Отечества.

Последнюю фразу Василий Николаевич произнес уже скороговоркой и, сделавшись задумчивым, помолчал. Потом все-таки улыбнулся:

— Похвальбишка, скажете? Ан нет. Просто это любопытственно. Был бы я писучим, вроде Андрея Николаевича, сочинил бы «Деяния предков моих». Удивительно, как изменчивы бывают судьбы. В книге прочитаешь — скажешь: навыдумывал, чернильная душа, а жизнь-то, она сюжеты строит еще похитрее.

— Вам бы мемуары писать, Василий Николаевич,— осторожно сказала Агния Львовна.

Петров только хмыкнул.

Андрей улыбнулся:

— Один из наших деятелей, некто Кислицын, утверждает, что мемуары — вещь опасная, писать их следует, лишь оказавшись на том свете.

Агния Львовна искоса глянула на него:

— Кислицын — Николай Петрович? Вот такой? — Поджав губы и прищурившись, она пальцами скользнула по левому глазу, изображая повязку.

— Такой. Вы знаете его?

Она замялась.

— Не столько знаю, сколько слышала... Ну, это между прочим. Василий Николаевич, хотите посмотреть коллекцию сына? Марки. Знающие люди говорили, что собрание редкое.

Андрей рассматривал альбомы без особого интереса, из вежливости. Василий же Николаевич вцепился в них, как заядлый марочник, восхищался, вспоминал какие-то эпизоды из истории почтовой графики и даже попросил лупу.

— Да-да,— оживилась Агния Львовна,— сейчас я дам. Валюша тоже всегда пользовался лупой. А вы, как я вижу, увлекаетесь этим?

— О нет, в филателии я профан и коллекционированием никогда не занимался. Но, знаете, забава из полезных.

Агния Львовна повторяла свое «да-да», будто Петров высказывал невесть какие значительные мысли. Вообще визит этот окрылил ее. Вот пришли два человека, это ведь не то, что ее подруга, у этих важные дела и заботы, а они все-таки пришли и сидят, разговаривают о разных разностях, им интересно у нее. «Надо выбросить из комнаты эту несчастную плитку, портит весь вид,— подумала Агния Львовна.— И завтра же отнесу перешивать бордовое платье»...

Двумя или тремя днями позже Андрей нечаянно проболтался об этом визите. Белкин просил у Кислицына отодрать марки с письма из Чехословакии: он коллекционировал их. Андрей, сидевший тут же, сказал:

— Ох, Степан Васильевич, какое сокровище для тебя узрел я в одном доме. Богатейшая коллекция. Забрели мы с Петровым к его знакомой старушке... Я тебя с ней сведу. Агния Львовна Линева, секретарь Рогожина.— Тут он вспомнил разговор о Кислицине и допустил еще одну оплошку.— Да, Николай Петрович, вы ведь знакомы с ней?

Кислицын задумчиво прищурил глаз.

— Линева, говорите?... Нет, что-то не помню.

14.

Он прекрасно ее помнил. И в тот же вечер позвонил Рогожину.

— Как бы нам встретиться, дорогой? Давненько я тебя не наблюдал. К тому же есть разговор.

Земляки, они поддерживали так называемые добрые отношения, хотя друг друга в общем недолюбливали. У каждого были на то свои основания.

— Давай завтра,— предложил Рогожин.— В любое время, кроме утренних часов, я буду дома.

Неудачный, черный день выбрал Леонид Александрович для этого свидания.

С утра он предупредил Агнию Львовну, что в институте сегодня не появится. К этому дню он давно готовился исподволь, вначале и не сознавая даже, что готовится. Давно он подумывал, что все же надо бы как-то познакомиться с работами, отражающими современное состояние морганизма. Что-то в той «лженауке» происходило, о движении ее говорили все громче, кое-что попадало и в общую прессу, недаром ведь морганисты начали поднимать головы. Дело зашло, должно быть, далеко, если Петров находит официальную и, судя по всему, активную поддержку в Академии наук. К Тертуллиановскому «верю, потому что это абсурдно» Рогожин относился неуважительно, хотя нынешние физики и щеголяли подобными парадоксами.

Эти мысли копошились смутно, но настойчиво, и особенно начали волновать Леонида Александровича после его собственной статьи в областной газете. Некоторая растерянность его усугублялась тем, что он не очень-то представлял себе, какие аргументы может дать в руки оппонентов сегодняшняя научная жизнь.

Заранее он составил примерный списочек необходимых для первого знакомства книг, но все не решался сделать этот шаг — отправиться в публичную библиотеку. Воспользоваться библиотекой институтской он не хотел: кто знает, как будет истолкован его неожиданный интерес к формальной генетике? Наконец, он назначил себе этот день — и сразу ощутил что-то вроде облегчения, словно одно только посещение библиотеки могло снять сомнения и страхи, поселившиеся в душе.

Настроение у Рогожина с утра было хорошее, он чувствовал себя сильным, решительным и энергичным.

На улице было не по-майски жарко и душно, пахло раскаленным асфальтом и бензином. Леонид Александрович представил, как он, профессор Рогожин, утирая пот с лица, будет стоять с другими в непривычной для него очереди к библиотекарю, и настроение несколько сникло.

Библиотека перебралась в новое здание, все было здесь незнакомо Леониду Александровичу, но удобно. Востроглазая, мило картавящая девушка в научном зале предупредила, что нужные книги будут доставлены минут через сорок, и посоветовала пройти в иностранный отдел,— там по интересующим читателя вопросам много свежей литературы, занимается ею человек компетентный и отзывчивый, он подскажет Леониду Александровичу, какие новинки стоит посмотреть.

Приободренный, снова чувствуя себя уверенным и сильным, Рогожин проследовал в иностранный отдел. Здесь тоже была очень милая девушка, она выслушала его так же приветливо и попросила минутку подождать.

— Сейчас придет Марк Романович, он вами займется.

Леонид Александрович благосклонно кивнул, огля-

делся и направился к ящикам каталога. Он просматривал карточки и вначале не обратил особого внимания на разговор за спиной. Но все же голоса — той девушки и чей-то мужской — дошли до него, он ощутил какое-то беспокойство, и вдруг его словно током ударило. «Марк Романович? Это же Гринфельд!»

Леонид Александрович, не поднимая головы, чуть повернул ее и скосил глаза. У стеллажей, оживленно разговаривая с девушкой, знакомо и нелепо размахивал руками Марк Гринфельд. Рогожин узнал его сразу, хотя они не виделись почти пятнадцать лет. Ни с чьими нельзя было спутать этот падающий назад громадный лоб, дикие черные брови, крупный нос без переносицы и большие толстые губы. Рогожин сразу покрылся испариной, сердце защемило.

Так вот кто этот «компетентный человек»! И к нему-то Леонид Александрович должен обратиться за советом по новейшим работам морганистов?! Он ждал, что сейчас его окликнут, как ждут удара ножом. Разговор за спиной прекратился, раздалось фырканье: Гринфельд чему-то смеялся. Потом он сказал: «Я на секунду, ополосну только руки», и Рогожин замер: пройдет мимо, по залу, или у них там служебный ход в туалет? Мимо никто не прошел. Леонид Александрович вытер со лба липкий пот, выпрямился и, деревянный, направился к выходу. Девушка окликнула его; не оборачиваясь, он пробормотал: «Я сейчас» — и почти побежал.

На улице ему стало совсем плохо: в глазах сделалось темно, запокалывало в груди. Он остановился и неверной рукой нашарил в кармане валидол, затолкал под язык прохладную таблетку и, боязливо прислушиваясь к сердцу, медленно побрел к дому.

У Анны Семеновны, открывшей ему, глаза сделались испуганными, но Леонид Александрович ничего не стал ей объяснять, прошел в кабинет и прилег на диван. Ему очень хотелось не думать о случившемся, но уйти от этого он не мог. Гринфельд не выходил из головы. Не выходила из головы та давняя и стыдная, как оплеуха, фраза: «Ты или подлец, или очень уж напуганный дурак». Такие фразы не забываются. Клин в мозгу навсегда.

Ах, как не хотелось об этом думать!.. Или нужно

было подойти, поговорить — еще раз? Но как смотреть в глаза Гринфельду? Он опять хлестнет и опять не получит сдачи. И зачем бередить старое? Марк как-то устроился в жизни и, наверное, по-своему доволен. Бывает ведь: удача — неудача, мне повезло — ему нет. Но что значит «повезло»? Я трудился, как вол, никто не скажет, что успех падал с неба. А он не трудился? Он работяга, каких поискать. Пошел не тем путем? Значит, есть в науке заранее определяемые пути — «те» и «не те»? Значит, все мы a priori * знаем, где истина и как к ней подойти? Ох, не то... Ведь все было ясно, были четкие прямые указания. Линия была. Мог ли я поступить иначе? Все-таки, наверное, мог. Надо было как-то помочь Марку. Убедить его, привлечь в свой лагерь. А если он в десять раз убежденнее меня? Объяснить ему, что морганизм — лженаука?.. Почему сегодня он был такой оживленный?

Тут Леонид Александрович вспомнил, что на столе у девушки в иностранном отделе оставил свой читательский билет. Он даже застонал сквозь зубы, сердце снова схватило, пришлось взяться за нитроглицерин.

В кабинет вошла Анна Семеновна. Постояла у двери, глядя на мужа, потом присела в его ногах на краешек дивана.

— Ты немного отдохнул? Мне нужно бы с тобой поговорить.

Ох, как не любил он это «поговорить». Опять, наверное, жалобы на сына, материнские тревоги, а потом — необходимость принимать решение. Как будто без него не может все решить!

— Я слушаю,— сухо сказал Леонид Александрович.

— Мне не хотелось беспокоить тебя, но дело, помоему, становится серьезным. Вчера Владлен пришел домой пьяный. А сегодня не пошел на занятия. Что делать — давай посоветуемся.

Рогожин тяжело вздохнул. Он часто бранил сына — вслух и про себя, он был недоволен им, а в душе копошился противный, давно поселившийся там червя-

---

* A priori (**лат.**) — изначально; независимо от опыта, наперед.

чок. Он ругал сына и знал, что справедливо, но винил и себя, чувствуя, что упускает, все больше упускает возможность как-то повлиять на этого дорогого его отцовскому сердцу человека. Он не понимал, что происходит с Владленом.

Парнишка родился в год, когда окончилась война. Родители очень любили сына и хотели ему счастья. Он рос забавным, смышленым и послушным. Старательно делал по утрам зарядку и не очень противился, когда мама обтирала его холодной подсоленной водой. Учил английский и довольно бойко разговаривал на нем, много читал. В школе все давалось ему легко, он считался чуть ли не первым учеником, дело шло превосходно, папа с мамой не могли нарадоваться.

Впрочем, Рогожин считал это естественным: его сын. Нельзя сказать, что Леонид Александрович так уж высоко себя ставил, но родом Рогожинским он гордился и любил повторять:

— Род наш не голубой кровью знатен, а трудом и мастерством. Как демидовские кузнецы славились своими поковками, так мои деды и прадеды — рогожами да лаптями. На всю округу изделия считались лучшими. И я сейчас могу сплести рогожу любого разбора: циновку ли, кулевую, боковку, крышечную, рядную... «Рогожка рядная — словно мать родная,» — вспоминал он дедово присловье и тоненько, заливисто смеялся.

Еще совсем мальчонка, Владлен как-то удивился:

— Значит, ты не всегда был такой — ученый, чисто одетый... в общем, ну, вот такой, как сейчас?

— Оборвашкой я был,— улыбнулся папа.— А достиг всего трудом и учением. Учился хорошо, дисциплинированный был, старших слушал.

Он не обратил особого внимания на то, как однажды сын, слушая очередное воспоминание о рогожинском роде, сказал насмешливо:

— Из рогожи что угодно можно плести и под ноги класть.

Отец только поправил:

— Плетут не из рогожи — из мочала.

Владику было лет тринадцать, когда он удивил отца странным путаным вопросом:

— Пап, а вот если бы революция, ты бы пошел воевать за народ?

— Когда произошла революция, сынок, мне было еще меньше твоего — двенадцать лет.

— Ну, а если бы ты был тогда уже такой, как сейчас, совсем взрослый, профессор, богатый человек,— ты бы не пошел?

— Но я бы и не мог тогда, до революции, стать профессором. Я бы на всю жизнь остался деревенским рогожником.

— Ну, а если бы все-таки был уже профессором?..

Так они и не поняли друг друга.

Сын, видимо, приглядывался к отцу. Подрастая, он продолжал задавать вопросы. Они становились все неприятнее. Как-то он поинтересовался:

— Слушай, ты ведь помнишь сессию ВАСХНИЛ летом сорок восьмого года?

— Конечно, помню. Я участвовал в ее работе.

— Да?! Я не знал. Но как же тогда все вы позволили так нечестно расправиться с другими учеными?

— Ты кого имеешь в виду?

— Всех, кто думал не так, как Лысенко.

Вот тут пришлось с ним поговорить подробно. Детская непосредственность? Но Владлен был уже не ребенком. И любознательность его оказалась довольно широкой. Он уже спорил с отцом.

А не так давно, года полтора назад, листая зоотехнический журнал, сын неожиданно заговорил о взаимоотношениях Рогожина со своими сотрудниками:

— Слушай,— (с какого-то времени в разговоре с родителями он стал прибегать к безличному обращению),— ты разве занимался когда-нибудь кукурузой?

— Нет, а что?

— А вот статья, подписанная тобой и каким-то Коркиным.

— Это наш сотрудник.

— Этим занимался он, да? А ты?

Владлен становился наглым и злым. Все чаще в тоне его прорывалась издевочка. Лучше всего было отделаться шуткой; если же ему возражали, он хамил. Для него, казалось отцу, ничто не было святым. Какая-то порочная и жестокая логика руководила его взаимоотношениями с родителями: они всегда оказывались неправыми.

Анна Семеновна все эти неприятные перемены в

сыне объясняла вначале дурным влиянием товарищей. Потом она решила, что все дети, пожалуй, таковы, все они немножко нигилисты, но это от молодости, потом пройдет. Не проходило. Анна Семеновна не очень задумывалась, что воспитание ребенка — это прежде всего воспитание жизнью, поступками. Она только не раз давала слово бросить свои научные исторические розыски, чтобы больше времени уделять сыну, но работа увлекала ее, поговорить с Владленом удавалось лишь от случая к случаю, мельком. Что творилось у парня на душе, она, собственно, не знала.

— Ну, хорошо,— недовольно сказал Леонид Александрович, поднимаясь с дивана.— Пусть он зайдет сюда.

Владлен, войдя, угрюмо остановился у двери.

— Садись, мне надо с тобой поговорить.

Сын замешкался на мгновение, набычился («Еще повернется и уйдет, с него станет»,— мелькнуло у Рогожина-старшего), потом, обороняясь развязностью, прошел к письменному столу и сел в кресло, положив ногу на ногу. Леонид Александрович глянул на его красивое, подпорченное угрями лицо с вызывающей складочкой у губ. Совсем юное. Мальчик, мальчишка, мальчоночка. Нежная жалость сладко ворохнулась в отце, но тут же ее захлестнула обида. Поди ж ты! Мальчик-то кусачий. Однако надо спокойно, надо очень спокойно и рассудительно... Леонид Александрович неторопливо обошел стол, сел в кресло напротив и спросил почти ласково:

— Почему ты не в институте?

— Что-то голова разболелась.— Ответ был легким, очень непринужденным.

— Настолько, что не мог пойти?

— Ну, пойти, конечно, мог. Однако способность к восприятию лекций — нулевая. Зачем зря протирать подошвы?

— Есть же такое понятие, как дисциплина!

— Сознательная дисциплина. Главным критерием должна быть польза.

— Я о твоей пользе и пекусь.

— О, не надо,— со светской небрежностью ответил сын.— По-моему, мы в свое время договорились...

Наглец! «Договорились...» В прошлом году, когда

Владлен закончил школу, Леонид Александрович, в который уже раз, забросил крючок насчет сельскохозяйственного института, где сам он состоял в звании профессора. «Что ты! — сказал тогда Владлен.— А вдруг появится новый Лысенко и объявит чепухой теперь уже мичуринскую биологию? Придется переучиваться. Я лучше подамся в физики». Это было возмутительно: «подамся». В университет он не прошел по конкурсу, Леонид Александрович предложил свою помощь. Вот тогда Владлен и сказал: «О своей «карьере» я буду заботиться сам. Договорились?» — и сдал документы в педагогический. «У тебя нет царя в голове»,— обругал его Леонид Александрович. «Царя нет, зато найдется кое-что другое».

Он несмышлен и дерзок, а теперь вот начинает и пить. Чем это кончится?

— Чем это кончится, Владлен? — грустно повторил он свою мысль вслух.— Я в твои годы...— Тут Леонид Александрович вспомнил, что фразу эту он произносит, наверное, уже в десятый раз, не меньше, но все же упрямо продолжил: — ...был, по существу, самостоятельным человеком. Дело не в том, что я зарабатывал на жизнь,— у меня были определенные убеждения, была цель и было очень мало свободного времени. А ты? На что ты тратишь свое время?..

Владлен сидел с выражением лица равнодушно-снисходительным. Возможно, он вовсе и не слушал отца. А тот видел это, но говорил и говорил, все больше ощущая, что перед ним пустота, что слова его бесполезны. Злость закипала в нем, но все никак не могла прорваться, увязая в привычных гладких фразах. Наконец он выдохся.

— Это все? — спросил Владлен с тем же выражением лица.

— Что значит «все»?! Какие-то выводы для себя ты делаешь из этого «всего»?

— А какие выводы для себя я должен сделать?

Леонида Александровича обуяла ярость, он побледнел. Но тут опять схватило сердце, в суставах разлилась ноющая слабость, очень захотелось заплакать. Леонид Александрович с безнадежностью махнул рукой:

— Иди...

Владлен пожал плечами,— дескать, я бы рад продолжить эту мирную беседу, но если тебе угодно, пожалуйста, уйду. И тут же вытащил из кармана сигареты: уже давно ему хотелось закурить.

Минуты через две вошла Анна Семеновна, выжидательно поглядывая на мужа. Он сказал тоскливо:

— Прошляпили мы с тобой сына, Нюра...

До вечера Леонид Александрович, безжизненно-вялый, опустошенный, провалялся на диване. Ему было стыдно и горько, сердце болело, жизнь казалась потерянной.

Кислицын пришел к ужину. Он был, как всегда, подтянут, насмешливо вежлив, и, как всегда, взгляд его единственного глаза казался Анне Семеновне зловеще-пронзительным.

Рогожины недолюбливали Николая Петровича. Он держался по отношению к ним как бы покровительственно, словно это он собственными руками добыл для них и благополучие, и заметное положение в обществе, и словно стоило ему где-то кому-то сказать одно недоброе слово — жизнь их разом пойдет наперекосяк. Еще они недолюбливали его за то, что этот человек, по их убеждению, бездарный, очень уж легко, беструдно оказался на гребне жизни, хоть и не на самом верху, а все же там, откуда вот имеет возможность разговаривать с ними, как бы похлопывая по плечу.

Кислицын же в тайне завидовал Рогожину. Он ясно представлял себе, что за плечами у этого трудяги немалый багаж — и пот, и знания, представлял и то, что собственный, его, Кислицына, вес зависит прежде всего от должности: случись что-нибудь — никакой профессии всерьез у него, по сути, нет. И затаенная эта зависть и еще более затаенное ощущение своей никчемности рождали в нем недоброжелательность к Рогожину и гонор. Это было, впрочем, в порядке вещей: никчемность и гонор — родственники совсем не дальние — первая приходится второму мамой.

Рогожин с Кислицыным были из одной уральской деревушки. Даже самый опытный кадровик, поднаторевший в бумажных делах, по их анкетам не обнаружил бы никакой существенной для дела разницы в социальном положении двух этих парней за первые

двадцать лет их жизни. Однако жизнь-то складывалась совсем по-разному.

Ленька Рогожин с малых лет пластался на крестьянских работах, был и рогожником, и землю пахал, и плотничал, и пастушил, во всем покладисто показывая старательность. Коле же Кислицыну не повезло, еще в детстве угораздило его выколоть в лесу глаз, в семье его жалели, и, если приходилось пареньку работать, трудился он больше с женщинами. Обстоятельство это, разумеется, не должно бросить тень на лучшую из половин человечества, и если проявлялись у Коли некоторая склонность к капризности, леность и пристрастие к деревенским сплетням, то вину за это разумнее было бы отнести все же за счет его собственного нрава. Упоминая, что в труде молодой Кислицын отставал от своего земляка-погодка, нужно сказать, что все же он был фигурой приметной. Разоблачительных заметок селькора Н. Кислицына побаивались не только в родной деревне, но и во всей округе.

В двадцать лет пути парней разошлись, они потеряли друг друга из вида, а встретились уже после войны. Но, и живя в одном городе, виделись земляки не часто, больше на разных областных совещаниях; впрочем, изредка Николай Петрович бывал у Рогожиных и дома.

В этот раз отужинали они быстро, и гость с хозяином прошли в кабинет, куда Анна Семеновна вместо ритуальной простокваши подала кофе. Словно бы разминаясь перед началом серьезного разговора, Николай Петрович задал несколько пустячных тривиальных вопросиков на тему «как и что».

— Как наследник?

— Да как будто ничего,— торопливо пробормотал Рогожин.— Конечно, бездельничает, как всегда, ну да ведь — годы молодые.

В другой раз Кислицын наверняка проехался бы насчет профессорских сынков, но сейчас ему было не до них, он продолжал подступать к своему.

— В отпуск что планируешь?

— Право, не знаю еще. Давно мне хочется побывать в родных краях, бог знает, когда там был. Может, туда и махну.

— Святое дело! Отрываемся мы, брат, от земли. Нельзя так, нехорошо.— Тут бы тоже было кстати порассуждать пространно, но Кислицын, не задерживаясь, двинулся дальше.— Ну, а как дела в институте? Что твой Петров после статьи?

Вот это было уже совсем близко к делу. Тревожила Николая Петровича нечаянно дошедшая до него весть о Линевой. Выходит, был о нем, Кислицыне, у Агнии Львовны разговор. Он знал, что она обитает где-то в этом городе. Ну, и пусть бы обитала себе, ан нет, она треплет его, Кислицына, имя, да еще с кем!

Насторожиться, если не встревожиться, у Николая Петровича основания были. Это по кислицынской информации, как именовал он свой клеветнический донос, был в свое время арестован Варфоломей Никитич Линев. Кислицын тогда работал редактором многотиражки на строительстве электростанции, где Линев был главным инженером. Сама супруга Линева вряд ли могла бы распутать давнее, забытое дело, а вот если сунется в него Петров, да еще с Переваловым, история эта в нынешние времена может обернуться для Николая Петровича весьма неприятно. Одно из средств обезопаситься находилось, безусловно, в руках Рогожина, но все детали знать профессору было вовсе ни к чему.

Вопрос о Петрове заставил Леонида Александровича чуток задуматься, подумав же, он сказал огорченно:

— Черт его знает, не пойму я... Василий Николаевич, против моих ожиданий, ведет себя смирно, будто никакой статьи и не было. Это и непонятно. И вообще многое мне непонятно. Вот смотри,— Леонид Александрович взял со стола раскрытую книгу с аккуратными карандашными пометками на полях.— Свежий труд Николая Дмитриевича Иванова, однофамильца нашего учителя Михаила Федоровича, о теории наследственности, издание Академии наук. Я тебе процитирую: «...Современные формальные генетики, также весьма далекие от диалектического материализма, создают свое идеалистическое философское направление, свой «генетический» идеализм, согласно которому исчезает материальность гена, но сохраняются (и даже приумножаются) его качества, в частности функция

«ведать» наследственностью организма». Понятно это тебе?

— Это-то понятно. А вот насчет... как ее? Писал ты, кислота какая-то.

— Дезоксирибонуклеиновая кислота? ДНК. Вот тебе о ДНК.— Леонид Александрович перевернул страницу.— «Современное представление формальных генетиков о наследственных структурах сводится к тому, что даже у самого простого организма в сочетаниях оснований молекул ДНК заложено прошлое, настоящее и будущее любого живого существа; это представление является преформизмом * «на молекулярном уровне», использующим современные данные науки о строении хромосом и ДНК. Другими словами, современные взгляды формальных генетиков на ДНК как на наследственную структуру представляют собой идеалистическую теорию».— Рогожин отложил книгу.

— Очень все ясно и прекрасно,— сказал Николай Петрович.— Говоришь, издание Академии? Ну-ка, дай взглянуть... А что же тебе непонятно?

— Да странно мне, что правой рукой Академия выпускает такие вот книги, а левой поддерживает прожженного формального генетика. С одной стороны, мы справедливо пишем, что сессия ВАСХНИЛ сорок восьмого года была необходимой и полезной, а с другой — Петрову утверждают его морганистскую тематику.

— Э, брат, близорукая твоя интеллигентность! Что же тут странного? Это и младенцу в наш век понятно. Диалектика. Борьба! И твой формальный Петров не успокоится, будет протаскивать свои фальшивые идейки, пока ты не обломаешь ему руки и ноги. А ты как думал? Говоришь, ведет себя смирно. Как бы не так! Знаешь, какие интриги плетет он за твоей спиной?

— Помилуй, какие еще интриги?

— А вот какие! Не скажу пока, откуда мне стало известно, но — стало. Бывает он дома у твоей секретарши Линевой. Как-то бишь ее?.. Агния Львовна? Вот-вот, именно. Уже привлек, завербовал. Ей, пони-

---

* Преформизм — учение о предобразованном, предуказанном в половых клетках развитии организма.

маешь, известны все твои карты, а она их — Петрову. Он, брат, знает, с какого хода к тебе проникнуть. Прикинется овечкой, а там таким волком обернется — слопает тебя вместе с профессорским твоим званием.

Леонид Александрович тупо уставился в пол, с трудом переваривая новость.

— Как же так? — вымолвил он.— Агнию Львовну я, можно сказать, пригрел, и она отвечала мне благодарностью, очень порядочный человек, добросовестный работник. Так во всяком случае мне казалось.

— Правильная оговорочка: именно — казалось. Не знаю ее прошлого, но уверен, что оно не совсем чисто. Какая-нибудь червоточинка да есть. Или сама когда-то что-нибудь натворила, или ее родственники. Таких-то вот Петровы и ловят в свои сети.

— Поразительно! — Это тихое восклицание Леонида Александровича в равной степени относилось и к нежданному предательству Агнии Львовны, и к удивительной проницательности Кислицына.— Что же делать? Может, поговорить мне с ней?

Николай Петрович покрутил головой и горестно вздохнул.

— Ох, ученая наивность! Еще этого недоставало — «поговорить». Только что я толковал тебе о картах, которые ей известны, а ты ей — козыри в руки. Они-то ведь не знают, что ты информирован про их шашни,— вот твой козырь. Тут действовать надо. Гони ты в шею свою Линеву. Окружение у тебя должно быть чистое, идейно выдержанное... Лопух ты все-таки, Леонид Александров сын.

— Да-да-да,— кивал Рогожин, задумавшись; ему надо было еще время, чтобы понять складывающуюся обстановку.

— Слушай, а как там у тебя Перевалова, жена нашего работника?

— Татьяна Васильевна? Что ж, трудится, кандидатскую готовит. Она, впрочем, перешла в лабораторию Петрова.

Николай Петрович разом подобрался и напружинился, словно некая невидимая птичка клюнула его в затылок и надо было ждать повторения коварного клевка. Глаз его почти непроизвольно прищурился. Только что сказанное Рогожиным проливало новый

свет на то обстоятельство, что Перевалов оказался у Линевой в компании с Петровым. Это следовало обдумать.

— Вон как,— сказал Кислицын, стараясь тону придать беззаботность.— Ну, брат, засиделся я у тебя, пойду. А ты не дремли, не либеральничай, действуй. Действуй, товарищ Рогожин...

15.

Звезды бешено летели вверх. С тихим, едва слышным посвистом (почему он был слышен в немом космосе, этот странный посвист?) неслись они откуда-то снизу, из черной бездны вселенной. А Грин падал вниз. Он падал на Луну.

Это было безумие? Это был сон. Грин знал, что это сон, но падение казалось совсем реальным, оно продолжалось, и твердая стеклянистая поверхность Луны была все ближе. Она становилась страшно близкой. Он вдруг понял, что сейчас умрет. Умирая, пронзительно жалеют, что жизнь кончается. Грину стало невыносимо жалко себя.

Она была белой, поверхность планеты, как высохшая и полуистлевшая кость. Он видел поры на ней и знал, что его тело, распавшись на бесчисленное множество игольчатых молекул, войдет в эти поры.

Вдруг Луна оказалась наверху. Не произошло никаких видимых пространственных перемещений, и все же Луна оказалась наверху. Звезды остановили свой яростный бег. И Грин уже не падал, а парил, невесомый, как вакуум, сам частица его, спрессованная из ничего. В пустоте ему было легко и уютно. Страх исчез, пришел покой. И с этим ощущением покоя и легкости он начал просыпаться.

Грин не шевельнулся, не открыл глаза, он, как бы давая видению возможность отпечататься в мозговой коре, прежде чем оно унырнет в темные глубины подсознания, задержал его в себе, вспоминая от начала до конца. Он не хотел расстаться с ним навсегда, он хотел еще посмаковать его.

Что это было у Гринфельда — тайная страсть, болезнь или просто такое уж устройство нервной системы? Он не только часто видел сны, но в какой-то

мере умел даже вызывать их. Это было творчество-утеха. Вспоминать свое прошлое ему не хотелось. Мечтать о будущем — тоже. Он фантазировал. В снах. У него имелся необъятный, как сама вселенная, запас планет и различных существ — ими можно было пользоваться по настроению.

Как-то разговаривая с коллегами в библиотеке о будущем книг, Марк Романович сказал в полушутку, что интересно будет издавать сборники снов в биоэлектронной записи. Коллеги поулыбались, а Грин подумал тут же, что нет, никогда бы он такого сборника не обнародовал: его сны, хотя и любопытны были бы другим, дорогими оставались только ему.

Проснувшись более или менее окончательно, Грин начал соображать, откуда в нем эти легкость и покой: сон ведь тоже имеет свои основания. И тут же вспомнил решение, принятое вчера. Тогда он разом, рукой и ногами, скинул с себя одеяло и вскочил. Гантели показались детскими.

Приняв душ, он накинул на волосатое, растертое докрасна тело мохнатый, не то купальный, не то борцовский халат, случайно приобретенный им в комиссионке, и вышел на кухню заварить чай. Там уже копошилась Таня.

— Очень может случиться,— зажигая газ, сказал Грин,— что сегодня вы со своим супругом будете иметь честь быть приглашенными ко мне на торжественный ужин.

— Ну-ка, покажите язык,— повернулась к нему Таня.— Странно: цел. Я думала, он у вас сломается.

— Хм,— сказал Грин.— А я думал, вы поинтересуетесь, по какому поводу вы удостоены столь высокой чести.

— Ну, а если я поинтересуюсь?

— То я вам ничего не скажу. Разжигать любопытство — это тоже удовольствие.

— Тогда я не буду интересоваться.

— Все равно вы будете медленно сгорать от любопытства, и к вечеру от вас останется жалкая кучка пепла.

Так они болтали, занимаясь своими кухонными делами, и обоим эта болтовня была приятна. Таня не удивилась, когда Грин объявил, что пойдет вместе с

ней в институт: мало ли какая может быть нужда в научном учреждении у библиотечного работника.

— Василий Николаевич, который Петров, не в отъезде? — поинтересовался Грин.

— Пока еще нет. Захотелось повидаться?

— Захотелось.

Уже в институте, когда вместе шагали они по гулкому темноватому коридору, мелькнула у Тани внезапная, как озарение, догадка, зачем и почему пришел сюда Гринфельд, но расспрашивать показалось неудобно, да и поздно стало: они подходили к «глисте» — маленькому и очень узкому кабинетику Петрова.

Василий Николаевич был уже на месте и встретил Гринфельда приветливо, хотя и не без некоторого досадливого смущения: лаборатория, считал он, не музей для любопытствующих. Однако досадливость эту Грин рассеял в первую же минуту, с места в карьер.

— Дело в том, Василий Николаевич, что я биолог, а если точнее — генетик. В древности когда-то имел степень кандидата наук, ныне же могу предъявить университетский диплом да нечаянно сохранившиеся две-три старые научные работы.

— Стоп, стоп, стоп, Марк Романович. Извините, мы хоть и знакомы, фамилию свою назвать вы можете?.. Гринфельд? Постойте-ка.— Петров что-то вспоминал.— «К вопросу о структурных основах наследственности», Гринфельд Эм Эр, «Биологический журнал». Так? «К теории гена», он же. «О корпускулярности генетических изменений». Еще нечто ругательное о ламаркизме. Все — ваше?

— Ну, знаете, у вас и па-амять! Почти как у меня.— Гринфельд расхохотался, и Петров с удовольствием сделал то же. Правда, сразу Василий Николаевич спохватился.

— Позвольте, дорогой мой, мне говорили о вас как о библиотекаре. Так?

— Да, это так. Но я пришел к вам как генетик. Я пришел просить вас взять меня в лабораторию.— Грин посучил длинными своими пальцами, мыкнул и замолчал.

Петров глянул на него пристально и задумался. Грин задумался тоже. Старик вправе, подумал он, спросить меня о многом. Где, спросит, молодец, бол-

тался ты пятнадцать лет, отойдя от своей науки. Не растерял ли прежних своих знаний, не утратил ли ту страстность, без которой человек науке не полезен, а скорее вреден? Ведь в его глазах я предатель: славы ли ради или куска хлеба, ради женщины или друга отступает человек от дела жизни — он все равно отступник. И верно, здесь предательство, но ведь не я предал — предали меня. Друзья сами отвернулись от меня, и женщине я стал не нужен как раз потому, что я пытался цепляться за свое дело. Оно мне было необходимо, как необходимы человеку память о матери и собственная честь. А знаний я не растерял, угрюмо и жадно все эти годы следил за генетической литературой, и страстность моя еще восторжествует, если не растопчет ее, уже в последний раз и уже в мертвые ошметки, уважаемый Леонид Александрович Рогожин. Впрочем, нет, теперь он не растопчет: теперь он сам, пожалуй, боится меня. Не потому ли он пришел в библиотеку прикоснуться к моей науке и так постыдно сбежал, узнав в библиотекаре своего бывшего, им же попранного друга? Собственно, эта несостоявшаяся встреча и это бегство и послужили тем решающим толчком, который подтолкнул меня к этому кабинету... Что же, так все и рассказать Петрову?

Он так все и рассказал. Василий Николаевич понимающе похмыкивал и покрякивал, и, еще далеко не дойдя до конца повествования, Грин понял, что будет работать в лаборатории Петрова. И тут вдруг пакостная горькая тоска шершаво тронула сердце: когда оттаивает обмороженная душа — больно. И, что ни говорите, обидно в сорок лет сызнова начинать то, в чем, казалось, преуспел еще в молодости...

Неожиданно Василий Николаевич сказал:

— А вы, батенька мой, оказывается, слюнтяй. Постойте, не вздрагивайте. Слюнтяй и хлюпик. Да, я знаю, вам было тяжко. Как говорят дамы, невыносимо тяжко. А что значит «невыносимо»? Если уж совсем, действительно невыносимо, надо стреляться. У вас было «выносимо», только вы упрятались в кусты. Хвалы достойно, что вы не растоптали своих научных убеждений, но где же были ваши убеждения гражданские? И какова в этом случае цена научным убеждениям? Наука, как и искусство, кончается там, где на-

чинается приспособление истины к безопасности! Это надобно знать.

Петров попыхтел, отдуваясь после гневной этой тирады, и продолжал:

— Давайте по возможности спокойно разберемся в том, что произошло. Один или несколько людей в конце сороковых годов сумели ввести в заблуждение руководство партии и государства относительно нашей науки. Нас отвергли. Но не будем закрывать глаза на одно очень важное обстоятельство. Наши взгляды, взгляды генетиков, в начальную пору, когда еще не было многих существенных открытий, свершенных позднее, давали врагам материализма возможность болтать о неизменности мира, в то время как взгляды мичуринцев открыто совпадали с теорией и практикой революционного преобразования мира. Взгляды формальных генетиков находили подчас идеалистическое толкование, взгляды мичуринцев — нет. Вот это, дорогой мой, необходимо учитывать. Правда, мы-то с вами знаем и всегда были уверены, что мы правы. Мы-то знаем, какие возможности для страны, для народа, для человечества, черт возьми, несет истинная генетика! Так какое же право имели вы прятаться?.. Даже не так. Поймите, мы можем все браниться и ругаться, можем друг с другом подраться так, что кровь из носу, и кто-то кого-то временно оседлает, поставив на карачки. Но между тем есть для всех нас — и для меня, и для Рогожина, и для вас, для всех нас! —то, что незыблемо и свято: есть дело народа, есть его партия. Я старый человек и многое прошел, уж мне-то вы поверьте, эти святыни нас не подведут!

Грин хмурил густейшие свои брови и поерзывал на стуле. Петров продолжал:

— А потом — вы же неглупый человек. Неужели непонятно было вам, что здоровое, прогрессивное в науке убить невозможно? В процессе развития биологии все здоровое, все лучшее, все, что соответствует законам природы и помогает ими овладеть, все это неизбежно должно победить и победит, черт возьми! Генетика свое возьмет.

Петров глянул на Грина исподлобья, принасупился, но вдруг глаза его потеплели. Он придвинулся к Грину почти вплотную,— стало видно, что кожа на

его лице в крупных старческих порах и прожилках,— положил свою лапищу на сухое колено собеседника и сказал с нежданной ласковой укоризной:

— Хлюпик вы, умный страдающий носорог, свесивший рог свой набок! Это для носорога противоестественно — рог набок. Понятно вам, милейший?

Они проговорили почти два часа.

Договорено было, что Марк Романович пока присмотрится к работе лаборатории, а затем уже можно будет решать, чем он займется. Василий Николаевич уезжал на созданную его хлопотами полевую биостанцию, прихватывая с собой изрядную часть «монстров», но все же обещал выкроить время, чтобы начать дело о восстановлении Гринфельда в ученой степени кандидата.

Так Грин оказался в положении, чем-то близком тому, какое занимал несмышленыш Миша Нукин.

У Маши оно было даже несколько определеннее. Его поставили учеником лаборанта в группу цитологов.

Что цитологи занимаются изучением живых клеток, Мише было известно со школьной скамьи. Здешние занимались радиационной цитогенетикой. Мише это представлялось очень интересным — наблюдать возникающие от радиоактивного облучения наследственные скачки, мутации на мельчайших частицах клеточного ядра, хромосомах. На деле же это оказалось довольно нудной работой: просиживая целые дни над микроскопом, люди высматривали и считали различные хромосомные аберрации, отклонения от норм, повреждения, или, как их именовали здесь, свинства. Клетка за клеткой — тысячи протоколов одного и того же нескончаемого опыта. Так копился необходимый статистический материал.

Но к подсчету «свинств» Миша еще не был допущен. Ему предстояло научиться элементарно готовить препараты для наблюдения. Начиналась эта подготовка с фиксации объекта — убиения клеток с сохранением прижизненной структуры. Затем надлежало обезводить объект спиртом и пропитать его каким-нибудь пластичным затвердевающим веществом, скажем, парафином. После этого с помощью микротома нужно было изготовить тончайшие срезы, причем овладение мик-

ротомом уже само по себе было посвящение в мастерство. Срезы, удалив парафин, окрашивали специальными красителями, снова обезвоживали, затем осветляли и, наконец, заключив в канадский бальзам, помещали в покровные стеклышки. Ого-го, это была та работенка. У Миши болели глаза и от напряжения кружилась голова.

Отдыхать ему полюбилось, разглядывая дрозофил. Всегда можно было вынуть из термостата одну из бессчетных пробирок с мушками и, вооружившись лупой, подсматривать копошение этих малюсеньких красноглазых существ. Они потешно подгибали желтоватые брюшки с поперечными тигровыми полосками и беспомощно подергивали узорчатыми от переплетения тончайших жилок крылышками. Постепенно Миша научился видеть множество признаков, которыми мушки отличались друг от друга.

Лаборант Сима Кирпиков по прозванию Хромосома, длинный красноносый юноша, пояснил ему, что эти отличия и есть результат мутаций, случайных изменений наследственности. Пара дрозофил дает несколько сот потомков, и потому-то эта мушка пришлась генетикам так по душе: мутаций, а значит, и материала для наблюдений — хоть отбавляй. Одним из первых пустил дрозофилу в дело еще в начале века Морган. В России ею занялись позднее. В двадцатых годах существовало даже такое, созданное профессором Четвериковым общество — Дрозсоор, что означало: совместное орание о дрозофиле. И ныне не случайно многие генетики мечтают поставить этой мушке памятник, как в свое время академик Павлов поставил памятник собаке.

Попутно Хромосома вполне научно растолковал Мише роль мутаций в эволюционном процессе — сообщил, в частности, что истинный дарвинист никогда не скажет, будто детеныши жирафа некогда стали рождаться с длинными шеями оттого, что жираф вытягивался, добираясь до пищи. Совсем не в этом суть эволюции. В чем? А вот в чем. У животного возникали случайные изменения в длине шеи, и лучше приспособлялись к окружающей среде и выживали особи, несущие в себе именно эти изменения. Постепенно, тысячелетиями они накапливались, и вот вам резуль-

тат — жирафа в современном виде. В том и суть, что в естественном отборе закрепляются случайно возникающие наследственные изменения: вредные отбрасываются, полезные остаются. Кто думает не так, сказал Сима, тот примитивнейший ламаркист. И Миша вынужден был признаться, что он был таковым, пребывая в невежестве всю жизнь до этого момента.

Просветительская деятельность Хромосомы не ограничилась, однако, истинами общеизвестными. Этот суровый юноша счел возможным познакомить Мишу с одной новейшей, пока еще не признанной научной гипотезой. Для этого Хромосома свел Мишу к «доске гениев». Иначе еще она называлась «Доской отходов». А так как вообще-то радиоактивные лабораторные отходы хоронились в специальном бетонированном «могильнике», то доска имела еще и третье наименование — «Могильник». Назначение ее было простым и необычным: любой из сотрудников мог обнародовать на доске любые, имеющие к науке хоть малое отношение мысли — свои предположения, догадки и просто вопросы, дающие пищу для размышлений. Подобная доска с легкой руки Петрова существовала и в прежней его лаборатории.

Впервые подойдя с Хромосомой к «Могильнику», Миша увидел грубоватый фанерный щит, на котором различными, достаточно древними способами — посредством обыкновенных кнопок, гвоздей или клея — были «присобачены» лоскутки бумаги с кустарными соображениями местных гениев.

Сняв с гвоздика первую бумажку, Миша прочел: «Почему бы не предположить, что два-три миллиона лет назад какая-то полоса в Азии и Африке подверглась особо интенсивному космическому облучению, которое вызвало резкое возрастание числа хромосомных мутаций? В той мутационной волне и появились первые человекоподобные». Чья-то рука вывела красным карандашом на бумажке косую надпись: «Хило!»

Второй листок содержал «отходы» космогонических рассуждений. «Не могла ли наша солнечная система возникнуть в течение трех фаз: 1) из центра протозвездного облака образовалось само Солнце; 2) из выбросов Солнца — планеты внутреннего круга; 3) по истечении некоторого времени на окраине системы

непосредственно из остатков протозвездного облака возникли планеты внешнего круга?»

Тут, видать, терпение Хромосомы истощилось, нос его покраснел еще сильнее, Хромосома сам отшпилил от доски квадратный листочек, исписанный крупным ломким почерком, и сунул его Мише. «Однажды группа обезьян,— прочел Миша,— сошла с ума и, будучи изгнана из стаи, спустилась с деревьев на землю. Ее потомство тоже было с точки зрения обезьян сумасшедшим, непохожим на других, с обостренной психикой. Так начался человек. Хватательный инстинкт скоро перерос в осознанное владение естественными, природными орудиями, до трудового процесса оставался один шаг». Тот же, а может и другой, красный карандаш начертал по верху листочка в виде заглавия: «О происхождении автора записки».

— Ну как? — озабоченно поинтересовался Хромосома и, видимо, не желая возвеличивать себя категоричностью оценки, добавил скромно: —По-моему, тут кое-что есть, верно?

— Я еще плохо разбираюсь в этом,— замялся Миша.

— Понятно,— кивнул Хромосома.— Шеф, тот прямо говорит: БСК.

Миша знал про ДНК, РНК, а вот о БСК услышал впервые.

— Бред сивой кобылы,— расшифровал Хромосома, ничуть не смущаясь.— Но ведь известно, что многие великие идеи вначале кажутся бредовыми.

Миша пожал плечами. У него в голове пока еще не намечалось возникновения великих идей, однако смутно он начинал понимать, что его преклонение перед научным авторитетом Хромосомы было, мягко говоря, преждевременным...

А вот у Грина процесс вхождения в жизнь лаборатории протекал не столь просто, как он ожидал, хотя внешне все было нормально. Даже встреча с Рогожиным, которой внутренне он все же побаивался, точнее — стеснялся, прошла, на удивление, достаточно прилично и обыденно. Он столкнулся с Леонидом Александровичем в институтском вестибюле, выходя из петровских апартаментов. «Не узнать» друг друга было уже невозможно. Рогожин чуть опешил и изме-

нился в лице, но совладал с собой и даже попытался улыбнуться.

— Ба! Вот это встреча. Ко мне?

— Нет,— сухо и нетерпеливо сказал Грин, всматриваясь в постаревшее лицо Рогожина с дрябло-сухой кожей.— Нет,— повторил он,— я от Петрова.

— А,— сказал Леонид Александрович, лихорадочно соображая, как поступить дальше.— Знаешь, я ведь несколько дней назад был у тебя. Случайно узнал, что ты работаешь в областной библиотеке, пришел, а потом вспомнил: сам же назначил на это время совещание. Пришлось спешно ретироваться.— Удивительно, у него еще сохранилась способность краснеть; впрочем, слишком уж неуклюжей и беспардонной была ложь. Чувствуя это, Рогожин торопливо добавил: — Даже читательский билет забыл там у вашей девушки, все хотел зайти за ним, и все недосуг. Ну, как ты?

— Я собрался поступить на работу в лабораторию Петрова. Только не надо мне мешать,— жестко сказал Грин, отворачивая лицо и сжимая челюсти.

— Что ты, почему мешать? — пробормотал Рогожин.— Я буду рад.

— Вот и превосходно. За сим разрешите откланяться.—Круто повернувшись, Грин пошел к выходу, торжественно-деревянно переставляя длинные ноги.

Теперь это было позади, и об этом думать не хотелось. Теперь надо было думать о работе. Грин предвкушал ее с томливой горчащей радостью, недаром ночами, вперемешку со снами, он мысленно не раз проделывал порой целые серии интереснейших экспериментов и размышлял, и выдвигал для себя кое-какие предположения, требовавшие, однако, не умозрительных построений, а громоздких и длительных опытов. Теперь бы можно было и заняться этим, но Марк Романович вдруг растерялся и не мог понять, к чему же все-таки просятся его так долго дремавшие силы, и начинал уже, еще не признаваясь себе в этом, побаиваться, что ничего у него не выйдет.

Длинная сутуловатая его фигура маетно слонялась по комнатам лаборатории, и видно было, что Грин томится от безделья, и нельзя было сказать, что он бездельничает. То, присев за микроскоп у цитологов, он принимался считать хромосомные «свинства» и сидел,

не разгибаясь, до вечера. То вместе с Таней Переваловой возился у центрифуги или, нацепив респиратор и натянув защитные перчатки, принимался растирать радиоактивные пробы. Дня два он торчал в счетной комнате, причем умудрился работать одновременно на трех счетчиках импульсов, и лаборантка Паша очень хвалила его, хотя Маша Петрова и говорила, что просто на этот раз пробы шли слабой радиоактивности и потому управиться было совсем не трудно. Кое-кто стал уже запросто просить его «подмогнуть» — то поработать на аналитических весах, то приготовить корм дрозофилам, то отрегулировать содержание стронция в аквариумах. Маша посмеивалась над Грином, называя подсобником, и это словечко грозило приклеиться к Грину прозвищем.

А ему просто некуда было девать себя, он задавал рукам элементарную работу, полагая, что голова тем временем что-нибудь да придумает. Она не придумывала, и в душе Грин уже поругивал Василия Николаевича за то, что тот не дал определенной темы, четкого задания,— это помогло бы вработаться, а там, чем черт не шутит, замельтешила бы и проявилась наконец какая-нибудь дельная идейка...

16.

Хромосома пригласил Мишу в воскресенье поехать с компанией в лес.

— Зовет один тип. Он мне даже родственник — сын моей тети. Это получается двоюродный брат, да? Вообще-то хлыщ, пустой парень, но веселый, с транзистором, и вообще отдохнем, картошку в костре испечем, побродим. Надо, знаешь, иногда менять обстановку.

Миша согласился. В лесу он давно не бывал. В последний раз ездили с мамой прошлым летом, набрали кучу рыжиков, вкуснейшая получилась жареха. Мама умела брать грибы. Она тихо радовалась лесу, кустарничку, цветам и, аккуратно срезая рыжик, приговаривала: «Вот он какой красивенький, вот какой славненький».

Отдохнуть, конечно, было надо: Миша закончил второй курс своего физмата, в сессию пришлось изрядно позаниматься. Он подумывал, не бросить ли инсти-

тут, но в лаборатории подняли дружный хай, сказали, что если бросит, то будет последним балбесом, тем паче, что и специальность намечается очень для современной биологии подходящая — физик. Ему дали трехнедельный отпуск, он, правда, появлялся в лаборатории, и тогда все хороводились вокруг него, словно он был общее дитятя, и подсовывали бутерброды, кефир и витамины.

Заметив, что брат ставит будильник на шесть утра, Варя поинтересовалась — зачем, он объяснил. Тогда она попросила:

— Ты меня разбуди в половине седьмого, я тоже собираюсь в лес. С компашкой. А у вас девочки будут?

— Никаких девочек,— прихмурился Миша.— Это у тебя в голове тоскуй-трава — мальчиков приманивать, а у меня — нормальные извилины.

Насчет извилин он, возможно, был и прав, относительно же девочек непростительно ошибся.

Утром Миша зашел за Хромосомой, и они отправились на вокзал. У колонны под часами их ждал тот «тип», довольно приятный на вид лохматый парень по имени Костя.

— Я думал, Симочка, ты явишься с бомбино,— сказал он Хромосоме.— Ах, извини, забыл, что человеческий язык ты не воспринимаешь. Я имел в виду девчонку. Сейчас наши прибудут.

Через несколько минут он обрадованно замахал руками: от троллейбуса шел Владлен Рогожин, с ним какая-то девица и... Варя. Компании была потешна нежданная встреча брата и сестры, они же удовольствия от этого вовсе не испытали. Владлена Миша мельком знал: тот учился у них в институте, курсом ниже, кроме того, раза два Миша видел с ним Варю.

Из распаренной, забитой людьми электрички они вышли на маленьком разъезде, примечательном недалекими скалами и речкой, протекавшей от них вблизи. «Компашка» решила, что никуда отсюда уходить не надо, загородный воздух везде хорош, немного поспорили только, где лучше разбить бивак — под скалами или у реки, решили, что у реки.

— Они тут будут загорать, а мы походим по лесу,— утешил Хромосома Мишу.

Лес начинался за скалами на горе. Рыжестволь-

ные сосны, заголившись, весело взбирались со всех сторон на кручу, а там, накинув мохнатые зеленые одежки, толпились густо и широко, уже спокойные, величественные, с этакой горделивой ленцой. Отсюда, с высоты, виден был волнистый разлив окрестных лесов, петлявая излучина реки в ракитах и черемухе, а далеко на горизонте висела пухлая дымная шапка над громадой города, за которой сам город не проглядывался.

Миша и Хромосома бродили по лесу недолго — редкие из молодых горожан наших дней умеют насладиться им в полную меру. Вяло бросали в рот тугие сизоватые бусинки черники и перезревшую землянику, усохшую и сладкую. У Миши была с собой сеточка под грибы, но их попадалось мало, к тому же Хромосома не отличал добрый гриб от поганки. Миша сначала посмеивался, потом начал злиться.

— Чудак ты,— сказал Хромосома,— сейчас люди считают это поганкой, а пройдет время — научатся извлекать пользу из любого гриба. Бесполезного для человека в природе ничего нет.

— Ишь ты какой умный, все понимаешь. Ну и ешь эту свою пользу, а я посмотрю, как ты потом будешь корчиться.

— Это примитивный узкий практицизм,— надменно сказал Хромосома и сам рассмеялся.— Ладно, я научусь их различать. Пойдем к ребятам.

Без них там не очень скучали. Владлен и Варя полуголые валялись на лужайке, загорали. Возле напевал что-то транзистор. У воды за ивняком Костя обнимался с Лялькой.

— Дары природы? — усмехнулся Владлен, косясь на Мишину сеточку.— Тощевато. Хотите хлебнуть из бутылки? Там вон, под рубашкой.

— Пожевать бы чего-нибудь! — крикнул из ракитника Костя, и Варя тоже попросила:

— Миш, поройся в сумках, закусим.

Устроились в тенечке. Прямо в траву выложили хлеб, колбасу и яблоки. Винный запас оказался солидным. Миша почти не пил, Хромосома же расхрабрился, хватил коньяка и скоро сделался потешно-пьяным. Чувствуя себя авторитетным здесь, среди непосвященных, представителем биологии, он счел необхо-

димым разъяснить присутствующим великое предназначение своей науки и делал это с удовольствием и азартом, хотя язык его чуточку заплетался. Он говорил, что в скором будущем все науки станут перед биологией на задние лапки и будут ей служить, ибо только она, раскрыв загадки живой природы, сделает человека поистине великим. Овладев тайнами наследственности, люди начнут лепить нужные им породы животных, создадут невиданные по урожайности сорта полезных растений, выбросят в хлам прошлого старость и обретут бессмертие.

— Симочка, а тебе на что бессмертие? — смиренно спросил Костя и подмигнул компании.

Хромосома смолк и некоторое время бессмысленно смотрел на своего двоюродного братца.

— Мне? — выдавил наконец он из себя.— Лично мне?

— Ну хотя бы лично.

Бедный Хромосома с отчаянием и надеждой оглянулся на Мишу Нукина и с ужасом обнаружил и в его глазах ждущее любопытство.

— То есть вот лично мне?.. Какой-то смешной вопрос.

Костя сказал баском:

— Ха... ха... ха...

— Три «ха-ха»,— щебетнула Лялька.

Они явно сбивали его с толку. Гневливо распаляясь, Хромосома сжал пальцы в кулаки.

— Ничего смешного тут нет! — выкрикнул он, не замечая некоторого противоречия с предыдущим своим заявлением.— О бессмертии мечтают все, и я мечтаю тоже. Зачем оно мне? Сейчас я вам скажу. Вот зачем. Я буду работать. Я буду работать долго и хорошо. И это будет счастье. Я открою что-нибудь новое, нужное людям. Вы представляете? Мне сто, нет, сто пятьдесят уже лет, а я все равно каждый день в лаборатории, ставлю опыты, учу молодых, и все вместе мы делаем что-то интересное и радостное, полезное людям. Вы понимаете?

Может быть, он и тронул их, однако, видимо, чтобы не поддаться этому, Костя сказал насмешливо:

— Эх ты, Симочка-Симон! Сен-Симон, великий утопист.

— Это почему утопист?

— А потому,— жестко сказал Владлен,— что все это детские сопливые бредни. Он, видите ли, мечтает. Все, видите ли, мечтают. Чепуха! Лично я вот ни о каком бессмертии не мечтаю. Может, оно необходимо моему папочке, так я тогда это ваше бессмертие взорву своими руками.

— При чем тут твой папочка? — растерянно пробормотал Хромосома.— Если он негодяй или... еще что-нибудь, так при чем он здесь?

— Его папочка, между прочим, директор вашего института, уважемый профессор Рогожин,— ехидно пояснил Костя.

Владлен бешено повернулся к нему.

— Тебя спрашивают?! — заорал он. Глаза его начали искать что-нибудь, чем можно было ударить Костю; подвернись кирпич, Владлен ударил бы кирпичом. Глаза ничего не нашли. Владлен рванул к себе бутылку, выплюхнул из нее вина в стакан и опрокинул в себя.— Ладно,— безразлично сказал он,— разговаривайте.

Хромосома пожал плечами:

— Псих.

А Миша все молчал. Он слушал и молчал. Иногда только поглядывал на Варю: любопытно, как сестра реагирует на разговор.

Самому ему в этом разговоре все было интересно — и наивно-вдохновенное слово Хромосомы о бессмертии, и подковырки Кости, и внезапная угрюмо-гневная вспышка Владлена.

Владлена ему хотелось понять. Костя и Лялька, казалось Мише, прозрачны. Шалопай и шалопайка с куриными мозгами, топчут свою жизнь, гогочут весело, а потом, остепенившись, станут заурядными мещанами. Владлен, похоже, другой, в нем, видимо, бродят какие-то мысли. Раскусить бы их. Тем более, что с Варей у Владлена, должно быть, всерьез. Неприятно только, что Владлен, оказывается, сын директора Института биологии. Знала об этом Варя? Миша посмотрел на сестру. Она сидела задумавшись, лицо ее вырисовывалось на фоне неба четким курносым профилем, прядка золотисто-рыжих волос грустно свисала на округлый лоб. Левая бретелька купальника сползла на

руку, бретелька была подштопана, старательно и неумело. Жалость полоснула Мишу, он отвернулся.

А Владлен в это время думал: «Идиот, распсиховался, как девочка. Нашел перед кем! Один — розовый трепач, другой — болванчик-подергунчик. Вот только этот молчун-очкарик, Варюхин брат, походит на порядочного человека. Да и то — кто его знает? Выпить, что ли, еще?» Он потянулся к бутылке.

— Постой, передохни,— Миша забрал вино.— Хромосома, мы же картошку хотели печь.

— Ха, романтики-идеалисты! — Костя даже головой покрутил.— С каких пор картошка стала лучше яблок?

— С древних,— сказал Владлен.

Миша благодарно улыбнулся ему и ухватился за старенькую, еще мамину кошелку, в которой лежали завернутые в газету вымытые картофелины.

— Давай я их в костер,— потянулась к нему сестра.

— Чилим-билим, картошка-тошка,— пропел Костя.— Скучно без гитары. Ну, Сен-Симон, великий утопист, давай шпарь свою лекцию дальше.

Хромосома обидчиво швыркнул носом:

— Ты до умных понятий еще не дорос.

Пока Костя соображал, как ответить получше и посмешнее, Владлен сказал:

— Каждому чижику свое понятие кажется ужас каким умным. И шакалу тоже, и гиене.

Хромосома вновь почувствовал себя на полемическом коне:

— Но есть же понятия непреложные и общие.

— Для всего животного мира,— захохотал Костя.

— Нет,— непреклонно возразил Хромосома,— для людей. Есть понятия зла и добра, правды и лжи. Есть большие, важные и нужные для всех понятия.

— Опять мелешь,— сказал Владлен.— Я же тебе толкую: для чижика понятие одно, для ястреба — другое.

— Человек человеку — волк? — вмешался наконец и Миша, деловито поправляя очки.

— Нет, волк волку — человек.

— Ого! — чуть не привскочил Хромосома.

— Ничего, мальчик, узнай с мое — не то поймешь.

Владлен чувствовал себя взрослее этих парней. А был только циничнее. Все они были еще детеныши. хотя уже и начинали огрызаться и кусаться почти всерьез.

— Послушай,— Миша тронул Владлена за подвернувшуюся ступню ноги,— ты комсомолец?

— Кажется,— лениво сказал Владлен и подтянул ногу.

— Что значит «кажется»?

Костя встал, потянулся:

— Ну, заволынили! — и пошел к реке.

Владлен проводил его взглядом искоса, посмотрел на Варю, по-прежнему неподвижно сидевшую в сторонке, сказал кисло:

— Отвяжись-ка лучше. Ну, комсомолец, ну, нет — какая тебе разница? Уж не воспитывать ли меня собрался?

— А если?

— Тогда вались подальше. Воспитывать надо не меня — кое-кого другого. Да и то поздно.

— Это кого другого?

— Дядю воспитывать надо. Понял? Дядю. И не мешай отдыхать. Варь, дай ему дельный совет.

Варя медленно повернула к ним голову, посмотрела длинно и только усмехнулась. Как-то непонятно усмехнулась. Потом встала, потягиваясь:

— Пойду окунусь.

Неспешно, гордая телом, она пошла к воде. Хромосома смотрел на нее во все глаза, потом сконфуженно отвел взгляд.

— Ну хорошо.— Миша заново повернулся к Владлену.— Давай поговорим по-мужски. Что ты думаешь делать в жизни, для чего будешь существовать?

Владлен невесело усмехнулся.

— Что ж, ты правильно выражаешься: именно существовать.— Он грустно покивал.— А что я буду делать, тебе любопытно? Буду учить детей. «Здравствуйте, дети. Меня зовут Владлен Леонидович Рогожин. Извините за паскудную фамилию, зовите меня просто дядя Владя. Я вам буду рассказывать о физике и не буду читать моралей. Я умный, дети. Морали мне самому надоели с детства, и отсюда я сделал вывод: никаких моралей. Вы довольны, дети?..» А по вечерам

я буду потихоньку напиваться и петь глупые песенки. Хочешь, старик, песенку? — Уронив голову на ладонь, он запел:

Скучно жить на белом свете,
В нем отсутствует уют.
Дует ветер на рассвете,
Волки зайчиков жуют.

— Хватит! — резко сказал Миша.

— Зато я не буду рваться в директора школы и завгороно. Я буду рассказывать пацанам о законах Гей-Люссака, о сохранении энергии, и никакая собака не оторвет меня от вечных истин учебника. Вот что я буду делать в жизни. Ты недоволен?

— Это чистейшей воды мещанство,— подал голос Хромосома.

— А я не с тобой разговариваю. Я разговариваю с Михаилом, он меня поймет.

— Нет,— сказал Миша,— я не хочу тебя понимать.

— Ты хочешь меня воспитывать? Да? Тогда налей.

— Нале-й, нале-й! — громко пропел, вылезая из ивняка, Костя.

Лялька сказала:

— Ох, до чего мужчины — скучный народ: все спорят, спорят. В следующий раз, Костик, чтобы обязательно была гитара.

— Будь сделано.

Миша поднялся:

— Хромосома, давай двигать.

— Точно,— ухмыльнулся Владлен: — Движение — залог здоровья.

Они ушли вдвоем. Варя отказалась. Миша звал ее, Владлен сказал: «Домострой?» — они чуть не разругались. А может, надо было разругаться? Хромосома все извинялся перед Мишей, что получилось так нескладно. Миша молчал. Он думал.

17.

Если бы Игнатий Федотович Федюнин был хоть в малой степени склонен к самоанализу, любопытные наблюдения над собственной личностью могли получиться у него в эти часы. Он сидел на стадионе и смотрел футбольный матч. Личность его пребывала

как бы в раздвоенном состоянии. Место 36 в пятом ряду сектора «В» на западной трибуне занимали словно бы два человека: тут сидел обыкновенный тучный гражданин по фамилии Федюнин, болельщик, как и все вокруг, но тут же восседало и высокое номенклатурное лицо.

На стадион Федюнин выбирался редко, предпочитая пользоваться телевизором. Здесь, в толпе, ему было как-то не по себе. Здесь его могли спутать с каким-нибудь бухгалтером или агентом по снабжению, не догадываясь даже, что за оградой стадиона его ждет персональный лимузин. Правда, порой, очутившись на трибуне, он почти начисто забывал о своем положении и вместе со всеми крякал и ахал, покрикивал и взмахивал руками, и радостное чувство простоты и слитности с другими охватывало его, он ощущал себя таким же, как все, и, оказывается, это было преотлично — чувствовать себя таким же, как все.

Но такое случалось с ним редко.

Однажды он с третьим секретарем обкома Михайловым был в одном совхозе. После собрания, на котором коллективу вручили переходящее знамя, в клубе начались танцы, довольно скучное шарканье ногами под баян. Баянист был липовый, играл кое-как, и танцевали тоже кое-как, скованно. Обкомовцам, считал Федюнин, нужно уходить. Что им было еще тут делать? Но Михайлов вдруг подошел к музыканту, протянул руку: «Дозволь-ка, друг»,— и взял баян. Ах, черт, какие коленца он откалывал! И как вдруг зашевелился, воспрянул зал, с каким задором и весельем пошли в пляс совхозные девахи и молчаливые, застенчивые парни. А Михайлов все наяривал, с улыбочкой да прибаутками, вокруг него столпились люди, он рванул меха, сказал: «Теперь, может, споем?» — и запел. Пел он неважно, не шибко умело, зато очень уж истово, и зал подхватывал с душой и старанием. Какой-то ветхий дед, протискавшись к баянисту-заводиле, спросил: «Ты, поди, из деревенских будешь, товарищ Михайлов?» — «Нет, дедушка, из рабочих»,— и подмигнул: дескать, знай наших. На интеллигентном его, в заграничных очках лице было столько веселого лукавства и лихости! «Умеет подстроиться к народу»,— уважительно подумал тогда Федюнин о Михайлове.

А ни черта Михайлов и не подстраивался. Уже в машине, уезжая из совхоза, он сказал, блаженно улыбаясь: «Всласть отдохнул, отвел душу».

Вот такого у Федюнина быть не могло.

Когда и как непробиваемым жирком обросло его сердце? Ведь когда-то и он был простецким парнем, гонял мяч на заводском стадионе, построить который сам взбулгачил ребят, и петь в компании был мастак — не только речи произносить. Но речи ему нравились больше. И сначала за них да за напористость и заботливость заводские комсомольцы выдвинули его в свои секретари, потом еще раз, а потом уж примелькался он в глазах начальства, и начали его выдвигать на разные руководящие посты. Он это принимал за должное, за должное принял и то, что в вечернем филиале индустриального института натянули ему необходимые для получения диплома отметки.

На вчерашних своих друзей-приятелей он стал поглядывать свысока, руку, правда, подавал всегда первым, чтобы не сказали, что зазнался. На людей, что были «под ним», он смотрел, как бы в перевернутый бинокль: деталей лица, а тем паче души уже не рассмотришь — массы.

Правда, будучи переведенным на работу в обком, он начал со временем замечать не то что тучи над головой, а неприятный холодок отчуждения: люди здесь совсем не походили на Федюнина. Можно было привычно свалить это на зависть, но холодок шел не только от инструкторов и равных по должности — он шел и от секретарей. На этот случай в запасе было еще одно объяснение: пришелся не ко двору. От этого собственная ценность в его глазах не падала. Он себя чувствовал паровозом, поставленным на рельсы,— не собьешь.

...Матч был острый. Оранжево-голубая команда машиностроителей яростно атаковала ворота армейцев. Те оборонялись изобретательно и спокойно, время от времени опасно прорываясь на противоположный край поля. Игнатий Федотович любил команду оранжево-голубых, она нравилась ему и сегодня, только раздражал зазнаистый новенький центрфорвард: играл он, по мнению Федюнина, бестолково, много бегал и часто бил по воротам, но все безрезультатно. Так и хотелось

вызвать тренера, приструнить его и указать на бестолкового игрока.

Но в общем-то настроение у Игнатия Федотовича было приятное: с футбола, лишь заехав домой переодеться, предстояло отправиться на рыбалку — впереди было воскресенье. Сердце чуяло, что на том озерце, куда он собирался, приятели, кроме удочек, приготовят и бредешок, а побаловаться бредешком Игнатий Федотович всегда был рад.

Трибуны загудели. Федюнин поднял глаза на поле — оранжево-голубой центрфорвард стремительно шел на ворота армейцев, обходя двух защитников. Но те настигали его; тогда неуловимым изящным движением он сделал пас влево назад своему партнеру, тот с ходу навесил мяч над штрафной площадкой, и, распластавшись в акробатическом прыжке, центрфорвард головой влепил мяч в ворота. Стадион ахнул.

«А ведь может»,— со снисходительным одобрением подумал Федюнин и даже хлопнул несколько раз ладошами.

— Игнатий Федотович, красиво как, а? Здравствуйте.— К нему с задней скамейки в белозубой улыбке склонялся Гладилов из Института биологии.

— А, вон тут кто,— сказал Федюнин и сунул руку назад. Гладилов пожал ее крепко и коротко.— Тоже болеешь?

— Да вот опоздал немножко.

— Значит, не настоящий болельщик... А вы давайте сюда,— нечаянно перейдя на вы, пригласил Федюнин и, повернувшись к соседу, вихрастому веснушчатому пареньку, распорядился:— Молодой человек, поменяйся-ка с товарищем местом.

Гладилов, как всегда, был приодет, удлиненное красивое лицо его было чисто выбрито, волосы у залысин аккуратно причесаны.

— Пить хотите, Игнатий Федотович? — легонько похлопав по маленькому спортивному чемоданчику, спросил Гладилов.— Термос собственной конструкции, специально для стадиона.

— Кофе, что ли?

Гладилов отомкнул защелки, откинул крышку. В двух углублениях, как впаянные, лежали запотевшие бутылки с пивом, а в третьем — две воблинки.

— О, да ты змий-искуситель! — Игнатий Федотович почувствовал, что горло у него пересохло.

— Как из холодильника,— сказал Гладилов, доставая раздвижной пластмассовый стаканчик.

— Что значит наука,— улыбнулся Федюнин.

Он сказал «наука» и тут же подумал, что неплохо бы получить от Гладилова кое-какую информацию. Официальные каналы — одно, а так вот, запросто поспрашивать человека — другое. К Гладилову он испытывал чувство, похожее на симпатию. У этого парня верное чутье, и, судя по всему, политически он грамотен и выдержан. И не кичится ученостью, не пыжится оригинальничать, знает свое место.

Теперь на приступ ворот оранжево-голубых шли армейцы. Они атаковали мощно и грозно, трибуны шумели. Посасывая боковинку воблы, Федюнин привалился тучным телом к Гладилову.

— Вот что, Петр... э-э...

— Анатольевич.

— ...Петр Анатольевич... Как там, интересно, в институте у вас обстановка? Все я хотел выяснить, что произвела в умах статья Рогожина, да как-то не доходили руки. Дел, знаешь, невпроворот.

Гладилов этого вопроса ждал. Однако ответил не сразу. Склонив голову набок, он помолчал, как бы собираясь с мыслями, потом сказал:

— Обстановка? Да по существу, Игнатий Федотович, ничего не изменилось. Все сохраняется статус-кво. Пошушукались в кулуарах — и все. Видимо, Леонид Александрович присматривается, выжидает, что будет дальше. Я как-то намекнул ему, что неплохо бы провести собрание научных сотрудников, все-таки вопрос принципиальный — он пока остерегается.

— Зря. Чего тут, понимаешь, осторожничать?

— Я так же считал, да вот...— Гладилов неопределенно пожал плечами.— Может быть, еще и потому, что лето: большинство наших сейчас за городом — в экспедициях, в племхозах, в поле. Сам Леонид Александрович тоже в отъезде.

— Угм,— Федюнин покивал.— Ну, мы к этому еще вернемся.

— Необходимо, Игнатий Федотович.— Гладилов тоже покивал.— Плеснуть вам еще?..

Матч выиграли оранжево-голубые. Толпа густо хлынула к выходу. Федюнин и Гладилов решили немного переждать. Между скамейками уже шныряли мальчишки с мешками и авоськами, собирали пустые бутылки. Наблюдая за их суетней, Федюнин поинтересовался:

— У вас дети есть?

— Увы, Игнатий Федотович. Холост.

— У меня сын,—расчувствовался Федюнин.— За бутылками, конечно, не бегает, но, скажу вам, сорванец. Кстати, товарищ биолог, где можно достать хороший аквариум? Парнишке на той неделе стукнет двенадцать, а все он мечтал о рыбках.

— Хм,— весело сказал Гладилов,— считайте, что аквариум уже у вас. Превосходной работы, с подсветкой, с подкачкой воздуха. Стоит у меня дома, мне совершенно не нужен.

«Обещал Семочкину,— вспомнил он,— ну да ничего, переживет».

Этот аквариум действительно очень хороший, Петр Анатольевич купил случайно у какого-то пропившегося рыбовода. Коллекцию рыбок он завел приличную и, когда случалось коротать одинокие вечерние часы в холостяцкой своей квартире, подолгу наблюдал странную жизнь в зеленоватой прозрачной глыбе воды за стеклом. Что-то они непрестанно там делали, шевелились, свершая свое, рыбье, эти яркие стремительные цихлазомы, ленивые красавцы гурами, юркие кардинальчики и медлительные черные моллиенезии. Пышнохвостые бойцовые петушки были просто великолепны — и в любви, и в драках. Несколько раз мелькала у Петра Анатольевича бесовская мысль: а что, если подпустить к ним прожору окуня? То-то будет переполох! И он подпустил. Окунишка, освоившись, очень быстро разделался с мирными беззащитными рыбешками. Эта мелюзга исчезала в его пасти мгновенно. Гладилов не отрывался от стекла. Позднее он подумал про себя с ехидством: «Уж не садист ли я?» И успокоился тем, что просто экспериментировал как биолог. Что эксперимент не может быть бесцельным, этого он себе не говорил. И, конечно, никому о нем не рассказывал. Потом окунь сдох с голода. Теперь аквариум стоял пустой. Заводить рыбок больше не хотелось.

— Но...— Федюнин замялся,— неудобно как-то.

— Очень удобно, Игнатий Федотович. Повторяю, он мне абсолютно не нужен. Вот мой адрес, возьмите, ваш шофер может заехать в любой вечер.

— Ну, коли так, спасибо.— Федюнин спрятал листочек с адресом в бумажник.— Сколько я буду должен?

— Как вам не совестно?!

— Без денег не возьму,— непреклонно сказал Федюнин.

— Как-нибудь, сочтемся, Игнатий Федотович.

Прощаясь у машины, Федюнин предложил подвезти Гладилова,— тот, поблагодарив, благоразумно отказался. Он и без того остался встречей чрезвычайно доволен. За какие-то полтора-два часа удалось определенно сблизиться с Федюниным. Пусть немного, но все же. Очень удачно при этом было «капнуто» на Рогожина: если случится сковыривать его — пятнышки на деятельности товарища Рогожина пригодятся.

Приехав в свою маленькую однокомнатную квартирку, Петр Анатольевич принял душ. Настроение стало совсем отличное. На вечер у него было отложено несколько статей из «Успехов современной биологии», однако читать не хотелось. Насвистывая, Петр Анатольевич выгреб песок из аквариума, прокипятил его и сложил в полиэтиленовый мешок, потом вымыл и тщательно протер аквариум. «Получайте, Игнатий Федотович,— усмехнулся он,— честно, без окуня». В свои двадцать восемь лет он уже привык разговаривать без собеседников. Правда, разговаривал еще не вслух — про себя.

Привычка эта появилась три года назад, когда Гладилов развелся с женой. Она уехала к родителям, в родную станицу, а он остался один в пустой краснодарской комнате. Целый месяц он бездельничал, уволившись с работы; днем писал письма в разные города, а вечерами изводил и тешил себя мысленными разговорами с бывшей женой. Тогда — да и только ли тогда? — она была еще дорога ему, но это чувство он старался подавить злостью,— чтобы стало больно и ей.

Тамара, появившись в комнате, обычно останавливалась у порога.

«Ну, как, мистер Питер, довольны жизнью?» — спрашивала она, разглядывая его.

«Вполне, — как можно небрежнее отвечал Гладилов.— Хотя бы потому, что недовольна ты».

«О нет, рада-радешенька, что наконец живу не с тобой. Эти четыре года были для меня адом».

Слова ее били ему в сердце. Он говорил раздраженно:

«То-то и липла ко мне все эти годы».

«Да, надо было рвать давно. Сразу, как ты сел мне на шею, как заставил сделать аборт, превратил меня в домашнюю прислугу, в ломовую лошадь».

«Я даже не сказал тебе спасибо? Ай-яй-яй»,— издевался Петр Анатольевич.

«Ты всегда был подлецом,— устало говорила Тамара и вдруг оживлялась, становясь почти веселой.— А ну признайся, сейчас ведь можно. Еще в школе — помнишь Димку Величкина? — это ты его выдал тогда?»

«Зачем же так, Тамара?!» — хотелось сказать ему, но он злил ее:

«Похвальная сообразительность. Конечно, я. Ведь Димка, если не ошибаюсь, был твоей первой любовью».— Ему и больно, и отрадно было видеть, как искажается лицо Тамары.

«Наверное, правду говорили про твоего отца, что в войну он выдавал фашистам наших».

«Кто знает, может, правду, может, нет. Он ведь служил у немцев не из идейных соображений, а просто, чтобы было чем кормить меня. И должностишка у него была мелкая — официант».

Помолчав, она спрашивала:

«Из совхоза ты, конечно, уже ушел, сбежал от ответственности?»

«Конечно, ушел. Что я, дурак что ли?»

«Ты хуже дурака. В сто раз хуже и опасней».

«В сто раз — это уже звучит. Масштабно».

«У тебя, конечно, есть планы?»

«Безусловно. Академиком я, видимо, не стану, но лет через пять-семь в какой-нибудь газете прочтешь о докторе наук Пэ А Гладилове.— Вдруг что-то делалось с ним, он тихо брал ее за руку.— Послушай, Тамара, я идиот и сволочь, но вернись ко мне, даю слово, исправлюсь, заживем заново, а?»

«Храбришься: заново!..»

И снова какая-то струна обрывалась в нем.

«Ну, льстить мне не надо,— усмехался он.— Храбрым я не был никогда, хитрым — всегда...»

Разговоры эти не имели конца. Не закончив один вариант, Петр Анатольевич принимался сочинять другой — все о том же, но с другими деталями, иными оттенками. Он маялся от одиночества, от бессильной злости и невылитой язвительности.

С Тамарой уже давно не было бесед, однако привычка к мысленным разговорам осталась.

«Получайте, Игнатий Федотович»,— усмехнулся про себя Гладилов и только теперь посмотрел на часы. Было девять. Он начал торопливо переодеваться. «Ведь знал, что все равно пойду звонить, мог бы и побыстрее двигаться»,— упрекнул он себя.

У автомата возле аптеки щебетали какие-то крашеные пигалицы. Две из них оккупировали телефонную будку. «В понедельник же упаду в ноги начальнику АТС. Только надо запастись солидной бумажкой. Хо, вот теперь Игнатий Федотович мне и поможет. Для него это пустяк».

К телефону долго никто не подходил, и Петр Анатольевич подумал, что Мария все еще не вернулась из поездки, однако трубку сняла она. Голос был лениво-размягченный, как бы со сна; Гладилову тут же представилась измятая постель, жаркая волна прокатилась по телу.

— Добрый вечер, Мария Васильевна. С приездом?

— Спасибо. А вы все в городе?

— Дела. Какие планы на сегодня?

— Спать.

— Так тривиально?

— Полезно для здоровья.

— Жаль, я думал развлечь вас чем-нибудь.

— Вы на это способны?

— Рискните проверить.

— Как-нибудь создадим комиссию, проверим.

— С участием вашего названного братца?

— С участием профсоюзной организации.

— Как ваша машина?

— Олл райт.

— Вы ездили в этот раз на ней?

— Разумеется.

— Отважная женщина.
— Она хочет спать.
— Ну, извините. Приятных снов вам. Гуд бай.
— Гуд бай.

Пигалицы возле будки все еще щебетали. Видно, перспективы сегодняшнего вечера им улыбались. Одна, длинноногая, была определенно хороша.

«А что, если бы Мария не была дочерью Петрова?»— подумал Петр Анатольевич. Он начинал примеряться к женщинам всерьез: решил после защиты кандидатской жениться.

18.

Перед Андреем раскинулся город его детства. С последнего этажа гостиницы, где поселился Перевалов, город был хорошо виден. По вырубленному среди каменных прямоугольников проспекту трамваи бежали туда, где громоздились на горизонте сооружения металлургического завода. В небо всплывали разноцветные дымы.

В последние годы Андрей часто бывал здесь в командировках. Город стал совсем другой. От старой улицы, на которой жили когда-то Переваловы, не осталось ничего: дома снесли и поставили новые, большие, четырехэтажные, мостовую и травку, пробивавшуюся меж камней, залили асфальтом, и даже деревца, тощие ободренные козами акации, повыкорчевали, вместо них теперь лопотали листвой густокронные тополя. Если бы были хоть какие-то приметы, напоминавшие о былом...Их не осталось. Но вчера один человек разбередил воспоминания.

Андрей сидел в комнатке секретаря партбюро мартеновского цеха, беседовал с людьми — они заходили к нему по одному, по два,— подбирал факты к корреспонденции о заводской самодеятельности. Тут же притулился в уголке какой-то старикан, как понял Андрей, из цеховой кассы взаимопомощи; был день получки, и он вел с должниками счеты-расчеты. В какую-то минуту они остались в комнате вдвоем. Тогда старикан спросил:

— Товарищ Перевалов, отца у вас не Николаем звали?

— Николай Никандрович.

— Вот оно, значит, что. Николай Никандрыча сынок. А я Боярских буду, Филипп Архипович. Дядя Филя значит.— Он подошел поближе, приспустив очки на нос, вгляделся.— Похож, я сразу приметил, похож.

Что-то тревожно-теплое заныло в сердце.

— Знакомы были с батей?

— Хм, знакомы! Работали вместе, электромонтажничали. Я тебя знавал. Вот таким,— ребром ладони он коснулся столешницы. Помолчал, улыбаясь приветливо и печально.— Значит, в газету пошел? А ведь я думал, банковским работником станешь.— Он рассмеялся.— Случай был. Пришел я к твоему отцу денег позаимовать, а ты, карапуз, совет мне даешь: «А вы,— говоришь,— купите денег-то, будет у вас их много». Пронзительный совет, а?

Они посмеялись, поговорили еще о том, о сем, и тут вспомнились Андрею родители и детство, и старая улица вспомнилась, и пошел, пошел клубочек разматываться. С утра сегодня, как глянул в окно на дымный город, опять нахлынуло давнее.

Это верно, административно-финансовых талантов у Андрея была нехватка с малых лет, что неоднократно подтверждалось в ребячьих играх и забавах. Нимало не задумываясь, Андрюха отдавал чудесный, стоивший, по крайней мере, гривенник биток для игры в бабки за какую-нибудь пустяковую, но красивую обертку, или, побывав в чужом огороде, высыпал из подола рубахи весь горох, собранный на грядках, в руки приятелей.

За эту ли бескорыстность, за выдумки ли в играх ребята его любили. Он тянулся к паренькам постарше, те принимали его в свою компанию, но за ним тянулись и малыши, которым он покровительствовал, и из-за малых пацанов, не давая их в обиду, Андрюха много раз был бит и сам бивал других неоднократно. Малорослый, но увертливый, дрался он отчаянно, а после драки быстро оттаивал и, если оказывался победителем, очень жалел побитого. Когда возвращался он домой, измазанный, в ссадинах, с синяком под глазом или распухшим носом, мать ахала, ругала его и тут же осыпала ласками. А отец, тая усмешку, говорил:

— Ничего, мамочка, это только полезно. И ты Андрюха, синяков не бойся, только зря их не принимай.

Синяк — что пятак: заслужил — получил, нет — не надо.

Отец был электротехником-монтажником. Всю жизнь проведший в рабочей среде, он хорошо знал язык народа — это был его язык, и ко всякому случаю лепил поговорку, прибаутку или частушку. Случалось, по вечерам, в зыбких уральских сумерках, он вышагивал по комнате, грузно ступая по оседавшим под ним половицам, и вполголоса напевал. Песни были разные: то печальные и тоскливые, то бесшабашно-озорные, чеканные и быстрые. Андрюха тихонечко сидел в уголке и думал об отце, о том, какой он хороший, большой и умный. А еще думал о Руси-матушке, про которую пел отец, и страна русская представлялась ему бесконечно широкой, привольной равниной, над которой то летит, то бьется судорожно, то плачет, то гремит раздольная песня. И от воображаемого приволья этого, от песни сладко замирало и падало куда-то Андрюхино детское сердце.

Вообще его сердце было богаче ума.

В семье его любили и баловали: был младшим, заскребышем. В школе учение давалось легко. И как-то в одном потоке шли и пятерки на уроках, и не очень похвальные проказы, и общественные нагрузки, которыми Андрей буквально обрастал, с легкостью и готовностью берясь за любое поручение. В школе его тоже хвалили и баловали. Потом вдруг исключили из пионеров.

Получилось так. Ребята затеяли игру в тайное рыцарское общество. Одним из зачинщиков был, конечно, Андрюха Перевалов, поглотивший к тому времени изрядную порцию винегрета из сочинений Скотта, Сенкевича, Дойля, Фергюссона и Купера. Он придумал знак общества — два алых скрещенных меча — и написал текст клятвы на дружбу и верность. Под этим текстом они, человек пять шестиклассников, подписались кровью, добытой из собственных пальцев. Делалось это вечером, в сарае, при средневековом свете свечи, и все было ах как таинственно и увлекательно — куда увлекательнее, чем на пионерских сборах.

Однако школьные вершители ребячьих судеб посмотрели на это совсем по-иному. Ведь общество было «тайным»! У директора школы мурашки бегали по

коже. С новоявленных «меченосцев» были публично сняты пионерские галстуки.

Случай этот не мог не оставить следа в душе Андрюхи. Она была чистой, чистой этой душой он, может быть, не вполне сознавая это, преданно и сильно любил пионерскую организацию. И вдруг оказался вне рядов ее, как бы чужим. Конечно, от него не отвернулись, его не разлюбили, но мальчишеский возраст чуток ко всевозможным формальностям, и Андрей переживал исключение очень больно. В эти месяцы он сжался душевно, съежился, притих. Любой, даже самый малозначительный знак внимания к нему со стороны коллектива, организации стал особенно дорог. Теперь Андрюха говорил все с оглядкой. Он сделался «правильным» и старался, чтобы все видели эту его «правильность». Если раньше он позволял себе, скажем, фыркнуть на замечание вожатой или ответить смешливой ужимкой, то теперь в его глазах появилась готовность исполнять любые требования.

Вскоре погиб отец. На какой-то установке не сработала защита, и Николая Никандровича убило током высокого напряжения.

А через несколько дней началась война, и мать, забрав Андрюху, уехала из этого города в семью старшего сына, который ушел на фронт...

Что-то невеселые получались воспоминания. Чтобы встряхнуться, Андрей решил пройтись. Служебные свои дела он уже закончил, до поезда оставалось часа три. Он вышел на улицу. Привычное для города непрестанное движение вечно озабоченных чем-то прохожих, деловитое снование транспорта, шумы — все это сняло горечь, начинавшую обволакивать сердце, настроение входило в рабочую колею. Андрей приглядывался к прохожим, стараясь по виду определить профессию человека, его склонности и привычки, то, как он живет,— это было у Перевалова одним из любимых развлечений. Однако заниматься этим надлежало, когда людей на улице было меньше; сейчас они мельтешили перед глазами во множестве. Андрей стал потихоньку думать о корреспонденции, и, пока еще сумбурно, но с готовностью, засуетились слова, затолкались, сшибаясь друг с другом, строясь в нужные фразы. Складывалось начало корреспонденции.

Он остановился у витрины книжного магазина, задумался и не сразу понял, что окликнули его. Но тот же голос повторил настойчиво и весело:

— Товарищ Перевалов!

Из серенького «Москвича», приткнувшегося у тротуара, призывно махала Мария Петрова. Он почему-то очень обрадовался ей, как другу на чужбине, такое было чувство.

Она тоже возвращалась домой. Была на объекте неподалеку от города. Что за объект, Мария не уточнила, Андрей не расспрашивал: он догадывался, о чем идет речь. Агитировать его сменить поезд на автомобиль было не надо. Договорились, что через час она заедет за ним в гостиницу.

Автострада шла через лес, с увала на увал. Мария вела машину легко, чуть гордясь и хвастаясь этой легкостью. Радость от встречи не проходила, Андрею было приятно, что Мария рядом, они часто поглядывали друг на друга и улыбались.

— Слушай, дорогой мой родственник, отчего у тебя такой затрапезный вид? — неожиданно спросила Мария, всматриваясь в дорогу впереди.

— Командировочный,— пожал плечами Андрей и скосил глаза на нее: на ней было строгое нарядное платье, однако глаз скользнул не столько по платью, сколько по ее фигуре — от шеи до загорелых ног.— Нашему брату, газетчику, приходится бывать не только в кабинетах начальства. В цех в нейлоновой рубашечке не придешь: и вымажешься, и сторониться тебя будут — не свой.

— Ну-ну, — сказала Мария.— Продолжим допрос. Ты тщеславен?

— Действительно, допрос,— усмехнулся Андрей, но ее вопросы не были ему неприятны.— Нет, пожалуй, не тщеславен. Даже без «пожалуй».

— А что движет тобой в работе?

— Да, наверное, то же, что и тобой. Поверь, это не высокие слова,— хочется делать что-то доброе. Зло искоренять, хорошее распространять. Такая у меня профессия.

— Ты всегда знаешь, что добро и что зло?

«Странный вопрос!— хотел обидеться Андрей.— Это же очень просто».

И осекся. Действительно, разве всегда известно человеку наперед, добро он делает или зло? Эвон как легко помог он Гладилову и Рогожину напечатать их статью и был уверен, что поступает правильно, творит доброе дело. Не на это ли намекает Мария?.. Нет, видимо, она и для себя ищет ответы на вопросы, которые ее тревожат. И, наверное, найдет эти ответы. А он? Что его тревожит по-настоящему? Если вдуматься, пожалуй, и этот вопрос: «Ты всегда знаешь, что добро и что зло?»

— Нет, конечно, не всегда. Но я стараюсь распознать их.

Машина шла быстро, в ветровом стекле тоненько посвистывало. Андрей не совсем понимал, зачем все это Марии. Просто такая дотошная? Таня никогда не задавала подобных вопросов. А может, ей и не нужно было задавать их, она и так все знала о нем.

— Таня еще при тебе уехала с Вовкой на биостанцию?

— Нет, должна была уехать без меня.

Он только тут вспомнил, что дома никого нет. Очень хорошо. Можно будет вечером спокойно поработать, поболтать с Грином, почитать.

— Допрос временно прекращается,— объявила Мария.— Вопросы были не обидные?

— Это уже продолжение допроса. Не обидные.

— Ну и чудесно. Есть предложение. Не доезжая до города километров тридцать, мы завернем в одно местечко.

— Что за местечко?

— Там увидишь...

Свернув с автострады, они проехали еще километра три по лесу проселком. Неожиданно впереди блеснула вода; на берегу тихой речки стояли два бревенчатых дома с громоздкими надворными постройками. Мария уверенно направила автомобиль к одному из них. Сидевший на скамеечке у дома седой лохматый дед вскочил и, припадая на деревянный протез, поспешил открыть ворота. Мария завела машину во двор и, лихо развернув, поставила под навес.

— Ну, здравствуйте, Корней Степаныч.

— Здравствуй, милая, здравствуй. Решила, значит, дом свой навестить?

— Да вот ехала мимо... Гостинчик захватила вам.— Она протянула две пачки махорки.

— Ох, угодила, милая, спасибочки.

Он расплылся в улыбке, черными корявыми пальцами ухватил махорку, понюхал и сунул в карман. Пока Мария возилась у багажника, доставая какие-то свертки, переминался с деревяшки на ногу, изредка бросая на Андрея короткие лукавые взгляды. Лица, задубелого и морщинистого, было почти не видать за беспорядочно торчавшей во все стороны седой порослью бороды и усов.

— А это, Корней Степаныч, тайный гостинчик.

— А-а, чекушечка! Угодила, милая, угодила. Я ее сейчас в баньку, а вечерком — хлобысь, и загулял дед Корней. Гранд мерси, Мария Васильевна, спасибочки.

— Идем,— сказала Мария и, сунув свертки Андрею, направилась куда-то за дом.

Там оказалось еще одно крыльцо — две дощатые приступочки. Мария открыла дверь, и они вошли в пристрой, без сеней, сразу в комнату. Комната была темноватая, всего с одним окном. Маленький столик, табурет, шкаф с книгами и посудой вместе, низкая широкая тахта и медвежья шкура на полу составляли всю обстановку. По бревенчатым стенам тянулись узкие аккуратные швы свежей конопатки. В печи был выделан камин.

— Вот мое жилье,— сказала Мария, и было понятно, что жилье это безумно ей нравится. Вопросов она не дожидалась.— Его устраивал для себя один художник, недавно он переехал в Ленинград, а мне посчастливилось узнать, я перехватила. Местечко здесь превосходное. В соседнем доме живет лесник, а мой хозяин — егерь. Угрюмый, безмолвный человек. Жена его — тоже. Единственный мой друг и собеседник — дед Корней. Любопытный старик. Философ... Ну как? Нравится?

— Просто отличная хибара!

— Будем готовить обед или ударим по закускам? У меня есть все.— Мария была возбуждена.

— Ну, зачем готовить? Пообедаем в городе.

— Да? — Мария как-то странно взглянула на него.— Ладно, разворачивай свертки, кромсай и режь. Нож и тарелки в шкафу. А я слазаю в свой погребок.

Столик они придвинули к тахте и уселись рядышком.

Андрей чувствовал себя несколько взбудораженным, он еще не освоился с этой негаданной ситуацией.

В дверь осторожно постучали. Это был дед Корней. На большой плоской тарелке лежал зажаренный карп.

— Вот, Нюша прислала.

— Выпросил,— догадалась Мария.— Ну ничего, мы ей уплатим. Спасибо, Корней Степаныч. Садитесь-ка с нами.

— Что ты, что ты, милая, зачем же? Не-ет, я пойду.

Тут вмешался и Андрей. Что-то тревожно-незнакомое было в только что прошедших минутах наедине с Марией. Он принялся уговаривать старика разделить застолье. Впрочем, особенно-то уговаривать не пришлось.

С явным удовольствием выпив стопку водки, дед Корней стал очень разговорчивым. Где-то он понахватал кое-каких интеллигентских слов и выражений, и они забавно вклинивались в его заскорузлую речь. Этими выражениями он, видать, гордился, как гордился и собственной персоной. Но самолюбование это было безобидным.

Вначале Корней Степанович выяснил, кто есть Андрей, и, узнав, что тот работает в газете, проникся к нему почтительностью и загорелся желанием поведать о себе. И сделал это с хитрым, как ему, наверное, казалось, предисловием.

— Это хорошо,— сказал он,— очень нужное у тебя для людей занятие. Но только, скажу я вам, милые граждане, для знакомства одного названия человека мало. Вот ты, к примеру, в газете служишь. Другой там — завсельпо или даже министр, а то конюх. Все должности хорошие, нужные. А какой он есть человек? Я полагаю, когда наладится изобилие бумаги, все будут иметь визитные карточки. Слыхали про такие? Этакая картоночка, а на ей обозначено, кто такой ты есть. Со всеми подробностями. Вроде, значит, анкеты. Холост или женат, в который раз, как относишься к семье, обманывал ли людей, похмеляешься после выпивки или нет, труслив ли,— в общем, карахтер полностью. Ну и в конце, значит, твое занятие. Тогда ты

говоришь: «Здрасте, вот вам моя визитная карточка» — и все мы знаем, каков ты есть человек.

— Что ж, Корней Степанович,— улыбнулся Андрей,— познакомимся поближе, и вы узнаете мой характер, я — ваш.

— А пока поближе-то познакомимся, я, может, тебе пакость какую учиню. Надо — чтобы сразу. Но поскольку карточек этих у нас нет, я тебе про себя изложу устно. Имеешь желание послушать? Налей-ка мне еще чепарушечку.

Выпив, он прикрякнул деликатно, потом попросил:

— Дай уж заодно папиросочку. Махоркой тут, у Марии Васильевны, дымить я опасаюсь.

Видать, к повествованию своему он относился истово.

— Значит, кто я есть по званию? Бывший труженик села и города, ныне мещанин во дворянстве. Это ничего, что дворянство в свое время было основательно ликвидировано как класс, ты человек грамотный, меня поймешь. Дело все, я полагаю, в моей судьбе. А судьба такая: родился я в сорочке, счастливый значит, только счастье мое сперли. Похитили. Повесила мамаша на заплот высушить мою сорочку — ее и цапнули. Есть такое поверье: выкрал сорочку — выкрал счастье. Выходит, я обездоленный. А обездоленные — они люди никогда не вредные, поэтому никакой пакости я тебе, понятно, не учиню. Это чтобы ты про меня знал...

Начав столь бойко, Корней Степанович вдруг умолк, задумался, опустив голову, потом глянул на Андрея, и взгляд был печален и жалостлив.

— Ты не осуждай меня, мил человек, за стариковскую болтовню. Это я от душевного холоду. Холодно мне на последнем уклоне жизни. Все думаю: пустобрехом я прожил, не делом, а словами только. Вот — слыхал про такую знаменитость? — Терентий Мальцев. Нашего села был парнишечка. Вместе в бабки играли. Я даже обыгрывал его. В бабки-то. А в жизни? В жизни он большой человек, я же вроде хруща какого, жука, значит. Теперь вот тоже суетюсь, да лишь словесно. И всю-то жизнь так. Я, считается, в первую германскую воевал. А как? В денщиках у двух благородий офицеров поочередно, за сто верст от фронтовой боевой

линии. И в гражданскую, считается, в партизанах ходил. Опять же — как? Власть народная, конечно, это было по душе, земля, свобода — кому же такое не надо? Это с первой стороны. А со второй — помирать-то не хочется. Тем паче, впереди новая, прекрасная жизнь. Винтовку-то я взял, к партизанам-то притесался, а стрелить — пожалуй, не более двух разов стрелил, да и то, чай, в белый свет... С последней войны вернулся я, конечно, героем, потому — без ноги. Две медали есть. А за какую такую доблесть, если я ездовым при столовой фронтового штабу обитал? В тылах, значит. Ногу мне случайно фашистская авиация отбрила, немцы меня и не видывали. Это все — что касаемо военных с моей стороны действий...

— Корне-ей Степаныч,— укоризненно протянула Мария,— что это вы самобичеванием занялись?

— А для собственного анализу, милая. И также для вашего молодого просвещения. Когда старый человек говорит — он правду говорит. Плохо только, что лишь под старость человек храбрым становится. Душой, значит, храбрым и прямым. А нужно бы, чтобы от пеленок был он таким. Тогда, скажу вам, и будет настоящий коммунизм.

Андрей смотрел на него с интересом. Дед раскуривал потухшую папиросу, волосы его совсем взъерошились, торчали в разные стороны.

— Это вы хорошо, Корней Степанович, насчет душевной честности и прямоты,— сказал Андрей в желании еще послушать старика,— только на одном духовном мы ведь коммунизм не построим. Недаром мы говорим: создать материальную базу коммунизма. Это — основа, фундамент новой жизни.

— А кто же против фундаменту? Фундамент нужен, это аксиома.— Глазки старика опять победно блеснули: эвон какое слово он знает.— А я говорю про людские друг с другом отношения. Как, значит, человек должен к обществу относиться и за общее дело болеть. Если человек всей душой, а не наполовинку, дак основу-то эту, которая фундамент, куда как скорей выложить можно. Я вот про что, а не против фундаменту.

— Понятно? — весело обернулась к Андрею Мария.— Давайте-ка нальем еще по маленькой?

— Тяжеловато уже для моих-то годов будет,— покачал головой дед.— Вот раньше, бывало, медовуху пили, губы уже липкими станут, а ты все жбан за жбаном, пока не кувырнешься. Крепкую варили медовуху. Но и водочка, она тоже ничего, приносит настроение.

— Ну, за хорошее настроение...

Озеро тихо, плавно накатывало плоские малиново-серебряные волны на берег. У самой кромки воды плескался Володька, и Таня посматривала на него с нежной грустью — думала об Андрее: как он там, один, без нее?

За спиной послышались чьи-то тяжелые шаги, Таня оглянулась — дядя. Подойдя, он уселся на траву рядом.

— Любуемся водичкой, Танюша?

— Что-то вроде этого.

Он помолчал, потом кивнул согласно:

— Водичка — это славно. Когда она чистая.

Ему было хорошо с племянницей. Василий Николаевич по-старому, традиционно уважал родственные связи, а к Тане сердце его тянулось по-особому — как никак, дочь родного брата.

— Когда она чистая...— словно бы только для себя повторил Петров.— Знаешь, у меня как-то очень посветлело на душе этим летом, после того как в Москве подписали договор о запрещении атомных испытаний. Если всерьез, на нас ведь надвигалась эра, которую можно было бы назвать «Радиация и смерть». Теперь есть надежда, что наступит эра под названием «Радиация и жизнь». Радиология еще скажет свое слово. В медицине, в сельском хозяйстве, да и в промышленности... А у меня вот в задумках есть одно дело — создать лабораторию радиационной биогеоценологии. Кумекаешь, чем пахнет? Занялись бы мы исследованием кругооборота радиоактивных веществ в биосфере планеты. Так сказать, в целом, в совокупности... Да ты не слушаешь меня?

— Ох, простите...

— Вот старый болтун! — искренне обругал себя Петров...

...Дед ушел. Мария улыбалась, глаза у нее сделались светлыми и шалыми.

— Ну,— сказала она.— Что будем делать?.. Может, пройдемся?

Уже свечерело. Солнце готовилось унырнуть за пологую лесистую горку. Река еще играла золотом, с розовыми переливами, но у другого берега, под нависью кустов, легли на воду широкие и плавные мазки черным. Вечерняя птаха в дальнем черемушнике нежно пленькнула, раскатила короткую трель и смолкла.

— Соловей? — обрадованно насторожился Андрей.

— Ага, голос пробует.

Они шли узкой травянистой тропкой вдоль реки: Мария — впереди, Андрей — на шаг сзади. Сладко пахло свежим сеном. Было вокруг что-то очень знакомое и очень давнее, ушедшее навсегда и вдруг вернувшееся, чтобы только напомнить: было. И это знакомое, давнее, светлое печалью легло на сердце Перевалова. Мария тоже притихла, они шли молча.

Лес то надвигался на реку, то отступал, и тогда широкие, покрытые ромашками поляны расстилались по берегу. У поваленной, свисавшей ветвями в воду березы Мария остановилась:

— Сэр, может быть, посидим?

Она уселась на ствол, разламывала ветки на мелкие кусочки и, бросая обломки, следила, как несла их в сумеречную мглу река.

Становилось свежо. Прозрачные бестелесые струи тумана, чуть колыхаясь, припали к воде. Чуткая тишина объяла мир. И, не в силах вынести ее, вновь подал голос соловей — защелкал, пустил длинную трель, заклекотал маленьким певучим горлышком.

— Ну что, сэр, двинемся? — Мария мягко отделилась от ствола, будто всплыла в воздух.

Она как бы отгораживалась от Андрея этой осторожной, чуточку ироничной манерой обращения, не допускающей ни сентиментов, ни душевной близости.

Тропка уже еле виднелась в темноте. Они жались к ней и иногда касались друг друга.

— Давай, ночная царевна, шагай вперед, веди заблудшего путника,— шутливо сказал Андрей и тут же устыдился этих плоских, глупейше прозвучавших слов: «ночная царевна», «заблудший»...

Дом был темным и, должно быть, уже спал.

— Холодновато,— поежилась Мария.— Давай затопим камин.

Дровишки были заготовлены заранее, она разожгла их и выключила электричество. Комната стала сказкой. Мария села на шкуру перед камином, сказала:

— Для вас, сэр, тоже найдется местечко.

Огонь в камине шаманил. Он околдовывал.

Плечом Андрей чувствовал напряженное плечо Марии. Она медленно повернула к нему лицо. Глаза были темными, губы чуть приоткрылись...

...Ослабевшей рукой Мария провела по лицу Андрея, пальцы задержались на сросшихся бровях.

— Ты упрямый?

Он помолчал.

— Бывает.

Разговаривать ему не хотелось. Ошеломленному, не хотелось ни о чем и думать.

Мария опустила руку, положила голову ему на грудь, сказала размеренно, тускло:

— Ты не томись. Я твоей Тане вовсе не сестра. Никакая. Я ведь не дочь Василия Николаевича. Долго объяснять, как-нибудь после... Знаешь, мне казалось, да и сейчас кажется, что тебе маетно, худо. Как и мне. В чем-то мы потеряли себя, что ли...

Слабые отсветы затухающего огня лениво вздрагивали на бревенчатой стене. Андрей начал задремывать. Мир исчезал, оставался только тихий, ласковый шепот...

19.

Похоже было, что «подсобник» Грин забастовал. Так охотно и безропотно помогавший в лаборатории всем, кому было не лень попросить его об услуге, теперь Марк Романович стал бездеятельным и бесполезным, несмотря на то, что каждая пара рук была необходима: многие уехали на биостанцию. Теперь Гринфельд то бродил часами по коридору, наклонив вперед огромный покатый лоб так, что глаза, и без того упрятанные глубоко, были совсем не видны, то присаживался где-нибудь в уголочке и тоже часами сидел, бормоча что-то и черкая в блокноте.

— Придумывает новый эсперанто,— насмешливо поделился своей догадкой Хромосома, подглядевший непонятные буквосочетания в гриновских почеркушках.

— Просто заскучал о своей любимой библиотечной работе,— возразили ему, и это ехидство тоже походило на правду: все чаще Марк Романович стал наведываться в институтскую библиотеку.

Обычно он обкладывал себя иностранными журналами и книгами. Чаще всего это были бледно-зеленые выпуски «Трудов Академии наук США» и английская «Природа». По фамилиям авторов, которые интересовали Грина, генетик или биохимик наверняка бы догадался, что мучает этого большелобого человека. Но Грин того, что читал, никому не показывал, и досужие умы, изощряясь в догадках, от истины были далековаты.

Только Миша Нукин однажды, не вынеся усмешек и болтовни, сказал сердито, переживая за Грина:

— Чего насмехаетесь? Не видите — думает человек. Между прочим, это очень полезно — думать. Тебе, Хромосома,— прежде всего.

— Вот именно! — очень решительно поддержала Мишу лаборантка Паша.— Марк Романович — особенный человек, и надо создать ему все условия, а не насмешничать.

— Перед Пашиными эмоциями я преклоняюсь и потому умолкаю,— сказал Хромосома.

Эмоции, действительно, были. Паша, рослая краснощекая деваха, которой, по виду, бревна бы ворочать, а не мыть хрупкие пробирочки, беззаветно любила Науку и Знание. Кое-кто утверждал, правда, что для науки Паша туповата, но была в ней некая утробная настырность, была упрямая, дотошная любознательность, хотя подчас еще и примитивная, были честность и вера в хорошее. Профессор Петров, вообще-то со своими «монстрами» бесцеремонный, к Паше относился уважительно и говаривал, что со временем эта миледи кое-кому даст некое количество очков вперед. Паша, хотя и конфузилась при этом, в душе с Петровым соглашалась.

К Марку Романовичу она с первых дней почувствовала непреодолимую симпатию. О ней-то, как понятно

было всем, и говорил Хромосома. Что касается Грина, ему испытывать груз Пашиных эмоций было тяжеленько. Вначале Паша только задавала вопросы. Но и это было уже, мягко говоря, весомо. Ее интересовало многое: семейное положение Марка Романовича и его отношение к возможности жизни на других планетах, мнение его о работе месткома и характеристики счетных трубок в радиометрах. Вскоре Паша сочла возможным не просто задавать вопросы, а и обсуждать те сложные проблемы, которые волновали ее. Проблемы эти возникали почти ежечасно. Паша размышляла о путях механизации труда уборщиц и применении лазеров в биологии, о правилах пользования кухнями в коммунальных квартирах и теории единого поля, о способах расширения научной информации народных масс и необходимости изменений в Уголовном кодексе. Возможно, Грину и надоедал ее непрестанный басовитый говорок, однако крест свой он нес самоотверженно и с добродушием.

При всей ее настырности, однако, у Паши достало такта в эти дни, когда нечто «нашло» на Грина, своего кумира разговорами не отвлекать. Душевная понятливость ее пошла и дальше: Паша почуяла, что Миша Нукин каким-то образом знает, чем занят Марк Романыч. От этого Миша сразу выделился в ее глазах, но отношение к нему сделалось сложным. С одной стороны, он стал ближе ей, с другой, появилось чувство, похожее на ревность.

Паша не ошиблась: Нукин знал, чем занимается Марк Романович. Об этом ему сказал сам Грин.

Несколько раз получалось так, что эти двое, такие разные сотрудники одной лаборатории, вместе отправлялись домой пешечком: не хотелось автобусно-трамвайной толчеи. Длинная дорога вынуждала к разговорам. Грин разговаривал со всеми одинаково, не различая ни возраста, ни чинов,— счастливое свойство, способное порой приносить несчастье.

Однажды он, еще не очень уверенно, как бы проверяя себя, заговорил о расшифровке кода наследственной информации. Мише эта проблема была известна только понаслышке и представлялась одной из самых запутаннейших, что, впрочем, вполне соответствовало действительности.

Уже было доказано, что в ДНК, этой сложнейшей, состоящей из многих миллионов атомов нуклеиновой кислоте, зашифрован состав белков. Если представить себе белок в виде длинной, но четко определенной фразы, можно сказать, что текст ее построен с помощью «букв» — аминокислот. А «буквы», составляющие «текст» ДНК,— нуклеотиды. Их всего четыре. Можно ли записать ими достаточно сложный «текст», можно ли писать ими «книги»-организмы? Вполне! Ведь азбука Морзе, к примеру, насчитывает всего-навсего две «буквы», а передать с их помощью можно любой текст. Джордж Гамов как-то подсчитал, что число возможных комбинаций в ДНК средней величины гораздо больше числа атомов в той части вселенной, которую мы знаем.

Свойства белков зависят от последовательности в них аминокислот, как значение слова — от последовательности букв. «Мама» — это одно, «ам-ам» — совсем другое, так же, как, скажем, «кот», «ток», «кто». А последовательность аминокислот в свою очередь подчинена последовательности нуклеотидов. В конце концов от этой последовательности зависит, что организм, построенный из белков, будет именно таким, каким «расписан» он в ДНК: человек вырастет длинным и сухопарым, уши у него будут большими и оттопыренными, глаза — карими, нос — вздернутым, левая нога короче правой.

Задача состояла в том, чтобы прочесть зашифрованные природой «тексты», выяснить, какие «слова» в ДНК соответствуют «словам» белковым. Любой, даже самый запутанный код в конце концов поддается разгадыванию, если известен язык, на основе которого составлен. Здесь язык был неизвестен. Знали только, что существует какая-то связь между порядком нуклеотидов в ДНК и аминокислот в белке.

Одна за другой появлялись в печати работы знаменитых и вовсе никому не ведомых ученых — их-то и штудировал Гринфельд — и порой чудилось, что мир уже на пороге великого открытия. Один из американских научных обозревателей еще в начале 1962 года самоуверенно заявил, что «биологи надеются раскрыть тайны наследственности уже в этом году». Сейчас шел шестьдесят третий. Появлялись десятки различных

толкований и предположений, выдвигались новые и новые гипотезы и методы их проверки, «кот в мешке» казался со всех сторон пронзенным лезвиями мысли и эксперимента — вот-вот заверещит... Ан нет, не верещал. Впрочем, была уже как будто всерьез расшифрована часть возможных сочетаний, а может, кто-то и закончил эту адски трудную работу, только сообщение еще не успело попасть в печать.

Все это Марка Романовича не смущало. Ему важно было **своим** умом дойти до разгадки генетического кода. Не смущало и то, что задача, по существу, была биохимической.

Грин говорил об этом увлеченно, захлебываясь, перескакивая с одного на другое по каким-то ему одному ведомым мосткам. Одним из возможных подступов к расшифровке он считал изучение мутаций — резких изменений наследственности.

— Надо брать, конечно, простейшие организмы — вирусы. Что такое для них мутация? Изменение в белке какой-то одной аминокислоты. Изменение «букв». Знаешь игру в слова? Например, «булку» переделать в «барку».

Грин вытащил из кармана карандаш, но бумаги не нашлось, и он, присев на корточки, начал писать на песке аллеи, по которой они только что шли.

— Вот — «булка». Изменим одну букву, получится «балка». Еще одно изменение — «барка». Но в нашем случае мы не знаем порядка букв. Знаем только, что сначала у нас было какое-то хлебное изделие, состоящее из а, б, к, л, у. Получили же мы некое речное судно. В нем есть а, а, б, к, р. Это понятно, Миша?

На них оглядывались. Грин то и дело ерошил волосы на лысеющей голове, несуразно размахивал длинными руками, а глаза под крутыми надбровьями смотрели словно бы внутрь, силясь разглядеть и понять что-то мельтешащее перед ними. Вдруг новая мысль мелькнула у Грина, он встал.

— Да-да-да,— сказал он.— Вот именно тут уважаемые джентльмены могут ошибиться. И я докажу им это писчебумажно, без экспериментов. Понимаешь, Миша, в чем дело?.. Вот что...— Он задумался и молчал, наверное, минуты три, а Миша не знал, что делать.— Вот что, ты, пожалуй, иди, мне надо кое-что

обдумать.— Он побрел в сторону, как слепой, спотыкаясь, но оказалось — зрячий: нашел пустую скамейку; присел на нее и, склонившись, опять начал что-то чертить на песке сломанным карандашом.

Миша постоял, постоял и двинулся домой один.

Очень оно тяжко, это дело, которое называется «сводить концы с концами». Не сводятся, хоть вопи!

Уже в пятый или шестой раз в этот день Миша начинает заново рассчитывать доходы и расходы. Доход, собственно, один — лаборантская Мишина зарплата. А расходы... Из каких только щелей не тянут они свои жадные щупальцы!

— ...Масло долой,— бормочет Миша, орудуя карандашом,— маргарин тоже поубавим. Сахар Варьке нужен, мою половину ликвидируем... Без галстука я обойдусь... Варя! Может, чулки себе ты простые купишь?

Варя, мудрившая что-то со своей прической у зеркала, оборачивается к брату:

— Миша, да ты в своем уме? Почему это простые? Ну, хочешь, я совсем не буду есть хлеб, только уж купим капрон. А, Миша!

— Ну ладно,— бурчливо соглашается тот,— что-нибудь придумаем... Значит, так. Туалетное мыло подсократим, можно умываться простым... Слушай, а ты куда это собираешься? Опять к своему этому?... Сидела бы лучше занималась. Завалишь ведь экзамены.

— Да не к нему я вовсе. Дело одно есть... Слушай, Миша.— Она замирает там, у зеркала.— А вас проверяют в институте насчет... ну, вот от чего мама?..

Он замирает тоже. Потом говорит сердито:

— Порешь всякую чушь! И проверять нечего.... Значит, все-таки капрон?

— Ну, может, еще обойдусь.

— Ладно, выкроим.— Он перечеркивает запись и начинает все заново...

Вечером Миша поднялся к Перевалову. Семья у Андрея Николаевича уехала на биостанцию, он жил один, по-холостяцки, и Миша думал посоветоваться с

ним о Варе. Уже не один раз сестра не ночевала дома, толком ничего не объясняла, плела какую-то чепуху. Это тревожило Мишу и пугало.

Однако поговорить, о чем хотелось, не удалось. У Перевалова был Марк Романович, они сидели за шахматной доской, но не столько занимались игрой, сколько болтали. Этим Миша был как-то уязвлен. Несколько часов назад он оставил Марка Романовича в мучительных раздумьях, в некоем экстазе, может быть, на пороге разгадки великой тайны, Грин даже отослал его, чтобы не мешал, а теперь сидит, беззаботный и усмешливый, болтает о каких-то мелочах. Миша прислушался.

— ...Вот вам, пожалуйста,— говорил Грин,— скука — враг жизни. Остроумие — враг скуки. Смех — друг остроумия. Вино — друг смеха. Значит, вино — враг скуки и друг жизни. Убедительно?

— Обычная цепочка силлогизмов,— отмахнулся Перевалов, но отмахнулся не всерьез — просто, чтобы поддразнить Грина.

— В принципе я не теоретик,— сказал Грин,— я практик. И сейчас я это докажу.

Стремительными длинными шагами он вышел из комнаты.

Перевалов проводил его чуть снисходительной доброй улыбкой и повернулся к Мише:

— Как жизнь, Михаил? Финансы, они поют романсы?

— Да нет, Андрей Николаевич, с финансами ничего, терпимо. Я хотел поговорить с вами... о другом.

— Наедине? — понял Перевалов.

Миша кивнул. Но разговор начать не удалось: так же стремительно, как вышел, вернулся Грин. В руках он держал бутылку сухого вина.

— Взгляните, сколько медалей! На них-то я и облизнулся. Надо полагать, отличное вино.

— Угу,— сказал Перевалов.— Мне в прошлом году всучивали какую-то препротивную кривоногую таксу. «Шесть медалей! — хвастал хозяин.— Экстракласс!» Я говорю, мне медали ни к чему, мне бы какую-нибудь вовсе безмедальную, но симпатичную

дворнягу. А он говорит, что я отсталый, примитивно мыслящий субъект.

— Очень точное наблюдение,— кивнул Грин.— Вам бы, конечно, не эту бутылку, а пол-литра «сучка».

Миша был уже сердит на Гринфельда: серьезный человек, а ни с того ни с сего затеял выпивку. Злясь сам и желая позлить Грина, он сказал:

— Марк Романыч, а вы мало похожи на ученого.

— Представьте, слышу это не в первый раз,— с веселостью откликнулся тот.— Но скажите, что значит походить на ученого? Быть наивным простаком, ужасно рассеяным, увязшим в какой-то одной идее — таким, как изображали ученых раньше? Или стать этаким безумно остроумным, спортсменистым денди, внешне ничем не выказывающим свою принадлежность к науке,— каким сейчас многие представляют себе нашего брата? Каким я должен быть?

— А на самом деле, есть какие-то черты, которые отличают ученого от других людей?

Грин задумчиво почесал свой великолепный нос.

— Я думаю, есть. По-моему, для ученого важно удивляться привычному — тому, чему другие не удивляются,— и поступать, мыслить непривычно. Так сказать, неправильно мыслить.

— У вас эта черта заметна,— смиренно согласился Перевалов.

— Полагаете — один-один?

— Полагаю, что бутылку вы принесли не только для того, чтобы демонстрировать медали на ней...

Миша подумывал, что надо смываться, и все же уходить не хотелось. Злость на Грина уже таяла,— что, в самом деле, нельзя человеку отвлечься от дела? А в комнате этой было покойно, и маленький диван казался по-особенному уютным. Торшер, высвечивая шахматную доску, оставлял стены в мягкой полутьме, и оттуда, с простенка над письменным столом Перевалова, как-то очень уж благожелательно смотрел Юлиус Фучик.

От вина Миша отказался, и Андрей Николаевич послал его на кухню заварить чай. Как заваривают у Переваловых, Миша знал,— покрепче. Когда он вернулся в комнату, разговор там, похоже, обрел опре-

деленное русло. Андрей Николаевич рассказывал о какой-то Маремьяне Петровне, которая вызволила его из беды в пору первых лет журналистской работы.

Он приехал в глухой таежный поселок, возле которого только-только начинали строить большой комбинат. Все было разворочено вокруг и не устроено. В дороге Перевалов тяжко заболел. Начинались морозы, он вошел в станционное зданьице, ткнулся в угол — свалил жар. Отрывочно и смутно помнил он, как некая, тогда расплывчатая в его помутнелых глазах, старуха увела его в свою избу, поила какими-то отварами, прогревала и нянчила. И, еще не проводив болезного гостя, притащила уже другого — заморенного дальней дорогой худосочного парнишку аж из-под Полтавы — и тоже принялась отпаивать и откармливать. «Очень уж климат у нас сердитый, попривыкнуть к нему надо»,— говорила старуха, объясняя, зачем ходит на станцию, высматривает там, кого подобрать.

Рассказ свой Андрей Николаевич вел с горячностью, Миша сразу уловил это и понял, что Перевалов хочет в чем-то убедить собеседника. Маленький и крутогрудый, Андрей Николаевич этаким гоголем наскакивал на длинновязого Гринфельда и жестикулировал с обычно не свойственным ему пылом, почти как итальянцы в кино.

— Я так подробно об этой самой Маремьяне Петровне потому, что вижу в ней характерный, один из бесчисленных, пример бескорыстия нашего народа, желания и умения делать добро. Это свойство русской души. И свойство это, если брать широко, по-моему, сыграло немалую роль в том, что на земном шарике именно мы впервые стали строить социализм.

— Ох, ох! — сказал Грин.— Доведись до Ленина — вот бы посмеялся он над вашим «эмоциональным социализмом».

— Вы так думаете?! — зловеще спросил Перевалов, и густые брови его, казалось, встопорщились.— А вы что, в революции признаете только экономические факторы?

— Я признаю научно обоснованные. Впрочем, вам

как представителю неистребимой армии газетчиков я могу сделать и снисхождение. Ведь ваш брат журналист страсть как любит всякие эмоциональные штучки. «Трепетные лучи солнца дивно позолотили...» Ах, как у вас все красиво! Если у токаря более или менее осмысленный подход к делу, вы сразу говорите о вдохновенном творческом взлете.

— Отбросим «вдохновенный». Но в принципе разве он не творит?

— Смекалка — еще не творчество. Когда шимпанзе скрепляет две палки воедино, чтобы достать банан, она просто смекает, а не творит. Хотя для нее это, пожалуй, изобретение.

— Ну, знаете, Марк, это попахивает оскорблением... Значит, рабочему в творчестве вы отказываете?

— Бросьте.— Грин был удивительно спокоен.— Зачем рабочему ваши подачки? Если есть у него способности к действительно творческой работе — к настоящим изобретениям, писанию стихов, игре на сцене, математическому мышлению,— он эти способности проявит.

— А как вы проведете границу между «настоящим изобретением» и простым усовершенствованием?

— Это элементарно...— начал Грин, но неожиданно его перебил Миша.

За секунду до этого Миша и сам не знал, что встрянет в спор. Он просто подумал вслух.

— По-моему,— сказал он,— речь идет о двух разных уровнях творчества. Это вопрос терминологический.

Перевалов и Гринфельд разом обернулись к нему, словно бы удивляясь, откуда взялся этот третий. Первым опомнился Грин.

— Миша, ты вундеркинд,— сказал он и захохотал.— Как прелестно он усадил нас в лужу.

Однако Перевалова заело:

— Дело не только в терминологии. За терминами стоит отношение к определенным явлениям жизни.

— Что ж, продолжим,— охотно подхватил Грин.

Андрей подумал было: «Как же это получается? Еще недавно в разговоре с Белкиным я высказывал одно, сейчас другое»... но тут раздался отчаянный стук в дверь; кто-то там, за порогом, даже не заметил

кнопку звонка. Перевалов бросился открыть. Перед ним стоял взбудораженный, с бледным лицом парень.

— Михаил Нукин у вас?.. А, вот он. Беги к телефону, Михаил! С Варей худо...

20.

Смутное недовольство собой — томление совести, что ли,— все чаще стало приходить к Андрею в последнее время. Какие-то странные мысли нежданно стали беспокоить его. Они казались странными потому, что были элементарны и верны, как аксиомы, но раньше их у него не было. Вернее, они были, они существовали в мире очень давно, и Андрей даже повторял их в своих писаниях, но раньше это были не его, а чужие мысли — не прочувствованные им, не им рожденные. А теперь — старые, ему известные — они рождались в нем самом.

Вдруг в голову ему приходило как открытие, что лгать и лицемерить нехорошо, что слепо подчиняться чьим-то требованиям нельзя, что ближним надо помогать. С каким-то тревожным возбуждением Андрей, словно ребенок, временами начинал всматриваться в мир, ощущая в себе проблеск способности заново осмыслить окружающее. Но это был только проблеск. Мысли мелькали, однако углубляться в них Андрей или еще не умел, или побаивался.

Нередко эти мысли-аксиомы били по нему самому: свою жизнь, свои поступки он с ними не всегда согласовывал.

В этот день, уже заканчивая работу, он подумал, что надо бы навестить Варю в больнице. Будь Таня дома — она обязательно сделала бы это. И не сам ли он на днях так прекраснодушно вспоминал добрую Маремьяну Петровну?.. Но тут же что-то пакостное шевельнулось в душе: молодой мужчина приходит к девушке, только что сделавшей аборт. Что подумают о нем?.. Он вспомнил, как Петров в свое время затащил его к Линевой, и направился к Степану Васильевичу...

Больничная нянечка, принимая от Андрея и Белкина сетку с фруктами, усмехнулась:

— Третью авоську таскаю сегодня этой Вареньке, и все по двое кавалеры ходят. По одному почему-то стесняются. Записочка будет?

Нахальными глазами она оглядывала их. Андрею стало противно, он резко сказал:

— Не будет записки. Скажите, пусть поправляется...

Усаживаясь в машину, Белкин предложил:

— Поедем ко мне, холостяцкая душа, что-нибудь пожуем.

Валентины Архиповны дома не было. «Там»,— ткнул в потолок Белкин: двумя этажами выше размещалась мастерская его жены.

— Ого, совершенно роскошная жизнь,— без усмешки говорил он, доставая из холодильника копченую рыбу, колбасу и яйца.— Изобразим высококалорийный ужин, в редакцию я не поеду, будем бездельничать.

На кухне он орудовал быстро и умело — привычно. Только не оказалось ни чая, ни кофе. Андрей хотел уже сходить в магазин, но Степан Васильевич нашел иной выход:

— Поднимемся к Валентине, она без кофе не работает.

Мастерская у Валентины Стожаровой была большая и неуютная. «Худбесхоз»,— называл ее Степан Васильевич. Громадная, днем очень светлая комната была завалена множеством рам, холстов и бумажных рулонов. Валентина Архиповна писала и рисовала много, но редкую работу доводила до конца. На широченном окне болталось несколько изжелтевших газетных листов, с их помощью художница регулировала свет. В одном из углов комнаты стояли два креслица и небольшой журнальный столик, заляпанный красками и кофейными пятнами.

Тут, в углу, расплывшись большим рыхлым телом в креслице, сидела Валентина Архиповна. Лицо у нее было потухшее, устало-тупое. Она не шелохнулась, когда в комнату вошли, только сказала полувопросительно.

— Степа?..

— И не один,— бодренько доложился Андрей.

— А, сам Перевалов.— Она попыталась улыбнуться.

— Что,— осведомился Белкин,— очередной крах? Надо бросать искусство?

— Да, Степа, да! — Она встрепенулась и ожила.— Я окончательно убедилась, что я бездарь. Ничего — вы понимаете?! — ничего у меня не получается. Как будто вижу, вот ясно вижу все, что хочется написать, а оказывается — ни черта не вижу. Ну почему, почему никто из вас не скажет мне, что я занимаюсь не своим делом? Либералы вы несчастные, тряпки, все жалеете меня, а делаете только хуже.

— Ну и брось свою живопись,— пожал плечами Белкин; ему эти сцены были ой как знакомы.— Завари-ка лучше кофе.

— И брошу! Вот увидишь, брошу.— Она уже ходила по мастерской, ногами откидывая все, что попадалось на пути.— Я хочу быть честной и перед людьми, и перед собой. О, как я хочу быть честной!

— Мать моя, да пожалуйста! — со смехом простонал Степан Васильевич.

— Вот. Ему все шуточки. Андрей, ну вы же порядочный человек, скажите вы свое слово.

— К чему все это, Валентина Архиповна? Ведь вы же талантливая художница. Сомнения — полезная штука, но зачем себя истязать?

— Надо, надо истязать себя! — Это смахивало на истерику, и хорошо, что Стожарова, должно быть, поняла это.— А, ладно, мы к этому вернемся. Степа, зварика-ка лучше кофе.

Белкин погладил лысину, улыбнулся.

— Иногда у тебя возникают и вполне толковые идеи.

Валентина Архиповна снова опустилась в креслице.

— Что это вы решили нагрянуть ко мне?

Вот теперь она была просто женщиной, усталой, но приятной и чуточку кокетливой. И стало видно, что еще не всю свою чернявую, чуть цыганскую красоту она растеряла.

— Да мы хозяйничали у вас на кухне, ужинали — захотелось кофейку и достойной компании. А перед этим ездили в больницу. Соседка моя, совсем еще девчоночка, пострадала от самодельного аборта. Чуть богу душу не отдала.

— Но обошлось? — встревожилась Стожарова.

— Телесно как будто обошлось.

— Телесно...— задумчиво покивала она и деловито осведомилась: — Сколько ей?

— Восемнадцать.

— Ну, это еще терпимо. Мы со Степой раньше согрешили.— Белкин поперхнулся дымом папиросы и закашлялся.— Видите, до сих пор стыдится.

Андрей счел за благо сменить тему.

— Над чем трудимся, Валентина Архиповна?

— Не травите меня, Андрей, не растравливайте... В таких случаях папочка мой говаривал: «Не тяни кошку за хвост». Опасно, значит.

На своего папочку она почему-то часто ссылалась, хотя вовсе его не любила. Папочка ее был купец, бойко воспрянувший в годы нэпа. Пройдоха и жадюга, Валентине он был тошен с детства, и в пятнадцать лет она «со звоном», с хлопаньем дверьми ушла из дома, работала то рассыльной, то уборщицей, потом заботливые товарищи комсомольцы снарядили ее в Москву учиться. Где и когда сгинул ее папочка, она не знала, фамилию носила придуманную, а вот какие-то отцовские словечки тянулись за нею всю жизнь.

— Вот вы дуэтом поете мне: «Художница, художница!» А если я действительно художница, да притом еще советская, как я могла не подумать о том, о чем подумал ваш брат газетчик?!

— А именно? — насторожился Белкин.

— Статью в сегодняшних «Известиях» читали?

— А-а,— понимающе покивал Степан Васильевич.

Но Андрей ничего не понял: сегодня эту газету он в суете посмотреть не успел. «Эх вы!» — Стожарова с усмешкой подала ему развернутый номер.

Статья говорила о неверных тенденциях в генеральных планах застройки некоторых городов. Целый абзац, довольно резкий, критиковал план застройки города, в котором они жили,— тот самый план, о котором когда-то писал отчет с совещания Перевалов.

Андрея вначале приятно удивило, что мысли автора статьи во многом схожи с его собственными, невысказанными. Но тут же он с горечью подумал: «А ведь мог их высказать тогда и я». Он взглянул на Белкина, тот сделал вид, что рассматривает что-то на полу...

Игнатий Федотович Федюнин, отужинав, читал газеты, которые не успел прочесть днем. Статья о застройке городов его рассердила. «Серьезный орган и с такой легкостью относится к критике важнейшего дела!»

В комнату заглянула жена:

— Игнаша, телевизор включать? Футбол.

Федюнин досадливо отмахнулся.

«Как можно так? — размышлял он.— Работали крупные архитекторы, план рассматривался в высоких инстанциях, согласовывался, а тут какой-то писака раз-два — и все очернил. Теряют люди чувство ответственности».

Настроение у него испортилось на весь вечер...

Кофе сварился. Валентина Архиповна меж бумаг и склянок, загромоздивших подоконник, отыскала пачку печенья. Чашек было лишь две, Степану Васильевичу пришлось пить из алюминиевой кружки.

— Вот когда-нибудь,— сказала Стожарова,— я напишу «Кофепитие у художницы». Как «Чаепитие в Мытищах», но лучше. Мое. Изображу художницу — тощую, изнуренную, с дикой тоской в глазах. А рядом муж, тоже усталый, пришел с работы, вот вроде Степы, только хуже Степы — недоволен женой, пилит ее, грызет. Он бухгалтер и все подсчитывает, в какую копеечку влетают холсты, испорченные женой. А с ними за столом друг семейства, критик. Важный такой, чопорный, думает, что все понимает. Между ними только что произошел... Впрочем, это беллетристика. Словесно я не умею. Словесно — получается плоско и общо. А если общо — это не искусство. Ведь просто описание — это лишь повторение мира. Искусство начинается там, где художник вносит в мир себя — свое видение, свое отношение ко всему, что кругом. Такое я могу только карандашом и кистью, языком не могу. Это уже ваша область — словеса.

— Хм,— сказал Андрей и повернулся к Белкину.— Буквально на днях поспорили мы с моим соседом на тему очень близкую. Милейший мужик из Таниного института. Со «словес» все и началось. Он упрекнул

меня в стереотипности газетного языка. Помнишь наш разговор о затасканности высоких слов? Так вот, он наступал на меня почти с тех же наших позиций, а я, представь себе, отбивался.

— Защищал честь мундира,— усмехнулся Белкин.

— Нет. Защищал человека как такового...

Вдруг Андрей замер на полуслове. Какой-то тормоз резко включился в нем. Это было знакомое, не раз испытанное чувство — отвращение к разговору, к словоизлиянию. Подумаешь, решают мировые проблемы! И без того ясно: творчество присуще человечеству и любому индивидууму, а проявляется оно по-разному: художественное творчество, научное, техническое, коммерческое,— сколько видов деятельности, столько и видов творчества. И слова нам нужны разные, это тоже ясно. Так нет, обязательно надо болтать с умным видом, словно что-то от этого прибудет.

«Вообще, не слишком ли часто мы,— думал Андрей,— поступки заменяем рассуждениями? Эпоха наша полна больших и стремительных дел, а мы по-прежнему тратим время на словеса. Конечно, поразмыслить надо, без этого нельзя, и слово — тоже в какой-то мере дело, но только в том случае, если оно вызывает определенную реакцию, ведет к активному действию. А без этого что же — одна словесная хлипкость, бестелесное щекотание?.. Рассуждаем часто верно, а поступаем по-другому. Вот и возникают ножницы между словом и делом».

— Ну и?..— Белкин ждал продолжения.

— Ну и все,— излишне резко ответил Андрей.— Валентина Архиповна, если еще одну чашечку?.. И двинусь домой, почитать хочется.

— Оно не в настроении,— объяснил жене про Андрея Белкин,— оно не привыкло к холостяцкому бытию.

«Позвоню Марии... Нет, не позвоню... А почему нет?»

После т о й встречи они еще бывали на лесной заимке, Андрея тянуло туда. Дело, может быть, было не в Марии — женщине, а в том томительно-тревожном ощущении, которое испытывал он от разговоров с ней. Узнав ее ближе, он увидел, как много Мария потеряла в жизни и как обостренно ищет какой-то свой, нужный

ей жизненный плацдарм. Недаром еще в ту встречу она так напряженно и заинтересованно спрашивала его, всегда ли он знает, что зло и что добро. Может быть, и в деде Корнее ее привлекало то, что он, когда-то утратив в себе нечто важное, теперь, на склоне лет, пытался разобраться в этом и корил себя, что жил для общества не всей душой, а лишь наполовину. Беседы с дедом и Андреем несли какой-то неясный укор...

— Ну держите же, Андрей Николаевич, расплещу... Я сегодня, между прочим, рисовала в Институте биологии. Это сейчас мне Степа напомнил: заговорил об отъезде Татьяны Витальевны. Хотите посмотреть?

Валентина Архиповна не вставала, а в руках ее волшебно возник альбом. Андрей перелистывал его с интересом. В большинстве в нем были портретные наброски. Мишу Нукина он узнал по спине. Парень склонился над чем-то, остро и грустно торчали недоуменные плечи.

— Этого я знаю,— сказал Андрей.— Брат той девочки, к которой мы ездили в больницу.

— У него трагическая спина очень честного и нервного человека,— сказала Стожарова.

Потом были какие-то незнакомые лица, и вдруг — Гладилов. Он сидел за столом, уткнувшись в книгу, но было видно, что не читал. В лице пряталось что-то неприятное, подленькое.

— Вы почему-то не взлюбили этого человека? — спросил Андрей.

— Почему не взлюбила? Я его не знаю. Впрочем, да, личность несимпатичная. Знакомый?

— Знакомый.

— Ну, я вам не очень завидую... Я, знаете, верю своему глазу. Вот Степа знает. Как-то я почти на ходу набросала портрет вашего Буркова. Белкин посмотрел и заухмылялся: ты, говорит, не дряхлого редактора-интеллигента изобразила, а какого-то лихого мужичка из Первой конной. Так было, Степа? А я тогда не знала... Вот.— Она порылась в бумагах и вытащила старую, полуоблезлую фотографию.— На днях случайно попалась мне у одних знакомых.

На длинноногом яром жеребце, в папахе набекрень, рука — на эфесе шашки, красовался юный, чубатый и тощий буденовец Бурков.

Это выглядело странно, даже ошеломительно и в то же время естественно: конечно же, Бурков, старый коммунист, в те далекие годы, когда громыхали бои за рабоче-крестьянскую власть, не мог сидеть сложа руки. В нем и сейчас, в седом и мудром, нет-нет да прорывается сабельная лихость и решимость, маскируемые, правда, тихоньким ненапористым голосом.

— Здорово! — тихо вымолвил Андрей.— А я не знал...

— Ну-ка,— протянул руку к альбому Белкин,— а Петровой Марии Васильевны там нет?

Андрей торопливо отдал альбом, поймав себя на том, что одно упоминание о Марии взволновало его. Какой ее можно нарисовать?

И вдруг отчетливо, как на картине, увидел ее в красноватых, тревожных отсветах каминного огня. Увидел — и испугался, будто Белкин и его жена могли что-то понять.

Он встал, заставил себя улыбнуться непринужденно и начал прощаться.

Теперь он знал, что все равно позвонит Марии.

21

— Ландо для сумасшедшеньких,— с усмешкой сказала она, открывая ему дверцу автомобиля.

Он промолчал, только признательно взглянул на нее и сразу полез в карман за папиросой. Еще не утихла знобкая игольчатая дрожь, которая влезла в тело, во все его существо, когда он говорил из телефонной будки.

Все с той же ласково-снисходительной усмешечкой Мария покосилась на него, легко тронула «Москвича», переключила одну скорость, другую — машина понеслась напропалую. Тугой струной зазвенел под колесами асфальт.

Дорога была знакомой и все же казалась длинной.

— Зажги мне папиросу,— попросила Мария.— Любопытно, что бы ты стал говорить по телефону, если бы трубку взял отец?

— Он приехал?

Она кивнула. Андрей опять промолчал, только едва приметно пожал плечами. Ему стало жалко Василия Николаевича. Приехал домой — и остался один. Всю жизнь один. Ходит, большой и грузный, по опустелым комнатам, поглядывает на фотографию дочери и вспоминает жену. А дочь — не его дочь, и жена — не его жена.

Мария рассказала Андрею все. Она лежала тогда в темноте, отодвинувшись от него, и говорила ровным, монотонным голосом. Таким голосом обреченные рассказывают о своем недуге. Про мать Мария говорила «она», про отца говорила — Василий Николаевич.

— Она была яркая женщина, по-настоящему красивая и по-своему умная. Василий Николаевич любил ее очень. А она любила только себя и любила удовольствия. Я была маленькая, но я это помню. Дома всегда было нервно, взвинченно. Потом она ушла, и мы остались вдвоем, я жалела ее и себя. А потом она с одним деятелем сбежала за границу. Я одно время жила у тетки, ее сестры, и тетка оказалась сволочью: она мне, идиотка, все раскрыла и объяснила, кто на самом деле мой отец. Учила, что, когда придут дяди и спросят меня, хочу ли я за границу к маме, я должна говорить, что хочу. Тогда Василий Николаевич забрал меня к себе. Но он уже перестал быть мне отцом: ведь я знала, что я не его дочь, и он тоже знал это. Вот и осталась я без отца и без матери, хотя они живы, вот и не знаю я, что такое любовь к родителям. Я уважаю Василия Николаевича, ценю его, но заплатить ему дочерней любовью не умею, не могу. Умом понимаю, что надо бы любить его, он этого вполне достоин, а — не могу. Тех же — просто ненавижу и буду ненавидеть всегда...

Она отрешенно замолчала там, в темноте, Андрей не знал, что сказать, потянулся и обнял ее — она не шевельнулась....

Сейчас Мария, не отрывая взгляда от шоссе, улыбнулась:

— Что-то ты скис, Андрей. Или дремлешь?

— Думаю о Василии Николаевиче. Жалко стало его.

— Вернемся, утешим?... Не бойся, он не скучает. Как всегда, у него полно работы. Этим ведь и живет...

Они чуть не проскочили свороток. Лесную дорогу залепил туман.

Мария вела машину почти на ощупь. Деревья в белесом месиве расступались неохотно.

Темный дом, надвинувшийся из тумана, показался мрачной древней крепостью. Выскочив из машины, Андрей отпер ворота. Мотор урчал глухо, никто из дома не вышел.

Она побывала тут без него, это он сразу понял: со столика таращила на вошедших глаза большая целлулоидная кукла-неваляшка. Раньше ее не было.

— Познакомься, это Мурзик. Кланяйся, Мурзик.— Мария дала кукле легонький подзатыльник, кукла повалилась, поднялась, закачалась, мелодично позванивая.— Мурзик домовничает тут у нас,— серьезно пояснила Мария.— Конечно, хорошо бы завести настоящего, живого гнома, да где его возьмешь! Ты не сможешь достать?

— Попробую,— так же серьезно пообещал Андрей.

Он принялся разжигать камин: в комнате было прохладно. Мария забралась на тахту, обняла подушку и голову положила на нее.

— Это было бы замечательно — гном. Старый-старый, лет этак хотя бы на тысячу, и страшно мудрый. Я бы с ним беседовала каждый день. Он бы мне все объяснял. Не по-научному, это не надо, это мы как-нибудь сами. Просто по-мудрому. Смешно: «просто по-мудрому»? — Она помолчала, улавливая мельтешившую мысль.— Слушай, когда это случилось, что люди стали такими жесткими рационалистами? Мудрости им вовсе и не нужно — им подавай математически точные знания. И красоте они предпочитают пользу.

— Таков наш век.

— Но вспомни, как умудренно и красиво жили древние. Кумиром античных было прекрасное, и потому прекрасной была их жизнь.

— Чушь ты мелешь... Это все археологический гипноз. Археологи тычут нас в памятники культуры, а памятников бескультурья мы не видим. Ты говоришь: прекрасная жизнь. А рабство? А дикий произвол и потоки крови? Чудесный мрамор! А нищета в лачугах бедняков? Ах, античность, ах, Парфенон, ах... что там

еще? Полное торжество несправедливости — вот что еще!

— Ого! — Мария приподнялась. — Лекция о социальном устройстве общества?

— А как иначе? И не надо хныкать об утрате какой-то там мудрости. То была мудрость ребенка, догадки, интуиция. Человечество взрослеет. А некоторые гнилые интеллигенты и интеллигентки порой пугаются того, что сами натворили своим разумом, и начинают вдруг ратовать за упрощение. Однако ничто не упрощается — все усложняется. И красота приобретает какие-то новые формы.

— Смотри-ка ты, какой умный,— Мария ласково взъерошила его волосы.— Но «гнилую интеллигентку» я тебе еще припомню.

— Валяй! — Он обнял ее.

— Нет, подожди... Если хочешь знать, это важно — о старой мудрости и современном рационализме. Потому что в конце концов это — как жить. Это проблема сочетания разума с эмоциями. Это — в широком смысле нравственное лицо человечества. Надо искать какие-то совмещения, искать золотую середину.

— Боюсь, что никакой золотой середины нет и быть не может. Что-то всегда должно жертвоваться ради чего-то. А вот что и ради чего — это зависит от мировоззрения и от силы характера. Твой гном — просто слабость души.

— А у тебя она сильная? Ты легко можешь жертвовать одним ради другого?

Что-то грозное было в этом вопросе. Прежде всего— для Андрея. Они оба замолчали. Потом Мария сказала:

— А зачем тебе чем-то жертвовать? Без жертв удобнее. Спокойней.

— Нет, далеко не всегда. Мне, например, неспокойно. Из-за тебя и Тани. Мне неспокойно из-за той рогожинской статьи. Я много читаю сейчас специальной литературы по биологии, по генетике — и мечусь: где же правда? Права ли была газета, прав ли был я? Всегда ли я согласую свои поступки с нормами, которые исповедую?

Андрей встал:

— Пойти пройтись, что ли?

Мария посмотрела на него внимательно.

— Я заболтала тебя...— Она усмехнулась едко.— Знаешь, что я чуть не сделала, когда мы приехали сюда? Я хотела искупаться в стылой речке, чтобы продрогнуть и заболеть. Всерьез заболеть, свалиться здесь и бредить, а ты бы топил камин, ухаживал за мной и никуда не уходил. Бабские сентименты? Конечно. И кроме того — двадцатый век: автомобили, скорая помощь, синтомицины, больницы. Ты бы от меня быстренько отделался, да?

— Моментально,— с усмешкой кивнул Андрей.

— Ты не усмехайся, ведь это ты всерьез. И знаешь, почему? Потому что ты, оказывается, благополучный и чуточку скучный. Вот Грин, тот бы не стал отделываться.

— Почему именно Грин?

— А что? Вполне подходящий к такой ситуации индивидуум. Яркий, сильный и преданный. Почему именно он? Ну, просто я о нем часто думаю. Ведь работаем вместе, встречаемся, разговариваем. Скоро начнем флиртовать.

— Вот и молодцы,— шутливо сказал Андрей и ласково потрепал ее по щеке, а в сердце шевельнулась ревность....

Звезды летели мимо. Они летели пронзительно быстро и — мимо. Очень скоро впереди возникла Солнечная система. Неслышно и мерно мчалась она куда-то по незримой орбите. Это был сон, но Грин совершенно точно знал, что это — Солнечная система. Она была понятной, как в планетарии.

В медлительном хороводе планет он заметил планету Земля. По снам она была ему хорошо известна. Она всегда восхищала его и тревожила. Он знал, что на ней живут люди. Совсем недавно вылезшие из пещер, где они укрывались от окружавших их ужасов — гроз, трясения гор, наводнений, они уже научились сами творить ужасы. Атомные взрывы торчали над планетой видимыми Грину полуразвеянными смертоносными столбами. Облака радиоактивной пыли зловеще плавали над ней.

По Земле ходила Мария Петрова. В красивом и легком — должно быть, древнегреческом — одеянии,

она плутала между речек, несущих в себе радиационную отраву. Грин протянул к ней руки, она оглянулась — жестокая усмешка тронула ее прекрасные губы. Но нет, в усмешке этой было не так уж много жестокости. Жестокости не было — были горечь и зов.

Грину хотелось, чтобы сон длился. Но сон почему-то повернул его от Земли. Опять летели мимо звезды...

Утро пришло холодное и солнечное. Попросив у деда Корнея топор, Андрей взялся колоть дрова и, намахавшись до сугрева, вылил на себя ведро воды. Приятно было смотреть, как поигрывали, вздуваясь, мускулы под мохнатым полотенцем. Мир стал светлым, ночная сумятица дум отошла куда-то за горизонт.

— Принеси-ка и мне ведро воды,— распорядилась Мария.— Женщина будет мыть пол, мужчина может покурить.

Он присел на чурбак у сарая и папиросой поманил Корнея Степановича. Дед, вытаскивавший гвозди из ящичной рухляди, охотно бросил свое нудное занятие. Впрочем, тут же он пояснил, что гвозди эти для него совсем не пустяк: надо сколачивать клетки для кроликов.

— Опять, значит, «мелким животноводством» решил заняться, Корней Степанович?

Дед прищурился:

— Выходит, и тебе уже наболтали?

Андрей, и верно, слышал об этом. Года два назад дед Корней завел кроликов. «Для выгоды окрестного населения. Ему мясо, мне рубли,» — объяснил он родственникам. Кролики почему-то дохли, однако дед не унывал, на дню раз по десять бегал к своим животинкам, а к вечеру обязательно приходил в изрядно веселое состояние. Секрет очень скоро раскрыла сноха, обнаружив в клетке бутылочки из-под сорокаградусной. «И где они, длинноухие, берут ее?» — удивлялся дед. Это повторялось не один раз, и как-то сын Корнея под сердитую руку пустил отцовскую «ферму» в распыл. А теперь, выходит, старику дозволено восстановить ее?

— Сделал я им нужное разъяснение. Нельзя, сказал, человеку без забавы жить. Если делать одно только нужное, получается чрезмерное напряжение нервов, и отсюда, вследствие перекоса, жизнь становится однобокой. Вот они — сын мой и сноха, жена его, значит, Нюша — всю свою совместную жизненную путь ведут правильный непьющий образ и делают только нужное. Если правду сказать, деньги копят. А на кой, спрашивается, ляд? Детей у них — один только я. И какое от жизни удовольствие? Одна угрюмость. Был у нас в соседнем селе сквалыга-лавочник Тиунов Павел Аверьянович. Очень большие суммы скопил, но существовал весьма однобоко, только о своем деле пекся и перекоса, вследствие голой жадности, не избежал. От того перекоса стало ему невмоготу тошно, спалил он свою лавочку и пошел по земле помутненный разумом, совсем уже бесполезный Пашка-нищий... Вот я им этак все научно разъяснил, и на семейном совете постановлено было купить в дом телевизор, а мне, значит, обратно кроликов завести. Культурная революция в семействе Веревкиных.

Глазки его в поросли волос поблескивали озорно, с хитринкой.

— Что ж, будем крольчатину есть,— весело сказал Андрей.

— А вот этого, мил-человек, не обещаю. Это я в прошлый раз такое обязательство давал, так и то лишь для отвода глаз. А, по чести сказать, не знаю. Крольчатник будет, это точно, а вот мясо — кто его ведает, как получится.

Андрей улыбнулся:

— Значит, чистая забава?

— Опять же не знаю. Всякое ведь может сотвориться. Бывает, забава дельным обернется. А ежели я новую породу кроликов выведу?

У Андрея вдруг испортилось настроение. Не слишком ли много мудрствования?..

22.

Маша ушла, сказав, что ночевать, возможно, будет не дома,— Василий Николаевич словно бы пропустил ее слова мимо ушей, продолжая работать. Но

щелкнул мягко замок, стих торопливый стук туфель на каменных ступенях — старик отложил ручку и отвалился к спинке стула. Большие тяжелые руки легли на стол. Усталость и грусть были на лице, ничего не оставалось в нем от того бравого молодечества, которое, казалось, не иссякало в Петрове никогда.

Он долго сидел так. Было пусто и глухо, копошились в душе горечь и неясная досада. От того, что Маша ушла? Конечно, и от этого. Как это просто у нее: «Ночевать, возможно, буду не дома». Видимо, Лизино. У Елизаветы Федоровны подобное получалось тоже очень легко. Новый роман? Видно, все еще не обожглась по-настоящему. А какая была робкая, стеснительная девчонка, когда, одурев от любви к этому подлецу Феликсу, выходила она замуж. Впрочем, и тогда была уже не без характера: выгнала-таки муженька. Правда, душу он ей успел подпортить: появились у девчонки этакая недобрая лихость и цинизм. Теперь, видать, оттаяла — и снова за амуры?.. Кто он? Что несет Маше?

«Эх, Васюта,— сказал себе Петров, как сказал бы отец,— не о Маше ты печешься, о себе. Боишься, старый, остаться совсем один».

Да, он знал, что такое одиночество, и потому боялся его. В старости-то одиночество особенно страшно. У молодости всегда есть надежда. А в шестьдесят лет надеяться на что?

«Ах, к чертовой матери всю жизнь, перевернуть бы да начать сызнова! Никаких заграничных поездок, и славы не надо, и званий — сохранилась бы семья, не сбежала бы Лиза, и Маша была бы другая, своя, кровная...»

Тут обманывал он себя. Никакая другая жизнь у него бы не получилась. Настоящая-то жена была у него Наука.

Он влюбился в нее вдруг и навечно. А до встречи с ней и не помышлял о такой подруге — мечтал быть военным.

Революция застала Ваську Петрова в небольшом сибирском городке, неподалеку от тех клятых мест, где отбывал царской милостью ссылку отец. Отец,

вернувшись из таежной глухомани, снова исчез, окунулся в свою, революционную работу, в круговерть урагана, метавшегося по вздыбленной России. Он погиб где-то в застенках колчаковской контрразведки, и только через несколько лет, уже похоронив мать, сыновья узнали об этом.

Василий в те годы сатанел от восторга. Царя долой, буржуев долой, полицию и жандармов к дьяволу! В феврале семнадцатого ему было четырнадцать лет. Костлявый, большерукий и громогласный, он верховодил среди подростков своей Приреченской улицы, наводя страх на благопристойных зажиточных обывателей. Именитый купец Верблюхтов утверждал, что именно Васька Петров со своими охломонами хитроумным подрывным устройством разнес в пух и прах его бакалейную лавку: Петровы, это красное отребье, вечно ходили у Верблюхтова в долгу, и Васька самолично грозился подджечь купца. Однако, говорится, не пойманный — не тать, схватить Ваську не удалось.

Бог ведает, как уцелел он в дни колчаковского режима. Только раз угодил в каталажку, да и то бежал оттуда на второй же день, оставив озорную, с матерками, записку. Не очень-то остепенился он, начав слесарить на металлической фабрике. Работа казалась занудливо-скучной, и Василий был рад-радешенек, когда комсомол направил его в ЧОН. Вот это парню было по душе! С батальоном по охране железной дороги чоновцы ликвидировали несколько банд, орудовавших по окрестным деревням. Василий дважды заслужил благодарность, был ранен, правда, в мякоть, очень гордился ранением и мечтал поехать в школу красных командиров.

Может, и вышел бы из Петрова превосходный полководец, но — человек предполагает, а комсомол располагает: после расформирования ЧОНа Василия послали учиться на рабфак Московского университета. Он брыкался, но не очень: все-таки Москва, столица мировой революции, за которую парень готов был отдать свою прекрасную молодую жизнь.

Подчинившись комсомольской дисциплине, начал он вгрызаться в науки и, хоть без особого пристрастия и азарта, приноровился к регулярным занятиям. Было

это ему не очень интересно, пока не столкнулся с ленинской книгой «Материализм и эмпириокритицизм». Мощные глуби ее увлекли парня, он всерьез занялся философией и уже подумывал, что это станет его профессией, но философия пробудила в нем жадный интерес к живой материи, к проблемам жизни как биологического явления. Вот тут и грянула любовь, и бывший чоновец Василий Петров, как в храм, вступил в биологический факультет, сочетался с Наукой законным браком.

Еще студентом, удивляя профессора, он поставил несколько блестящих экспериментов. Уже тогда сообразив, что любить Наука может только того, кто отдает себя ей щедро, без остатка, Василий стал заново учиться жить. Он выработал жесточайший режим дня, поставив перед собой три большие задачи: расширение знаний, повышение трудоспособности, укрепление здоровья. Приятели тех лет прозвали его: Железный Вась. О его режиме дня знал весь университет. Однажды на студенческих соревнованиях, выигрывая звание чемпиона по теннису, Василий неожиданно прервал матч:

— У меня кончилось время. Через пятнадцать минут я должен быть в библиотеке.

— Но ведь если ты уйдешь, тебе засчитают поражение!

— Мне важнее другой выигрыш,— спокойненько, даже небрежно сказал Железный Вась и под растерянный гул трибун ушел.

В тридцатом году, двадцати семи лет от роду, Петров окончил университет и вскорости был послан по заграницам: молодое государство рабочих и крестьян, выращивая свою интеллигенцию, не жалело казны, только бы дать ученым возможность обогатиться опытом лучших лабораторий мира.

Петров работал в Германии, затем в Англии, побывал во Франции и в Италии — обогащаться было чем, было и что обогащать. Скоро о трудах молодого русского биолога заговорили во всем мире. «Во всем мире» отнюдь не значит: «все». Известность ученого никак не сравнишь с популярностью какого-нибудь певца, и тем более футболиста. Певцу — слава, овации, цветы и толпы ахающих поклонниц. Ученому — корот-

кая записка от далекого коллеги да уважительное упоминание его имени в научном журнале, доступном лишь специалистам. Слава к ученому приходит очень редко и никогда не бывает полной. Циолковского при жизни знали лишь немногие, да и те считали его просто нелепым чудаком. Эйнштейн — тот и при жизни оказался в немалой известности, но многие ли могли сказать, что понимают этого гения? А непонятный — кем он был для людей? Можно ли оценить самого превосходного певца, не слыша его голоса?

Специалисты — те приметили работы неизвестного дотоле В. Н. Петрова: их отличали новизна мысли, смелость обобщений и отточенность экспериментов. Работы были посвящены проблемам радиационной генетики, анализу мутационного процесса, зависимости мутаций от характера и дозы облучений. Они перекликались с трудами известных исследователей — Дессауера, Меллера, Ли, но было в них свое, петровское.

Василий Николаевич не мог не обратить внимания на то, что физики, пришедшие в биологические лаборатории вначале как помощники — их в шутку именовали «рабами»,— теперь все чаще занимали в этих лабораториях положение, равноправное с биологами. Физика все глубже вторгалась в науку о живом. В течение года, безжалостно изнуряя мозг и тело, Петров занимался математикой и физикой. Новые мысли, новая методика опытов не могли не принести результатов и принесли. Даже и не заметив, как Василий Николаевич оказался в числе друзей таких корифеев теоретической физики, как Нильс Бор, Джон Бернал, Мак Дельбрюк. Оживленная переписка завязалась у него с Дугласом Ли и Томасом Морганом.

Он работал за пятерых и, казалось, не знал устали. Но однажды подперло, он сказал себе: «Стоп, надо с месячишко побездельничать». И тут острый, разящий приступ ностальгии навалился на него. Петров слал в Москву по три телеграммы в день — все просил отозвать на Родину. Шел февраль 1933 года. Наконец поездку разрешили, и его ассистенты с удивлением наблюдали, как их шеф, детина чуть не на шесть пудов, отхватил чечетку — лаборатория ходила ходуном.

По Москве он бродил как ошалелый, заговаривал с любым встречным и радостно гоготал, услышав какое-нибудь не очень ходкое, пронзительно-русское словцо. На него взглядывали настороженно и испуганно. О работе он рассказывал своим коллегам торопливо и сбивчиво, они обижались, Петров отмахивался: «Потом, потом, дайте вначале оклематься». Он поехал в родимый сибирский городок, бражничал там, ходил на охоту и ухлопал медведя, потом отправился в Свердловск, в гости к младшему брату.

Виталий, хоть и походил на Василия, был мельче, суше душой и телом и, должно быть, беспомощнее. Чуть растерянные подслеповатые глаза прятались за большими толстыми очками. Жена его, полненькая веселая коротышка, только что родила дочь, и в семье царила тихая благолепная радость. Виталий Николаевич тоже подался в науку, стал химиком и работал над проблемами порошковой металлургии. О ее заманчивом будущем он мог говорить часами. Иногда они с братом выходили на улицы, это называлось «погулять», но великанские шаги Василия были столь стремительны, что Виталий едва поспевал за ним.

Город торопливо и напористо строился, обрастая заводами и кварталами жилых вместительных коробок. Улицы были взъерошены, разрыты, разворочены. Этот ералаш определенно нравился Василию.

— Настоящий городище будет, могучий!— громогласно радовался он.— Вот бы нашу Сибирь-матушку этак-то, а? Дай срок, доберемся и до нее.

Виталий только улыбался: ему было приятно, что брат хвалит город, что брат доволен. Только надо ему перебираться в Россию, в Европе нехорошо, вскипает и бурлит фашистская муть, мало ли чем может обернуться дело. Виталий осторожно поинтересовался:

— Жениться-то, Василий, не думаешь? Пора ведь. Опасный возраст, холостяком можешь остаться.

— Не до женитьбы, Витенька, некогда. А баба моя от меня не уйдет — будет баба. Suum cuique! *.

— Tarde venientibus ossa **,— проворчал Виталий.

---

* Suum cuique (лат.) — каждому свое.

** Tarde venientibus ossa (лат.) — приходящим поздно (достаются одни) кости.

Петров-старший огорошенно глянул на него и захохотал.

— Да ты, Витенька, истинный латинянин!

Младший улыбнулся сдержанно, с достоинством, будто говоря: «А ты думал, только вы, всеевропейские звезды, на то способны?»

А отмахивался от женитьбы Василий Николаевич зря. Погостив у брата с неделю, почувствовал он отчаянный душевный зуд — звала работа, зашевелились интереснейшие мысли, которые необходимо было, вот просто позарез необходимо, срочно проверить в экспериментах. Не размышляя долго, Петров ринулся в Москву, поделился с товарищами своими идеями и уже готов был снова отправиться в свою зарубежную лабораторию, как случилось э т о.

Елизавету Федоровну Берг, Лизаньку, он увидел на семейном вечере у одного из приятелей и был сражен ею в течение часа. Создание это, отнюдь не небесное, блистало красотой, умом и обаянием. Опаленное сердце Петрова ждать не хотело.

Лиза, даже удивив этим Василия Николаевича, охотно пошла навстречу, и на шестой день знакомства они зарегистрировали брак.

Со стыдом вспомнил Петров свои недавние цинично-ухарские слова о «бабе». К Лизе это понятие не лепилось никак. Воспитанная в семье крупного инженера, изящная и остроумная, она была Женщиной — может быть, больше, чем нужно. Впрочем, последнее соображение — насчет «больше, чем нужно» — пришло Петрову значительно позже. На первых же порах он лишь обожал свою избранницу, любил ее страстно и неуемно. Но ей, как оказалось, было этого мало. Ей нужен был весь мир, мужчина же был только его малой частью, которой надо было воспользоваться как ступенькой к трону.

Петрову удалось убедить своих руководителей хотя бы на время оставить его в Москве. Очень быстро, как в сказке, без всяких его усилий, появилась у Василия Николаевича прекрасная квартира — об этом сумела позаботиться Елизавета Федоровна. По специальности театральная художница, квартиру она обставила

превосходно. Никогда в жизни не занимавший более трешки, да и то лишь в студенческие годы, Петров залез в долги. Тратить деньги Лиза умела легко и красиво.

Вскоре Василию Николаевичу пришлось убеждать начальство в необходимости продолжения работы за рубежом: на этом настояла Лиза. Но тут получился конфуз. Петрову командировку дали, а Елизавете Федоровне в заграничном паспорте было отказано. Она переживала это истерично, однако на отъезде мужа настояла, он согласился, и это было для него очень плохо. Начался период дергания и мук. То он работал по-прежнему самозабвенно, и тогда сразу начинал набухать между супругами скандал: Василий Николаевич, как выяснилось, имел право забывать себя, но не жену; то он принимался ревностно выполнять поручения Лизы, изыскивая для нее какие-то особые, экстравагантные подарки, и умолял Москву разрешить ему поездку домой, и тогда работа, конечно, летела к чертям.

На третий год этой безалаберной жизни Лиза родила дочь. Это был для Петрова праздник, он не знал, что дочь вовсе не его.

Василий Николаевич примчался в Москву. Жена встретила его гордая и заносчиво-усмешливая. Он носил ее на руках по комнатам и кружился с ней, потом заявил, что никуда и никогда от нее и дочери теперь не уедет. Руководство его поддержало, и Петров с жаром принялся за создание лаборатории радиационной генетики. Со временем она должна была, по замыслу, превратиться в институт. Дело шло хорошо. Уже поговаривали об избрании его членом-корреспондентом Академии наук, когда стали обваливаться одна за другой беды.

Работы были поставлены под сомнение. Мечта Петрова об институте летела в тартарары. На Василия Николаевича стали коситься: его широкие связи с западными учеными кое-кто стал истолковывать превратно. Как назло, именно в это время две зарубежные академии наук избрали его своим членом. Лучше бы они объявили его лжеученым!.. Внезапно и безжалостно ушла Лиза. Переехав на новую квартиру днем, когда он был на работе, вечером она позвонила по телефону,

сообщила о своем решении и сказала, что Машу заберет позднее. Развод был оформлен быстро. Новый муж Елизаветы Федоровны, дипломат, оказался поразворотливее Петрова: ей был выписан заграничный паспорт.

Произошло все это накануне войны.

Перед самым отъездом за рубеж Елизавета Федоровна назначила бывшему мужу свидание в «Национале».

Он пришел к уже накрытому столику. Лиза успела выпить, была возбуждена и воинственно-подобрана. Лишь только Василий Николаевич сел на свое место, официант откупорил шампанское: обойтись без театрального эффекта Лиза не смогла. Необходимые слова она подобрала заранее, речь ее была коротка и откровенно цинична.

— Я уезжаю, Василий, и хотела сказать тебе самое необходимое. Я не любила тебя, но благодарна за все, что ты для меня пытался сделать. Машу я оставляю, мне она сейчас будет только мешать. Не стану скрывать, что это не твоя дочь. И не суди меня. Ведь так подолгу тебя не бывало дома. Если ты с Машей не уживешься, дашь мне знать. Свой адрес я тебе сообщу. Теперь выпьем, пожелай мне удачи.

Как он удержался тогда, чтобы не исхлестать ее прекрасное и отвратительное лицо, чтобы не измолотить ее, не убить? Каменной, не дрогнувшей рукой он поднял фужер, только зубы лязгнули о хрусталь, залпом выпил ледяное шампанское и тут же налил себе снова. Сильно скомкав салфетку, спросил:

— Зачем ты мне это сказала?

Она посмела даже улыбнуться:

— А вдруг я заскучаю по ней? Зная правду, тебе будет легче вернуть ее мне.

Он резко отбросил салфетку.

— Ты врешь! Это моя дочь!

Она поджала губы:

— Веди себя прилично. Я не лгу.

Петров не мог осмыслить всего этого, лишь отупело чувствовал душную громаду чего-то навалившегося на него.

В тот момент к столику подошел возникший, казалось, из воздуха элегантный и строгий молодой муж-

чина. Поклонившись молча, он вопросительно взглянул на Лизу.

— Да,— сказала она,— мы уже поговорили,— и встала.— Прощай, Василий.

Опершись на руку мужчины, она пошла к выходу...

Сейчас Василий Николаевич даже застонал тихонько, вспомнив все это. «Дьявол! Сколько раз говорил себе: не вспоминай». Он встал и начал ходить по комнате. Дульсинея, дремавшая в кресле, сладко потянулась, просыпаясь, и мягко спрыгнула на пол. Хозяин не обратил на нее никакого внимания. Дульсинея осторожно мяукнула. Он продолжал ходить, большой и грузный, половицы под ним пошевеливались.

— Ах, черт! — уже вслух ругнулся Василий Николаевич, и даже ему самому было непонятно, к чему это относится: то ли к неприятным, взмутившим душу воспоминаниям, то ли к досадному перерыву в работе, то ли просто к пакостному настроению.

Но, видно, не только всякая дребедень ворочалась в голове,— где-то в глубине сознания шла исподволь и полезная работа. Круто повернувшись, Петров подошел к столу и, не присаживаясь, откинул кожаную крышку бювара. На большом листе бумаги пестрели красным и синим цветом краткие письменные записи. Красным помечались дела неотложные, синим — дела и мысли впрок. Взяв синий карандаш, Василий Николаевич стремительным размашистым почерком записал: «Ферромагнитные свойства органических структур». От тематики его лаборатории это было не очень близко, но кто может запланировать «тематику» мыслей ученого?

Он снова прошелся по комнате, туда и обратно, туда и обратно, но шаг стал напористее, круче. Верная его подружка, Дульсинея, все еще поглядывала на хозяина, однако Василий Николаевич ее не замечал. Вновь подойдя к столу, он сел, сграбастал всей пятерней свой крупный мясистый нос, помял его и решительно придвинул к себе письмо из Новосибирска, уже несколько дней ждавшее ответа.

В дружеском письме этом содержалось весьма заманчивое предложение.

После васхниловской сессии 1948 года далеко не все «менделисты-вейсманисты-морганисты» отказались от

своих убеждений. Правда, им приходилось трудиться то на грядках крошечного опытного хозяйства фармацевтического института, то в медицинских учреждениях, в химической промышленности или в атомном ведомстве. В одном из таких учреждений скромным рядовым сотрудником работал и Василий Николаевич.

Терпение и преданность науке «неразоружившихся» когда-то должны были восторжествовать, и вот в 1958 году в Новосибирске был создан Институт цитологии и генетики. Уже одним фактом своего существования радовал он сердца «классических», «формальных» генетиков и был, что называется, бельмом на глазу их противников. Он был как знамя.

Именно так и писал Петрову его старый друг, один из руководителей института, и звал Васеньку под это знамя. Подобное предложение из Новосибирска Василий Николаевич получал не впервые, однако на этот раз вакансия была особенно приманчивой.

С усмешкой вспомнив упитанное брюшко друга и добрый усталый взгляд его округлых, слегка выпученных глаз, Петров обмакнул перо в чернильницу.

«Юрочка,— написал он,— на твое неофициальное послание отвечаю столь же неофициальной писулькой. Премного благодарен тебе и присным твоим, одначе стоять буду на своем. Знамя в Новосибирске — это хорошо. Но еще лучше станет, если наша многострадальная генетика будет побеждать повсюдно — и здесь на Урале, и в других достославных местах матушки Родины.

За сим сообщаю, что дела в общем-то идут — не стоят. Тройственное семейство мое — Дульсинея, Маша и я — пребывает во здравии, аппетит хороший, стул тоже, чего и тебе желаю. Полевая биостанция в Лесном мало-помалу функцирует, только что вернулся оттуда, потому и ответ задержал.

Целуй свою благоверную, предварительно поклонившись от меня. А еще пришли, ежели не жадный, темплан свово института на следующий год. Обнимаю. Василий».

Писал он, думая, что эвон как далеко приходится вытягивать руку с пером,— подводят глаза, придется скоро очки цеплять на нос. Однако настроение все же

поднялось: во-первых, хоть и заочно, пообщался со старым дружком, во-вторых, отказ от предложенного места был хоть каким-то, да действием, а не пустым слюнтяйством вроде воспоминаний.

Повеселев, Василий Николаевич оглянулся на Дульсинею. Она опять дремала, забравшись в любимое кресло.

— Эй, Дунька,— позвал Петров, с шумом отодвигая свой стул от стола,— пошли кофе варить!

Кошка разом встрепенулась и, спрыгнув на пол, затрусила в кухню.

Звонок был неожиданным. До этого Рогожин ни разу не звонил на квартиру Петрова.

Самым деликатным образом извинившись за беспокойство в неурочный час, Леонид Александрович объяснил, почему он это сделал: только что вернулся с экспериментальной животноводческой базы, чтобы завтра вылететь с наметками институтского плана в Москву, и тут уж без этого срочного официального звонка обойтись не смог. Дело в том, что в планах лаборатории уважаемого Василия Николаевича он обнаружил внеплановую тему по расшифровке кода наследственности.

— Пустяки,— благодушно пробасил Петров.— Была внеплановая, станет плановой.

— Но она не предусмотрена сметами.

— А мы ее так, без всяких смет, проведем. Попробуем.

— Позвольте, но в конце концов это работа для генетической или для биохимической лаборатории, но никак не для вашей.

— А вот это уж,— повысил голос Петров,— позвольте определять мне.

— Я категорически протестую, Василий Николаевич.

— Протестуйте хоть в президиуме Академии. Мы эту тему все равно проведем. Важнейшая, доложу вам, тема. Счастливого пути, дорогой Леонид Александрович.— Петров резко положил трубку...

Кофе не взбодрило: сильно и ощутимо начало бить-

ся сердце, и только. Сигарета показалась невкусной. Петров поморщился. Сегодня он определенно не нравился себе.

Время было уже позднее. Ночной город притих за окном. Сумрачно темнели глыбы каменных кварталов. Василий Николаевич вдруг вспомнил Агнию Львовну, ему стало жалко ее. «Вот так же мается одинокая...» Почему «так же»?» Это была новая и странная мысль.

23.

Таня вернулась в город в воскресенье. Из Лесного выехали чуть свет, безалаберно и весело горланили песни, и Володька, сначала дремотный и вялый, разошелся и даже пытался подпевать, оживленно поблескивая глазенками. Тане очень хотелось попасть домой пораньше, чтобы застать Андрея еще в постели,— войти потихоньку в комнату, присесть на кровать, он откроет глаза, улыбнется сонно и обнимет... Пораньше не получилось: дважды машина застревала в заплывших грязью колдобинах, ее подолгу раскачивали и толкали, все уляпались и немножечко злились. В город приехали уже около десяти утра.

Ключ в двери Таня поворачивала очень осторожно. Володька, проникнувшись ее настроением, смешно грозил пальцем и шипел: «Тшс-с...» В квартире было тихо, только в ванной раздавались шлепки по голому телу и фырканье: Грин принимал утренний душ. На цыпочках Таня и Володька прошли в свои комнаты. Тихо. Никого нет. Небрежно заправленная кровать пуста.

— Ну вот,— грустно сказала Таня,— а мы старались... Что ж, раздевайся, сын, будем мыться и наводить порядок.

Грин очень обрадовался приезду Тани и объявил, что будет угощать ее и Володьку оладьями. И верно, когда, помывшись, они зашли на кухню, Марк Романович, помахивая ножом, метался в масляном чаду от стола к плите, а на большой плоской тарелке уже высилась аппетитная горка оладий.

— Фирменное блюдо! — похвастался Грин.— Не пальчики — всю пятерню оближете.

— Да откройте же форточку, задохнуться можно! — закричала Таня. Этот милый чудак растрогал ее.— И почему тесто так далеко от плиты? Никудышная организация производства. Пустите-ка, я сама...

— Э, нет,— сказал Грин, — это Я сам. Славу свою ни с кем делить не желаю. Выдьте вон, явитесь через шесть с половиной минут — все будет готово к чаю.

Однако выбить Таню с позиций, занятых ею, было уже невозможно; привычно и быстро принялась она наводить порядок: вытерла стол, сложила в раковину грязную посуду и начала ее мыть, критически поглядывая на пол, к которому, похоже, за время ее отсутствия мокрая тряпка и не прикасалась.

— Ого! — вдруг воскликнула она, заметив в углу за шкафом батарею пустых бутылок.— Да вы тут без меня не очень-то скучали.

Грин перехватил ее взгляд и самодовольно ухмыльнулся.

— Это еще не все. Вчера я несколько бутылок выкинул в мусорный ящик... Мы с Андреем перешли на сухое вино. Отличный напиток. Я вас угощу, у меня есть. С медалями.

Таня выпила лишь полфужера, сказала, что это обычная дрянная кислятина, и лучше пить чай. Чай был заварен отменный, но оладьи оказались совершенно пресными: просто-напросто Грин забыл посолить тесто. От огорчения он громко сопел и растерянно моргал.

Тане стало весело.

— Не отчаивайтесь, Гринфельд, сейчас спасем ваше фирменное блюдо. Будем макать оладьи в варенье.

Они так и сделали, и Володька, по уши вымазавшись в варенье, глубокомысленно изрек:

— Сладкое лучше, чем соленое.

Грин вымазался чуть поменьше. С улыбкой глядя на него, Таня сказала:

— Вам бы жениться, Грин.

Он посмотрел на нее испуганно и виновато.

— Я не умею жениться, Таня.

Она рассмеялась.

— А нужно умение?

— Еще бы,— сказал он, насупился и, склонив свой громадный лоб, спрятал за ним глаза.

После чая они перешли к Переваловым. Таня не приглашала Грина, он сам приплелся за ней и без лишних церемоний занял место в качалке. Володька забрался в свой угол, к игрушкам, и бормотал там, разговаривая с Мишками, Слонами и Паровозами, расставляя и переставляя их. Таня начала протирать посуду в серванте, потом вытирала в комнатах пыль. В халатике и кухонном фартучке, с косынкой на голове, она выглядела уютной и милой. На письменном столе аккуратной стопкой лежали биологические журналы и книги по генетике. «Андрей штудирует»,— догадалась Таня. Между делом она рассказывала Грину, как жили они в Лесном, как там хорошо и сколько полезного для диссертации она успела сделать, жаль только, что часто барахлил электронный микроскоп, а то бы сделала еще больше.

Ей очень хотелось порасспрашивать об Андрее, но это казалось ей некрасивым: Андрей сам расскажет о своем житье-бытье.

— Ну, у вас тут как идут дела?

Вопрос относился к лаборатории, именно так Грин и воспринял его. Он раздумчиво похмыкал и сказал, что дела, на его взгляд, движутся нормально: много экспериментов и мало результатов. А сам он «писчебумажно» ищет подступы к расшифровке кода наследственности.

— Кое-что я слышала,— кивнула Таня и, откинув лохматенькую челку со лба, спросила совсем как школьница, даже глаза ее чуть округлились: — Очень трудно?

Грин опять похмыкал.

— Головоломно, но занятно... Я, конечно, понимаю: рассчитывать на успех трудно, но ведь неизвестное — всегда малонадежная почва. Это, как мне помнится, говорил Сент-Дьердьи. Самое большее, говорил он, ученый может рассчитывать на то, что его ошибки посчитают почетными. В науке вероятность неудачи всегда больше вероятности успеха.

— Эге, готовите подстилку, чтобы мягче было падать?

— Кто знает,— сказал Грин и замолчал.

Вытянув длинные костлявые руки, он легонько покачивался, глаза его под крутыми надбровьями были полузакрыты. Таня взглянула на него, занялась делом, но через полминуты не удержалась — посмотрела снова. Ее всегда поражала эта глыбистая, с высоким покатым лбом голова; почти физически Таня ощущала неспокойное напряженное шевеление мысли под этой черепной коробкой. Мыслительная машина... Чем она занята сейчас? Громоздит бесчисленные сочетания триплетов и миллионноатомной молекуле ДНК, перебирает навечно заложенные в нейронные матрицы сведения из научной литературы или мается над тривиальной. Но всегда мучительной проблемой «любит — не любит»? А вообще-то знакома ему эта проблема? Как он странно сказал: «Не умею жениться...»

Грин вскинул веки, блеснул острый взгляд. Таня смутилась.

— Марк Романович, сейчас я вас вытурю отсюда: мне надо мыть пол.

— Пол? Ну и что?.. А-а, понимаю. Ухожу...

Он сконфузился и, сутулясь, поспешно вышел из комнаты. Таня принялась за мытье...

Что-то совсем не стало слышно Володьки. Молчун, в Андрея. Таня заглянула в дверь, в другую комнату: Володька спал на полу в обнимку с мягким ворсистым мишкой. Она взяла сына на руки, он сладко почмокал, словно сосунок, нежность ворохнулась в ее груди. Положив сына в кроватку, Таня раздела его, укрыла одеяльцем и долго всматривалась в маленькое порозовевшее лицо. Носик был прямой, точеный, рыжеватые брови, пока еще тощие, смешно хмурились во сне.

Объятая нахлынувшей истомой, Таня почти машинально взяла с этажерки толстый семейный альбом и уселась в качалку. Это всегда доставляло ей удовольствие — просматривать старые фотографии, вспоминать, переживая давнее заново. В этом был у нее свой, давно принятый ею порядок — как определенное меню у сластены-гастронома. Сначала она листала страницы с фотографиями своих детских лет, потом те, где они были с Андреем вдвоем, и, наконец, листы, на которых уже появился Володька.

На самом первом листе была фотография ее роди-

телей. Снимались они где-то в начале тридцатых годов, видимо, только что поженившись. У мамы было радостное и несколько ошарашенное лицо. Отец старался показаться важным, а выглядел напыщенным, в простенькой тужурке, с близоруким прищуром под стеклами очков в железной оправе.

Таня не очень любила эту фотографию. На ней родители мало походили на себя. На самом деле мама — женщина бесстрашная и веселая. Она и сейчас, живя у младшей своей дочери в Сибири, лихо катается с внуками на санках с ледяной горы, ходит с ними купаться, а скинь ей пяток лет — стала бы, наверное, играть в футбол. Отец же никогда в жизни, сколько Таня помнит его, не пытался важничать. Спокойный, педантичный и, должно быть, замкнутый, малость угрюмый человек, он не был столь деятельным, как его старший брат Василий Николаевич, — был работящим. Но сердце его всегда оставалось добрым. Он погиб на фронте, вызвав огонь тяжелых батарей на свой артиллерийский наблюдательный пункт...

Таня и на Андрея обратила внимание, наверное, потому, что он вначале показался ей похожим на отца. Вот он на фотографии такой, каким она увидела его, когда он первый раз пришел к ним на факультет по своим редакционным делам,— подтянутый, прихмуренный, с сомкнутым ртом. Она была тогда хохотуша и задира, хоть и училась на выпускном курсе, и разговаривала с ним очень несерьезно, пытаясь чем-то зацепить его и вывести из ровного делового состояния. Он был невозмутим, но вдруг улыбнулся какой-то шутке, и эта улыбка, такая хорошая, добрая, обезоружила ее, она притихла, задумалась и на его вопросы отвечала уже невпопад. А Андрей, потом он признался,— уже был взволнован ею, ему захотелось повидать ее еще, он специально пришел в институтский комитет комсомола снова, придумав себе какое-то заделье, и отыскал ее.

Вот на этой фотографии они уже вместе. Кто-то из приятелей щелкнул их на качелях в парке. Она вся светится влюбленностью, и Андрюша, такой взрослый парень, выглядит совсем мальчишкой, потерявшим голову от нежности и радости. Это был «период дождя», как писала в дневнике Таня.

Любовь в своем начале, писала она, подобна дождю в сухой знойный день. С высокого неясного неба падает сверкающим потоком живительная влага, туманит все вокруг, душа и тело жаждут ее и радуются ей, ловят ее и не могут поймать. Хочется, чтобы упоительный этот ливень длился, не прекращаясь, вечно. Но кончается дождь. И лишь потом, упав на землю и растекаясь по ней, вода приносит нам полное наслаждение, и, став привычными, ее чудесные свойства становятся понятными, не перестав быть прекрасными. И можно черпать ее полными пригоршнями, купаться в ней, можно управлять ею, ставя где надо плотины, сдвигая пороги и сравнивая перекаты.

Примерно так писала Таня в своем дневнике, и, когда однажды прочла это место Андрею, он усмехнулся ласково: «Да ты у меня поэтесса!» — «А по смыслу — правильно?» — спросила она. «Поэзия никогда не бывает точной»,— так он ответил, и это не понравилось Тане, потому что в этой записи она дорожила именно смыслом. Для нее любовь была краше «после дождя», когда входила в свой спокойный, умиротворенный ритм, суля счастье не двоим — семье. Потому-то фотографии по-настоящему семейные, уже с Володькой, она и оставляла всегда «на десерт» — самые дорогие.

Так оно, конечно, и должно быть. Жена и мать не просто цементирует семью — она ее создает. Мужское семя, отданное ей в любви, женщина взращивает в своем чреве, чтобы дать жизнь новому существу и навсегда закрепить кровный союз трех.

С тихой благостной улыбкой перелистывала Таня альбом...

В дверь постучали, и голос Грина спросил:

— К вам можно на секунду?

Он просунул свою полулысую, с торчащими во все стороны остатками шевелюры голову.

— Я забыл сказать вам, Таня. Варя Нукина... У Вари... Короче, она делала аборт, и, может быть, вам следует навестить ее?

Таня медленно встала с качалки.

— Варя — аборт?!

Грин виновато пожал плечами.

— Да, конечно, сейчас,— засуетилась Таня.— Спасибо, Грин, я навещу ее.

Она быстренько сделала все, что нужно, подняла Володьку и отправила его во двор, потом спустилась к Нукиным.

Миша чистил на кухне картошку, в комнате, на старепьком залатанном диване, дымил сигаретой какой-то парень.

— Вот, хозяйничаю,— застеснялся Миша.— Вы присаживайтесь, Татьяна Витальевна, сейчас придет Варя, она в магазине, будем питаться. Ой, забыл: с приездом вас!

— Спасибо.— Таня прикрыла дверь, спросила вполголоса:— А там, в комнате, кто? Приятель твой?

— Владлен это,— так же тихо ответил Миша, и по тону, а главное, по лицу, которое вдруг сделалось ожесточенным с едва уловимым оттенком не то жалости, не то презрения, Таня догадалась, что парень этот както замешан в истории с Варей.

— Это что же — Варя... из-за него?

Миша даже отшатнулся.

— Вы уже знаете? — Ему, видать, было очень не по себе. Снова склоняясь над картошкой, он заговорил приглушенно:— Путано как-то все в жизни, Татьяна Витальевна. Не пойму — то ли играют они в любовь, то ли всерьез. Да только уж какая тут игра? Сосунки несчастные! Я бы их... А что я могу сделать? Теперь вот, после... ну, этого — ссора. Днем она его гонит, а ночами ревет. А он и вообще-то псих, а теперь сам не свой. Даже жутковато как-то, он все может выкинуть.

— Что же он может выкинуть?

— Абсолютно все. Убить, например. Себя или когонибудь другого. У него голова набекрень. Он уже грозился... Постойте, кажется, Варя. Ага, она.

Варя вспыхнула, увидев Таню, заулыбалась и припала к груди, чтобы скрыть блеснувшую слезу. Вот бы сейчас и поговорить с девчонкой, но Тане мешал этот парень, Владлен. Он по-прежнему дымил сигаретой, только перешел к форточке, и не спускал свинцово-тоскливого взгляда с Вари, накрывавшей на стол, а та демонстративно отворачивалась.

Таня украдкой приглядывалась к парню. Почему же «псих», почему «голова набекрень»? Вполне интеллектуальное лицо, приятные черты. Только вот этот

тяжелый, давящий взгляд и какая-то развинченность в фигуре, несобранность. Ох, Варя, Варя!..

От еды Владлен отказался, спросил у Михаила, есть ли кофе, и пошел на кухню. Варя фыркнула вслед. Таня положила себе в тарелку разваристой картошки с солеными груздями, улыбнулась:

— Ну, как живем, Варюха?

— По-разному, тетя Таня. Болела я... В институт не попала, думаю теперь пойти работать. Уже договорились — ученицей оператора на заводе пластмасс.

— А может, к нам, в институт? Миша тебе тропку проторил, место найдется.

— Нет-нет,— Варя отчаянно замотала головой,— в ваш институт я ни за что!..

Таня вопросительно глянула на Мишу: с чего это она? Тот усмехнулся криво:

— Личные обстоятельства.— И вдруг набросился на сестру: — Ну, чего ты перед Татьяной-то Витальевной? Объясни ей прямо: Владлен — сын директора института.

— Рогожин?? — удивилась Таня.

Видимо, на кухне все-таки было слышно. Владлен показался на пороге.

— Я позднее зайду еще,— сказал он, ни на кого не глядя.— Кофе, кто хочет, сварен.— Не попрощавшись, он повернулся и вышел.

Варя низко склонилась над тарелкой, ресницы ее дрожали. Таня положила руку ей на плечо. И тут в дверь постучали.

Это был Андрей...

Он почти точно знал, что Таня приедет в этот день, и потому, пожалуй, с облегчением ушел с утра по редакционному заданию — на областной смотр художественной самодеятельности. Свидание с женой страшило его. Едва ли он думал, что Таня может о чем-то догадаться,— просто было не по себе, он боялся неестественности в собственном поведении. Как посмотрит он ей в глаза, как приласкает ее, что скажет? Все теперь будет фальшиво и стыдно.

По существу, он до сих пор не разобрался в своих чувствах, и от попытки проанализировать их уходил

и сейчас. Он пытался оправдать себя и с помощью рассудка, но то были избитые, тривиальные оправдания. Он говорил себе, что Мария нужна ему как друг, что ведь семью-то он не бросил и она ему по-прежнему дорога.

Эти оправдания ничуть не успокаивали, только раздражали — он уходил и от них.

На концерте Андрей сидел неспокойно, выступления ему не нравились, и, махнув на них, он с одним из членов жюри, знакомым актером, спустился в буфет, Там нашлось отменное пиво, они просидели за ним почти до перерыва на обед. Узнав вечернюю программу, Андрей двинулся... куда? — он решил не сразу. Подмывало позвонить Марии. Зачем? А вот просто хотелось позвонить — и только. Казалось: станет легче. Ну, а если Таня уже дома? Хорошо, что подвернулся нужный автобус; уже не размышляя больше, Андрей вошел в него и покатил домой.

Во дворе он сразу увидел Володьку. Тот с таким же карапузом, как сам, с пыхтением тащил куда-то длинную неструганую доску. Сын загорел и вытянулся, но оставался все таким же неуклюжим, медведистым. Внезапная радость живым теплом окатила Андрея.

Володька вдруг замер, оглянулся и, увидев отца, тотчас бросил доску.

— Па-ап!!— Он бежал к нему, раскинув руки, мордашка сияла, и Андрей почувствовал, что глазам стало щекотно.

Остаться во дворе Володька не захотел. Он цепко ухватился ручонкой за отцову руку и, захлебываясь словами, спешил рассказать о Лесном, о маме, о том, как они ехали домой и как дядя Грин угощал их оладьями,— обо всем. Андрей слушал его лепет, не очень вникая в смысл; было просто приятно слушать, было просто радостно ощущать рядом, совсем близко, это родное существо, сына. И еще краешком сознания он понимал, что вот так, рука об руку с маленьким Переваловым, ему легче встретиться с женой.

А встреча вообще оказалась легкой.

Таня сразу же выскочила от Нукиных, обняла Андрея, будто не видела годы, прильнула и так, прильнувши, повела домой.

— Где же ты пропадал, Андрюша? — горловым, запавшим голосом говорила она, не дожидаясь ответа.— Я так по тебе соскучилась!.. И не приехал к нам. Не смог, да? Закрутился с работой? А я все ждала, что приедешь, хоть на денечек... Ты сейчас откуда? Голоден? Устал? Я покормлю и уложу отдыхать.

Она все ворковала, медленно поднимаясь по ступенькам и прижимаясь к нему. Володька уже приплясывал нетерпеливо у двери в квартиру.

24

Снег падал мерно, крупными хлопьями. В непрестанном однообразном этом падении было что-то тоскливое. Или это только казалось Агнии Львовне? И снег, и дождь всегда наводили на нее меланхолию. Стоя у окна приемной, она смотрела на мельтешившую снежную завесу, и на душе было пусто и грустно. За спиной, пуская тоненькие аккуратные струйки дыма, выговаривал свои обычные уныло-приторные комплименты Семочкин. Он уже дважды делал Агнии Львовне предложение и, судя по всему, готовился к этому в третий раз.

Отряхивая с пальто снег, вошел Рогожин, поморщился на табачный дым и сухо поздоровался. У двери в свой кабинет обернулся:

— Ермил Гурьевич, вы мне нужны.

Семочкин вскочил, одернул пиджак и бравым, почти строевым шагом проследовал за шефом.

Агния Львовна присела за свой столик, вынула блокнот с записью текущих дел. Вчера вечером, как обычно, Леонид Александрович продиктовал ей распорядок сегодняшнего дня. На десять тридцать надо вызвать Гладилова, затем пригласить группу овцеводов... А вот и сам Петр Анатольевич — всегда чувствует, когда он нужен директору. Чем не телепатия?

Гладилов поклонился почти нежно и, осведомившись, один ли Леонид Александрович, присел возле столика. Чтобы не быть невежливой, Агния Львовна в свою очередь поинтересовалась, как идут дела с диссертацией, хотя в общем-то знала — как. Гладилов сказал, что дела идут отлично, кое-какие сомне-

ния, мешавшие ему, отпали, диссертацию он уже переписывает начисто и скоро начнутся хлопоты защиты.

Тут из кабинета вышел Семочкин и передал, что директор просил немедленно вызвать к нему профессора Петрова. Это поручение было Агнии Львовне по душе, но все же она решила уточнить у Рогожина, как быть с росписью дел, которая нарушалась уже с начала дня.

Леонид Александрович сказал очень холодно:

— По-моему, я вполне ясно передал Ермилу Гурьевичу, что прошу вызвать Василия Николаевича Петрова.— Он взглянул на нее, как бы говоря: «А вам, тумба этакая, не ясно, что ли?» Но сказал другое:— Сегодняшний порядок дня отменяется. У меня будут другие дела.

Она не спросила, какие, и вышла из кабинета, как побитая. В последнее время Леонид Александрович вообще непонятно и круто изменился. От полудружеских нот в обращении с ней не осталось и следа. Казалось, вот-вот он начнет на нее кричать. Этого только и недоставало. С чего все это? Кто-то нашептал Рогожину о ее добрых отношениях с Василием Николаевичем? Но что за глупая ревность!..

Хоть в малой степени она отыгралась на Гладилове:

— Леонид Александрович не хочет с вами разговаривать.— Но тут же и пожалела его:— Не расстраивайтесь, не хочет сейчас, позднее примет, я вам позвоню...

Петров оказался на месте и пришел тотчас.

— Что за оказия, Агния Львовна? — весело удивлялся он.— Уж и не помню, когда уважаемый Леонид Александрович снисходил до моей особы. Приключилось что?

— Не знаю, Василий Николаевич. Семочкин бегает по институту, спешно наводит повсюду блеск, словно ждет какого-то генерала от науки.

— Хм, сейчас мы это выясним.— Петров проворно ухватился за ручку рогожинской двери.

Выйдя минут через десять от директора, Василий Николаевич заговорщицки подмигнул Линевой:

— Готовьте валидол и валерьянку. К нам едет ре-

визор!.. А ежели всерьез — приезжает из Англии какая-то культурная делегация и в ее составе профессор Гладстон. Он биолог и потому, естественно, будет интересоваться нашим институтом. Гладстон...— Петров задумчиво покачал головой.— Знавал я этого деятеля, знавал.

Агния Львовна подняла к нему лицо, спросила тихо:

— Вам это не грозит неприятностью?

— Мне? Какой? Хэ!..

И все же видно было, что приезд этого англичанина чем-то Петрова тревожит и, мягко говоря, не доставит ему никакого удовольствия.

Делегация прилетела на следующее утро. Она была маленькой, всего три человека: длинный сухопарый социолог, миловидная учительница и толстенький лопоухий профессор биологии. Все трое были укутаны в меха, и социолог, руководитель делегации, щурясь на свежий снежок, прикрывший поле аэродрома, усмехнулся:

— Сибирский мороз, да?

Ему сказали, что, во-первых, еще не мороз, во-вторых, не сибирский, а уральский. На это профессор биологии отозвался на довольно чистом русском языке:

— Это есть наше общее европейское невежество. Все, что за Москвой, уже Сибирь, и везде снега и мороз.— Почему-то расхохотался.

Заместитель председателя горсовета сказал приветственную речь, социолог поблагодарил его, и все сели в машины. Андрей устроился в одном автомобиле с Гладстоном.

Не однажды приходилось Андрею в газетной своей работе сталкиваться с гостями из-за рубежа, и каждый раз это волновало его. Оглядывая свое, родное, как бы чужими глазами, глазами иностранных туристов, дельцов и политиков, он заново переживал гордость за все, что им показывали. Они были разные, взгляды этих глаз,— сочувственные и пренебрежительные, восторженные и злые. Но любой из них радовал Андрея. Восторгаешься? Спасибо. Злишься? Отлично! А равнодушных не было. Равнодушных, по мнению Андрея, и не могло быть. В гулких ли цехах машиностроительного завода, на просторных полях колхоза, в рабочем

Доме культуры или в научной лаборатории — всюду его так и подмывало повторять: «Вот как у нас, вот что мы, советские, смогли!» И еще хотелось похвалиться своим Уралом. Советские спутники и космические корабли вам, господа, конечно, известны? Про электростанции-великаны слышали? Наши, уральские, турбины трудятся на них. Ах, как хотелось Андрею сказать и об уникальных уральских машинах, и об уральском металле, и о самоцветах, и об изумительных мастерах Урала! Но он, конечно, молчал. Он только ловил взгляды гостей, вслушивался в их реплики да изредка делал необходимые пометки в блокноте.

Машины ходко шли по наезженному асфальту. Гладстон, не скрывая любопытства, вертелся на сиденье, поглядывая то в одну, то в другую сторону; большие оттопыренные уши, его, похоже, тоже двигались, как локаторы.

— Нравится? — с улыбкой спросил Андрей.

— Могучий край! — охотно и доброжелательно откликнулся профессор.— Куда ни посмотреть — заводы и заводы.

— Этого у нас хватает,— довольный, согласился Андрей.— Скажите, откуда вы так хорошо знаете русский?

— О, я ведь занимаюсь наукой. А в наш век заниматься наукой без русского языка нельзя.— И засмеялся: — Вам это нравится?

— Нравится, — с серьезностью кивнул Андрей.

В первый день делегацию возили по заводам и музеям, вечером пригласили на балетный спектакль, и обо всем этом Андрей дал в газету короткую информацию.

На следующий день гости занялись каждый своими делами: социолог отправился на завод, учительница — по детским учреждениям, биолог — к своим коллегам.

Андрей поехал в Институт биологии. Гладстон явился сюда один, без переводчика, долго и дружелюбно потряхивал руку Рогожину, потом всем подряд, кого ему представляли. Когда в кабинете появился Василий Николаевич, англичанин привскочил и радостно бросился навстречу:

— О, мистер Петров, мой милый друг! Сколько годов и сколько лет, как это говорится у вас, мы не видели один другого.

— Здравствуйте, здравствуйте, милейший Гладстон,— басил Петров, потихонечку высвобождаясь из объятий профессора и оглядывая его кругленькую, шароподобную фигуру.— Как же вы теперь в футбол играете?

Гладстон осклабился, поворачиваясь к Рогожину:

— Он все такой же шутник!.. Я теперь уже дедушка и играю не в футбол, а в бридж.

— Всему свое время,— с натянутой улыбкой покивал Рогожин.— Присаживайтесь, товарищи. Пожалуйста, мистер Гладстон, сюда. Побеседуем, а затем осмотрим институт, так ведь?

Гостя интересовало многое. Он расспрашивал о тематике работ, о публикации исследований, о подготовке научной молодежи. Не на все вопросы Рогожину хотелось отвечать, кое-что он старался обойти, но гость был дотошлив и настырен. Вопросы он задавал очень вежливо, со сладкой улыбочкой, а глаза настороженно шарили по лицам собеседников, и уши шевелились, будто хотели подслушать и невысказанное.

Наконец он иссяк.

— Если господин директор не против, я с удовольствием посмотрел бы лаборатории института...

Он и тут совал нос в каждую щелочку, выспрашивал о работе не только научных сотрудников, но и рядовых лаборантов. Приборы он не просто осматривал, а каждый ощупывал своими розовыми пухлыми пальцами, словно хотел убедиться, что это действительно приборы, а не их макеты. Особый интерес, как, впрочем, и ожидалось, вызвала у Гладстона лаборатория Петрова.

Тут он буквально принюхивался ко всему, зачем-то взвесил на аналитических весах чашечку Петри, заглянул в термостат и, расплывшись в улыбке, повернулся к Рогожину:

— Все-таки без этих милых мушек, дрозофил, вы не обошлись.

— А почему мы должны обходиться без них? — насупился Рогожин; и без того в этой лаборатории он

чувствовал себя неуютно, а тут еще жди от незваного гостя всяких каверзных вопросов.

— Ну как же! — всплеснул короткими ручками Гладстон.— Ведь вся советская печать одно время предавала дрозофил анафеме.

Наступило неловкое молчание.

— Если вы так уж прилежно следите за советской печатью,— неожиданно подал голос Хромосома, возившийся с агар-агаром возле термостата,— так вы, наверное, читали, что наши ученые от дрозофил никогда не отказывались.

Юношеский этот наскок, должно быть, удивил профессора. Уши у него беспокойно шевельнулись. И тут Хромосома... тоже шевельнул ушами; этот потешный трюк был у него оттренирован давно, еще в школьные годы.

Гладстон покраснел, Рогожин опустил глаза, Петров, усмехаясь, подмигнул Хромосоме.

Андрей прошел в соседнюю комнату, к Тане, работавшей на центрифуге.

— Ну, что он, этот тип? — поинтересовалась она.

— Колючий. И нахальный.

Следом за Андреем вошли остальные. Гладстон прищурился на центрифугу.

— Сколько оборотов?

— Шесть тысяч,— сказала Таня.

— Маловато, а? — Гладстон посмотрел на Петрова.

Рогожин с тоской вспомнил, что уже давно Василий Николаевич ругался по поводу этой старенькой, допотопной центрифуги: скорость ее явно не удовлетворяла лабораторию.

— Нам пока другая не требуется,— сказал Петров.— Лежит на складе новая — когда понадобится, возьмем.

Миша Нукин в респираторе и защитных перчатках растирал в фарфоровой чашке очередную пробу. Гладстон сунулся к нему.

— Осторожно,— хмуро сказал Миша,— радиоактивность.

— Очень хорошо,— почему-то обрадовался профессор и заглянул в комнату рядом.

Комната была заполнена частым зловещим пощелкиванием и бегающим мерцанием в лампочках индика-

торов радиоактивных счетчиков. Навстречу поднялась Мария.

— Моя дочь,— представил ее Петров.

— Очень рад, очень рад,— повторил Гладстон, всматриваясь в лицо Марии и кивая своей круглой головой, будто когда-то знал эту женщину и теперь убедился, что это действительно она.— Я читал вашу статью в «Успехах современной биологии». Очень интересная работа. Вы по-прежнему занимаетесь проблемой биологической очистки радиоактивных вод?

— Занимаюсь,— спокойно кивнула Мария.

— Вам удалось применить свои методы на промышленных объектах?

Рогожин недовольно покашлял.

Вопрос был явно провокационный — ведь он касался не столько методов, сколько промышленных объектов.

— Я, как видите, работаю не в промышленности, а в научной лаборатории,— сказала Мария.

— А внедрение достижений науки в производство? — хитренько улыбнулся Гладстон и выжидательно склонил голову.

— Что ж, понадобится — внедрим.— Мария остро смотрела ему в глаза. Ей хотелось бы поиздеваться над этим шароподобным человечком, но она сдерживалась: гость.

Пообедав с Гладстоном в институтской столовой, Рогожин еще часа два водил его по лабораториям, все более наливаясь злостью. С содроганием подумав о том, что как-то надо развлекать гостя и вечером, он на всякий случай поинтересовался его планами.

— Я надеюсь,— заулыбался Гладстон,— что мой старый друг мистер Петров пригласит меня на чашку чаю,— и уставился на Василия Николаевича.

Тому, видать, перспектива эта не очень нравилась, однако делать было нечего — пригласил. Тут же он отозвал в сторонку Андрея и попросил его поехать тоже.

— Танюшу я не зову: beau monde* нам ни к чему, званый ужин устраивать не собираюсь, а вот вы... будете кстати.

---

* Beau monde (**фр.**) — высший свет.

Андрей понял: Василию Николаевичу не хотелось оставаться с англичанином наедине.

Мария отвезла их на машине. Гладстон, похоже, не очень-то был рад присутствию журналиста. Петров объяснил, что Андрей — его родственник, и Гладстон с издевочкой пошутил, что его коллега прибрал к рукам прессу, Василий Николаевич покосился на Андрея и хмыкнул.

Пока Мария готовила еду, мужчины курили. Пухлой рукой похлопав по колену Петрова, Гладстон сказал:

— Я могу говорить откровенно? Такому крупному ученому, как вы, можно было бы иметь квартиру попросторнее. Я небольшой человек, но у меня семь комнат, и те мне кажутся тесноватыми. Хотя я знаю, что вы скажете. Как про центрифугу. Да?

— Вот именно,— согласился Петров.— Намекните-ка лучше, что вы будете пить — коньяк, водку?

— Ну зачем это спрашивать? Побывать в гостях у русского друга и не выпить водки?.. О, да еще с икрой!

Мария поставила на стол поднос с бутербродами.

— Андрей, помоги открыть бутылки.

Она выставила из холодильника припотевшие бутылки, подала штопор и стала рядом. Губы ее слегка вздрагивали в слабой, чуть растерянной улыбке, а глаза всматривались в Андрея, и в них была тысяча вопросов. После возвращения Тани они не виделись.

— У тебя не взгляд, а прямо-таки целая анкета,— попытался пошутить Андрей; горло перехватило сухостью.

Продолжая смотреть все так же, Мария кивнула, но тут же отошла и начала хозяйничать деловито и сосредоточенно. Правда, позднее, за столом, Андрей нет-нет да ловил на себе ее взгляды, быстрые, но внимательные, изучающие.

Старики вспоминали свою молодость, давних коллег, похохатывали добродушно, но чем дальше, тем яснее становилось, что Гладстон в разговоре гнет совершенно определенную линию. Позиция его была вроде бы бесхитростно-дружелюбной и сочувственной: вам, генетикам, дорогой Петров, здесь не дают ходу,

вставляют в колеса палки, а вот у нас, на Западе, генетики в почете и ублаготворении. Рассказывая о ком-либо из старых зарубежных знакомых Василия Николаевича, он всячески старался подчеркнуть, как плодотворно они трудятся там, и можно было подумать, что весь западный мир только и помышляет о том, чтобы создать им наилучшие условия.

Петров похмыкивал да посмеивался, но Мария видела, что скоро его терпению наступит конец: очень уж нагл был пузатенький гость.

Однако Василий Николаевич держался, а первой не вытерпела Мария.

— Мистер Гладстон,— ласково сказала она, и ушилокаторы мгновенно повернулись к ней,— похоже, что вам хотелось бы пригласить отца на работу в Англию?

— О,— тут же расплылся он в улыбке,— мы были бы всегда рады видеть у себя не только мистера Петрова, но и его очаровательную дочь. Она бы вполне могла рассчитывать получить себе лабораторию для интересной самостоятельной работы.

— Эх, Гладстон, Гладстон,— забыв приличествующие этикету эпитеты, сумрачно сказал Василий Николаевич,— ни черта вы не понимаете нас, советских. Ей-богу. Ну, с какой же это стати родимую свою страну, единственную на весь свет, променяю я на другую? И чего ради? Что трудности у нас есть, это мы и сами знаем, грамотные. Только с ними мы уж сами и разберемся. Сумеем, не впервой... В общем, не нравитесь вы мне сегодня, Гладстон, извините за откровенность.

Петров с маху плеснул в свою рюмку водки и выпил, не дожидаясь других. За столом стало неловко и тревожно. Но Гладстон усидел в седле. Положив ладошку на руку Василия Николаевича, он сказал примирительно:

— Ну-ну, я знаю, русские всегда принципиальные и обидчивые. Но разве я хотел сделать кому-нибудь обиду? Разве я приглашал кого-нибудь на работу? Я только говорил, что мы были бы рады, но я не сказал, чтобы приезжать. У меня есть для этого свидетель — неподкупная советская пресса. Не так ли, мистер Перевалов?

— Конечно,—кивнул Андрей.— Пресса все видит и

все понимает. Вы не приглашали, вы только заманивали.

Гладстон всплеснул ручками:

— Все против меня! Ну что же, как это говорит мудрая русская пословица, если трое твоих друзей пьяны, значит, пьян и ты... Не так? Все равно. Я предлагаю выпить за прелестную молодую хозяйку дома...

Теперь Гладстон не затевал больше неприятных разговоров. От водки лицо его запунцовело, профессор стал совсем болтливым и оказывал всяческое внимание Марии. Разойдясь, он заявил, что если бы ему да скинуть лет пятнадцать, тогда бы он, пожалуй, посоревновался с мистером Переваловым, и еще неизвестно, кому отдала бы сердце мисс Мария. Андрей смутился. Петров взглянул на него как-то странно и попросил у дочери кофе.

Андрей и Мария предпочли чай. Прихватив кофейник со спиртовкой, Василий Николаевич и Гладстон прошли в кабинет. Слышно было, как они обсуждали там различные способы приготовления напитков, смакуя каждый из них, потом Гладстон перешел на английский язык.

— Дорогой мой Джеймс,— перебил его Петров,— мне было очень приятно, что в моем доме вы говорите на русском. Может, не будем отступать от этого?

Мария и Андрей переглянулись.

Гладстон, должно быть, сердясь и все же улыбаясь, вздохнул:

— Каждый монастырь имеет свои порядки... Видите, сколько я знаю русских пословиц! А в пословицах, утверждают, душа народа.

— То-то вы и путаете их,— хохотнул Василий Николаевич.

Они там заговорили о чем-то, и голос Гладстона в кабинете зазвучал почему-то приглушенно, Андрей вслушался — из фраз вырывались только отдельные слова: «...было ошибкой... надеется... согласна вновь...»

— Довольно, Гладстон,— Василий Николаевич произнес это также негромко, но яростно.— Я абсолютно ничем не связан с этой женщиной, и никогда больше не буду связан. И прошу... категорически прошу больше не заводить об этом речь.

Мария тоже это слышала. Лицо ее побледнело и заострилось; в какую-то секунду она готова была вскочить и ринуться в ту комнату; пальцы, ухватившие кромку стола, подрагивали; потом она разом обмякла, откинула рукой прядку волос со лба и сказала нарочито буднично:

— Может, еще чая?

— Нет, спасибо.— Ответ у Андрея получился резким: он еще не овладел собой, ему было жалко Марию.

Гладстон попыхтел и сказал, что уже поздно.

А было вовсе не поздно.

Хотели вызвать по телефону такси, но Мария сказала, что она сама отвезет профессора в гостиницу. Василий Николаевич искоса глянул на нее — похоже, он подумал, что Мария хочет продолжить с профессором только что оборванный разговор,— и промолчал.

Андрей тоже сел в машину, рядом с Гладстоном, на заднее сиденье. Беседа не клеилась. Когда гостиница была уже недалеко, Гладстон, поерзав, легонько тронул Марию за плечо:

— Я хотел, мисс Мария, передать вам от вашей...

— Не надо! — почти крикнула она и, переключая скорость, повторила: — Не надо, не надо.

Гладстон отшатнулся к спинке. Глаза у него были вытаращенные и злые.

Они простились у гостиничного подъезда, и прощание выглядело вполне прилично, даже мило...

25.

Грин назвал это «эпохой возрождения» и сказал, что пока Переваловы наблюдают цветочки, а впереди, как известно, ягодки.

Начало было положено роскошным деревянно-поролоновым сооружением под названием «диван-кровать» таких мощных габаритов, что втащили его в комнату, едва не сломав дверные косяки. Затем Грин купил письменный стол. Через день, удачно проведя сложнейшие переговоры с Ермилом Гурьевичем Семочкиным, доставил домой дюжину досок и срочно обзавелся столярным инструментом. Доски грудились

в коридоре. Они очень понравились Володьке и совсем не нравились Тане. Она грозила вышвырнуть их, и было похоже, что это намерение вполне серьезно, однако Грин был непоколебим.

— Вышвырнуть я не позволю,— сказал он.— Во-первых, я каждый день занимаюсь гантельной гимнастикой, и это ого-го что значит. Во-вторых, все мужское население квартиры будет стоять за меня. В-третьих, это просто нехорошо — подавлять инициативу трудовых масс.

— Это вы — трудовая масса? — с нескрываемым сомнением поинтересовалась Таня.

— Это я — трудовая масса,— не без гордости подтвердил Грин и добавил, что в самое ближайшее время Таня убедится в этом.

Она убедилась в тот же вечер: квартиру заполнили скрежет пилы, шуршание рубанка и стук молотка, весь коридор и кухня оказались заваленными стружкой и обрезками досок. Мужское население квартиры действительно заняло сторону Марка Романовича; Володька усердно помогал ему чем мог, Андрей — дельными советами.

— Убирать придется самим,— сурово предупредила Таня.

— А магарыч за уборку будет? — осведомился Грин.

Ошарашенная этим нахальством, она только фыркнула.

Через несколько дней были готовы стеллажи и началась ликвидация книжной завали в комнате Грина: с пола книги перекочевывали на полки. Потрясение Тани было столь велико, что она завела тесто, чтобы отметить это великое событие пирожками с вареньем.

Андрей пытался помочь Грину, но это было трудно: классификация книг, соответственно которой они расставлялись на стеллажах, была замысловатой, понятной лишь одному хозяину. Андрей стал просматривать книги, те, что были русского издания. Многие из них носили на себе следы чтения внимательного и придирчивого — карандашные почеркушки, всякие пометки, расчеты и пересчеты. Несколько книг по генетике издания двадцатых и тридцатых годов Андрей отложил

в сторону, надеясь, что выпросит их у Марка Романовича почитать.

Грин трудился преусердно, даже влажными от пота стали залысины. Преображение собственного жилья ему определенно нравилось, он что-то напевал вполголоса, потом принялся разглагольствовать.

— Заметьте, Андрей, как полезны подобные превращения. Они — будто революционная встряска. Вот вы, всю жизнь обитая в уюте, разве цените его? Я же из пещерно-мусорного мрака за три дня вознесся до высот жилищной цивилизации. Еще торшер поставлю, самый монументальный — представляете, какой интеллектуально-эмоциональный заряд сработает разом?! Да, пещера — это конечно, от слабости, от слюнтяйства. Письменный стол я должен был поставить сразу, как приехал сюда. А теперь я многое упустил. Время прекрасно все сортирует — идеи, книги, людей, но оно слишком медлительно, и полагаться на него в наши дни опасно: отстанешь. Вот несколько дней назад я прочитал только что вышедшую книгу Лучника. Превосходное исследование проблемы генетического кода. Как раз то, чем занимался я. Тот же подход, почти та же методика. Но я лишь начинал, а тут уже книга. Можно считать, что работа моя в основном крахнула.

— Крахнула? — почти машинально переспросил Андрей. Именно в этот момент он раскрыл взятую с подоконника книгу Шарлотты Ауэрбах и увидел меж страниц фотокарточку... Марии. Это была блеклая и маленькая, какие печатают для документов, фотография. Откуда она здесь, почему? Он поднял глаза на Грина, тот оглянулся, увидел фотографию в руках Андрея — и замер. Мгновение длилась растерянность. Грин отвернулся, Андрей, захлопнув, положил книгу на место.

— Крахнула, вы говорите? — снова спросил он. Только это словечко и зацепилось у него в голове.

Грин ответил не сразу.

— Ерунда,— ответил он, помедлив.— Хоть мне и не очень везет в жизни, я вовсе не причисляю себя к неудачникам. Я вообще отрицаю наличие этой категории людей. Неудачников нет — есть недостаточно умные, недостаточно умелые, расчетливые и так далее. Недостаточно красивые и обаятельные... А то, что рабо-

та моя крахнула, рухнула, не удалась, как хотите,— это весьма относительно. Я был на верном пути, а это не так уж мало. И проблема генетического кода вовсе еще не закрыта. Работы хватит сотням петровых, лучников и гринфельдов. Все впереди. Тем более у меня теперь есть письменный стол и будет еще торшер.

Ах, молодчина Грин! Он уже справился с собой, ирония уже торжествовала, значит, торжествовал и ум.

— Чуете? — сказал Андрей.— Наносит пирожками. Поторопиться бы, а?

— Можно столкать все это на полки как ни есть, а позднее я разберусь. Потихоньку разбираться в книгах — это же удовольствие.

— Сталкивайте, а я пойду за ведром и тряпкой,— согласился Андрей...

На кухне Белкин нашел только холодный ужин. До этого чуть не целую неделю жена, вдруг объявив, что окончательно решила бросить живопись, азартно хозяйничала, завалив письменный стол справочниками по кулинарии. Повариха из нее получалась никудышная, еда была то пресной, то пересоленой, то подгорелой, то недоваренной, однако уже то было приятно Степану Васильевичу, что его Валентина готовит все это своими руками. Но вот не прошло и недели — опять холодный холостяцкий ужин в одиночку.

Пожевав буженины, Белкин, раздраженный, поднялся в мастерскую жены. Валентина работала, и, видимо, давно: по всей комнате были разбросаны свежие листы с карандашными и угольными набросками.

— Степа? — как всегда, не оборачиваясь, узнала она вошедшего мужа.— Ты что-нибудь поел? Извини, мне захотелось поработать. Свари, пожалуйста, кофе, я передохну.

Она присела уставшая, но глаза ее, лицо, руки — весь облик говорил, что в ней еще живет радость соприкосновения с любимым делом.

— Знаешь, я поняла, что заблуждалась. В последнее время мне опостылело искусство, оно казалось ограниченным и ненужным. Я размышляла о том, что если искусство — человек, то наука — весь мир. А че-

ловек ведь только частица мира, ничтожная и малая. Наука проникает в глубины вселенной и в тайны крошечных атомов и этих... как их?.. квантов. Ей подвластны самые далекие звезды и законы сущности вещей, которые окружают нас. Ты понимаешь меня?.. Так вот, все это чушь! Ведь наука — это тоже человек! Это взлет его воображения, сила его мысли, это его выражение, что ли, его ощущение и понимание мира. Как же после этого можно махнуть рукой на искусство?! Власть его безгранична, оно необходимо людям!..

Валентина Архиповна говорила, все больше распаляясь, и Белкин смотрел на нее уже с доброй улыбкой. Вот такая — порывистая, противоречивая, вечно ищущая — именно такая она и была ему дорога.

— Держи-ка,— протянул ей чашечку кофе Степан Васильевич.— Я всегда говорил, что порой тебя посещают вполне толковые идеи.

— Да? Ты считаешь, я права, Степа?

— Ты права, Валентинушка.— Он ласково погладил ее по усталой спине...

В эту ночь Грину приснился странный и страшный сон. Он был не из «запланированных» — вполне земной, какой-то очень реальный, хотя и сумбурный, с сумасшедшинкой.

Грина допрашивали в пустом и гулком бетонном подвале. Допрашивал Рогожин, ему помогал некий знакомый Грину человек, вспомнить которого он, однако, не мог. В сторонке сидел Андрей Перевалов, вел протокол и, не переставая, бормотал: «Она крахнула, Марк, крахнула». Допросчики выпытывали у Грина секрет генетического кода. Все было прилично, вполне нормальной, научной была терминология, но смысл происходящего заключался в том, что за шифром наследственности стояла, оказывается, какая-то важнейшая государственная тайна, до нее-то и добирались, а Грин упорно молчал.

Незнакомец с удивительно знакомым лицом, нехорошо улыбаясь, подключил к рукам Грина электрический ток. Ток побежал по нервам в мозг, стало сильно колоть в руках и в голове. Марк Романович догадывался, что допросчики хотят по нервам вытянуть из

мозга необходимые сведения. Он прекрасно понимал, что это чушь, абракадабра, и все же боялся, что таким образом они доберутся до тайны. Тогда он решил отключить свое внимание от генетического кода и стал размышлять о физиологии нервных клеток. «Думайте о коде, думайте о коде»,— настойчиво и зло повторял рогожинский помощник и подносил к лицу Грина таблицу триплетов.

В дверь подвала громко забарабанили. Грин сразу догадался, что это ему на выручку рвется Мария Петрова. Все так же скаля зубы в пакостной улыбке, незнакомец щелкнул переключателем, и покалывание стало еще сильнее. Теперь боль добралась уже до ног, она пронизывала все тело. Дверь тряслась от ударов. И тут Грин сообразил, что стучит Таня Перевалова — будит его: проспал.

— Спасибо! — крикнул он и, стараясь не проснуться окончательно, вспомнил весь сон, чтобы закрепить его в памяти. Кто был у Рогожина помощником, он так и не понял.

Руки и ноги покалывало и мозжило. «Повышенное давление,— определил Марк Романович.— С чего бы?» В коробке с лекарствами он нашел папаверин и проглотил сразу две таблетки.

По дороге на работу Грин был хмур и неразговорчив. Таня сказала:

— Цивилизованная обстановка вам явно не на пользу.

— Ничего, акклиматизируюсь,— пообещал он.

А в институтском коридоре Марк Романович повстречал... своего ночного мучителя. Стоя у окна, тот разговаривал о чем-то с Марией Петровой. Грин даже опешил. «Это же Гладилов! Как вот только его зовут?» Он мало сталкивался с этим человеком, но не любил его.

— Марк Романович,— увидев Гринфельда, окликнула Мария,— выручайте!

Он подошел. Улыбчивая, чуть кокетничающая, она показалась ему безмерно прекрасной. Легкая прядь волос над высоким чистым лбом солнечно просвечивала в свете наступающего утра.

— Этот галантный сердцеед,— сказала Мария, насмешливо щурясь на Гладилова,— настоятельно тре-

бует, чтобы я, нарушив традиции нашей лаборатории, встречала Новый год не с товарищами, а с ним. Объясните ему, Марк Романович, что это невозможно.

Гладилова покоробили эта откровенность и этот тон, но лицо его оставалось невозмутимым.

— Это невозможно,—с полной серьезностью подтвердил Грин сказанное Петровой.— В противном случае коллектив лаборатории вынужден будет посадить Марию Васильевну на электрический стул.

Он и сам не понял, как это вырвалась у него такая глупость, и, скрывая смущение, повернулся и пошагал по коридору, мерно переставляя свои длинные ноги.

— Н-да,— усмехнулся Гладилов,— коллектив у вас, судя по этому типу, своеобразный.

— Преотличный коллектив! — весело возразила Мария.— До свидания, Петр Анатольевич, желаю хорошо провести праздник.

26.

День отдыха с воскресенья тридцатого декабря перенесли на тридцать первое, и это лабораторию профессора Петрова вполне устроило. Решено было Новый год встречать на полевой биостанции, и еще до полудня тридцать первого, погрузив праздничный припас в институтский автобус, выехали — хотя и не все — в Лесное.

Дорога петляла по густому лесу. День выдался не морозный, пасмурный. Спрятав колючие иглистые лапы под снежной одежкой, сосны, казалось, чуть съежились, притихли, присмирели. И лишь когда автобус, бесцеремонно задевая ветви своими развалистыми боками, сбрасывал с них снег, деревья прямились и суматошливо, по-недоброму махали лапами вслед машине.

Веселое оживление, с которым выехали из города, поулеглось. Лишь Леночка Берестова и Виктор Сосновских, младшие научные сотрудники, по-прежнему упражнялись в анекдотах, да Хромосома с Мишей, усевшись на ящики с провиантом, о чем-то спорили, то и дело обращаясь при этом к Паше как арбитру. Хромосома по привычке размахивал руками и часто,

для большей убедительности в разговоре, касался Пашиного колена. Шофер Геннадий, крупный курносый парень с детски-припухлыми губами, оглядываясь, посматривал на этих двух полуученых гавриков совсем не ласково: он был неравнодушен к Паше и, должно быть, имел на нее самые серьезные виды. А Паша, в свою очередь, бросала косые настороженные взгляды на Марию Петрову, устроившуюся на одном сиденье с Марком Романовичем.

Петров, сидя рядом с приглашенной им Агнией Львовной, задумчиво сутулил спину. Если в начале пути он еще пытался быть с ней непринужденно, даже вызывающе галантным, то теперь чувствовал себя перед компанией не совсем удобно. «Ишь старый,— бранил он себя,— расхорохорился, как молодой жеребчик!» Должно быть, неловко было и Агнии Львовне.

Грин за спиной Андрея сказал что-то совсем негромко, и Мария засмеялась — тихо и доверительно. Разом фотография в книге Шарлотты Ауэрбах мелькнула перед глазами Андрея, в нем шевельнулась ревнивая неприязнь к Грину. Но еще большее раздражение вызывала сама Мария.

— Вон за тем увальчиком и Лесное будет,— обрадованно сообщил всем Петров.— Что ж вы, монстры, приуныли? Песня надобна!

Хромосома встрепенулся и, словно только и ждал этого сигнала, затянул насмешливый, боевитый «Марш морганистов», им же недавно и сочиненный:

Наша песня, песня морганистов,
Ты лети в известный кабинет
И титану устаревшей мысли
Наш формальный передай привет.
Пусть познает гены и гаметы,
Хромосом редукцию поймет.
Вот тогда-то он, по всем приметам,
Институт от порчи сбережет...

Все встряхнулись, заповертывались, запоглядывали в окна. Кое-кто стал подпевать Хромосоме. Даже Агния Львовна, казалось, была готова подхватить эту песенку, кощунственные слова которой наверняка повергли бы ее шефа, профессора Рогожина, в негодование.

Андрей вглядывался в пейзаж. За пологим лесис-

тым увалом распласталась широкая долина, продолжением которой была белая-белая озерная гладь. За ней неровной грядой темнели кряжистые горы, подпиравшие низкое хмурое небо. Ближний берег озера был крут и скалист. В промежутке между скалами и сосняком, нахлынувшим из леса, стояли подзанесенные снегом дома — три или четыре стандартных коттеджа и двухэтажное здание старинной постройки. По рассказам Тани Андрей знал, что здание это когда-то, очень давно, служило дачей тузу-платинопромышленнику; после революции оно долго пустовало, затем его приспособили под дом отдыха, а потом забросили, ибо отдыхающие хотели не только озерной прелести, но и асфальта и прочих примет современного комфорта. А Петрову комфорт был нужен не очень, и здание, с коттеджами в придачу, пошло под полевую биостанцию. «От всяких ревизоров и советчиков подальше — науке только польза»,— говаривал Петров.

Выгружались весело и быстро. Василий Николаевич задорно покрикивал на свою ватагу командирским баском. Ему пытался было помочь в этом сторож биостанции, тощий и юркий старикашка Евстигнеич, но Петров тут же отделался от него, велев немедленно топить печи в двух коттеджах. Грина с Хромосомой он послал стаскивать в один из домиков спальные мешки. Комнаты другого готовились под застолье и пляс; там уже орудовали женщины и с ними почему-то Миша Нукин; им подсобляла Марфа Игнатьевна, супруга Евстигнеича. Геннадию было дано наиответственное задание — вырубить подходящую для новогодья елку.

— Есть, Василий Николаевич! — по-армейски ответил парень и оглянулся на Пашу.

Она вышла на крыльцо с веником в руках, оглядела низкое пухлое небо и улыбнулась неизвестно отчего. Рослая, с грубоватыми чертами порозовевшего лица, была она по-домашнему открыта и хороша.

— Есть...— повторил Геннадий и замялся.— В помощь бы кого... Пашу, может быть?

— Конечно,— издевательски поджав губы, откликнулась она своим глуховатым, но сильным голосом,— как будто у меня своей работы нет!

— Хм,— сказал Петров.— Ты, Пашуня, не ерепень-

ся. Надо человеку помочь. Веник твой обождет — елка важнее.

Супротивничать Василию Николаевичу Паша не умела. Геннадий глянул на профессора Петрова любовно, преданно.

Андрей, как вышел из машины, все стоял возле Василия Николаевича. Видимо, как гостю лаборатории атаманствующий профессор никаких поручений Андрею пока не дал. Теперь он обернулся и сказал:

— Ну-с, Андрей Тезкович, пошли командовать бабами.

В коттедже все кипело. Уже полыхали в печи и под плитой жаркие березовые поленья. На широком письменном столе Таня готовила тесто. Агния Львовна, разрумянившаяся и помолодевшая, сортировала привезенную посуду. Мария возилась на кухне с мясным фаршем. В угловой комнате Миша командовал над какими-то пакетами и свертками.

— Организация производства на высоте? — не то осведомился, не то просто порадовался Петров, пройдясь по коттеджу.— Ну что ж, тогда, Андрей Николаевич, ищите ведра и — за водой. Надо и вам потрудиться на благо общества.

По чуть заледенелой, протоптанной в снегу тропинке Андрей двинулся к колодцу.

Было тихо и снежно. Что-то грустное шевельнулось в Андрее. Он прислушался к себе и понял — что. Воспоминание далекого детства — об аромате снега, о его первозданной чистоте. Андрей даже вздохнул, потом, откинув дощатую крышку колодца, взялся за погнутое, чуть приржавевшее ведерко на колодезной цепи...

На кухне хозяйничала одна Мария. Занеся воду, Андрей осведомился:

— Оную куда?

— Поставь пока вот сюда,— кивнула Мария в угол и тыльной стороной ладони откинула упавшие на лоб волосы.— Что-то вы, Андрей Николаевич, заговорили на манер профессора Петрова.

— С кем поведешься...

— Ты сегодня какой-то неладный, Андрей. Пасмурный и колючий.

Ответил он суховато:

— По погоде.

— Нет, не по погоде,— печально покачала головой Мария.

— А над тобой что — солнце?

В эту минуту вошла на кухню Таня. Наверное, она не слышала разговора, а если и слышала,— что в нем было особенного? И все же — по интонациям ли, по виду этих двоих — что-то почуяла сердцем, о чем-то смутно и тревожно догадалась. Непонятное и горькое тоненько кольнуло ее.

Андрей поспешно,— поспешнее, чем надо бы,— шагнул к жене, сказал:

— Помочь?

— Сейчас все вместе будем стряпать,— улыбнулась Таня.— Ох, и пельмени сварганим!

С этого момента инстинктивно, вдруг с особой остротой ощутив в себе женщину, она стала чуть кокетливой и дразнящей, словно бы заново приманивала, завоевывала этого мужчину — своего мужа. Андрей сразу почувствовал это...

Стряпали все. Из листов фильтровальной бумаги понаделали себе фартуки и, тесно сгрудившись вокруг столов, раскатывали сочни и лепили пельмени — кто ушками, кто с раскрытыми кончиками, кто маленькие, а кто большие. Дело шло с разговором, с прибаутками и песнями.

Раскрасневшиеся и повеселевшие ввалились в коттедж Геннадий и Паша.

— Василий Николаевич,— с порога закричал Геннадий,— елку срубили во! Очень уж толковая была у меня помощница... Ого, сколько налепили! Так слюнки сразу и потекли.

Слюнки текли уже у всех: свечерело. Однако пельмени-то готовили к ночному ужину и потому их выставили на холод, а подкрепиться решено было бутербродами с чаем.

После чая Миша объявил о конкурсе абстракционистских работ. Что за конкурс? А вот сейчас раздадим холсты и бумагу, кисти и краски — и каждый, в меру своих способностей или извращенности, намалюет некую абстрактную картину. Авторитетное жюри определит победителя.

В жюри избрали Василия Николаевича, Андрея и, по предложению Петрова, Евстигнеича. Дабы не ве-

дать, кто что малюет, жюри из коттеджа удалилось. Срок для художественных изысков был установлен жесткий — полчаса.

На улице была глухая стылая темень. Лес стоял сплошной черной стеной. Озеро белело смутно, горы за ним терялись в густой мгле.

— Идемте-ка посмотрим ночлежное место,— сказал Василий Николаевич, и Евстигнеич затрусил впереди, указывая тропку к домику, который подготовили для отдыха.

Здесь было хорошо натоплено. Во всех комнатах на полу лежали полуразвернутые спальные мешки. На кухонном очаге высился большой бак с водой, на полу стояли два полных ведра.

— После пьяного стола да танцев всем водицы испить захочется, это уж известно,— сказал Евстигнеич и повернулся к Петрову.— А вот, Василь Николаич, как я есть член жури, ты мне поясни, что эта самая журя должна будет делать.

Просьба эта Петрова развеселила. Объяснив Евстигнеичу его роль в конкурсе, он ударился в воспоминания о потешных историях из своей молодости, когда ему, неотесанному сибирскому парню, довелось участвовать в смотрах студенческой самодеятельности. Прошло не полчаса — почти час, давно уже пора было двигаться к «живописцам».

Еще с порога, только распахнув дверь, Василий Николаевич возвестил:

— Пришла журя, кончай, маляры, работу!

А они и без того уже закончили и теперь бездельничали, возбужденные и смешливые. Посреди комнаты стояли три длинные скамьи. Пришедшим пояснили, что это для членов жюри. Они сели, ожидая, когда пред их светлые судейские очи будут представлены конкурсные произведения. Хромосома торжественно указал на потолок. Там, пришпиленные кнопками, красовались листы бумаги и холсты, испещренные грубыми, диковатыми мазками красок.

— Это что же, судить, задрав головы? — поинтересовался Андрей.

— Для члена жюри, Андрей Николаевич, воображения у вас явно маловато,— съехидничала Леночка Берестова.— А скамьи-то для чего поставлены?

Василий Николаевич догадался и тут же улегся спиной на скамейку. Хмыкнув, Андрей последовал его примеру. «Эхма! — вздохнул Евстигнеич и тоже улегся на скамье, задрав кверху редкую седую бороденку.

— А где же картины-то? — спросил он наконец, придя в себя.— Картины где, спрашиваю.

Компания ответила смехом.

— И зачем его только в комиссию эту выбрали, неуча моего!— сокрушенно сказала Марфа Игнатьевна.

Евстигнеич вопросительно повернул бороденку к Василию Николаевичу. Тот ответил ему:

— Эту пачкотню они и называют картинами... Единство формы и содержания.

Полосы, кружочки, квадратики, беспорядочные мазки и тычки кистью заполняли все листы бумаги и холсты. В глазах рябило — и только. Лишь на двух «произведениях» можно было остановить взгляд. В первом угадывался какой-то смысл. От знака интеграла уходила в сажную черноту неровная и, однако, стремительная алая полоса: она шла к противоположному краю листа, где неясно проступало некое прозрачное голубоватое сияние.

— Для абстракционистского произведения это слишком реалистично,— сказал Василий Николаевич, посмеиваясь.

Второй холст был испещрен красками совершенно хаотически. Формы мазков, то легких и неровных, то сильных, с нажимом, были настолько разнообразны, что отыскать два одинаковых было невозможно. В то же время в этом небрежно-слепом красочном нагромождении чудилась некая гармония.

— Общая картина мира,— изрек председатель жюри, тыча в холст длинным прутом, который был вручен ему взамен указки.

— Марсианский луг,— высказал свое мнение Андрей.

— Ничо, баско,— отозвался Евстигнеич.

Автору этой картины и решено было выдать приз.

И тут вся компания разразилась хохотом. И юные «монстры»», и сотрудницы лаборатории, и даже Агния Львовна и Геннадий, не принимавшие участия в конкурсе,— все поглядывали друг на друга и на членов жюри и безудержно хохотали. Василий Николаевич, сев

на скамье, смотрел на них ошарашенно, ничего не понимая.

— В чем дело, уважаемые? — загремел он, перекрывая шум.

А они все хохотали.

Сначала губы Петрова тронула невольная улыбка, потом начали вздрагивать плечи — он пытался сдерживать смех. Андрей — тот не пытался: смеялся вместе со всеми, и только. Рядом тоненько и заливисто хихикал Евстигнеич.

— Так ведь это... это же подтирка!— захлебываясь от смеха, выкрикнул Хромосома.— Об этот холст все вытирали свои кисти.

Лишь постепенно смех стих.

— Таким образом,— сказал Василий Николаевич, утирая слезы,— вы доказали преимущество коллективного творчества. Utile dulci miscere *.

— А куда же теперь приз? — Миша растерянно вертел в руках бутылку шампанского.

— Приз мне,— бесцеремонно заявил Грин.— Ведь мой космический шедевр конкурировал с премьер-картиной.

Компания опять загалдела, а Таня сказала:

— Ну-с, нет! Приз — нам всем, и, уверяю, он даром не пропадет. К тому же пора накрывать столы и кипятить воду для пельменей.

...Все уже были, в общем-то, сыты, но выходить из-за стола не хотелось. Стихли ликующие возгласы — растекался по застолью многоручейный разговор, прерываемый, впрочем, то одним, то другим любителем произнести тост.

Всесильное вино сделало свое дело. Василий Николаевич, став размягченным и сентиментальным, свободно развалив на стуле крупное грузное тело, пространно и чуть хвастливо рассказывал Агнии Львовне о сибирской тайге, ее людях и нравах.

Мария сидела притихшая и напряженная, словно ожидала чего-то. Грин понемногу разошелся и начал говорить комплименты своим соседкам — Марии и

---

* Utile dulci miscere (**лат.**) — Что и требовалось доказать.

Леночке Берестовой. Впрочем, Леночку больше опекал Виктор Сосновских, хотя ему очень мешал настырно наседавший на него с учеными разговорами Хромосома.

Рядом с Хромосомой поерзывал Евстигнеич. Старик чувствовал себя не в своей тарелке. Разговоры молодых людей были ему не очень понятны, а порой представлялись просто тарабарщиной. Какие-то интересные байки рассказывал профессор, но из-за шума его было плохо слыхать.

Пожалуй, самой оживленной и веселой за столом была Таня Перевалова. То и дело она шутила, смеялась шуткам дяди, приветливо и внимательно ухаживала за мужем и Мишей, подкладывая еду в их тарелки. Она не была навязчива в своих заботах и делала все легко, с улыбкой, успевая при этом помогать Марфе Игнатьевне.

Разомлев от еды и вина, Андрей чувствовал в себе этакое приятное, сладостное благодушие. От вчерашней мрачности ничего не осталось. Он решил обратиться к застолью:

— Друзья!— Друзья притихли.— На свете много прекрасного, но самое прекрасное — хорошие люди. За этим праздничным столом, где собрался ваш коллектив и его гости, я вижу именно таких людей. За вас, за всех присутствующих здесь мне и хочется поднять это вино.

— Виват,— сказал Хромосома.

— Нальем,— сказал Петров.

Мария и Грин взглянули на Андрея как-то странно. Он почувствовал себя неловко: тост получился нетрезвый, глуповатый. Настроение разом испортилось.

Евстигнеич быстренько опрокинул в рот свою стопку и, не закусывая, торопясь воспользоваться паузой, чтобы обратить на себя внимание, затараторил:

— Очень правильное слово сказал товарищ. На земле, сообщу я вам, вообще много хороших людей. Вот, помню, дед мой — или прадед, не помню,— с самим Суворовым воевал. Не с Суворовым, значит, а в его, значит, войсках. Отменный, скажу, был солдат. От него, между прочим, в нашем роду по мужчинской линии меткость пошла сверхобыкновенная. Хвастаться не хочу, но покамест ни одной беличьей шкурки я не

попортил: белок мы в голову бьем, в глаз. А прошедшей зимой, помню, на Славинском угоре напоролся я на двух рысей. Одну-то кошку сразу заприметил и ружьишко, значит, навскид...

— Ну, будет тебе, Евстигнеич,— заворчала Марфа Игнатьевна.— Чего людям разговор портишь?

— Отчего это я разговор людям порчу? — возмущенно выпятил старик бороденку.— Еще неизвестно, Марфа Игнатьевна, кто разговор портит.— Он встал из-за стола и пошел курить на кухню.

— Что-то закисли мы, товарищи,— звонко сказала Таня.— Давайте потанцуем. Миша, поставь-ка что-нибудь такое, дробительное.

— Вот это правильно,— поддержал ее Геннадий и подмигнул Паше.

— Миша, вальс! — скомандовал Петров и с шутливым почтительным поклоном обратился к Агнии Львовне:— Позвольте, мадам, пригласить вас...

Андрей зажег папиросу и вышел на улицу. Разгоряченный вином и едой, чуть вспотевший, с удовольствием вдохнул он чистый морозный воздух. Следом вышла Мария, стала рядом, почти вплотную. Они молчали с минуту. Андрей докурил папиросу и тут же зажег вторую.

— Ты боишься жены? — спросила Мария.

И припала к нему. Матово блеснули глаза.

— У тебя дурное настроение?

— Настроение нормальное.— Он отбросил папиросу.— Пойдем в дом.

— Пойдем,— сказала она покорно.

В доме плясали. Геннадий и Василий Николаевич выделывали ногами замысловатые кренделя вокруг Паши, которая с неожиданной для нее легкостью, даже с грацией, порхала, взмахивая полной оголенной рукой так, словно в ней был традиционный платочек. Случайно или нарочно, как только появились Андрей с Марией, в круг вошли Таня и Грин. Для Тани это было привычно и естественно. Движения Грина выглядели неуклюже и смешно, и тем смешнее, чем больше он старался.

— Жмите, Марк Романович, жмите! — закричал Виктор, и все начали задорно хлопать ладошами в такт музыке.

— И-их! — протяжно и звонко привизгнула Паша, и пляска стала неистовой, необузданно буйной.

Андрей оглянулся на Марию. Привалившись к стене, она смотрела на вихревую толчею с тихой снисходительной усмешкой. Андрей прошел в другую комнату, наполнил стопку водкой, выпил, закурил.

За столом клевал носом одинокий Евстигнеич. Голова у Андрея мутнела, а ему казалось, что на него нисходит некое озарение. Очертания комнаты и предметов в ней туманились, зато роились мысли, казавшиеся значительными и важными. «Женщины нужны мужчине только тогда, когда они нужны»,— подумал он и чуть было не полез в карман за блокнотом, чтобы записать этот «афоризм». Тут же мысль перескочила на другое. Андрей взглянул на Евстигнеича и подумал, что самими собой люди бывают не в одиночестве, а в общении с другими. Стало жалко старика, но оказалось, что Евстигнеич спит.

В комнату заглянула Таня.

— Андрюша, не лишку ли ты выпил? Хочешь чая?

— Хочешь,— кивнул он и плеснул себе водки.

Она налила ему кружку крепкого чая, присела рядом и, обняв за плечи, уговаривала и поила, как маленького. В голове чуть прояснело, теплое чувство благодарности к жене тронуло сердце.

— Ты у меня хорошая, Танюха, а я свинья,— пьяно констатировал Андрей и двинулся в другую комнату, где вокруг елки кружился шутейный хоровод.

Им было по-настоящему весело. У них был праздник. А что было сегодня у него? Какие-то смутные терзания, недовольство собой и всем миром, глупость за глупостью.

Снова стало тошно и зло.

— Может, подышим? — предложила Таня.

Они вышли на улицу. Было морозно и тихо. Свет, падавший из окон, выбелил на снегу длинные четкие прямоугольники. За ними сугробы темнели мглисто, а деревья неясно и угрюмо чернели. Казалось, в мире ничего больше нет, кроме этого вот сумрачного первобытного леса, этих мглистых снегов и затерявшегося в них домика, пристанища последних людей на земле.

— Вот и шестьдесят четвертый пришел,— сказала Таня.

Прикрыв ладонью огонек папиросы, чтобы не мешал глазам, Андрей всматривался в ночь. Потом отбросил окурок. Он прочертил тьму, как падающая звезда.

— Что-то грустно, Танюха.

— Водочка, милый, водочка.

— Нехорошо, когда в новогоднюю ночь грустно. А вот — грустно,— упрямо повторил он.

— Ну, погрусти,— сказала она,— иногда это тоже полезно...

27.

С утра Федюнину не работалось. Игнатий Федотович, может быть, не признаваясь себе в этом, нервничал. На одиннадцать его вызвал новый, только что избранный первый секретарь обкома Владимир Фомич Лебедев. Появился он в области недавно, до этого работал в ЦК, потом где-то на Дальнем Востоке, и Федюнин знал о нем только понаслышке.

Впрочем, они успели уже познакомиться. Дня два назад Владимир Фомич самолично пришел в кабинет Федюнина и долго беседовал, интересуясь не только работой отдела, но и жизнью Игнатия Федотовича и его сотрудников. В обращении Лебедев был неофициально вежлив и прост, но сдержан, а за человеческой бытовой приветливостью угадывались в нем непререкаемая властность и крупномасштабная, государственная широта взглядов.

Федюнина поразила его внешность. Владимир Фомич носил бородку. Это выглядело неожиданно, даже в какой-то мере вызывающе: среди профессиональных партийных работников носить сие древнее мужское украшение почему-то не принято. Однако у Лебедева бородка смотрелась очень естественно, и, удлиняя широко скуластое лицо, делала его более приятным. Под густой шапкой каштановых волос чуть косматились брови и широко, распахнуто смотрели на собеседника темно-серые, с прозеленью, глаза. Иногда они щурились, и тогда взгляд становился пристальным и въедливым. Невысокий и плотный, осанистый, в добротном элегантном костюме, Лебедев выглядел — Федюнин долго вспоминал это слово — импозантно.

«С этим ухо надо держать востро»,— вот то главное, что вынес Игнатий Федотович из первой встречи с Владимиром Фомичом. Теперь Лебедев вызывал его к себе.

В нервном раздумье Федюнин подошел к окну. В открытую форточку врывался ветерок, едва уловимо пахнувший смолистым настоем живительных соков, от которых набухали на деревьях почки. Сквер перед зданием обкома почти совсем очистился от снега. Несколько пацанов, разбрызгивая воду в лужах, весело гонялись друг за другом. Брызги взлетали солнечными фонтанчиками. Трамваи за сквером бежали быстро и тренькали как-то по-особенному звонко.

Игнатий Федотович смотрел на все это и ничего не замечал.

Без пяти одиннадцать он был в приемной секретаря обкома. Перекинувшись ничего не значащими фразами с помощником Лебедева, присел на диванчик. Ровно в одиннадцать помощник кивнул на дверь: «Проходите».

Владимир Фомич не поднялся навстречу, а только вскинул голову и глядел на вошедшего, пока тот шел по кабинету, внимательно и остро, и лишь в последний момент легко встал и вышел из-за стола, протягивая руку.

Он усадил Федюнина в кресло, сам сел в другое, напротив.

— Смотрел ваш перспективный план,— сказал он,— есть замечания. Вам их передадут. Обдумайте. Это одно. Второе: знаком вам такой профессор — Василий Петров?

Федюнин на секунду задумался, соображая, чем вызван этот вопрос, ответил с осторожностью:

— Есть такой в Институте биологии.

— Что он из себя представляет?

— Да как сказать... Заведует лабораторией биофизики. Генетик, из морганистов. Наша газета выступала по этому поводу...

— Ну, а как человек он что?

— Что ж — человек? Убеждения его, приверженность к морганизму-вейсманизму говорят сами за себя.

— Лично вы его знаете?

— Лично — нет.

Лебедев легонько похмыкал и, повернувшись, взял со стола какие-то бумаги.

— Был тут в гостях некий профессор Гладстон. Вот взгляните, что он пишет.

Это был перевод из какого-то английского журнала. Гладстон делился впечатлениями от поездки на Урал и описывал посещение Института биологии. Наверное, чтобы создать видимость объективности, он отдавал должное размаху научной работы, говорил о щедрости государственных дотаций и с похвалой отзывался о подготовке молодых научных кадров. Но тут же, не скрывая злопыхательского зуда, автор распространялся о тупике, в который, по его мнению, ведет советскую биологию мичуринско-лысенковское направление, и писал о тяжкой доле генетиков, которых попрежнему третируют, не давая им возможности заниматься своей наукой.

Эти рассуждения Гладстона были в общем-то понятны и не страшны — обычные нападки на советскую науку. Но вот дальше шло такое, отчего у Игнатия Федотовича по спине заползали мурашки.

Гладстон писал о «всемирно известном генетике» профессоре Петрове, который в тридцатые годы «немало и славно поработал в лабораториях Великобритании и других стран Европы». По словам Гладстона, выходило, что теперь Петров трудится «в невыносимых условиях»: оборудование его лаборатории бедно, «живет он со своей семьей в нищенски тесной квартирке». «Василий Петров — мой старый близкий друг,— доверительно сообщал Гладстон,— и потому он был со мной вполне откровенен. Он не скрывал трудностей, которые приходится переживать русским генетикам, и с горечью говорил, что его родимая страна не может создать необходимых условий для плодотворной работы».

— Это же черт знает что такое! — вскипел Федюнин.— Извините, Владимир Фомич, но это... это уже сверх всего! Недаром говорил я, что Петров — темная личность. Не удивлюсь, если он окажется чужестранным агентом.

Лебедев поглядел на него с прищуром и покрутил головой:

— Вы, я вижу, безоговорочно поверили этому Глад-

стону. Что, он у вас, когда был здесь, действительно вызвал чувство полного доверия? Он порядочный человек?

Федюнин несколько растерялся.

— Я виделся с ним мельком, горсовет устраивал для английской делегации прием. Обыкновенный человек, хорошо говорит по-русски. А так... кто его знает, что у него на душе.

— Вот именно. А если это провокация?

— Вы думаете, он оболгал Петрова?

— Думать я могу разное. Нам важно знать истину... Я прошу вас: разберитесь в этом. Объективно разберитесь. И «нищенской квартирой» поинтересуйтесь... А с генетикой вы как-нибудь знакомы?

— Я по образованию инженер. Что касается генетики, то здесь, по-моему, все ясно.

Лебедев чуть приметно поморщился.

— Счастливый вы человек, коли все вам ясно. Однако, думаю, и вам невредно все же будет познакомиться с аргументами генетиков. Если они и не правы, полезно понять — в чем...

— Грин,— перебирая свои записи, повернулся Андрей к Марку Романовичу,— давайте попробуем порассуждать. Что, по-вашему, могло бы произойти, если бы наша отечественная генетика действительно и надолго приостановила свое развитие?

— Хм, какой идиотский вопрос,— не смог не поиздеваться Гринфельд.— А, впрочем, ответить можно на любой вопрос. Отвечаю. Генетика все равно не приостановила бы своего развития в других странах. Логично, что это «потустороннее» развитие дало бы не нам, а кому-то другому свои плоды в виде познания механизмов наследственности, планомерного и необходимого людям управления ею и тэ дэ, и тэ пэ. И тогда американцы неожиданно для нас вывели бы искусственно, как они уже пытаются сделать, каких-нибудь чудненьких вирусов с самыми милыми свойствами. Например, вирусов, вызывающих слабоумие, или полную импотенцию, или вообще нечто марсианское, нам неведомое и недоступное.

— Ну, это они могут сделать и сейчас.

— Положим, сейчас-то и мы кое-что можем сде-

лать и, главное, понять. Это две большие разницы, как говорят русские за одесситов.

— Но неужели, черт возьми, даже генетику пытаются использовать в военных целях?

— А какое из крупных научных достижений не пытались использовать в военных целях? — парировал Грин.

— Хм, действительно,— только и сказал Андрей.

Игнатий Федотович вышел от Лебедева недовольный и им, и собой. Чем-то он первому секретарю не угодил, это было ясно. И все из-за этого треклятого Петрова. Разобраться... Разобраться, конечно, необходимо. О статье Гладстона — тут нет никаких сомнений — известно уже и в ЦК. Знать бы, так на пушечный выстрел не подпускать этого профессоришку к Институту биологии. Но дело в конце концов не в Гладстоне — дело в Петрове. И читай тут труды этих самых формальных генетиков или не читай, ситуация не изменится... Тут Игнатий Федотович попробовал вспомнить хотя бы одно имя морганиста-менделиста, не вспомнил, и тем только утешил себя: и назвать-то из них некого — пустошь, сорняки!

Он еще не решил, действительно ли уж так нужно ему лично познакомиться с профессором Петровым,— может быть, просто поподробнее расспросить о нем Рогожина. Зайдя в свою приемную, он велел секретарю вызвать директора Института биологии, а сам по обкомовскому коммутатору позвонил Кислицыну. С заместителем редактора газеты отношения у него были простецкие.

Кислицын примчался вскоре же, и щекотливое это дело принял весьма близко к сердцу. Профессор же Рогожин несколько удивил Игнатия Федотовича. Признавая Петрова своим идейным противником (он выразился даже мягче: «У нас с ним на генетику разные точки зрения»), Рогожин вместе с тем утверждал, что этот человек, хотя и заблуждается в своих научных взглядах, вызывает полное доверие и своей честностью, и патриотизмом.

Николай Петрович Кислицын тут же, в кабинете Федюнина, зло посверкивая своим глазом, схлестнул-

ся с Рогожиным, обругал его мягкотелым интеллигентом и сказал, что вот не зря же он предупреждал Леонида Александровича: всяких от Петрова можно ждать пакостей. Прервав их перепалку, Игнатий Федотович напомнил, что Гладстона сопровождал кто-то из сотрудников редакции. Тут же Кислицын позвонил Перевалову, тот сообщил, что в свое время подробно информировал обо всем редактора. В тот же день Игнатий Федотович был осведомлен записями Андрея Перевалова относительно пребывания Гладстона в Институте биологии и на квартире Петрова. Успокоило его, однако, это мало.

Он все еще раздумывал, вызвать ли к себе виновника неприятной истории, как тот позвонил ему сам и попросил аудиенции. Игнатий Федотович сказал, что нынче он очень занят, и предложил созвониться завтра.

— Покорно благодарю,— гневно прогудел в трубке голос Петрова.— Я обращаюсь к вам после звонка товарищу Лебедеву, он сказал, что материалы, касающиеся моей персоны, у вас. Ежели, однако, вы не имеете времени, я позволю себе отнять его снова у товарища Лебедева.

«До чего нахальный тип!» — подумал Игнатий Федотович и сказал в трубку:

— Ну хорошо, я выкрою время. Договоримся на два часа.

Ровно в два Петров был в приемной Федюнина, секретарша тотчас доложила, но прошло минут двадцать, прежде чем Василия Николаевича пригласили в кабинет. Он почти ворвался туда, шагая крупно и тяжело; остановился поодаль от стола, представился:

— Петров.

Федюнин искоса оглядел посетителя, пригласил сдержанно:

— Садитесь.

— Табакурство... это... курить у вас, конечно, возбраняется? — Василий Николаевич нежданно для себя начал путаться в словах; толстые волосатые пальцы его мяли сигарету слишком энергично.

Игнатий Федотович все это заметил и, довольный, ответил с улыбкой:

— Отчего же? Я и сам иногда, грешным делом, подымливаю. Курите. Пожалуйста.

Петров закурил, поудобнее устроился в кресле и, уже становясь самим собой, спросил, будто он тут был судья и владыка:

— Итак?

— Как вас понимать? — поинтересовался Федюнин.

— Насколько я знаю из слов Леонида Александровича Рогожина, вас заинтересовала моя персона в связи с каким-то пасквилем профессора Гладстона. Что это за пасквиль? Каково его содержание? Что вас интересует во мне? — Теперь он был, как обычно, напорист и громогласен.

— Ого-го,— Федюнин насмешливо покачал головой.— Сколько вопросов, и все — ко мне.

— Если имеете существенные, задавайте вы.

— Задам. Что вы там наговорили своему приятелю, этому Гладстону, в беседах с ним?

Этот тон покоробил Василия Николаевича.

— Отчитываться в частных своих разговорах я не намерен. Смею лишь заверить, что в беседе с профессором Гладстоном ничего компрометарного мною говорено не было.

— А все же?

Петров побагровел.

— Dixi. Я сказал.

— Оставьте свой французский при себе. Лучше...

— Это не французский. Это латынь.

Теперь побагровел Федюнин. Помедлив, он рванул к себе средний ящик стола и, взяв оттуда, протянул Петрову перевод гладстоновской писанины.

— Ознакомьтесь. Посмотрим, что вы скажете после этого.

Отодвинув руку с листами подальше от глаз, Василий Николаевич принялся читать. Федюнин наблюдал за ним. «Матерый экземпляр,— со злостью и невольно пробивающимся уважением думал он.— И нахрапистый. Видно, недаром Рогожин побаивался его. Такого не согнешь — ломать надо».

Петров хмурился и снова наливался краской. Что-то он буркнул по-иностранному, потом, не удержавшись, сказал: «Сволочь! А?» — взглянул на Федюнина, словно ища поддержки, и тут же сердито отвернулся и продолжал чтение. Закончив, спросил:

— Я могу взять это с собой?

— С какой же стати? — саркастически улыбнулся Федюнин.— Вам ваши высказывания, наверное, известны и без этой цидульки, а нам она пригодится.

— Вот что, товарищ Федюнин,— Василий Николаевич выпрямился, а крупную свою седую голову склонил, как бык перед ударом.— Подобный тон вы можете оставить для кого-нибудь другого, мне он не подходит.— Помолчал и спросил:— По крайней мере, выписать кое-что я могу?

— Ну, если это так необходимо...— Игнатий Федотович придвинул ему чистый лист бумаги.

— Благодарю. Обойдусь своей,— Петров принялся выписывать что-то в карманный блокнот. Выписывал он недолго. Протягивая перевод Федюнину, сказал:

— На этот «документ» я отвечу письменно.

— Что ж... подождем.

— За сим позвольте раскланяться,— Петров встал, сердито-едкий, шагнул было к выходу, но остановился.— И еще позвольте мне, старику, сказать следующее. Я очень уважаю учреждение, в котором вы служите. Я безмерно ценю партию, которой это учреждение принадлежит. Но адресовать эти чувства лично вам, товарищ Федюнин, я никак не могу.

Он вышел все тем же крупным тяжелым шагом. Игнатий Федотович было рванулся за ним, но тут же опустился на место и только сжал кулаки...

На следующий день Рогожин сообщил ему, что профессор Петров послал короткие и резкие письма в редакцию того английского журнала и в газету «Известия» с решительным опровержением инсинуаций Гладстона.

Когда Лебедев по телефону поинтересовался, как идет дело с Петровым, Игнатий Федотович рассказал, что встречался с ним и руководством института. Петров вел себя нагло и оставил самое неприятное впечатление. Он, правда, послал опровержение на статью Гладстона... Но ведь это могло быть и просто уловкой...

28.

Статья у Андрея прорвалась вдруг. Исподволь-то он готовился к ней давно, прислушивался к Петрову, расспрашивал Гринфельда, брал у него то

одну, то другую книги, вчитываясь в них, сравнивал с работами последователей и пропагандистов Лысенко. Готовиться-то готовился, а браться за нее не брался: не то что было недосуг, не то что он боялся, а все не хватало какого-то толчка — все равно, внешнего или изнутри. Хотя вообще-то толчки были.

Как-то Таня еще зимой, посмеиваясь, сказала:

— Ты невзначай не курс ли лекций по генетике готовишься кому-то прочесть? Вон сколько литературы проворотил!

Андрей ощутил некую щекотку самодовольства, однако сказал о том, что думал:

— Видишь ли, генетика, оказывается, очень интересная штука. Но не столько это меня влечет. И даже не только то, что у нее, безусловно, богатейшие перспективы. Меня просто злит, что вот одни ученые, так сказать, открыли Америку, а другие пытаются ее закрыть.

— Ну, если так уж злит, возьми и напиши попробуй.

— И напишу!

И ни черта не написал.

Очень похожий состоялся у них разговор и с Бурковым. Когда Федюнин поднял суету вокруг статьи Гладстона и Андрею пришлось вновь объясняться с редактором по поводу визита английского провокатора от науки, Юрий Борисович, уже закончив беседу и отпустив Андрея, вдруг воротил его с порога и попросил:

— Присядьте-ка.

Если Бурков делал этакое джентльменское предложение, значит, разговор должен был состояться важный. Андрей сел настороженный. Юрий Борисович, чуть подергивая плечом, привычно и, казалось, равнодушно перебирал какие-то бумаги на столе. Потом, протягивая одну из них Андрею, сказал как о чем-то совсем незначительном:

— Вот... Обратите внимание на дату. Завалялась бумаженция.

На маленьком блокнотном листке рукой редактора было написано: «Кто бы из наших взялся заново покопаться в споре т. н. классических генетиков с лысенковцами?.. 9. 11. 63».

— Завалялась,— снова сказал Юрий Борисович и виновато кашлянул.

— Ну, а если бы взялся я? — не без вызова поднял голову Андрей.

— Срок для представления статьи устанавливать?

— Давайте, Юрий Борисович, без срока. Дело серьезное...

Так и договорились. Вот тут-то убеленный сединами редактор поступил рискованно и опрометчиво: ждать от газетчика материал без установления определенного срока — все равно что запрягать невзнузданную лошадь.

Андрей статью все откладывал, хотя некий, довольно ясного происхождения, червячок копошился у него в том бестелесном органе, что мы привыкли именовать душой. Происхождения червячок был петровского. Еще с той поры, когда год назад появилась статья Рогожина, совести Перевалова стало неспокойно. Теперь он чувствовал, что тучи над головой Василия Николаевича вновь сгущаются, и тучи грозовые. В самый раз бы искупить свою нечаянную вину. Тем более что и всерьез, как говорил он Тане, раздражала его неумная дискриминация генетики.

Он уже довольно отчетливо разобрался в сложных путях хромосомной теории наследственности, в ее взлетах, падениях и рывках.

Много раз пытались набросить на нее идеалистические одежки. Но ведь подобные покрывала идеалисты накидывали и на электрон, и на радиоактивность, и на теорию относительности и при этом вводили в заблуждение даже самые светлые умы человечества. Великий Менделеев, к примеру, отрицал учение об электронах и представление о радиоактивности как о распаде атомов, ибо и то, и другое идеалисты стали толковать как исчезновение материи и замену ее электричеством. Известный физик А. К. Тимирязев рьяно боролся против теории относительности, так как ее физическое содержание отождествлял с идеалистическими толкованиями некоторых философов. По тем же причинам его отец, знаменитый физиолог К. А. Тимирязев, резко выступал против современных ему генетиков-мендельянцев.

Однако сами факты, лишь облаченные в идеалисти-

ческую одежку противниками генетики, оставались истинно научными фактами. Надо было очистить их от метафизической и прочей шелухи и объяснить правильно. В этом, прежде всего, и состоит ленинский принцип партийности в науке.

Наука не идет путями ровными и прямыми. Накапливаются факты — появляются обобщения, гипотезы и теории. К ним стягиваются новые факты, но часто они вступают в противоречие с теорией, а теория — с фактами. Желание и необходимость объять и объяснить окружающий мир приводят к новым догадкам и предположениям, но только неустанное, подвижническое проникновение в существо материи, в глубинную взаимосвязь, рожденное холодной ясностью анализа и волшебством внезапных озарений, ведет к познанию истины. Кому это дано? Каждый хочет быть правым, каждый отстаивает свое — до тех пор, пока сама Истина не скажет решающего «да» или «нет».

Долгие века бьются светлейшие умы человечества, чтобы понять строение и закономерности «мертвой» материи. Сколь же велики должны быть их усилия, чтобы раскрыть тайны чудеснейшего творения природы — живой материи, образованной загадочными, но вполне определенными вариантами сцеплений миллиардов электронов, атомов, молекул, расшифровать их запутаннейшие связи и взаимодействия.

Чарльз Дарвин внес громадный и принципиально важный вклад в познание органического мира, создав свое эволюционное учение. Но объяснить всего он, естественно, не мог. Прочно основав свою теорию на трех китах: изменчивости организмов, наследственности и естественном отборе, он не раскрыл — да и не пытался раскрывать — физиологический механизм изменчивости и наследственности. Мендельянцы-вейсманисты подошли к этому вплотную.

Не оглядываясь на них, используя лишь опыт безымянных предшественников, творили свое дело упорные трудяги-селекционеры. Американец Бербанк, француз Вильморен и русский кудесник Мичурин удивляли мир, создавая плоды и злаки по собственной воле. Они показали, что наследственной природой растительных форм можно управлять, придавая им новые признаки и свойства.

Постепенно в нашей стране складывалась теория, которую назвали мичуринским учением. В основу легло понятие о единстве организмов и условий окружающей среды. Наследственность рассматривалась как свойство живого тела требовать определенных условий для своей жизни и реагировать на их воздействие. Предполагалось, что любая частица тела обладает свойством наследственности.

В руках мичуринцев оказался сильный козырь — практические успехи селекционной работы. Только один Мичурин создал триста новых сортов растений. Его последователи продолжали дело учителя. Но, как и дарвинизм, мичуринское учение не срывало покрова с тайны физиологического механизма изменчивости и наследственности.

А той порой хромосомная теория не стояла на месте. Опираясь на новые и новые исследования, она все больше расширяла свою материалистическую базу. Поиски показали, что гены суть особые, весьма сложные молекулы вещества, содержащегося в хромосомах.

Если раньше предполагалось, что мутации — резкие наследственные изменения признаков или свойств организмов — происходят под влиянием каких-то внутренних импульсов, то теперь стало ясно, что источниками мутаций очень часто служат внешние воздействия на гены. В лабораторных опытах двадцатых и тридцатых годов мутации уже вызывались облучением ультрафиолетом и рентгеновскими лучами, повышением температуры и воздействием колхицина. Биологи открыли свои двери физикам и химикам. Тогда-то среди всемирно известных имен Меллера, Кольцова, Ли, Серебровского, Дубинина появилось имя Петрова.

Совокупность представлений о генном механизме наследственности получила название морганизма. На него-то и обрушила свой сокрушительный удар васхниловская сессия 1948 года. Но упрямые морганисты-генетики с помощью биофизики и химии все глубже проникали в загадку наследственности и изменчивости живых организмов. Уже прояснилось великое назначение нуклеиновых кислот. «Зародышевая плазма», таинственные гены приобретали конкретные свойства и химические названия.

Постепенно разобравшись во всем этом, Андрей понимал теперь, что и его, и газету Рогожин и Гладилов в свое время использовали в узких, групповых интересах. Понимал, а за статью все не брался...

К ней, как ни странно, его подтолкнул Гладилов. На июнь у него назначена была защита диссертации, и, наверное, Петру Анатольевичу захотелось перед этим блеснуть публично, используя многотысячный газетный тираж. Он зашел в редакцию к Белкину и напомнил давний, за ресторанным ужином, разговор.

— Помните, Степан Васильевич, я посулил сделать для вас статью? Вот, пришел предложить.

— Она уже готова?

— Хотел согласовать тему. Я же понимаю: газета — не научный вестник, у нее свои интересы. Давайте прикинем, что интересно для вас и что могу я.

— Тогда для прикидки вытащим сюда и Андрея Николаевича.— Белкин нажал кнопку звонка и попросил пригласить Перевалова.

— Буду только рад,— белозубо улыбнулся Гладилов.

Тема статьи сформулировалась быстро, хотя и несколько расплывчато: «О путях развития советской биологии». Впрочем, эти «пути» уже предполагали некий полемический задор и возможность нападок хоть слева, хоть справа. Гадать, какую сторону изберет автор, не приходилось. Андрея подмывало тут же вступить с Гладиловым в спор — он удержался и предложил проводить Петра Анатольевича. Они медленно шли по узкому редакционному коридору.

— Итак, наконец, защита? — сказал Андрей.

— Вот именно: наконец. Казалось, все давным-давно готово, но эта проклятая щепетильность, вечные сомнения, желание проверить себя еще и еще раз...

«Знаю я, какие сомнения тебе мешали»,— желчно подумал Андрей, но сказал:

— Что ж, это только похвально. Зато уж — наверняка?

— Надеюсь. Отзывы, скажу без ложной скромности, отличные.— Гладиловские очки победно блеснули...

Вот в эти-то минуты Андрея зажгло, и это уже не прекращалось,— было такое ощущение, будто на сердце все лили и лили кипяток. Почему же, дьявол его де-

ри, этот улыбчивый подлипала может запросто низвергать то, что добывалось честным и кропотливым трудом сотен ученых, объявляя идеалистической чепухой и ересью выводы из тысяч неоспоримых экспериментов? Почему он, по сути, еще ничего не сделавший в науке, может за свою эпиганскую диссертацию получать похвальные отзывы, а работу бойца и труженика в биологии профессора Петрова третировать и тормозить? Или твоя честь журналиста, Андрей, требует лишь согласия с некой установленной нормой и не требует согласованности с интересами партии и народа?

Журналист — помощник партии; не стало ли это для тебя, Андрей, лишь привычной фразой? Почему же не выскажешь ты сомнений, которые мучают твою душу?...

Что же до сих пор сдерживало тебя? Леность? Он исписал за это время на другие темы, пожалуй, сотни страниц. Только темы те были полегче, без зазубринок, без рытвин, они не требовали особого горения, от них не веяло страстью и боем. Хотелось сохранить свой покой? Но это же обычная трусость! Видно, сердце покрылось изрядной коростой равнодушия, безразличия, и если не соскрести, не сорвать эту заскорузлую гниль, не очиститься от нее, то какой же он будет советский газетчик?

Он решил писать немедленно, писать быстро, чтобы поспеть раньше Гладилова.

29.

Таня в эти дни совсем замоталась. Нужно было собираться в Лесное — Володьку она опять решила взять с собой, в детском садике уже договорилась. Значит, надо было кое-что сшить, подштопать, залатать, кое-что прикупить. А кроме того — закончить и сдать отчет на зимний период, привести в порядок старые записи, подыскать кое-что из литературы. Нужно еще было и семью кормить и, хоть в полруки, прибирать в квартире.

А Андрей, как назло, ошалелый, не вылезал по вечерам из-за письменного стола, строчил и рвал листы — писал свою статью. Она подвигалась трудно, не гладко, но, похоже, получалось.

В этот вечер Таня уже начала укладывать вещи в чемодан, по списочку сверяя, чего еще недостает, ужасалась, что барахла набирается слишком много, и тут же сокрушалась, что вот так и не купила шапочку для купания, что надо где-то достать второй утюг, что не хватает Володьке летних легких рубашонок. Она металась по комнатам, Володька все время лез под ноги. Таня бранилась, раз даже шлепнула его; он уходил к отцу — тот гнал его еще более свирепо.

Иногда Андрей окликал ее. Его интересовали детали, казавшиеся ей для статьи вовсе несущественными.

— Послушай, Тань, вирус табачной мозаики как называется?

— Так и называется.

Через минуту:

— Линейный размер рибосом какой, не помнишь?

— Андрюша, совсем мне не до рибосом! Не помню я, спроси у Грина, что ли. И зачем это тебе?

Еще:

— Послушай, а у Василия Николаевича как дела с этим опровержением?

— Не знаю... Из Англии есть телеграмма, что его письмо опубликуют, а «Известия» пока молчат. Он хотел звонить туда, но что получилось — не знаю...

Вдруг в комнату ввалилась обессиленная, в слезах, Варя Нукина. Лицо у нее было красным и опухшим.

— Что с тобой, Варенька? — бросилась к ней Таня.

— Ох, плохо, плохо... Владлен такое вытворил!..

— Да что случилось?

Варя, разрыдавшись, ничего не могла сказать. Андрей, встревоженный, встал. Таня глазами просигналила ему: «Сходи выясни, помоги». Ему вовсе не хотелось отрываться от работы, он готов даже был оставить с собой Володьку, лишь бы послать к Нукиным жену, но тут ему сделалось не то что стыдно, а как-то неловко. Опять кольнуло совесть: «Хочешь, чтобы тебе было поспокойнее?»

Он шагнул к Варе:

— Ну, утрись, дуреха. Пойдем, потолкуем. У вас он, Владлен этот?

Всхлипывая, Варя покивала:

— Они там с Мишей ругаются. Он такого наделал!..

Но они уже не ругались. Миша сидел на краешке старого изодранного дивана и угрюмо складывал что-то вроде гармошки из подвернувшегося под руку лоскутка бумаги. Владлен нервно курил у открытой форточки.

— Будем знакомиться,— протянул руку Андрей,— Перевалов Андрей Николаевич, сосед вот Мишин.

Владлен невнятно произнес свое имя и нехотя подал вялую ладонь.

— Присядем, что ли,— сказал Андрей; он еще не знал, с чего и как начать.— Рассказывайте, что тут у вас стряслось.

Все молчали.

— Ну, Владлен,— не выдержала Варя,— ну, расскажи. Андрей Николаевич — это муж тети Тани, очень хороший человек, он тебе поможет, посоветует. Расскажи ему, не бойся.

— А я и не боюсь,— сказал Владлен и выбросил окурок в форточку.— Только зачем это — рассказывать всем и всякому.

— У тебя абсолютно никакой логики! — вспылил Миша.— То, понимаешь, кричал: «публично!», «всенародно!», а то, понимаешь, «зачем рассказывать?» Есть в этом логика?

— Есть! — зло огрызнулся Владлен.— Публичный поступок — это одно, а демонстрировать всем душу — вовсе другое. Я лучше пойду...— Он пошарил в кармане, вытащил пустую пачку из-под сигарет и повернулся к Андрею: — У вас закурить не найдется?

Андрей протянул ему «Беломор»:

— Только такие.

— Спасибо.— Пальцы у парня дрожали.

— Ты садись. Рассказывать не хочется — не рассказывай. Посидим, покурим, разойдемся.— Андрею уже остро захотелось узнать историю, так взволновавшую это молодое трио.

— Нет, почему же не рассказывать? Я расскажу. Я готов всем об этом рассказывать. Я могу об этом даже кричать.— Владлен рывком притянул стул, сел и, положив кулаки на стол, на секунду задумался, опустив голову.— Я сейчас нахулиганил, если хотите набезобразничал — низко, мерзко набезобразничал. Специально. Сознательно... Но это надо объяснить. Я объясню.

Может быть, вы поймете. Вот Михаил понял. Да, Михаил, ты понял?

— Говори, говори,— буркнул Миша.

Сбивчиво, резкословя, но в общем достаточно ясно Владлен рассказал о происшедшем.

Он не уважает своих родителей. Особенно отца. Не любит. Нет — ненавидит. Такой важный, такой внешне правильный и прилизанный, а чего он стоит? Когда-то был работником и, может быть, неплохим. А сейчас? Профессорский оклад, почетная должность, персональная машина. А отречься от товарищей по науке только потому, что они стали когда-то неугодны президенту сельхозакадемии,— это отцу ничего не стоит. А использовать работу других для своих книг и статей — это у него вошло в привычку. Он трус и бездельник, и такого отца нельзя уважать. Противно!

Ему давно уже все это стало противно. Он просто нагло ел отцовский хлеб, хороший белый хлеб с маслом и шпротами, он нагло брал родительские деньги и пропивал их, но ведь так можно докатиться до того, что и сам станешь таким же... И тогда он решил бороться. Но как? Написать в парторганизацию института? — замнут. Написать в газету? — не поместят, отправят письмо в ту же организацию. Высказать все отцу — что толку?

Он долго думал и ничего не придумал. А сегодня, выпив со своим дружком, этим пустозвоном Костей, он пришел в институтскую столовую и с собой принес еще бутылку вина.

— Дайте что-нибудь закусить, да получше,— заявил он,— я сын Леонида Александровича Рогожина, вашего директора.

Официантка Нюся, милая и обходительная девушка, подивилась, конечно, этой развязности, однако тут же предложила меню и посоветовала несколько закусок.

— Это все дрянь,— отбросил меню Владлен,— поищите-ка сыру рокфор да икорочки.

— Извините, у нас этого нет.

Владлена трясло от смертного стыда. Но он вышиб пробку из бутылки, налил полный стакан и залпом выдурил его. Нюся, уже возмущенная, сказала, что спиртного в этой столовой пить нельзя.

— Моему папочке все можно, можно и мне! — ко-

червяжился Владлен; Костя пьяно хохотал; вокруг начали собираться сотрудники института.

А Владлен все повторял, что он сын профессора Рогожина, он умирал от стыда, но упивался местью. Он даванул-таки вдребезги закусочную тарелку, порезав себе руку, и выпил еще, хотя чувствовал, что больше не пьянеет.

Появился милиционер, кто-то успел его вызвать. Обоих субчиков доставили в милицию, составили протокол, отобрали у них паспорта и велели назавтра явиться: предстоял суд.

Был чудный вечер, были цветы на набережной, было много гуляющих пар, и все же Василий Николаевич чувствовал себя «не очень» — как раз потому, что представлял одну из таких пар. Агния Львовна, та как будто освоилась в этой их первой прогулке вдвоем,— много говорила, а он почти и не слушал ее: очень все это было непривычно.

— ...глаза не поверили,— рассказывала Агния Львовна.— Я даже переспросила, его ли это формуляр. Библиотекарь говорит: «А как же! Вот и фамилия». Понимаете, несколько книг по классической генетике. Какой-то Лучник, Ауэрбах, еще кто-то — я уж не помню. Представляете?

До сознания Петрова кое-что все же дошло.

— Это в формуляре-то достопочтенного Леонида Александровича? — ошеломленно спросил он.

— Ну, конечно, об этом я и толкую вам.

— Хм. Славно! — Настроение его не то что поднялось — появилась обычная боевитость.

— Товарищ,— легонько тронул его, обгоняя, какой-то молодой человек,— ваша жена уронила, держите.— И протянул платочек Агнии Львовны.

Василий Николаевич поперхнулся и еле выдавил вдогонку: «Спасибо»...

— Не пятнадцать, так десять суток обеспечено,— с мрачным довольством закончил свой рассказ Владлен.— Ах, какой славный подарочек получит мой папа!

— Нда-а,— протянул Андрей и надолго замолчал.

Владлен встал и пошел курить снова к форточке.

— Андрей Николаевич, дорогой, ну что же теперь делать? — плаксиво сказала Варя.

Андрей все молчал. Молча закурил, молча прошелся по комнате.

— Что ж,— молвил он наконец,— может быть, на то и действительно были у тебя причины, но поступил ты по-свински. Очень по-свински.

— Я на это и шел,— глухо отозвался Владлен.

— Ну-с, а дальше? Что ты думаешь делать дальше?

— Домой я, конечно, не вернусь. Отсижу и пойду работать. В институте, если не выгонят, буду учиться заочно.

Варя подняла на Перевалова печальные глаза:

— Мы хотим с ним пожениться, Андрей Николаевич.

«Еще не легче!» — первое, что подумалось Андрею; но тут же, как-то сразу, без перехода, пришла другая мысль: «А почему и нет?»

— Ну и как же вы будете жить? Где? На какие шиши?

— Живут же люди,— уже горячо откликнулся Владлен.— Живут без папиных харчей и без маминых забот. Кормил же до сих пор Варюху Михаил. А я что — недоумок? А с жильем... устроимся.

— Мне общежитие могут дать,— тихо обронил Миша.

Андрей опять прошелся по комнате.

— Татьяна Витальевна на лето уезжает в Лесное,— сказал он.— Одному из вас могу предоставить диван.

Варя взглянула на него благодарно и сделала такое движение, будто хотела поцеловать, однако смутилась и отошла к Владлену, сказала с улыбкой сквозь слезы:

— Остригут его завтра, обреют. Арестантик...

Когда Андрей вернулся домой, Володька уже спал. Возле набитых чемоданов Таня перебирала тетради со своими рабочими записями и перекладывала книги.

— Ничего не входит,— жалобно сказала она.

— Возьми третий чемодан, все равно же я провожу тебя, как-нибудь дотащим.

— Наверное, придется третий... Андрюша, а ты бу-

дешь приезжать к нам в Лесное? Приезжай, пожалуйста, прошу тебя.

Он обнял ее и легонько прижал к себе. Она прильнула доверчиво и нежно. Потом встревожилась:

— Ну что там? Что-то серьезное?

Андрей рассказал. Таня то вскидывала на него изумленные, испуганные глаза, то кивала сосредоточенно и горестно.

— А знаешь,— сказал Андрей,— поступил он, конечно, по-хамски, однако, может, в таких случаях и нужно что-то подобное — очень резкое, но правдивое.

Таня помолчала, потом сказала (Андрею почудилось, что с каким-то скрытым значением):

— Да, пусть резкое, но правдивое.

Ему стало не по себе.

— Вот что, милая, ты совсем сегодня измаялась. Ложись-ка, а я сяду писать дальше.

— Я только поставлю тебе чай...

Было уже за полночь, когда Андрей вошел в спальню. Ночничок у Таниной кровати светился, на полу валялась книга. Таня спала, дыша глубоко и ровно. Он склонился над ее лицом. Грусть и боль охватили его душу. Все было в этом лице родное. Вот эта морщинка пролегла у губ, когда Таня не спала ночей над Володькой, мучившимся корью. А эта появилась, когда она выхаживала его самого от фолликулярной ангины. Но вот это... вот эти седые волоски — когда и отчего вплелись они в россыпь ее волос?.. Он склонился ниже и поцеловал ее, потом, постояв еще секунду, вернулся к письменному столу. В эти минуты он принял еще одно важное для себя решение.

30.

С утра Андрей отвез статью в редакцию и, взяв машину, поехал за Таней и Володькой домой. В лаборатории они застали уже предотъездную кутерьму — грузили оборудование, кое-какую мебель, литературу, чемоданы и узлы сотрудников. Выезд назначался в одиннадцать — едва управились к часу. Васю с машиной Андрей отпустил, ему хотелось побыть с Таней, но она, как вихорек, носилась из комнаты в комнату, из лаборатории к грузовикам и обрат-

но, и Андрей с Володькой сиротливо стояли в подъезде, глядя на деловую суету, пока наконец Андрей не догадался употребить свою силенку в помощь отъезжающим.

Вдруг набежала и грянула веселая игручая гроза с ливнем, коротким и шалым. Никого она не испугала, наоборот, обрадовала: словно малые дети, сотрудники Петрова прыгали и хохотали под дождем, и сам Василий Николаевич, выйдя на крыльцо, задорно покрикивал и огогокал.

Потом машины тронулись. Прижав нос к автобусному стеклу, Таня, обняв Володьку, смотрела, все смотрела на машущего ей рукой мужа, и непонятно было, не то слезы, не то дождевые капли стекали по ее лицу.

Андрей пошел в редакцию пешком. Молодая листва, омытая ливнем, лаково блестела на солнце. Воздух пах травой и чистотой. Андрею было грустно и бодро. Дышалось легко, он с сожалением подумал, что давненько уже не играл в теннис, хорошо бы сейчас размяться на корте...

А работать не хотелось. Бегло просмотрев почту и отправив в набор срочный материал, Андрей заглянул к Белкину. У того настроение было тоже не очень деловое. С удовольствием отложив рукопись, которую до этого правил, Степан Васильевич принялся разглагольствовать о деревенской весне, восторженно швыркал носом, вспоминая ароматы полей и пашен, и чуть не дифирамб пропел бабочкам-крапивницам и майским жукам.

— Ты же, городская чичера, ничего в этом не смыслишь. А жуки майские, дорогой мой Андрей Николаевич, это, я тебе скажу, вещь. Аж сердце замирает, когда на закате, по розовому небу, начинают они взлетывать и вспарывать воздух. Совсем как «ишаки»,— знаешь, были у нас на фронте такие истребители «И-16», мы их «ишаками» звали. Тупорылые, басовитые, совсем как жуки...

Излияния его прервал редактор. Ему надобен был Перевалов.

Андрей сразу же заметил на столе Буркова свою статью.

— Можно? — протянул он руку к ней и перелистал

рукопись. Почеркушек было совсем немного: редактор убрал лишь кое-какие, наиболее резкие словечки.

— Дайте-ка,— Юрий Борисович забрал рукопись обратно.— Рубричку надо придумать. «В порядке обсуждения»? Не пойдет. Много найдется желающих пообсуждать. «Полемические заметки». Согласны? Так и напишем... И сократите три страницы. А в общем — ничего.

«Ничего» — это у Буркова была по его шкале высшая оценка.

— Юрий Борисович,— взмолился Андрей,— ну как же так — целые три страницы?!

— Не хотите — сокращу сам. Но уже не три, а все пять.— И смягчился: — Надо. Не с продолжением же в следующем номере печатать.

— Попробую,— вздохнул Андрей...

Дома его ждал сюрприз: наконец установили телефон. Хорошо, что в квартире, когда пришел монтер, оказался Грин. Теперь он потребовал «магарыч», и Андрей выставил ему полбутылки рислинга.

— Есть настроение послушать мою писанину?

— О смотре самодеятельности или задачах сельских клубов в посевной кампании?

— Нечто другое.

— Ну-с,— без особой охоты согласился Грин и откинулся в качалке.

Пока Андрей читал, он слегка покачивался, прикрыв глаза, будто дремал, только сухие длинные пальцы нервно ощупывали подлокотники кресла. Андрей закончил. Грин все покачивался.

— Ничего,— сказал он наконец, совсем как Бурков.— Конечно, много журналистской шелухи, но — ничего.— Он открыл глаза.— Помнится, в прошлом году за подобную статью, только куда более мягкую и осторожную, весьма досталось от высоких инстанций редакции одного из ленинградских журналов. У вас как — не побаиваются?

— Да вроде хотят печатать.

— Что ж,— сказал Грин и встал.— Такую бы статью лет десять назад. Впрочем, лучше поздно, чем... Да что говорить! Подошло время. Не вы, так другой, не другой, так третий. И журнальные статьи еще будут. А главное — ведь в самой биологии идет этот процесс

очищения от всего наносного, вредного, навязанного ей. Неизбежный результат саморазвития науки... Ну, ладно. Налейте-ка мне остатки. И пойду поработаю. Нынче я тоже собираюсь в Лесное...

Он ушел. Андрей начал перелистывать свежий номер «Иностранной литературы» и вдруг поймал себя на том, что делает это механически, не вникая в содержание. Что-то томило его, и скоро он понял — что.

Решение, принятое прошедшей ночью, назревало давно, оно было необходимым и окончательным, и все же томило. Чем? Предстоящим объяснением с Марией? Да, это, конечно, будет трудно. Однако не в этом главное. Главное, чтобы не осталось сомнений в справедливости самого решения. Справедливость — сестра правды, и она не может быть приятной для всех, но какова бы она ни была, она есть, она должна быть! Если уж идти на разрыв, так в открытую — жестоко, но честно. Андрей вспомнил испытанное ночью пронзительное ощущение родства с Таней и не смог уже сидеть, встал и нервно зашагал по комнате.

«Трудно? — усмехнулся он с горечью.— Пострадай, милейший, помучайся. Все давалось тебе легко, как бы само собой, и, по существу, ты слишком часто плыл по течению, оно несло тебя, и ты подбирал по пути лишь то, что плыло рядом или навстречу. Так можно, не заметив, оказаться черт знает где...

— Все! — решительно сказал он себе, подсел к телефону и набрал номер квартиры Петровых.

Трубку взяла Мария.

— Слушай,— сказал Андрей и замялся; сердце дрогнуло.— Надо мне с тобой поговорить.— Он вспомнил о статье.— И кое-что прочесть тебе.

— Приезжай. Отец ведь отбыл на свою полевую, я одна.

Андрей помолчал.

— Знаешь, этого мне не очень бы хотелось...

Теперь помолчала Мария.

— Ну хорошо. Через полчаса жди на автобусной остановке, я подъеду.

В машину он сел молча. Мария ни о чем не спрашивала, только поглядывала настороженно.

У выезда из города она остановила свой «Москвич» у магазина:

— Я сегодня даже не обедала, а в хатке моей пусто. Надо хоть чем-нибудь запастись.

Разговор не клеился. Мария чуть слышно насвистывала какой-то примитивный прилипчивый мотивчик и делала вид, что усердно разглядывает дорогу впереди.

Андрею было неуютно и беспокойно. Подумалось: «Лучше было встретиться где-нибудь в парке, что ли».

В Марии была какая-то отчужденность. Видно, что-то обрушилось между ними или сползло — как при оползне, неслышно-тихом, но грозном...

Дед Корней, нахохлившись, в бараньем полушубке, сидел привычно на скамеечке у ворот. Завидя знакомый автомобиль, засуетился и, пооховая, бросился открывать ворота.

Однако весна эта что-то надломила в нем, дед ссохся и состарился разом годков на пять.

— Гостинчик вам, Корней Степанович,— протянула Мария традиционную чекушку.— А вот махорки, извините, не привезла, в магазине не было.

— Ох, спасибочки, милая, спасибочки. А махорки и не надо, самосад у меня есть. Только кашлять я стал от курительного дыма очень сильно. Надрываюсь — даже кости дрожат. А за это спасибочки, милая, согреюсь маленечко. Мерзну что-то я, выработка тепла в организме, значит, уменьшилась.

Он пошел закрывать ворота, Мария поставила машину под навес, сказала Андрею:

— Поколи дровишек, а я приготовлю поесть. Умираю с голоду.

Андрей наколол горку сухих чурбачков, стаскал их в комнату, растопил камин и вышел к деду.

Солнце уходило за лесистые увалы. Небо, на закате облитое розовым, в вышине еще голубело, и было тепло. Что-то басовито прожужжало над Андреем, он вздернул голову: крупная темная точка, постепенно уменьшаясь, скользила на закат. Наперерез ей двигалась другая, с тем же солидным и самодовольным басовитым жужжанием.

— Хрущи играют,— сказал дед Корней.— Их времечко, недаром майскими прозваны. Правда, на излете уже, кончаются.

Андрей улыбнулся, вспомнив Белкина.

— Ну, а как ваши кролики, Корней Степанович? Вывели новую породу? Барыши большие?

— Вона они, мои барыши! — Дед ткнул в гору досок, валявшихся в углу сарая.— Самолично порушил. До́хнуть стервы стали. Я им научный рацион, а они — дохнуть. Двух остатних прирезал, да вот дети мои, сын, значит, со снохой, от еды отказались — побрезговали. А я — ничего, съел. Хотя двух-то кроликов на одного старичка многовато, а?

— Чем же теперь развлекаетесь, Корней Степанович? Вы, я помню, говорили, что должны быть в жизни забавы, интерес какой-нибудь.

— Интерес-то у меня был единоличный, для себя только. Потому теперь вот тулупом развлекаюсь да печкой. Скелет свой грею. Не осталось у меня интереса к жизни, кончился. Значит, можно считать, и сам я в ближайшей скорости кончусь.

— Ну зачем уж так-то?

— А затем, что правда.

Андрей исподтишка глянул на старика. Он, и верно, выглядел совсем худо. Омертвели глаза.

Выйдя на крылечко, Андрея позвала Мария.

— Что же ты? Я уж тут без тебя хлебнула.— Румянец играл на ее лице.— И уплетаю за обе щеки.

Вино оживило ее и сделало разговорчивой.

— Ты, собственно, хотел мне что-то прочесть?

— Да. Статью.

— Давай сюда.

— А если я вслух?

— «Вслух» я не умею. Мне надо глазами.

Она читала внимательно, изредка хмыкала значительно, иногда, возвращаясь к уже прочитанному, перечитывала вновь. Наконец аккуратно сложила листы, прихлопнула их ладошкой и сказала весело:

— А ты молодец, Андрей Николаевич! Право слово. Только вот нужно ли было так об отце?

— А почему не нужно? Разве он не заслужил этого?

— Ну, смотри...— И вдруг расхохоталась.— Я подумала, что скажет на все это профессор Бабулькин?

Профессор Бабулькин был фигурой примечательной. Толстенький и лохматый, в поносившихся, чинен-

ных медной проволокой очках, он был болтун и демагог. Человек, в общем-то, любознательный, во все сующий нос, был он в то же время осторожен, и в его длинных округло-книжных фразах нелегко было выловить определенный смысл. Он размахивал руками и делал вид, что горячится, а на самом деле оставался холодным и хитроватым. Главное, что обычно нужно ему было выяснить, это то, как лучше при тех или иных вдруг создавшихся обстоятельствах спасти свою шкуру. Был он и биологом, и философом, и социологом, и, случалось, историком и физиком.

Знали его только двое — Мария и Андрей. Потому что они его выдумали. Однажды Мария в каком-то шутливом споре сказала: «А что изрек бы по этому поводу некий деятель науки... ну, скажем, профессор... как у него фамилия?» — «Бабулькин»,— назвал первую пришедшую на ум Андрей. «Отлично. Так что бы сказал на это профессор Бабулькин?»

— По-моему, он открестился бы от этой статьи,— всерьез ответил сейчас Андрей.

— О, плохо ты знаешь нашего друга! Зачем же открещиваться? А вдруг назавтра окажется, что автор прав? Он сказал бы, наверное, так: «В вашем смелом этюде, товарищ Перевалов, несмотря на некоторые перегибы, безусловно, есть зерна вечной истины, хотя нельзя не указать на то, что труды акамедика Лысенко, заслужившие столь широкое признание, хотя они имели кое-какие не слишком полезные последствия для общего развития биологии в нашей стране, все же»... Стой, Андрей. Должно быть, профессор Бабулькин окончательно запутался.

— Из тебя Бабулькин не получится, это факт.

— Ого, ты меня еще не знаешь! — Она вскочила и, покружившись по комнате, плюхнулась на тахту.— Ну его к богу, этого профессора!

Он подсел было к ней, но тут же встал, прошелся по комнатушке и снова сел на тахту.

— Вот что, Мария... Я хотел...

— Подожди,— перебила Мария,— успеется.

Она взяла его руку, прижала свое лицо к ладони и замерла так. Потом откинулась:

— Гулять не пойдем?

— Уже холодновато. И темно.

— Трусишка. Подбрось тогда дровец в камин и расскажи какую-нибудь страшную сказку.

— Почему страшную?

— Веселые — глупые.

— И страшные бывают глупые.

— А ты расскажи умную.

— Ты хочешь от меня невозможного,— усмехнулся Андрей.

Он подложил в камин чурбачков, поворошил кочергой и задумался. Мария за его спиной затихла. Он оглянулся — она смотрела на него широко раскрытыми потемневшими глазами.

— Тебе взгрустнулось? — спросил он.

— Нет, мне не взгрустнулось. Мне тошно.

— Отчего?

— Налей-ка вина. И открой дверь. Душно.

Она опять надолго замолчала, Андрею снова стало неуютно и беспокойно. Он выпил тоже и, сев у камина, курил папиросу за папиросой. Угли, догорая, еле шаяли. Мария лежала на спине, закинув руки под голову.

— Знаешь, Андрюша...— Она первый раз назвала его так.— Я понимаю, что это надо кончать. Нам с тобой кончать. Одно мучение. И тебе, и мне. Дальше так нельзя. Ведь ты хотел говорить со мной об этом, да?

Он растерялся. Он не знал, что сказать. Приготовленные слова показались противными, нужных он не находил. Она продолжала:

— Помнишь, когда-то я говорила о золотой середине, а ты сказал, что ее нет и не может быть.— Мария протяжно вздохнула.— Конечно, ты был прав. Это мучительная чушь — золотая середина. Не может ее быть ни для меня, ни для тебя...

Он весь напрягся, мышцы закаменели, только где-то в самой глубине их зарождалась мелкая знобливая дрожь.

— Ты что молчишь? — спросила Мария.

— Я... в общем, я согласен с тобой,— выдавил Андрей.— Я действительно хотел говорить именно об этом.

— Ну и чудесно.— Все-таки в голосе ее прорвались слезы. Она села рывком.— Ладно, Андрей Николаевич, мы ведь с тобой не очень сентиментальные люди. В таких случаях, бывает, утешаются: останемся друзь-

ями. Это чепуха. Но и врагами мы не будем. Просто добрые знакомые. «Просто»!.. Ну, поехали?

Всю дорогу к городу Андрей угрюмо и униженно молчал. Ему хотелось сказать Марии что-то ласковое и благодарное, приободрить, оправдать, что ли, и ее, и себя — слова не шли.

31.

Статья Перевалова взбудоражила весь Институт биологии. Многим было известно, что должна появиться статья Гладилова, и понятно было, какова она, а тут — на вот тебе!.. Шушукались по углам, спорили в лабораториях, было брожение и не было ясности.

Леонид Александрович Рогожин в институте отсутствовал. Его после выходки Владлена свалил сердечный приступ; находились, впрочем, злоязычные люди, утверждающие, что дело вовсе не в приступе сердечной болезни, а в каких-то неполадках с совестью.

В лаборатории Петрова торжествовать было, по сути, некому,— почти все находились в Лесном. Скупив пачку газет со статьей Андрея Перевалова, Миша Нукин в тот же день выехал на полевую биостанцию; нашелся кто-то, кто ссудил его деньгами на такси.

Пожалуй, один человек в институте не растерялся и настроен был боевито — Петр Анатольевич Гладилов. Больше того, он почти торжествовал.

Гладилов был уверен, что карта Перевалова будет бита, тем более что в колоде у Петра Анатольевича были кое-какие секретные козыри. Бой, который он даст уважаемому Андрею Николаевичу, безусловно, повысит его, Гладилова, научно-политический авторитет. Диссертация готова. После защиты надо немедленно, просто немедленно вступать в партию. Леонид Александрович теперь определенно полетит со своего кресла. Очень уж удачно сыграл с ним эту штучку его сынок. Теперь Рогожин не боец, не руководитель — ничто. А свято место, как известно, пустым быть не может. Не профессору же Петрову занять его. Гладилов только кандидат наук? Так что же! Он покажет и свою политическую принципиальность, и непримиримость,

и организаторские свои возможности — отчего же в этом случае не стать и кандидату директором института?

Тут он не мог не вспомнить бывшую свою жену, неудержимо захотелось ему еще разок «поговорить» с ней. Может, это было несколько преждевременно. Кто знает, только очень уж хотелось. И «разговор» на этот раз, против обыкновения, начал он.

«Ну-с, как поживается, Тамара Брониславовна?» — Так, чуть чопорно и сдержанно, прозвучала первая фраза.

«Превосходно, мистер Питер, просто отлично!» — А вот в ее голосе слышалась раздраженность.

«Очень рад, что превосходно. А у меня кое-какие новости. На днях защищаю кандидатскую, вступаю в партию, и, очень может быть, меня ждет новое назначение».

«Уж не министром ли?»

«Ну что ты! Я ведь человек скромный. Сразу — и в министры? Нет, я не сразу... Есть разговоры, что назначают меня директором Института биологии».

«Ты врешь!»

«Ах, какой свирепый глагол!.. Нет, Томка, я всерьез. И, может быть, теперь ты вернешься ко мне?..»

Она промолчала. Ну что ж, пусть подумает...

Позвонив Федюнину, Петр Анатольевич попросился на прием. Тот не очень охотно, но разрешил прийти. «Видать, у тебя,— подумал Гладилов,— настроение-то подмоченное».

Он не ошибся. Федюнин был озабочен и хмур.

— Ну? — сказал он и тяжелым, неприязненным взглядом уперся в севшего напротив Гладилова.

Тот, не смутившись, сразу же пошел в наступление:

— Если помните, Игнатий Федотович, как-то прошлым летом я говорил вам о нездоровой обстановке в институте. Леонид Александрович все либеральничал...

— Да уж этот ваш Леонид Александрович докатился — дальше некуда.

— Я не имею в виду недавнее. Вся его политика, его мягкотелость, нежелание или боязнь дать открытый бой противникам мичуринского учения — все это только способствовало Петрову и его последователям.

Партия учит нас в идеологической борьбе быть непримиримыми и не обороняться, а наступать.

Игнатий Федотович внутренне поморщился: этот еще будет учить! Гладилов заметил недовольство Федюнина. Пора было выкладывать козыри.

— Я недаром заговорил о последователях Петрова. Вы думаете, Перевалов ему кто? — Он эффектно помолчал.— Ближайший родственник!

— То есть?

— Муж родной племянницы Василия Николаевича. Она работает у него в лаборатории. Татьяна Витальевна Перевалова — в девичестве Петрова.

— Ты это серьезно?

— Абсолютно. Скажу больше. Поговаривают, что дочь Петрова, тоже его сотрудница, Мария Васильевна — любовница Перевалова.

— Ну, знаешь!..— Федюнин вскочил, затопал по комнате.— Это, знаешь, такой клубок! Чего же вы там все смотрели?!

— Я же и говорю, мягкотелость нашего...

— Черт его знает что! И Бурков — он-то о чем думал и чем, извините, думал?.. Вот что, Петр... э.. да, Анатольевич. Вы мне все это изложите письменно. Только без этой... без всякой интимной грязи, без «поговаривают». И официально проинформируйте Кислицына, заместителя редактора, он у них секретарь партийной организации.

— Николай Петрович, по-моему, в командировке.

— Сегодня он вернулся. Я ему позвоню, скажу, что вы зайдете...

Гладилов откланялся. Все шло как будто преотлично.

Федюнин остался в тяжелом раздумье. С утра, получив газету и прочтя статью Перевалова, он, возмущенный, позвонил редактору. Однако Бурков довольно спокойно осадил его, сказав, что научная полемика в советской печати не противопоказана, да еще вдобавок нахально посоветовал почаще заглядывать в научно-популярные журналы.

Игнатий Федотович раздумывал, не пойти ли с докладом к секретарю обкома, однако посещение Гладилова повернуло его мысли в несколько иное русло. Теперь все стало много яснее. Надо оперативно рас-

следовать это скверное дело, хлопнуть как следует Перевалова и кончать с Петровым. Чем дальше, тем больше — тут хлопот не оберешься, да еще и самому надают по шее: не моргай.

Круто повернувшись к телефону, Игнатий Федотович набрал номер Кислицына.

Николай Петрович и без того кипел. Он считал чуть ли не подлостью, что эти пакостные «полемические заметки» напечатали в его отсутствие, когда он был в командировке. Но дело было не столько в этом, сколько в самом содержании «заметок».

— Сами же себя высекли! — почти кричал он, врываясь в кабинет Буркова.— Давно ли с верных политических позиций мы статьей профессора Рогожина утверждали необходимость острейшей борьбы с этой буржуазной идеалистической ересью, со всякими там генами-разгенами, морганами и дрозофилами? А теперь? Теперь, видите ли, наш ученейший сотрудник ниспровергает все эти правильные взгляды и берет под защиту — кого? — отъявленного морганиста Петрова, подпевающего всяким там гладстонам!

— Ты успокойся, Николай Петрович,— Бурков подергал плечом.— Выпей вон водички, пользительная штука... У тебя, я вижу, большая убежденность, своя крепкая позиция. Страницы газеты для тебя ведь тоже не закрыты — ответь Перевалову. Полемизируй.

— Тут не полемизировать надо, а бить. С маху бить!

Кислицын и верно, что с маху,— брякнул на стол редактора стопку брошюр и книг, которые все как одна яростно ополчались на вейсманистско-морганистское учение, на хромосомную теорию наследственности, на буржуазный идеализм.

— Прошу полюбоваться! — кипел Кислицын.— Имена-то какие! Профессор, академик... А вот еще могу представить — Лев Николаевич Толстой. Как зло и верно насмехается он над бездарными потугами духовных предков вашего Петрова! Ты только послушай, это из его статьи «О назначении науки и искусства», писанной еще на заре этого самого менделизма.

Он прочел с выражением, как актер:

«Ботаники нашли клеточку, и в клеточках-то протоплазму, а в протоплазме еще что-то, и в этой штуч-

ке еще что-то. Занятия эти, очевидно, долго не кончатся, потому что им, очевидно, и конца быть не может, и потому ученым некогда заняться тем, что нужно людям. И потому опять, со времен египетской древности и еврейской, когда уже была выведена и пшеница, и чечевица, до нашего времени не прибавилось для пищи народа ни одного растения, кроме картофеля, и то приобретенного не наукой».

— Каково, а?! — хвастливо воскликнул Кислицын.

— Что «каково»? — невозмутимо поинтересовался Бурков.

— Очень подходящая, я считаю, цитатка. В корень старик смотрел. Мудрый был человек.

Бурков покривил губы в усмешке:

— Чуды-юды вы, цитатчики. Лев Николаевич, к примеру, не признавал Шекспира — значит, и ты не будешь признавать? Академик Павлов посещал церковь — и ты будешь посещать? Ко всяким авторитетам надо со своим умом подходить.

— У нас есть коллективный ум — партия!

— Во-первых, партия коммунистов никогда и никакую научную теорию огульно не отвергала, не этому, брат, учил нас Ленин. Во-вторых, коллективный ум партии состоит из умов индивидуальных, и, коли таковые имеются, надобно использовать их по прямому назначению: думать надобно.— Юрий Борисович начинал сердиться.

— Но ведь грязная эта пачкотня,— не унимался Кислицын,— составлена еще и потому, что жена Перевалова работает у Петрова. Миленькие родственные отношения. Я еще когда предупреждал!..

Бурков дернул плечом сильнее обычного, насупил лохматые брови.

— Никакой грязной пачкотни я в печать не подписывал. А насчет того, что жена, так с каких пор, если уж на то пошло, родственники не имеют права на одинаковые взгляды? Мы знаем великолепные семьи ученых. У всех у них «одинаковые взгляды». Чего же тут преступного?

— Взгляды бывают разные, наши и не наши... В общем, Юрий Борисович, я как секретарь парторганизации этого дела так не оставлю, обещаю твердо.

— Что ж, разбирайся...

Под вечер, закрывшись в своем кабинете, Николай Петрович вел долгую беседу с Гладиловым, знакомясь с его «козырями», а потом прямо из редакции направился к профессору Рогожину.

Леонид Александрович и впрямь чувствовал себя плохо. Раз по десять в день приходилось ему бросать в рот таблеточки нитроглицерина. Но не столько физическая боль мучила его сердце, сколько боль душевная. Демонстративная выходка Владлена и уход его из дома не давали Рогожину покоя.

Год за годом, месяц за месяцем перебирал он жизнь сына и свои взаимоотношения с ним. Еще гневаясь на него, еще пытаясь найти какие-то оправдания для себя, он все больше начинал понимать, как неправильно складывались эти отношения и кто в этом был главным виновником. А от этих мыслей не было уже заметного рубежа для перехода к размышлениям о собственной жизни, о своих деяниях, поступках и характере быта. Было жалко себя и свою жизнь, горечь мутила его, ноги слабели, и сердце снова и снова тискала и стягивала боль, уже физическая.

Анна Семеновна в кабинет не заходила. Лишь изредка, чуть приоткрыв дверь, она поглядывала на мужа испуганными глазами и трепетно осведомлялась, не нужно ли ему чего-нибудь. Газету со статьей Перевалова она ему не показала. И Кислицына пыталась к мужу не допустить, но не таков был Николай Петрович, чтобы какая-то баба смогла преградить ему дорогу.

— Киснем, дорогой? — задорно и зло сказал он, распахивая дверь.— Фу, да у тебя тут вонь, как в аптеке. Хоть бы окно, что ли, открыл.— И сам толкнул створки рамы.— Что, брат, занемог?

— Паршиво, знаешь... Давит сердце, жмет,— поморщился Леонид Александрович, не вставая с дивана.

— Что жмет и давит, это понятно,— ухмыльнулся Кислицын.— Да ведь толк-то от этого только твоим противникам. Плюнуть надо на сердце и — драться. Драться, дорогой, надо, шашку наголо!

— А что уж там драться-то? Владлен теперь отрезанный ломоть. Все рухнуло.

— Э-э... ты вон про что! — Кислицын презрительно сощурил на него свой единственный глаз.— Это еще

все образуется, Леонид, мелочь это. Я ведь тебе о сегодняшней статье.

— О какой статье?

— Да ты что, почту не получаешь? В нашей газете статья. Тебя же обухом по голове...

Леонид Александрович ошарашенно посмотрел на Кислицына, попытался встать, снова плюхнулся и дико закричал:

— Нюра!!

Она прибежала тотчас.

— Где газеты? — отрывисто, сквозь сжатые зубы спросил Рогожин.

Анна Семеновна все поняла. Через полминуты она принесла нужный номер. Выходя, приостановилась возле Кислицына:

— Ведь не хотела вас впускать... Что вы с ним только делаете?!

— Благо ему делаю, благо,— смиренно ответствовал Николай Петрович.

К его удивлению, Рогожин прочитал статью спокойно. Сложил газету, снял очки и устало потер глаза.

— Ну-с, каково? — опять, теперь настороженно, прищурился Кислицын.

— Что ж,— сказал Леонид Александрович,— подобного можно было ожидать. Такое время. И наука не стоит на месте, и общественное мнение не законсервировано.

— Да ты в своем уме?!

— Помаленьку начинаю приходить в ум.

Кислицын смотрел на него как на сумасшедшего. Потом встряхнулся.

— Слушай, это у тебя какой-то шок. Возьми себя в руки, дорогой. Ведь так недолго погубить все — карьеру, благополучие, наконец, самое важное — дело. Тебе завтра же надо выйти на работу и немедленно ответить Перевалову разгромной статьей. Обком тебя поддержит, я разговаривал с Федюниным.

— Нет уж, уволь. Со статьей, если вам угодно, пусть вылезает... какой-нибудь Гладилов. Есть у меня такой помощничек, ваш автор. А я — нет, уволь...

Кислицын медленно и грозно наклонил голову, хищно посверкивая своим глазом, потом круто повернулся и, не прощаясь, вышел.

32.

В субботу Андрей договорился с Белкиным, что в понедельник на работу запоздает — приедет из Лесного с институтской машиной.

Летняя дорога на биостанцию была куда хуже зимника, вся в колдобинах и рытвинах, зато лохматое зеленое буйство вокруг вполне окупало эти неудобства. Хмельной бодрящий аромат, врываясь в машину, перебивал угарный запах бензина, пьянил и будоражил. Озеро нежданно сверкнуло блестящей голубизной; солнце клонилось к закату и напоследок плавило водную гладь.

Таня с двумя парнями хлопотала на кухне, под утлым скороспелым навесиком, готовя ужин на всю петровскую братию. Питались в Лесном из общего котла, по очереди дежуря на «пищеблоке». Тут же вертелся Володька, деловито собирая и подтаскивая к очагу щепки.

— Папка! — первый закричал он.

— Андрюша, молодец какой, приехал! — Раскрасневшаяся у огня Таня вприпрыжку побежала навстречу.

Ужинали всем гуртом, весело балагуря, а потом долго сидели у большого костра, пели песни и рассказывали всяческие байки. Чуть слышно роптали в прибрежных камнях озерные волны.

— Завтра утречком на лодке поедем. Хочешь? — Таня мягко привалилась к плечу Андрея.

— Поедем,— кивнул он и притянул к себе Володьку.

С другой стороны костра на них посматривала Мария. Андрей не знал, что она здесь. Марии что-то говорил Грин, она кивала рассеянно.

Большинство сотрудников лаборатории обитало в палатках. Тане, из-за Володьки, дали комнату в коттедже, она жила в ней с Пашей. На эту ночь Пашенька смоталась в неизвестном направлении и, должно быть, была этому рада: Геннадий, шофер, имел отдельную палатку.

Андрей проснулся, когда все в домике были уже на ногах. Таня призналась, что жалко было его будить: очень уж сладко спал. А он не сказал ей, что, проснувшись среди ночи, долго не мог заснуть — все ду-

мал о возможных схватках с Кислицыным; об этом Таня еще ничего не знала.

Статью здесь уже все, конечно, прочли, но ничего Андрею не говорили, и он был доволен этим.

Только Хромосома официально и высокопарно сказал:

— Разрешите, Андрей Николаевич, пожать вашу руку.

— Отчего не пожать? — улыбнулся Андрей.— Жми.

Воскресенье оставалось воскресеньем; все, кому не лень было отдыхать, отдыхали на берегу озера. Виктор Сосновских затеял смешную возню с надувным матрасом. Он пообещал Леночке Берестовой, что встанет на матрасик обеими ногами... Ого! Не так-то это было просто: всякий раз надувное устройство вероломно уходило из-под ног. Марк Романович, загорая на прибрежной скале, долго и внимательно наблюдал за ухищрениями Виктора. Какая-то мысль осенила его, Грин вскочил и, подойдя к краю скалы, сиганул в воду. Несколько взмахов длинными руками — и он был уже рядом с Виктором. Не то спросил, не то констатировал:

— Не получается?

— А попробуйте сами.

— Тут и пробовать нечего! — фыркнул Грин и уцепился за матрас.— Смотрите, как это надо делать.

Резким рывком он оседлал надувной плотик, широко расставив ноги в стороны. Еще рывок — Грин встал на матрас на карачки, и, зловеще качнувшись, плотик тут же левым краем нырнул в воду.

Грин был упрям. Весь берег весело смеялся. Грин не вылезал из воды, штурмуя матрас, наверное, минут двадцать. В конце концов ему все же удалось — на секунду! — встать на плотик ногами, и победный крик слился с воплями и хохотом на берегу: вся лаборатория приветствовала подвиг Грина. Он вышел из воды посиневший, весь в пупырышках — сразу ему протянули с полдюжины полотенец. Он растерся, побегал и лег на солнцепеке. Усмехаясь, подошел и устроился рядом с ним Андрей.

— Забавляемся, Марк Романович?

— Тренируемся. Вот вы, хоть и спортсмен, наверняка не сумели бы. Как и Виктор.

— А зачем?

Грин взглянул почти сердито:

— А хотя бы ради волевого усилия.

Шутливого дружеского разговора не получилось.

Андрей и Таня брели по берегу. Луна, огромная и таинственная, высветила на озере широкую блестящую дорожку; прибрежный край дорожки неотступно полз по воде рядом с ними, словно приглашая ступить на него и шагать по сверкающей глади.

Пологая скала нависла над озером. С нее хорошо бы нырнуть, как Грин днем, однако было уже свежо. Таня предложила просто посидеть над водой.

Они уселись, прижавшись плечами друг к другу.

— Я бы поселилась тут навсегда,— сказала Таня.— А ты?

— А я, может, в сторожа сюда наймусь. Вместо Евстигнеича. Верно... Я не говорил тебе... У меня неприятности.— И он рассказал, что похоже, вокруг статьи начинается возня.

Она встревожилась:

— Неужели так серьезно?

— Кислицын сердится весьма. Выговор, наверное, схвачу.

— Ну и пусть, Андрюша. Подумаешь — выговор! Могут дать, могут и снять. А потом — у тебя есть я. Ведь верно?

Так по-родному, так проникновенно и ласково сказала она это, что у Андрея дрогнуло сердце.

«Если бы она знала...» — подумал он; ему сделалось зябко. Где-то по краю сознания, как чужая, чиркнула мысль: «Чтобы быть перед ней до конца чистым — рассказать». И тут же срикошетила в сердцевину мозга и взбунтовала его. «Почему рассказать — значит, стать до конца чистым? Вина останется виной, а Таня не воспримет наш с Марией обоюдный разрыв, она воспримет только связь, и это лишь оскорбит ее и унизит. Кто придумал, что покаяние — признак духовной силы? Святоши придумали. Чаще всего покаяние — признак слабости, желание переложить свою ответственность и мýку еще на чьи-то плечи, на чье-то сердце. И, в конце концов, это не только моя тайна — она принадлежит

и Марии. Я не был честным перед Таней, а сейчас чуть было не настроился предать еще и Марию?!.»

— Не надо, Андрюша, так переживать эти кислицынские дрязги.— Таня положила руку на его спину.— Да ты весь дрожишь! Замерз? Идем-ка домой.

Он покорно поднялся:

— Идем...

Утро пришло тихое и солнечное. День был рабочий, и завтракали дружно и быстро. Таня вышла из-за стола:

— Присмотри тут, чтобы Володька доел всю кашу, а я побежала. Держись молодцом. Пока!..

Вскоре все разошлись, исчез куда-то и Володька, Андрей остался один. Геннадий задерживался, обнаружив в машине какие-то неисправности. Андрей, неприкаянный, маялся под навесиком и курил папиросу за папиросой.

Вдруг у лаборатории забегали люди, возникла суетня, кто-то крикнул:

— На помощь!

Андрей бросился туда, вбежал в здание. Из подвального помещения, где за тяжелыми свинцовыми дверями располагалось хранилище радиоактивных веществ, по лестнице подымалась бледная, растерянно улыбающаяся Мария.

— Что случилось? — почти закричал Андрей.

Он взбежал наверх следом за ней. Через несколько минут уже все знали, что произошло.

Мария пошла в хранилище за стронцием-90. Доставать его полагалось в защитной одежде, в перчатках, прикрываясь подвижной перегородкой из специальных стекол. «Ну, она никогда этих правил не соблюдала, женщина лихая»,— сказала Леночка Берестова. «Чумовая»,— уточнила Паша. Стронций-90, находящийся в большой концентрации в воде, имеет паршивое свойство, соприкасаясь с воздухом, порой взрываться. Пробирку в руках Марии разнесло, часть радиоактивного заряда ударила в лицо.

— Да не беспокойтесь вы,— твердила она,— пустяки.

Прибежал из своего кабинета Василий Николаевич.

— Спирт сюда! — закричал он.— Полный стакан, живо! — И сам почти насильно влил его в рот Марии.

Потом ее пичкали версеном. От спирта Марию сморило, она отвалилась на спинку стула и упала бы, не придержи ее Паша.

Бестолково суетился среди столпившихся людей Евстигнеич. Бледная-бледная замерла Таня.

— Носилки надо! — вслух сообразил Андрей.

Сутулясь и хмуро взблескивая глазами, в комнату быстро вошел Грин, раздвинул всех длинными сильными руками и, подхватив обмякшее тело Марии, понес его вниз. Так, на руках, он донес ее до коттеджа, в котором жили Петровы...

Через полчаса Андрей уехал из Лесного.

33.

В редакцию пришло большое гневное письмо, в котором от имени коллектива Института биологии группа его сотрудников выражала возмущение статьей Перевалова и требовала наказать автора. Намекая, что он не имел морального права выступать в защиту Петрова, письмо говорило о нечистоплотности журналиста. Одной из первых стояла подпись Гладилова.

Ничего большего Кислицын и не желал: теперь партбюро просто обязано было разобраться в «деле Перевалова». Готовясь к предстоящему заседанию, Николай Петрович официально вызвал Андрея в свой кабинет для предварительной беседы и вел разговор круто, напирая не только на неверное толкование развития советской биологии, но и, особенно, на взаимоотношения Перевалова с семьей Петровых. Андрей дерзил, Кислицын взвинчивался все больше.

Дело, однако, затягивалось. Что-то Николай Петрович медлил,— может, ждал возвращения из Москвы Буркова: кто знает, с чем приедет шеф.

Андрею было тоскливо, он в эти дни жил глухо, уйдя в себя, и старался как можно больше работать: работа все же отвлекала...

Однажды утром, когда Андрей вошел в свою рабочую комнату, со стула навстречу ему поднялся важный толстенький человечек в старомодных очках на круглом, картошечкой, носу.

— Товарищ Перевалов? — одновременно вежливо и нагловато, этак вальяжно, спросил человечек и, пода-

вая короткопалую руку с давно не стриженными ногтями, представился: — Профессор Бабулькин.

— Ка-ак? — опешил Андрей.

— Бабулькин, Исидор Матвеевич, профессор.

Неужто это было наваждение?.. Нет, перед Андреем стоял живой и, судя по рукопожатию, довольно мускулистый человек.

— Чем могу служить? — еще растерянный, осведомился Андрей.

— Многим, товарищ Перевалов,— с готовностью улыбнулся посетитель и, усевшись, удобно устроил рядом с собой потрепанную, некогда велюровую шляпу.— Прежде всего, вы можете сослужить добрую службу удовлетворением естественного моего любопытства, которое проистекает не столько из личных побуждений, сколько из желания, познавая истину, использовать ее в целях просвещения, которое назначено нести нам в массы.

«Оборотик-то какой закатил! Определенно, это наш Бабулькин,— с почти мистическим восторгом подумал Андрей.— Но откуда он взялся?»

Профессор же тем временем продолжал:

— Некоторое время назад была опубликована в газете ваша, товарищ Перевалов, статья по вопросам, касающимся проблем, которые людей моего круга не могут не задевать. Должен вам сказать, что по основной своей профессии я ветеринар, заведую в сельхозинституте соответствующей кафедрой, и, вполне естественно, вопросы генетики не только витают повседневно над моей головой, но и встают в виде практических разговоров с учащейся молодежью и преподавательским...

— Что же конкретно хотели бы вы от меня? — перебил Андрей, постепенно приходя в себя.

— Уточнений, дорогой товарищ Перевалов, уточнений. Пресса наша — великое и, как говорится, острое оружие партии, все мы прекрасно знаем ее силу, и слово нашей прессы — всегда верное слово. Смутили меня, однако, эти словечки, набранные мелким шрифтом,— тут Бабулькин вытащил из пузатого портфеля газету, развернул ее и потыкал ногтем в подчеркнутые слова: — «Полемические заметки». Хотелось бы понять: указание вы такое получили начать полеми-

ку? Откуда указание и, если это не очень уж большой государственный секрет, чем, по вашему мнению, может закончиться эта полемика, если она будет развернута на страницах печати?

— Уф-ф! —сказал Андрей.— Умеете же вы городить. Никаких указаний я не получал, просто высказал то, что думаю.

— То есть как? Свои личные мысли?

— Вот именно.

Исидор Матвеевич похмыкал, начал сворачивать принесенную газету, но тут же развернул ее снова, решив, видимо, любопытство свое удовлетворить до конца.

— Но ведь вы же, как я понимаю, постоянный сотрудник газеты и даже, как я слышал, заведуете в редакции отделом культуры. Не означает ли, что словечко «полемические» вписано, так сказать, для пущего задора, а на деле статья выражает официальное мнение тех организаций, печатным органом которых служит ваша газета?

— Не пойму я,товарищ Бабулькин, чего же все-таки вы от меня хотите? Сказать, что статья моя есть директивное указание?

— Вот-вот. Именно такой ясности и хотелось бы мне, дорогой товарищ Перевалов... не знаю, как по имени-отчеству.

— Нет, это вовсе не директивное указание. И вообще никакое не указание. Просто, повторяю, мои частные мысли о положении в биологии.

— Частные... Хм. Странно... И как-нибудь реагировали на ваши соображения вышестоящие организации?

— Пока нет.

— Жаль. Очень жаль, что приходится остаться в неведении касательно вопросов, задетых вами в этой интересной, но, может быть, и несколько спорной статье. И сам редактор — как вы считаете? — не смог бы пролить ясность, дабы все же можно было в суждениях иметь некоторую определенность.

— Нет. Не сможет. Он отсутствует,— Бабулькин уже явно раздражал Андрея, и Андрей не удержался, спросил не без нахальства: — А свои-то суждения, товарищ профессор, у вас есть?

— А как же! — с достоинством ответил Бабулькин и, надев шляпу, снова начал складывать газету.— Вот уже четверть века занимаюсь я наукой, и, если бы суждения мои не были верны, в моем лице не нашли бы вы профессора и доктора наук. Имеются суждения, молодой человек, и, осмелюсь доложить, твердые, характера вовсе не полемического.

— Это заметно,— едко сказал Андрей.

— Извините за излишнее, видимо, беспокойство и позвольте откланяться.— Бабулькин приподнял велюр над головой и просеменил к выходу.

Сердитость у Андрея сразу прошла, ему сделалось смешно. «Рассказать бы Марии»,— подумал он и тут же спохватился: «Даже не позвонил в институт. Как она там?»

Заглянул Белкин, сказал, что через час надо выезжать в Норск.

— Мне туда на партконференцию, а ты побываешь на премьере в театре. Говорят, интересный спектакль, стоит подумать о рецензии.

— Выходит, на машине?

— Люблю сообразительных людей,— усмехнулся Степан Васильевич...

Неожиданно позвонила Таня и сказала, что приехала домой взять кое-какие записи.

— Надолго, Танюха?

— Скоро за мной заедут.

— Ох, а я еду с Белкиным в Норск. Ну ладно, по дороге обязательно заскочу домой. Ты дождись. Хочется повидаться!

— Ну торопись...

У дома Переваловых выходить из автомобиля Степан Васильевич не стал:

— Ты побыстрее, всякие там шуры-муры отложи.

Андрей открыл входную дверь ключом и замер на пороге. Из комнаты доносился громкий, гневный голос Тани:

— ...Может быть, вы заглядывали в его постель? Откуда у вас эти грязные сведения?.. Слушать вас я не желаю! — Она почти кричала.— Запомните, что Андрей Николаевич мой муж, а не ваш, и со своими сплетнями идите куда-нибудь подальше. Как можно дальше, Гладилов! И не вздумайте когда-нибудь мне

поклониться. Я оскорблю вас публично. А теперь — пожалуйста, вон!

Красный, взопрелый, выскочил в коридор Гладилов. Он совсем не похож был на себя, всегда такой безупречно-дендистый. Заметив Андрея, Петр Анатольевич шарахнулся в сторону, инстинктивно вскинув руку, как для защиты от удара, потом шмыгнул в дверь и дробно застучал по ступеням вниз.

Таня стояла посреди комнаты, еще не отдышавшись.

— Ты слышал? — спросила она, не глядя на вошедшего Андрея.

— Только твои слова... последние.

— Он приходил сообщить, что ты мне с кем-то изменяешь.— Она помолчала, по-прежнему не глядя на Андрея, потом порывисто шагнула к нему, схватила за руки.— Андрюша, скажи... Я не хочу знать ни имени, ни звания этой женщины, но скажи мне, только не лги,— это правда?

Белыми сведенными губами он выговорил:

— Это правда. Только... это уже прошлое.

Она отпустила его руки и застыла каменно, даже не дышала. Широко раскрытые ее глаза были неподвижны. Потом она стала выговаривать одно и то же слово:

— Подожди... Подожди... Подожди...

Андрею в эти минуты хотелось умереть.

Наконец она шевельнулась, ладонью провела по лбу и отошла к окну. Там она долго стояла, не слыша, как отчаянно сигналит пришедшая за ней машина.

— Ну ладно,— сказала она, склоняя голову.— Об этом поговорим после. А лучше, пожалуй, вообще не говорить. Если ты меня еще любишь... Что это? Гудят? Видимо, за мной.— Она выглянула в окно: во дворе стояла институтская машина.

— В Норск ты надолго?

— Завтра вернусь.

— Хорошо. Идем. Торопят.

Они вышли вместе и сразу разошлись каждый к своей машине.

Белкин внимательно посмотрел на омертвевшее, сразу осунувшееся лицо Андрея, но ничего не сказал, только спросил:

— Это не Гладилов выскочил из вашего подъезда?

Андрей покивал.

Степан Васильевич не стал больше ни о чем расспрашивать, хотя ему одному Андрей, наверное, мог бы все рассказать.

Шоссе было хорошо знакомо Перевалову: это было *то самое* шоссе. Чтобы отвлечься, он спросил у Степана Васильевича:

— Что Кислицын тянет со мной?

— По-моему, он хочет разом разделаться и с тобой, и с Петровым. Чего-то ждет. Может быть, надеется, что Буркова заберут преподавать в Высшую партийную школу,— об этом ходили разговоры. Тогда вот Николай Петрович разгуляется. Но ты голову не вешай. Я думаю, обойдется.

— Угу,— сказал Андрей и надолго замолчал.

Они дружно курили, и Вася, не любивший табачного дыма, лицом и фигурой своей выражая недовольство, гнал машину на пределе.

— Этак ты сегодня к вечеру в Москву можешь поспеть,— осторожно улыбнулся Белкин: он побаивался столь быстрой езды, хотя признаваться в этом не хотел.

— А что, если время есть, может, свернем на полчаса в лесочек, подышим? — сказал Вася.

Белкин взглянул на часы.

— Вполне можем подышать.

Они съехали с асфальта на проселок, и неторная, еще в пучках травы дорога, вертлявым вьюном бежавшая по сосняку, скоро выворотила на опушку, поросшую молодыми курчавыми березками.

— Недели через две маслят здесь будет — не соберешь,— с удовольствием сказал Белкин.

Впереди, метрах в двухстах, поблескивала река. Кто же не захочет в жаркую пору припасть к воде? Вася, свернув с дороги, прямиком через ярко-зеленый луг направил туда машину.

Следом из леса выкатился длинный и блестящий черный лимузин. Он остановился рядом. Из него вышли двое мужчин и две женщины. Одна из них была Мария Петрова.

Высокий и худой, хмурого вида мужчина посматривал на журналистов весьма неодобрительно и, похоже,

намеревался сказать им нечто строгое. Однако второй, коренастый, открытолицый, со значком депутата Верховного Совета опередил его:

— Товарищ Белкин! Ты что тут делаешь?

— О, Иван Аристархович! Да вот заехали в твои владения, передохнуть с полчасика.

Мария подошла и поздоровалась.

— Ты что,— чувствуя, как неровно бьется сердце, спросил Андрей,— уже оправилась?

— А! Пустяки. У меня подобное уже бывало.

Сверкал, дробясь в волнешках, яркий солнечный свет на реке. Привольная и с виду ласковая струилась вода, звала к себе, в мягкую мертвящую прохладу. Тихо лопотала что-то листва выбежавших на бережок березок. Широкое вольное небо отечески прикрывало мир. Было тихо. Вдруг на опушке заверещали сороки, зловеще каркнула ворона.

Андрей поднял глаза на Марию. Она все смотрела на воду. Ему было тревожно и горько.

Мария надела темные очки и повернулась к Андрею:

— Ну, как твои дела?

Он понял, о чем она спрашивала,— видимо, знала о неприятностях в редакции, но спрашивала не о них — о семье.

— Нормально,— неохотно и невнятно ответил Андрей.

— У меня тоже... нормально.

Андрей ждал, что еще она скажет. Она сказала:

— Не хочу быть неприкаянной, не хочу быть раздвоенной. Извини, что возвращаюсь к старому. Наша с тобой... дружба была ненужной. Не оттого, что ты от меня отказался,— оттого, что не отказался сразу. У тебя тоже не хватило цельности.— Она помолчала и добавила, пожалуй, уже только для себя: — Ничего, всерьез займусь работой, все-таки — польза.

Андрей не знал, что сказать, и сказал банальное:

— Желаю успехов.

— Ну-ну,— усмехнулась Мария.

Вася деликатно гуднул клаксоном: время было ехать дальше.

— Мне пора,— сказал Андрей.— До свиданья.

Она покивала ему...

34.

На повестке дня заседания партбюро стоял один вопрос — письмо сотрудников Института биологии по поводу статьи коммуниста А. Н. Перевалова.

Собрались в редакторском кабинете. За этот год он преобразился. Исчезла тяжелая мебель, легкие книжные стеллажи выстроились вместо громоздких шкафов. И хотя на столе у стенки по-прежнему валялись в беспорядке гранки, строкомеры и ножницы, на нем теперь стоял изящный чешского стекла сосуд, и не хватало только цветка, чтобы весь кабинет озарился по-новому.

Где-то задерживался Кислицын. Он пришел с Федюниным. Игнатий Федотович поздоровался, сел в кресло перед редакторским столом и внимательно, сощурившись, оглядел собравшихся. Бурков сидел в уголке — стол свой на этот раз уступил Кислицыну,— подергивал плечом и, насупясь, листал какую-то книгу, изредка делая в ней пометки своим любимым красным карандашом.

Андрей устроился в противоположном по диагонали углу, возле несгораемого шкафа; стенка его приятно холодила. Из этого уголка можно было видеть всех членов партбюро, только Андрей не видел: не смотрел, опустив голову и разминая пальцы. Рядом сел Белкин, легонько пожал локоть,— дескать, держись, парень! Андрей слабо улыбнулся.

Кислицын начал заседание. Зачитав письмо, комментировал его. Говорил медленно, но веско, и, чувствуя себя деятелем прежде всего политическим, каждый факт использовал для обобщений, правда, несколько туманных и, однако, резких, острых; впрочем, вместо «однако» здесь, пожалуй, уместнее было бы слово «потому». Охарактеризовав деятельность Петрова и дважды помянув, что в свое время в официальных материалах этот деятель, подозрительно связанный с зарубежными кругами, недаром был поименован «врагом советской науки», он перешел к Перевалову, его статье и к взаимоотношениям с семьей Петровых.

Андрей все ждал, что Кислицын скажет о его связи с Марией, и боялся этого. Боялся не за себя — мерзко

будет, если ее имя втопчут в грязь. А сделать это Николай Петрович сумеет.

Однако Кислицын варьировал лишь семейные отношения: муж — жена, племянница — дядя, дядя с Гладстоном — Перевалов. Выходило, что Андрей позволил втянуть себя в какую-то преступную махинацию и, оказавшись в группе воинствующих противников советской мичуринской науки, использовал свое служебное положение. Федюнин согласно и одобрительно кивал.

Кислицын кончил. Было душно. Раскрыли окна. Потом, как водится, задавали вопросы. Было несколько несущественных Кислицыну — в основном о проверке изложенных фактов, а потом и Андрею.

Валентин Блюдцев из отдела писем, теребя на груди тонкий крученый галстучек, спросил, насколько товарищ Перевалов убежденно и искренне изложил все то, что содержится в его статье. Андрей, сердясь, ответил, что изложил все искренне и убежденно.

Потом его спросили, как же это так, имея в Институте биологии столько родственников, он счел возможным выступать на тему, связанную не только с биологией, но и с деятельностью этого института. Андрей сказал, что, если бы его родственники работали плохо или вели себя недостойно, он бы не постеснялся раскритиковать их. Но почему он должен стесняться, если его партийная совесть подсказывает, что они правы? Вообще, сказал он, старые представления о так называемых семейных или родственных отношениях в социалистическом обществе надо менять.

— С профессором-то Гладстоном, этим злостным антисоветчиком, у дяди своего, профессора Петрова, водку пил? — грубовато спросил Федюнин.

Андрею хотелось ответить дерзко, однако, смекнул он, ведь по существу спрашивающий прав: Гладстон оказался антисоветчиком, а Петров Перевалову, пусть только по жене, дядя, — и, сжимая зубы, он буркнул:

— Пил.

— Ясно,— сказал Федюнин.— Ответом удовлетворен.

Нехорошее молчание заклубилось в комнате.

— Вот что, товарищ Перевалов,— нарушил его Бурков и тихонько, неловко покашлял,— скажи нам,

как это получилось у тебя... ну да и у всех нас. Тебе в свое время поручили разобраться с Институтом биологии. За науку в газете отвечаешь ты. Весьма оперативно была подготовлена статья профессора Рогожина. А вот теперь ты повернулся на сто восемьдесят градусов. Объясни товарищам, да и мне, как это у тебя получилось.

Кислицын глянул на Буркова с удивлением: что это — старый хочет уйти в сторонку? Будто он и не подписывал в печать статью Перевалова!..

Бурков ждал ответа. Этот человек не любил говорить с подчиненными на «ты». Но на партийных заседаниях он поступал именно так. И в этой привычке старого коммуниста было что-то особое, волнующее,— веяло от нее традициями сурового товарищества партии, тем равноправием единомышленников, при котором невозможны ни поблажки, себе или другу, ни преувеличение вины недруга. Это была не фамильярность: это было «ты» гражданственное, больше — коммунистическое.

Юрий Борисович смотрел на Перевалова, приподняв седую свою голову, смотрел строго, но не зло — ждал ответа. Андрей глянул ему в глаза, потом повел взгляд по другим членам партбюро. Эти люди тоже ждали ответа. Эти люди тоже были его товарищами по партии. Тут не так уж важно было, что работали они вместе, случалось, стреляли друг у друга трешки или папиросы, балагурили или спорили,— важно было, было главное, что они — его партийные товарищи.

В людях этих он ощутил нечто такое родное, единокровное, что понял: им, олицетворяющим сейчас для него партию, он не только не должен — не сможет сфальшивить ни в чем.

— Попробую ответить,— сказал Андрей и только тут сообразил, какие козыри дает Бурков в руки ему, Перевалову.

— Отвечу,— повторил Андрей.— Скажу сразу: я как заведующий отделом культуры занимался научными учреждениями мало и плохо. Тут моя вина. Но не только в этом дело: необъятное объять нельзя. Дело в методологии подхода журналиста, газетчика к научным проблемам. Часто мы освещаем их предвзято, со стереотипной точки зрения, с шорами на глазах. От-

чего так легко, я бы сказал — бездумно, подготовил я к печати статью профессора Рогожина? Оттого, что она вполне соответствовала моим школьным, вернее — школярским, понятиям, представлениям о биологии.— Он хотел тут напомнить о грубом вмешательстве Кислицына, о его правке статьи, но отбросил эту мысль: обвинение прозвучало бы мелко, и не в Кислицыне дело.— Своего суждения я не имел, оценить статью самостоятельно не мог. Самостоятельность суждений приходит от знания. А знания я накапливал непростительно робко, не хватало у меня культуры.

— Крутишь, Перевалов! — выкрикнул Кислицын.— Ты же, брат, университет кончал. Нечего мальчиком прикидываться.

Андрей сердито соткнул рыжие щетки бровей:

— Если бы прикидывался, я бы как раз на университет все и свалил. А университет в лености моей не виноват. Наука не стоит на месте — я обязан был разобраться в ходе ее движения, тем паче, что мне ведь, в общем-то, было известно о спорах в биологии и мне поручено было в этом разобраться... Но ладно, дальше — чтобы все было понятно. Тут говорили о родственных связях. Они ни при чем. Вернее, при чем: они только помогли мне лучше разобраться в деле... Нельзя так обращаться с учеными! — почти крикнул он.— Будь мне Петров личным врагом — я бы все равно написал то же. Просто после статьи Рогожина у меня появились сомнения. Я задумался над судьбой науки и ученых. И попытался разобраться, пусть с запозданием. Копался я долго и тщательно. Ну вот и результат — статья... Здесь, перед товарищами по партии, я скажу: уверен в правоте этой статьи и за эту правоту буду биться! — Он сконфузился той страстности, с которой произнес эту фразу, и закончил: — Вот так это получилось, товарищ Бурков, что я повернулся на сто восемьдесят градусов.

Андрей сел — ноги мозжило.

— Я скажу? — Ефим Семенович Косарик взбил шевелюру. Говорил он долго, сначала — об обязанности коммунистов всячески помогать государству в решении проблем, стоящих перед сельским хозяйством. Дальше с удивительной для него логичностью Ефим Семенович заговорил о положении в сельскохозяйственной

науке, но таким образом, что непонятно было, кто, по его мнению, виноват, в провалах и упущениях сей науки — не то мичуринцы, не то их противники, не то Андрей Перевалов.

— Дайте, Николай Петрович, я тоже скажу.— Иван Песков из промышленного отдела, несменяемый член партбюро, крупный лобастый мужик, сердито хмурился.— Постараюсь коротко: краткость, сформулировал Чехов, сестра таланта. Перевалов нам известен как эмоциональный, серьезный и добросовестный журналист. Скажу откровенно: эти его «полемические заметки» меня порадовали. Я далек от глубокого понимания существа разногласий в биологии, и в частности в генетике, но хорошо, что наш товарищ загорелся, изучил вопрос и честно, пусть и спорно, высказал свое мнение на страницах газеты. В чем же его винить? Спасибо надо сказать Андрею Николаевичу... Ну как — получилось коротко? — Песков теперь улыбался.

Федюнин смотрел на Кислицына укоризненно: дескать, не очень-то серьезные кадры ты воспитываешь.

Слово взял Валя Блюдцев. Парень нервный и несколько анемичный, он то бледнел, то краснел и говорил горячо и сбивчиво. Если мысли, высказанные Переваловым в статье, сказал Валя, неправильны, то этот его грех должны разделить и руководители газеты. Однако поскольку он, Блюдцев, старается следить за научно-популярной литературой, поскольку он чувствует, что в научных кругах действительно идет подспудно серьезная и, может быть, неравная борьба, сталкиваются какие-то противоречия, а если так — долг советского журналиста способствовать преодолению этих противоречий.

Заключительные слова горячей речи Вали Блюдцева подхватила Тамара Павловна Жженова, заведующая отделом объявлений.

— Противоречия?!— почти крикнула она, вскочив с места.— Какие это противоречия, товарищ Блюдцев, нашли вы в едином монолите советской науки? Если куча отщепенцев-морганистов пытается внести какую-то путаницу в... это... ну — в общем... так вы это называете противоречиями?! Им надо было дать по рукам, этим морганистам, и общественность ждала от газеты принципиального, политически верного выступления.

Редактура доверилась авторитету заведующего отделом культуры товарища Перевалова, а товарищ Перевалов ее доверия не оправдал и подвел редакцию!..

Андрей слушал их всех, казалось, очень внимательно, слова врезались в него так, будто на каждое из них давил матричный пресс. И все же Андрей не находил пока что в выступлениях товарищей то главное, что помогло бы ему взглянуть на себя со стороны. Со стороны не получалось, а изнутри было смутно.

Впрочем, для себя он решил, что будет держаться твердо и бескомпромиссно. Хватит компромиссов, хватит увиливать от трудностей! Если он начал борьбу, выступив с этой статьей, надо быть бойцом, отстаивая свою правоту и правоту тех, за кого он вступился.

— Разрешите пару слов мне,— сказал Федюнин.

Это была речь. Начал Игнатий Федотович с общих положений об идеологической борьбе и сказал, что журналисты в этой борьбе выдвинуты партией на передовую линию, затем обрушился на Перевалова. Статью его он назвал уродливым идеалистическим вывертом в пользу справедливо распятого советскими учеными вейсманизма-морганизма.

— Но это же общие слова! — не выдержал Андрей.— Вы можете привести хоть один научный аргумент против классической генетики, которую отвергаете столь легко и шаблонно?

Кислицын постучал карандашом по графину с водой.

— Видите?— победно усмехнулся Федюнин.— Нервишки-то, оказывается, у товарища Перевалова тонковаты, критика, оказывается, ему не нравится.

Он еще раз усмехнулся и продолжал речь. В ней фигурировали и подозрительное поведение профессора Петрова, бросающее тень на самого Перевалова, и беспринципная семейственность, и низкий политический уровень статьи Перевалова, а финал речи заставил сердце Андрея сжаться от физической боли: Федюнин сказал, что таким журналистам в кавычках не место в советской прессе.

Было душно.

— И дымокурят, и дымокурят! — раздраженно сказала Тамара Павловна.

— Никотин успокаивает нервы,— утешил ее кто-то.

В дверь просунулась голова Петровны. «Письмо вот»,— сказала она и, протопав до редактора, передала ему конверт. Он глянул на него и протянул Кислицыну. Это было официальное заявление в партбюро редакции от члена партии с 1929 года, директора Института биологии профессора Рогожина Леонида Александровича.

«Мне стало известно,— писал Рогожин,— что группа сотрудников нашего Института обратилась в редакцию по поводу статьи тов. А. Перевалова. Я 35 лет состою в партии, всю свою научную деятельность посвятил мичуринской биологии и потому полагаю, что имею право, хотя бы заочно, изложить свою точку зрения на «полемические заметки» названного журналиста.

Многое в этих «заметках» расходится с моими, годами выношенными убеждениями, но все это — для специального и подробного разговора в кругу ученых. А в этом коротком письме я считаю партийным долгом заявить, что тов. А. Перевалов и газета, напечатавшая его статью, совершили дело нужное и полезное. К этому выводу привели меня длительные размышления о нынешнем положении в биологической науке. Противоречий и темных мест накопилось в ней много, полемика нужна, ибо нужна ясность».

— Ну и так далее,— сказал Кислицын и отложил лист в сторону.

Бурков сразу же взял его, пробежал глазами.

Подергивая плечом, поднялся. Зачем-то он ощупал подбородок и огладил верхнюю губу, словно там были усы.

— После письма профессора Рогожина,— начал он,— можно было бы и не говорить — хорошее письмо, но все-таки давайте внесем ясность. Кислицын прав: с Петровым надо разобраться окончательно. Пора! Потому газета и выступила со статьей Перевалова — я считаю, статьей правильной и своевременной. Я ее подписал в печать и могу подписать вновь. На меня, когда я Перевалову задал свой вопрос, кое-кто поглядывал с подозрением: не хочет ли Бурков увильнуть в сторонку. Нет, Бурков этого не хочет. Бурков и от вражеских шашек не увиливал... Рубал!..— Помолчал старик, волнуясь.— А задавал я свой вопрос товарищу Перевалову для того, чтобы все вы услышали более

или менее толковое объяснение автора статьи. Он, как сумел, объяснил — тем, кто не понимает... Но вот теперь я хочу сказать о нем. Меня не очень пугают так называемые семейные связи в делах общественных. Но ты, товарищ Перевалов, переборщил. Связи-то оказались ветвистыми. Пойми — ты будешь излагать превосходные истины, но, если у тебя на совести хоть пятнышко, каждый может бросить в тебя камень. Ты понял это, Перевалов?

— Я понял,— трудно сглатывая слюну, выговорил Андрей. А сам подумал: «Если бы он знал еще про Марию!..»

Дали последнее слово Перевалову.

Андрей волновался. Он сказал, что понял свою вину перед коллективом, понял, что в сложившейся ситуации не должен был браться за перо сам. Но в то же время он по-прежнему убежден, что статья его правильная и редакция должна за эту правильность бороться — ради успехов советской науки.

— Вот режьте меня,— неожиданно улыбнувшись, сказал он,— я от этого не отступлю!..

— Ну-с, какое решение будем принимать, товарищи? — поднялся Кислицын.— Есть предложение: Перевалову объявить строгий выговор.

— Правильно,— жестко сказала Жженова.

— Позвольте, а за что? — привстал Песков.

— Все еще не ясно? — желчно бросил Федюнин.

— Конечно, не ясно,— усмехнулся Белкин.— Вовсе не за что объявлять взыскание. Никакое!

Поднялся шум.

— Довольно! — прикрикнул Бурков, и сразу стало ясно, что не только в кабинетах привык пользоваться своим голосом старик.— Зачем базарить? Или начнем заседание заново? Обсудили, хватит. Есть два предложения — надо голосовать.

Проголосовали. Предложение Кислицына получило лишь два голоса — его и Жженовой. Федюнин возмущенно крутил головой...

Андрей поднялся и пошел к выходу. В коридоре кто-то ухватил его за руку. Это была Таня. Откуда она, милая, взялась?..

— Все хорошо, Таня, все правильно,— севшим голосом устало сказал Андрей.

— Ну, поехали скорее домой. Я хоть покормлю тебя. Потом расскажешь...

Обгоняя их, Белкин поздоровался с Таней и одобряюще, дружески тронул Андрея за плечо. Теплое благодарное чувство залило Андрея.

Мимо прошел Кислицын, встревоженно и чуть растерянно косясь своим единственным глазом на шагающего рядом Федюнина. Игнатий Федотович хмурился. Он понимал, что потерпел поражение. Ему хотелось дать еще один бой, свирепый, разносный, и уже не одному Перевалову...

35.

Перевалова вызвал первый секретарь обкома. Не ожидая от встречи ничего хорошего для себя, Андрей в назначенное время был в кабинете Лебедева. Неспешно, несколько напряженно шагая по широкой ковровой дорожке от двери к столу, внутренне весь подобравшись, он с настороженным любопытством всматривался в руководителя областной партийной организации.

А тот всматривался в него.

Пригласив Перевалова сесть, Владимир Фомич отодвинул от себя какую-то бумагу, еще раз пристально прищурился на посетителя и спросил:

— Это вы занимались Институтом биологии?

— Занимался... Впрочем, занимались в связи с этим и мной.

Лебедев помолчал, словно бы оценивал ответ.

— Ну вот что,— сказал он.— Расскажите-ка мне все, что связано с вашей статьей о биологии. При этом можете учесть, что статью я читал. О заседании партбюро тоже знаю. Мне важны ваши частные, если можно так сказать, личные впечатления, ваше мнение, в чем-то, может быть, недосказанное в газете. На подробности не скупитесь, но чем короче, тем лучше.

Тут же заглянул помощник секретаря и, предупредив: «Москва», назвал какую-то фамилию.

— Извините,— сказал Перевалову Владимир Фомич и снял трубку.— Слушаю... Да-да... А как же!.. Нет, простите, с этим мы согласиться не можем... Что?.. А вот пусть министерство и расхлебывает. Мы терять

на этом четыре миллиона рубликов не хотим и не имеем права. А кроме того, не забывайте: полторы тысячи рабочих...— Он долго молчал, слушая.— Вот это иной оборот. На это область, видимо, сможет пойти. Послезавтра вам телеграфно представят расчет.— Он сделал в настольном блокноте какую-то пометку.— Отлично, Илларион Федосеевич. Всего доброго!.. Итак, я вас слушаю, товарищ Перевалов.

Андрей говорил подробно и долго, хотя и старался быть кратким. Никто, кроме помощника Лебедева, в кабинет не входил, видимо, помощник был заранее предупрежден. Однако не один раз секретаря отрывали какие-то важные, большей частью из других городов телефонные звонки. По отдельным фразам Лебедева Андрей понимал, что за этими звонками стоят крупные, государственных масштабов дела, ждущие безотлагательного решения. Ему чудилось, будто в проводах, идущих к телефону секретаря, бьется, как в артериях, напряженный пульс громадного живого организма. Он наблюдал частицу той поистине грандиозной и неимоверно трудной деятельности, о которой газетчикам обычно писать не приходится. Андрею даже совестно стало, что вот у такого человека он своим рассказом отнимает время. Но ведь Лебедев сам потребовал этого.

Слушал Владимир Фомич внимательно, иногда лишь задавая уточняющие вопросы, и, судя по вопросам, можно было предположить, что в естественных науках секретарь обкома далеко не профан. И можно было удивляться, что, наряду с этим, в телефонных перебивочных разговорах он еще более легко и сноровисто разбирается и дает указания по самым разным неожиданно скачущим от одного к другому вопросам партийной работы, промышленности, финансов, сельского хозяйства, транспорта, лесозаготовок...

В беседе с Переваловым Лебедева интересовали различные аспекты развития биологии, интересовали люди и их взаимоотношения. Он схватывал ответы на лету и подчас, перебив Андрея, тут же стремительно задавал следующий вопрос.

Они проговорили около двух часов.

— Ну что ж, Андрей Николаевич,— секретарь обкома встал,— времени больше я сейчас не имею. Одна-

ко того, что я узнал от вас, мне мало. Хотите поехать со мной в Лесное?

— Что за вопрос, Владимир Фомич!

— Тогда ровно в четыре будьте у редакционного подъезда. Не прощаюсь...

Свою «Чайку» Лебедев для поездки сменил на юркий газик. Устроился он на заднем сиденье, туда же пригласил и Андрея. На выезде из города Владимир Фомич ухватился за небольшой чемоданчик и, ловко отомкнув его, вытащил бутерброды в целлофановой обертке.

— Давайте, товарищ Перевалов, подкрепимся. Еще есть у нас с Касьяном Петровичем молоко.

— Спасибо, я обедал.

— А мне вот не пришлось. Надеюсь, в Лесном нас покормят?.. Да вы не стесняйтесь, жуйте, превосходная колбаса...

Закусив, Лебедев посетовал, что до сих пор не удосужился побывать в редакции, хотя, по его мнению, для секретаря обкома это одно из самых первоочередных дел, и тут же принялся расспрашивать о редакционных делах, и опять Андрей подивился, что расспрашивает Лебедев с толком, со знанием дела.

— Вам, Владимир Фомич, видимо, приходилось сталкиваться с журналистской работой?

— Когда-то редактировал городскую газету. Только давно. В ваши, наверное, годы. Вам сколько?

— Тридцать семь.

— Какого роду-племени?

Через пятнадцать минут он уже знал жизнь Андрея.

На улице деревеньки, которую проскочили они на полном ходу, пацаны играли в бабки.

— Ай, молодцы! — обрадовался Лебедев.— Теперь эту игру редко увидишь. Бабок-то у крестьян почти не стало: государственный забой скота... В прошлом году, помню, заехали мы в одно село, вижу — играют. Такая меня зависть взяла! В детстве меткачом считался. Очень хотелось ввязаться — да как? Скажут: в демократы лезет. Вот как получается: и побаловаться бы, да неловко.

Видно было, что он отдыхает, радуется быстрой езде, радуется лесу вокруг, и хочется ему не по-дело-

вому, а просто так, по-человечески, по-товарищески, поболтать.

— По совести сказать, уже давненько собирался я побывать в этом самом Лесном,— признался Владимир Фомич,— да все некогда. Мы ведь часто так: пока не припрет. Все дела, дела, все самые неотложные — из-за них и курить не бросаешь, и гимнастикой не занимаешься, и пешком не ходишь... Недавно смешной случай у меня произошел с этим «пешком». Решил побывать на одном заводе в вечернюю смену — так, чтобы без секретаря парткома, без директора. Свою машину отпустил, погода чудесная, дай, думаю, пройдусь. Вспомнил, что не предупредил о задержке жену. Позвонил с таксофона — соединили меня с чужой квартирой. А больше нет ни одной двухкопеечной монеты. И вообще денег в кармане нет. Никаких. Ну, думаю, ладно, жена не обидится, не привыкать. Подхожу к заводу. На вахте женщина. Очень строгая особа. Не пускает, и только. Давайте, говорит, пропуск, иначе не могу. Так я же, объясняю, секретарь обкома, вот удостоверение. Ей это в диковинку показалось. Не могу, говорит, пустить, звоните в партком или директору. Что тут сделаешь? Пришлось подчиниться. Так и лопнуло мое инкогнито.

Лебедев с веселой сокрушенностью покрутил головой...

Николай Петрович Кислицын встал, нервно прошелся по редакторскому кабинету.

— Значит, считаете, Юрий Борисович, не сработались мы с вами?

— Что значит «не сработались»? «Сработаться» можно при одном условии: при условии пригодности к данной работе. Вы, я считаю, к ней не пригодны.

— Не угодил, значит, вам,— сердито усмехнулся Кислицын.

— А угождать никому и не надо. Ни мне, ни Федюнину, никому. Надо просто соответствовать занимаемой должности.

— Понятно, понятно,— покивал Николай Петрович и пригрозил:— Погодите, будет и на моей улице праздник...

До Лесного доехали удивительно быстро. Касьян Петрович, неразговорчивый пожилой мужичок с ноготок, шофером, видать, был умелым и лихим.

Первым попавшимся на биостанции человеком оказался Хромосома.

— Начальство какое-нибудь? — тихонечко поинтересовался он у Андрея.— Из редакции или выше?

Лебедев услышал и с улыбкой подтвердил, что начальство и что выше.

— Лебедев, Владимир Фомич,— протянул он руку юноше.

Кто такой Лебедев, Хромосоме было неведомо, однако то, что этот осанистый бородатый мужчина пожелал представиться, ему польстило, и, подавая руку, он не без важности назвал и себя:

— Хромо... Кирпиков Сима, лаборант.

— А что,— заинтересовался Владимир Фомич,— «начальство» — это хорошо или плохо?

— Чаще всего плохо,— грустно покачал головой Хромосома.

Лебедев рассмеялся.

— Наверное, ваше начальство — профессор Петров — изрядно прижимает вас?

— Ну, какое же он начальство! — очень искренне возразил Хромосома.— Василий Николаевич у нас не начальство, а руководитель. И хороший руководитель, редкий.

— Да? Чем же он хорош?

— Мыслить дает. Самостоятельно. И не читает морали. Морали себе мы читаем сами. А он просто требует дела и сам умеет его делать.

Владимир Фомич ухватил свою бородку, скосил серые, с прозеленью, глаза на парня и, ухмыльнувшись чему-то, поинтересовался:

— Кстати, где нам его найти, ваше редкое начальство?

— В Новосибирске.

— ??

— Улетел туда сегодня на семинар и на разведку. Вы, может, слышали,— дела у нас не очень важнецкие.— Это «важнецкие», отметил про себя Андрей, было явно из лексикона Василия Николаевича. Хромосома между тем, почему-то проникнувшись к приезжему

полным доверием, продолжал: — Весьма возможно, нас прихлопнут здесь, так мы заранее хотим приготовить себе плацдарм для отхода, вернее, для передислокации.— Это «мы» прозвучало великолепно.

Лебедев глянул на Андрея почти сконфуженно:

— Опростоволосились... Кто-нибудь остался за профессора Петрова старшим?

— Я хорошенько не знаю, но старший у нас, пожалуй, Марк Романович Гринфельд. Он с Евстигнеичем бродит. Рыбу бреднем ловит, на ужин. На нашем озере роскошь: бредень разрешен.

Андрей счел нужным вставить:

— Они здесь питаются колхозно.— И, указывая на кухонный навесик, объяснил, что это значит — колхозно.

— У нас ОПУС,— решил блеснуть остроумием Хромосома,— общество первобытных ученых-скептиков.

— Ну ладно, ученый-скептик,— улыбнулся Лебедев,— ведите нас к добытчикам рыбы...

У кромки берега бредень вел Миша Нукин, а дальний конец — Грин. По плечи в воде, уже продрогший, он с горящими глазами заводил сеть к берегу, и, хоть это было ему несподручно, то и дело азартно взмахивал рукой, давая Мише указания. Перед ними, делая вид, что загоняет рыбу, мельтешил промокший, в высоко засученных штанах Евстигнеич. Тонким пронзительным голоском он покрикивал:

— Не беги вперед, Михайло, не забегай. А ты, Романыч, поостерегись: там глыбко, с головой уйдешь... Круче загибай, круче!..

На прибрежной травке стояло ведро, уже почти полное рыбы.

Это милое утешливое занятие Грин бросил весьма неохотно, однако, узнав, что за гость появился на биостанции, подобрался, заспешил.

Они ходили по лаборатории. Рабочий день кончился, лишь три-четыре человека оставались, чтобы завершить тот или иной опыт. Лебедев не очень рассматривал оборудование, больше слушал рассказ Грина. Только возле радиоактивных аквариумов он остановился надолго, печально смотрел на медлительную, словно бы замирающую, жизнь в зеленоватом подводном мире,

потом подробно расспрашивал Грина о перспективах радиационной биологической очистки водоемов.

У двери, стараясь не показываться на глаза, к разговору прислушивались Хромосома и Миша. Они уже давно на некотором отдалении следовали за приезжим,— стало известно, кто он таков,— и старались поймать каждое его слово.

В счетной комнате работала Паша. Глядя на бегучее мерцание индикаторов, вслушиваясь в непрерывное зловещее щелканье, то взбудораженное, то затихающее, Владимир Фомич помрачнел, скулы его обострились.

Неожиданный для Грина интерес у секретаря обкома вызвали дрозофилы. Он вооружился лупой и долго с любопытством рассматривал подопытных насекомых. Потом сказал:

— Такие славные мушки, а сколько породили споров!

— Инфарктов также,— довольно мрачно дополнил Грин.

— Естественно,— пожал плечами Владимир Фомич.— Где споры — там нервы, где нервы — инфаркты. Откуда вы их получаете, этих мушек, кто ими снабжает?

Грин ответил и начал рассказывать о наблюдениях за мутациями дрозофил в результате различных облучений. Это тоже очень заинтересовало Лебедева; с мушек он перешел к опытам над растениями, любопытствуя, насколько реально и близко применение в сельском хозяйстве направленного изменения видов и форм. Грин рассказывал о выведении полиплоидной сахарной свеклы, о создании противовирусных препаратов, о норках с цветным мехом, а Владимир Фомич задавал новые и новые вопросы...

Хромосома теперь чувствовал сконфуженность. Он опасался, что в разговоре с секретарем обкома переборщил, держался развязнее, чем было можно, и как бы тем не испортил дела. Своими сомнениями он шепотом поделился с Мишей. Так же шепотом Миша заворчал:

— Не зная броду, не суйся в воду. Такая пословица тебе известна? Но есть и другая: после драки кулаками не машут.

— Это да, это, конечно, правильно,— согласился Хромосома, совсем сникая.

Пришла Таня — пригласила ужинать.

За столом Владимир Фомич нахваливал уху, шутил, расспрашивал о полевом житье-бытье. Как-то очень естественно получилось, что после ужина он вклинился в компанию, рассевшуюся вокруг традиционного вечернего костра.

Говорил вначале как будто о пустяках, но очень скоро повернул разговор к работе лаборатории и повернул так, что высказывались в основном окружавшие его, а он слушал.

Только раз Леночка Берестова вынудила его сказать нечто более или менее определенное. Подзуживаемая товарищами, она набралась храбрости и спросила напрямик:

— Как вы думаете, товарищ Лебедев, закроют нашу лабораторию или нет?

Лебедев чуть нахмурился.

— Вы, я вижу, и верно, поднапуганы, товарищи. А напрасно. Никто вашу лабораторию — нужную, перспективную лабораторию — закрывать не собирается, как не собирается закрывать биофизику, генетику или какую-либо другую область науки. Попробуйте «закрыть» Америку!.. И это, как вы должны понять, вовсе не мое личное мнение. Пусть бы я к вам и не приехал или приехал кто-то из моих товарищей по партийной работе — положение от этого ничуть бы не изменилось. У генетики, как у всякой отрасли познания, своя судьба, свои поражения и победы. Она — в движении, в борьбе и сейчас завоевывает должностные позиции не потому, что кому-то так хочется или не хочется. Происходит это в силу объективных обстоятельств, в силу закономерностей развития науки. Вам бы следовало это понимать...

И, уже улыбаясь, поднялся:

— Хорошо здесь с вами, товарищи, да нужно отправляться. Вы, Андрей Николаевич, как — останетесь или с нами?

— Мне с утра на работу.

— Тогда — в путь...

По стемневшему лесу ехали медленнее, чем днем. Откинувшись на спинку сиденья, Лебедев сказал:

— Хоть и не застали Петрова, не раскаиваюсь. И с биостанцией я познакомился и отдохнул отлично. Касьян Петрович, вам отдохнулось?

— Весьма, Владимир Фомич.

— Вот и превосходно. Значит, в четыре утра двинемся с вами в Норск. Мне там на комбинате надо быть к началу рабочего дня...

36.

Где-то за дымным горизонтом гремели грозы. Даже в город ветры заносили запах гари: полыхали окрест лесные пожары. Асфальт мягчал, с тонкими каблуками на нем опасно было стоять. По улицам лениво катился и порхал липучий тополевый пух.

Белкин, приняв должность заместителя редактора, рьяно взялся за дела, и теперь после рабочей недели его тянуло отдохнуть по-настоящему. В эту субботу он звал Андрея на озеро, у приятеля там отличная моторка, можно и порыбалить, и покупаться, и окунуться в травы и папоротник.

— Нет,— сказал Андрей,— поеду приму душ, потом расстелю на полу мокрые простыни и буду дурить квас. А завтра, может быть, махну в Лесное.

Однако получилось у него не так. Дома он застал Таню. Володька бегал во дворе, ему жара нипочем.

— Вы это зачем в такую погоду? — удивился Андрей.— А я собирался к вам.

— Выгнал Василий Николаевич.— Озорные смешинки подрагивали в глазах Тани.— Ты же ничего не знаешь, я закончила диссертацию! Написала единым махом. Вот Вэ Эн и погнал меня в город — размножить работу, готовить для обсуждения.

— Хм,— сказал Андрей, довольный.

— Вот тебе, дорогой товарищ, и «хм»! Стану я кандидатом, начну загребать агромадные деньги, ты можешь быть у меня на содержании.

Она была прежняя, его Танюха. Ей не умелось сердиться. То, что раньше Андрею казалось в ней легкозвонным птичьим щебетанием, оборачивалось добротно настроенным, крепким оптимизмом. В своем светлом взгляде на мир Таня была последовательна:

она и мужа простила ради любви к жизни и любви к нему. Простив же, и в мыслях уже не хотела возвращаться к преодоленному.

— Есть приятная новость,— сказал Андрей,— читала сегодняшний номер «Рабочего»? Был пленум обкома — Федюнина освободили от должности завотделом.

— Это тот... ну, который...

— Вот именно: «тот, который...»

— У нас тоже новость: Рогожин остается директором.

— Разве это новость?

— А как же. Он ведь подавал заявление в президиум Академии и даже предлагал вместо себя... кого, ты думаешь? Василия Николаевича!.. Вызывали их в обком. О чем там говорили, не знаю, только Леонид Александрович остался на прежнем месте. Он как-то очень изменился внутренне. И построжел, и помягчал одновременно. И влили в них там какой-то эликсир бодрости. Приятно на стариков смотреть.

— Что ж, чудненько,— сказал Андрей и признался, что мечтал о мокрых простынях на полу.

— Ну, иди принимай душ, да исполнится твоя мечта.

Когда он вернулся из ванной, Таня валялась на влажных, взбрызнутых водой простынях, и запотевшая после холодильника бутыль с квасом стояла рядом на полу.

— Ты волшебница? — сказал Андрей.

— А ты не знал?..

Было жарко и душно. В окно летел противный пух. Раздевшись до трусов, Петр Анатольевич Гладилов маялся в своей холостяцкой квартире. Душ почему-то не работал. Пойти к автомату, вызвать водопроводчика было лень. Телефон в квартиру так и не поставили.

«Что ж, мистер Питер,— неожиданно сказала Тамара,— хвастал: назначают директором! Вот и сел в лужу».

«Ну уж и в лужу...»

«И в партию, милейший, пролезть не удалось».

«Все еще впереди...»

«Уже востришь лыжи, высматриваешь, куда бы податься,— туда, где тебя еще не знают и не раскусили».

— Отвяжись! — вслух сказал Петр Анатольевич, будто Тамара и впрямь была в комнате.

Ему стало совсем тошно. Да еще лип к потному телу этот проклятый пух! Тяжко вздохнув, Гладилов уже в который раз поплелся в ванную.

Нет, вода из душа не лилась...

Жар стал спадать.

— Хочется есть,— Таня стала одеваться.— И сейчас явится Володька.

Но явился не Володька, а Грин. Он был навеселе и сам признался в этом.

— Я, товарищи, под турахом. Турах — это, по-моему, нечто древнеиудейское. Наверное, какой-то деятель винпрома при царе Соломоне. Или нет? Во всяком случае мне страшно хочется есть. Татьяна Витальевна, если вы извлечете из холодильника мою телятину и присовокупите к ней свою еду, то я присовокуплю бутылочку сухого вина. Марочное. «Фирмы «Грин и К°». Пять медалей. Пойдет?

— Грин, вы станете пьяницей,— рассмеялась Таня: очень уж смешно размахивал он своими длинными руками.

— Я становлюсь серьезным человеком. Мне наконец возвернули кандидатскую степень. Сегодня пришло об этом известие. Это, впрочем, свидетельство не моей серьезности, а Василия Николаевича. Он свое слово сдержал. Однако, так или иначе, теперь вам придется относиться ко мне с неизмеримо большей почтительностью, нежели прежде.

У него было отличное, хотя и несколько легкомысленное, расположение духа. Он даже пытался, раскачиваясь в кресле, болтать ногами, но они только елозили по полу.

Поев, он разомлел и объявил:

— Видимо, я все-таки пойду поспать, ибо Турах был всемогущий человек...

Только ушел Грин, пришли Варя и Владлен.

— Нам бы червончик на неделю,— сказала Варя.— Через неделю получка — отдадим.

— Червончик не проблема,— улыбнулся Андрей.— Да садитесь, что же вы торчком!

Таня подала чай с бутербродами. Варя трогательно ухаживала за молодым своим супругом. Он за последнее время похудел и загорел, кожа на лице очистилась. Парень хотел казаться сильным и бравым, старался быть сдержанным, на слова скупился — этакий настоящий мужчина, глава семьи.

— Хотите,— сказал Андрей,— я вам презентую одну штучку? — Из дальнего угла письменного стола он вытащил соединенный в одно, в чехольчике, набор из ножа, ложки и вилки.— Режьте, колите, хлебайте. Вот только штопора нет.

— Спасибо, это мы возьмем,— без улыбки принял подарок Владлен.— А штопор не нужен. Я эту дурь бросил начисто.

— Он у меня молодец! — залившись счастливым румянцем, Варя обняла мужа, он смутился и, отстраняясь, пробормотал:

— Ну что ты — маленькая?

Таня расхохоталась:

— До чего вы, ребята, славные! Честное слово...

Он был какой-то праздничный, этот вечер у Андрея и Тани. Володька деловито возился в своем углу, сооружая некое подобие космодрома. Лишь изредка он звал отца, чтобы получить от него научную консультацию.

— Хороший день,— тихо, задумчиво улыбнулась Таня.— Знаешь, я думаю, у них получится, у Вари с Владленом. Есть в них что-то такое... свое, хорошее. А ведь поначалу Владлен казался мне довольно паршивым парнем. Но скинул что-то с себя, и этакое под скорлупой оказалось крепкое ядрышко. Да?

— Может быть, может быть,— отозвался Андрей, покручивая верньер приемника; что-то сумбурное, переплетаясь и схлестываясь, негромко звучало в динамиках.— Видишь ли, полное очищение — это лишь идеал. И, в конце концов, важно не само оно — важен сам процесс очищения. Тенденция. Если она появилась, значит, ступень за ступенью человек будет идти к идеалу. Это трудно, это всегда на что-то наступать,

что-то ликвидировать, преодолевать. Но вот этот процесс непрекращающегося движения к лучшему и необходим...

Наконец верньер нашел нужную волну, полилась ясная мелодичная музыка, Андрей замолчал, задумавшись. Может быть, подбирал еще какие-то слова, более точные и значительные. А Таня поняла, что это он — о себе. Она подсела к нему, ласково поерошила его волосы, сказала:

— Философ!..

— Никудышный,—признался он.

1966—1969 гг.

Рассказы

ИЗ ЦИКЛА «СУРОВЫЕ БУДНИ»

ДВОЕ

Нет, они не любили друг друга. И не было между ними дружбы. Просто скучная будничная привычка жить под одной крышей связывала их. Она надоела, эта привычка, но шли дни, а они по-прежнему жили вместе, чужие друг другу, далекие и близкие.

По вечерам, придя с работы, Лидия забиралась на кушетку и, кутаясь в шаль и поджав под себя ноги, перелистывала книгу. Он обычно лежал тут же, около ее ног, и напряженными тоскующими глазами глядел в окно на синеющую снежную гладь огромного пустыря. Часто, увлекшись книгой, Лидия, сама того не замечая, машинально поглаживала его по спине, и неприятны были ему эти легкие прикосновения чужой холодной руки, эта невольная и безвольная ласка. Джек поднимался тогда и шел в свой угол. Там, гордо подняв голову и вытянув лапы, лежал он, неприступный и величавый, как сфинкс, а в напряженном взгляде желтых мерцающих глаз стыли все те же тоска и неприязнь.

Он был стар, этот суровый молчаливый пес, и ушла из его жизни отрада. Лишь воспоминания о юности, сладостные и горькие, как тоскливая песня, остались в утеху одинокой старости. Мерещилось Джеку его далекое собачье детство, и проплывало мимо сияющее голубое небо, и слышался бездумный гам и лай веселых сверстников минувшей юности. Еще вспоминался ему тот, кто, позднее став его хозяином, навсегда овладел душой Джека. Это было давно, и оба они были молоды. Вместе бегали по широким зеленым улицам городка, бродили по лесам и мерзли у ночных костров. Джек тогда считал, что счастье будет продолжаться вечно, не знал и не умел он знать, что вдруг придет эта женщина и отнимет у него друга.

Она пришла. Веселая, шумная, властная, явилась Лидия в их квартиру и сразу стала в ней полноправной хозяйкой. И уже не с ним, Джеком, а с ней сидел по вечерам хозяин. Иногда они втроем гуляли по городу. Она всегда о чем-то громко говорила, хохотала, и хозяин слушал ее, не обращая внимания на Джека.

И поднималась, вскипая затаенным гневом, глухая обида в сердце пса, росла неприязнь к этой женщине.

Однажды Джек заметил, что оба они — Лидия и ее муж — чем-то взволнованы и огорчены. Хозяин пришел домой в длинной серой одежде, и от его сапог пахло чем-то незнакомым и терпким. По улице с шумом проносились большие зеленые машины, в которых сидели люди в такой же, как у хозяина, одежде. Лидия, притихшая, замерла на месте, хозяин обнял ее и говорил ей что-то. Потом он быстро пошел к выходу, на пороге остановился, порывисто нагнулся к Джеку и поцеловал его в морду...

Так они остались вдвоем.

Шли дни и недели, они жили вместе, чужие друг другу, далекие и близкие.

Утром, сунув Джеку кусок хлеба и миску варева, Лидия уходила на работу. Пес весь день сидел дома. Одиночество для него было приятнее общества этой женщины. Вечером, наскоро поев и накормив пса, Лидия обычно забиралась на кушетку, читала книги и какие-то листки, от которых пахло хозяином. Джек, молчаливый и неприступный, сидел около кушетки или лежал в своем углу. Иногда неприязнь его и тоска перерастали в дикую ярость, он вскакивал, бросался к двери и до поздней ночи носился по улицам.

Шли дни... В той стороне, куда уходило солнце, стали слышны рокочущие гулы. По ночам шарили в небе тонкие светлые щупальцы. Однажды Лидия, уходя из дома, взяла лопату и не возвращалась трое суток. Пес сидел одинокий, голодный и злой.

Потом что-то сделалось с городком. Взвихрило, закружило все, смяло и, неугомонное и страшное, понеслось дальше. На улицах валялись люди. Джек тыкал в них мордой, урчал, а они не шикали на него, не поднимали руку, не кричали. Дымились развалины. В грудах щебня, перемешанного с деревом и кровью, копались почерневшие изможденные женщины с су-

масшедшими глазами. Проносились, стрекоча, мотоциклы, в которых сидели люди в зеленых одеждах, с короткими черными ружьями.

Джек, голодный и злой, лежал в своем углу, уставившись на вечернее зарево, когда Лидия прибежала домой. Сбросив измазанный глиной ватник, она растопила печь. Вспыхивали и корчились кучкой жесткого черного пепла листы бумаг, которые Лидия бросала в печь из ящиков стола. Порывшись в шкафу, она нашла большой засохший кусок хлеба, разломила его пополам и половину бросила Джеку.

Уже стемнело. Лидия с ногами забралась на кушетку и закуталась в шаль. Джек жадно чавкал, и сухая корка хрустела на его зубах.

Джек почувствовал, как две солоноватые капли упали на его нос. Потом на голову легла тяжелая дрожащая рука. И первый раз в жизни пес не отодвинулся от этой руки. Что-то родное и нужное для себя почувствовал он в грустной и теплой ласке женщины.

Ветер сыпал в окно колючие снежинки. Сгущалась тьма. В комнате стало холодно.

Вдруг на крыльце раздались шаги. Лидия вздрогнула, прислушалась, насторожилась. Послышалась уверенная, твердая хозяйская поступь. Без стука открылась дверь. Из темноты раздался страшно чужой голос:

— Потшему сфет есть нет? Зашигать сфет. Ну! — и вошедший, пошарив лучом карманного фонарика по комнате, выхватил из темноты стоявшую на столе свечу.

Лидия зажгла ее.

— Я есть ваш гость, фрау.— Пришелец осклабился.— Ну! Потшему вы не улыбаться? А?— Лидия, кутаясь в шаль, медленно отступала от него.— Хм. Вы есть негостеприимчива. Хорошо. Я не буду нахал. Вот это.— Короткие толстые пальцы мягко сгребли со стола малахитовый портсигар; вспыхнуло подброшенное ветром пламя свечи, и на прыщеватом вытянутом лице заколебались неровные тени.— И вот это,— он протянул руку к ее шали.

Лидия еще отступила назад.

— Ну!

Лидия оглянулась. Глаза ее что-то искали.

Джек лежал в своем углу — гордый неподвижный красавец, и злобная неприязнь и тоска по-прежнему стыли во взгляде его холодных желтых глаз.

— Ну!— Рука рванула шаль. Лидия от неожиданности вскрикнула и чуть не упала. И в этот момент тупые клыки старого пса сомкнулись на горле пришельца. Падая, тот выхватил револьвер, но сильный удар жестких лап выбил его из руки. Тогда рука вытащила нож и с остервенением всадила его в тело Джека. Раз. Потом еще. В бешеной животной злобе переплелись два тела, покатились по полу.

Хриплое звериное дыхание наполнило комнату. Обладатель ножа, изогнувшись, третий раз всадил стальное лезвие в противника. Ослабевая, Джек бессильно царапал задними лапами пол, но его клыки все яростнее сжимали горло чужеземца.

Пес не увидел, а почувствовал, что Лидия бросилась ему на помощь. Рука ее почти инстинктивно потянулась тоже к горлу. Пальцы потонули в кровавом месиве, их обожгло горячее прерывистое дыхание. Лидия отдернула руку. Она бездействовала мгновение. Взгляд упал на уроненный револьвер. Она схватила его и, не раздумывая, выстрелила в ненавистную голову. Руку отбросило в сторону и вверх. Револьвер выпал. В ушах звенело, и слышалось редкое надсадное дыхание пса. Глаза его были полузакрыты. Они видели, как Лидия метнулась к столу, схватила фотографию, еще что-то и спрятала на груди. Потом сорвала с постели покрывало и, оторвав Джека от мертвого тела, завернула в покрывало.

Они шли переулками, прижимаясь к заборам. Ноги Лидии проваливались в сугробы. Шалый ветер горстями бросал в лицо снег, слепил глаза. Пес был тяжелым. Она торопилась. Было трудно дышать.

Войдя в лес, Лидия опустила свою ношу наземь и села рядом. Было тихо. Мягко падали, кружась, снежинки.

А глаза Джека покрывала предсмертная пелена. Лидия нагнулась над умирающим псом. И вдруг в его тускло мерцающих глазах увидела она теплый свет. Или это почудилось ей? Ведь они не любили друг друга.

1946 г.

БУТЫЛКА ШАМПАНСКОГО

Вы помните, читатель, сувениры тех скорбных и тревожных дней — коробки папирос и бутылки вина, которые мы, уходя из дома, оставляли у друзей и родных? Мы не были суеверны, нет, просто нам хотелось оставить у родного очага маленький кусочек своей большой надежды. А если бы мечтам нашим не суждено было исполниться,— что ж, не для охотничьей прогулки готовили мы порох,— пусть памятью о нас служили бы эти простые житейские вещи.

Вы, может быть, вернувшись с фронта, свое заветное вино выпили с женой или невестой в кругу друзей. Бутылку другого выпил чужой мужчина. А чья-то коробка папирос сгорела при бомбежке. Или лежит сейчас, пожелтевшая от времени и слез, в ящике стола под пачкой писем и извещением о смерти...

Бутылка шампанского, о которой я хочу рассказать, не дождалась своего хозяина. Уезжая на фронт, Павел Бросов оставил ее у своего отца.

— Сохрани, батя,— сказал он, прощаясь.— Вернусь — разопьем.— И он обнял старика, а тот, отвернув лицо, прижал сына к груди.

Бутылку Илья Лукич сначала поставил в буфет, а месяца через два уложил в ящик комода. Затем, подумав, опять поместил ее в буфете,— если Павел жив, так разве место вину в комоде?

Письма от сына приходили сначала довольно регулярно и часто. Потом они стали короче, затем удлинились промежутки времени между ними, а сами они превратились в скупые, сухие весточки. Илья Лукич каждый день слушал радио и читал газеты. Однажды ему попалась заметка, в которой упоминался капитан Бросов, и, хотя старик знал, что его сын не капитан, а лейтенант, он все же вырезал заметку и хранил ее в бумажнике, перечитывая время от времени. Надежда не брезгует и обманом.

Илья Лукич умел нести свое горе по-мужски, не сгибаясь. Но горе, как одежда, все равно меняет человека.

На людях Бросов крепился. По-прежнему являлся на работу аккуратный и прилежный. В учреждении,

где работал Илья Лукич, говорили: «Я буду точным, как папаша Бросов».

Деловито пощелкивая счетами за своим бухгалтерским столом, Илья Лукич старался думать только о работе. Правда, часто какое-нибудь случайное слово, чей-то жест или деталь костюма вызывали в нем воспоминания, и тяжелые думы облепляли мозг, но старик сердито отбрасывал их, с новым ожесточением бросаясь в цифровой поток.

Он был по-прежнему выдержан, вежлив, но с некоторых пор стал ворчливым.

— Илья Лукич, вы что-то неважно выглядите,— замечал ему счетовод Костя Рябчиков, сутулый и тощий болезненный юноша.— Как у вас питание, очень плохо? Может, вам обратиться к врачу?

Илья Лукич отмахивался обеими руками и, если не был занят срочным делом, немедленно пускался в рассуждения:

— Нет, батенька, это вам кажется. Вам всегда все кажется. И питаюсь я совершенно нормально. С чего это вы взяли, что я плохо выгляжу? Вы лучше, батенька, на свою персону обратите взгляд. А у меня вид отличный, превосходный вид. И никаких врачей мне не надо, они все жулики. Дистрофию какую-то выдумали. Какая дистрофия? Никакой дистрофии у меня нет. Выдумки. Вы бы лучше помогли дамам подсчитать,— Илья Лукич бросал сердитый взгляд в сторону двух старушек-бухгалтеров,— помогли бы дамам баланс подсчитать. А то — вид неважный. Какой еще надо? Обыкновенный стариковский вид. И никакой дистрофии. Это обман все... А на счетную книгу вы, батенька мой, не облокачивайтесь. Откуда это у вас такое неуважение к счетной книге?

Так, не прерываясь, он мог бубнить пять, десять, пятнадцать минут. Конечно, никто за это на старика не обижался. Старость, как и младенчество, требует снисхождения. К тому же многие считали, что папаша Бросов ворчит лишь для того, чтобы утешить и подбодрить себя. Так оно, пожалуй, и было.

Придя с работы, Илья Лукич заваривал «кофе» и, читая газету, запивал жидкой невкусной бурдой свою пайку черного хлеба. Потом он играл в шашки. Он играл одновременно и за себя и за противника и обычно

проигрывал, так как старался за несуществующего партнера придумывать лучшие ходы. Прослушав последние известия, Илья Лукич цветными карандашами отмечал на карте фронтовые изменения. Иногда он перечитывал письма.

Письма от сына приходили редко. Потом совсем прекратились. Прошел месяц. Прошло два месяца, три. Писем не было.

По вечерам, накинув на плечи одеяло, Илья Лукич — большой, угрюмый — шагал из угла в угол по темной и холодной своей комнате. Устанет, подойдет к окну — и вдруг уронит голову и жует сырые от слез усы.

Никто не видел его слез. Лишь бутылка шампанского, на которую он изредка смотрел затуманившимися глазами, знала о них. Бутылка покорно стояла в своем углу и терпеливо ждала чего-то. Она уже покрылась пылью.

Ожидание несчастья томительнее его самого. И когда однажды вечером в комнату вошли два незнакомых офицера, Илья Лукич ощутил что-то похожее на облегчение: сейчас мучение неведомым кончится, придет другое — более тяжелое, но уже реальное, непреложное, неотвратимое.

— Вы — Бросов? — спросил один.

— Да, я Бросов, Илья Лукич.

— Здравствуйте,— сказали оба лейтенанта сразу и представились:

— Николай Попов.

— Семен Подкова.

— Здравствуйте, голубчики,— ответил Илья Лукич и сразу же засуетился, неуклюже двигаясь по комнате, расставляя зачем-то все стулья и разглаживая клеенку на столе.— Раздевайтесь, пожалуйста, проходите.

— Да мы ненадолго, на одну минуту.

— Нет, нет, почему же, пожалуйста, раздевайтесь, садитесь...

Они разделись, попросили разрешения закурить, сели и минут пять вели со стариком странную, ничего не значащую беседу, пересыпанную междометиями и неловкими паузами.

Потом лейтенант Попов спросил:

— От Павла что-нибудь есть?

— Ничего. Больше трех месяцев ничего.

Лейтенанты переглянулись, и старик не мог не заметить в их взглядах то, что сам он, тая от других, носил в сердце.

— Ну вот,— сказал он.— И я то же думаю.— Старик ссутулился, сжался, губы его дернулись, он опустил голову.

— Ну что вы, отец! — сказал Попов, а его товарищ резко встал и отошел к окну.— Ведь ничего неизвестно. Зачем же отчаиваться?

Они рассказали Илье Лукичу то, что знали. Павел с группой бойцов вечером ушел в разведку и к назначенному сроку — утром — не вернулся. Правда, через два дня оба они — Попов и Подкова — были ранены, попали на лечение вот в этот город, и вполне может быть, что без них Павел вернулся и сейчас распрекрасно бьет фашистов.

— Так что вы, отец, не отчаивайтесь. Рано отчаиваться.

— Да нет уж... Что уж... Ясно...

Лейтенанты стали прощаться. Илья Лукич, вдруг испугавшись одиночества, упросил их остаться хоть на часик.

Он достал баночку с яичным порошком, развел его и поставил сковороду на плиту.

— Простите, голубчики, угостил бы вас, да... Сами понимаете...

И тут он вспомнил про бутылку шампанского. «Сохрани,— вспомнил он слова Павла,— вернусь — разопьем».. Зачем теперь ему это вино? Илья Лукич достал из буфета бутылку.

— Вот есть у меня...

— Это, наверное, та бутылка, о которой рассказывал мне Павел? — сказал лейтенант Попов.

— Да, да,— закивал Илья Лукич,— это она.

Ему сразу стал приятен этот человек, которому когда-то Павел по-дружески рассказывал о своем доме, о дне прощания, об отце.

— Мы, товарищи, сейчас ее... используем,— сказал старик.— Я моментально...

Он побежал в магазин и выкупил свой хлеб за два дня вперед и колбасу за всю месячную норму мяса.

Но к закуске они не притронулись и выпили про-

зрачное шипящее вино молча: мертвым слова не нужны, а горе живых искренне лишь в молчании.

Через несколько дней, открыв буфет, Илья Лукич увидел... Что за чертовщина!.. Он увидел ту самую бутылку шампанского. Ведь собственными руками доставал он ее оттуда и ставил на стол, он сам откупорил ее, сам разливал вино по бокалам, а теперь... Это походило на колдовство. Но в сверхъестественные силы Илья Лукич не верил и потому стал размышлять, как это могло случиться.

Кто-нибудь поставил бутылку в буфет во время его отсутствия? Кто же?.. Однако нет — свою комнату он всегда, уходя, запирал. А может быть... наверное, это они, лейтенанты, ухитрились незаметно поставить другую бутылку взамен выпитой? Но нет же! — это была именно та бутылка: он хорошо помнил необычный изгиб проволоки на пробке и оторванный уголок этикетки. Все той же, старой пылью было покрыто стекло, и лишь у шейки, там, где касались пальцы, пыли не было.

Откуда же и как?... Илья Лукич, так и не поняв ничего, перестал ломать над этим голову. К бутылке он больше не прикасался, и она покорно стояла на своем месте, покрытая серой пылью и паутиной.

Однажды — прошло два месяца — Илья Лукич, придя с работы, нашел в почтовом ящике письмо. Конверт был написан незнакомой рукой, и от этого старику стало больно.

Письмо было короткое:

«Уважаемый Илья Лукич! Я давно собирался черкнуть Вам, но не хотелось тревожить и бередить рану. А теперь, когда Вам, наверное, уже известно, что Павел жив, решил написать. Вы, думаю, до сих пор удивляетесь, как это случилось, что бутылка шампанского осталась на старом месте. А получилось это так. Когда Вы ушли в магазин, мы поставили на стол бутылку, которую принесли с собой (до этого мы часа два искали в городе чего-нибудь и ничего, кроме шампанского, не нашли), а Вашу (Павла) бутылку убрали в буфет. Нам не хотелось раскупорить вино, завещанное товарищем вовсе не для того.

Сейчас дела у нас идут хорошо. Подробностей о партизанской жизни Павла не сообщаю,— видимо, зна-

ете. Желаю здоровья и победы. Старший лейтенант Н. Попов».

Илья Лукич очень удивил своих сослуживцев, появившись в бухгалтерии без шляпы и с бутылкой в руках. Сослуживцы удивились еще больше, когда старик, размахивая какой-то бумажкой, прошел к своему столу, поставил шампанское на счетную книгу и громогласно заявил:

— Выпьем, товарищи! Марья Ивановна, у вас где-то кружка была, тащите ее сюда.

Когда сослуживцы узнали, в чем дело, все бросились поздравлять Бросова, и даже главный бухгалтер Пупырев выпил вместе со всеми и сказал:

— Каждый день бы.— И, обтерев усы, добавил: — Но после работы.

Так случилось, что бутылка шампанского все-таки не дождалась Павла.

А когда он приехал, отец угостил его водкой. И, право же, нисколько не хуже шампанского было наше русское простецкое вино.

1946 г.

ВРЕДНАЯ СТАРУХА

Капитан шел впереди батальона. Поднявшись на гору, он за широким желтеющим полем увидел деревушку. Нестройная толпа светлых хаток, разукрашенная веселой зеленью тополей, раскинулась на берегу реки.

— Вот,— кивнул капитан своему ординарцу Алеше Веткину.— Ты как мыслишь, товарищ начальник, для привала гоже?

— Вполне, товарищ комбат,— подтянувшись и стараясь не хромать, солидно ответил Веткин.— Это вы, раз и два, точное решение приняли.

— Тогда сыпь вперед, сделай разведочку. Сможешь?

— Что значит: сможешь? Есть сделать разведочку.

Сзади, услышав слова капитана, оживились. Вторые сутки, не останавливаясь, шел батальон на восток. Вечерние зори не угасали на ночь: сзади багровели зарева пожарищ.

Вместе с батальоном шли запоздавшие беженцы. Взбитая сотнями ног и повозок серая мягкая пыль кутала дорогу и людей. И от пыли, от безмерной ли усталости или от горя все люди были одинаковые: серые, худые, изможденные.

С боем вырвавшись из окружения, батальон получил приказ двигаться к городу Н. Арьергардные части с трудом сдерживали натиск врага. Нужно было спешить. Но дать людям отдых также было необходимо.

Веткин встретил батальон у въезда в деревню.

— Пусто, товарищ капитан,— доложил он командиру.

— Никого?

— Кроме куриц, раз и два, все население выбыло.

— Хм..— Капитан задумался.— Ну что ж, это правильно... Колодцы-то целы?

— Есть и целые.

— Ладно. Командиров рот — ко мне. И сообрази насчет закусить.

Через час Веткин нашел капитана в школе, где был на скорую руку организован пункт санитарной помощи.

— Товарищ капитан, «насчет закусить» готово.

Они вышли из школы.

— Вот сюда, направо... Что же вы, товарищ капитан, повязку на голове не сменили? Ведь вся уже порыжела. Вот всегда вы так... Есть помалкивать по данному вопросу... А я, знаете, жительницу отыскал. Смотрю — вроде дымок над хатой. Раз и два, сунулся туда — действительно, живая душа. Только неславная старуха, вредная какая-то.

— Почему вредная?

— Злая очень, такая, знаете, нахохленная.

— Она почему не эвакуировалась?

— Виноват, товарищ капитан, осталось невыясненным.

Они подошли к дому на окраине деревушки. «Живая душа» встретила капитана хмуро. Пробурчав в ответ на приветствие что-то невнятное, она сурово оглядела его, повернулась и отошла в угол, занявшись чем-то по хозяйству.

«Не обращайте внимания»,— прожестикулировал Веткин с таким видом, словно эту старуху с ее зло-

нравным характером он знал всю жизнь, и пригласил:

— Садитесь, товарищ командир батальона, к столу. Прошу. Картошка на сале. Разрешите присесть?

Смакуя жареный картофель, капитан разглядывал хозяйку. Трудно было определить ее годы. В скупых неторопливых движениях старухи чувствовалась скрытая сила. Когда она поворачивала свое лицо в профиль, оно поражало строгой красотой несколько грубоватых, но совершенно правильных четких линий. Однако старость уже исказила ее лицо. Темно-желтая, с пепельным налетом кожа была изрезана морщинами и свисала дряблыми складками у подтянутого, плотно сжатого рта. В частой сетке морщин, как в паутине, сидели глаза — карие, еще не обесцвеченные годами, но уже помутневшие и вялые. Из-под черной бумажной шали выполз клок седых волос. Худое тело было одето в коричневую кофту и длинную, почти до пола, юбку.

— Сколько годиков тебе, хозяйка? — поинтересовался капитан.

Старуха взглянула на него и, не сказав ни слова, вышла за дверь. Вернувшись через минуту, она поставила на стол кринку со сметаной. Алеша Веткин удивленно вскинул голову:

— Ты же говорила: ничего нет!

Старуха не ответила. Сбросив с сундука вещевой мешок Алеши, она открыла крышку, достала пачку печенья и швырнула ее на стол.

— Представление,— крутнув головой, хмуро пробурчал Веткин.

— Не рассиживайтесь долго-то, не в гости званы,— зло сказала старуха, ставя на стол две чистые чашки.

Капитан сделал рукой движение, словно хотел отодвинуть чашки от себя, но, взглянув в глаза Алеши, придвинул их ближе.

— Накладывай.

Зачерпывая из кринки сметану, Алеша спросил:

— А ты, мамаша, почему не эвакуировалась?

— А вы что, анкету с меня снимать явились? Осталась вот. Нужно, стало быть.

— Угм,— кивнул головой Веткин.— Стало быть, нужно? А, может, ты сметану эту кому другому припасала? — И он многозначительно посмотрел на командира батальона.

Старуха долго молчала, гремя в углу какими-то жестянками. Неожиданно она повернулась лицом к Веткину и, вызывающе дернув головой, сказала:

— Припасала! И сметану, и...— Лицо ее вдруг сморщилось, и, махнув рукой, она закончила: — Не для таких вот только... вас... готовила.

— Ну, и черт с тобой.— Алеша встал и направился к вещевому мешку.— Вот ведь... жила такая у Советской власти за пазухой.

— Что ты квохчешь там, сопливый? — вскипела старуха.— Что ты власть поминаешь? Где она у тебя власть-то Советская — в душе али в пятках? Коли мила она тебе, чего же бежишь ты, чего не стоишь за нее насмерть? Туда же, указки мне делать! Все вы такие, словопрыткие...

— Идем, Веткин,— Капитан надел пилотку.

— Вот гидра-то,— ворчал Алеша, выходя со двора.— До чего вредная старуха. Пристрелить бы, раз и два, да пули жалко.

Они уже вышли за калитку, когда старуха нагнала капитана.

— Товарищ командир. Ухóдите? Скажи мне... Близко они?

Капитан посмотрел на старуху, и его поразили ее глаза. Они как будто ожили. Что-то напряженное и жадное, чуточку похожее на радость, светилось в них. Капитану захотелось сказать старухе что-нибудь злое, обидное, чтобы разом погас этот свет в глазах, но он сдержался и ответил на вопрос.

— Близко,— сказал он и, брезгливо стряхнув с плеча ее цепкую руку, пошел дальше.

— Топи печку-то, топи, к вечеру будут! — обернувшись, крикнул Алеша Веткин.

— Затоплю, сынок, затоплю,— глухо сказала старуха и побрела к дому.

Скоро батальон покинул деревушку. Капитан, опять шедший впереди, был уже далеко, когда Веткин схватил его за руку:

— Товарищ комбат, смотрите!

Густой дым поднимался над хатами, застилая зелень тополей. Горел крайний дом — тот, в котором они были час назад. Пламя охватило его сразу с четырех сторон, и меж трепетных языков огня траур-

ными пятнами чернели уже обуглившиеся стены. От горящего дома к соседнему метнулась маленькая темная фигурка в длинном одеянии.

Капитан медленно повел головой, набрал воздуха в грудь, будто хотел подать какую-то команду, но, повернувшись к Веткину, сказал спокойно и чуть грубо:

— Ну, что встал? Шагай давай.— А чуть слышно добавил: — Еще вернемся.

1946 г.

НЕНАПИСАННОЕ ПИСЬМО

Если опрокинуть стул на спинку, а сверху положить половую щетку, получается танк. Щетку можно крутить, а ее длинный черенок походит на пушку. Когда бьешь по сиденью стула пепельницей, пушка стреляет. Бух! Трах!

— Васька,— кричит Вова.— Ты падай, ты застрелетый. Ну же!

Васька падать не хочет. Он сидит на кушетке, мурлычет и жмурится, изредка поглядывая на своего воинственного хозяина.

— Ух ты, фашист,— сердито ворчит Вова и начинает крутить щетку. Сейчас танк поедет и раздавит Ваську.

— Дззууу,— завывает мотор, и танк двигается на кушетку. Но в это время хитрый Васька, махнув хвостом, исчезает под кроватью.

— Стой, рызый! — бросается за ним Вова и за хвост вытягивает кота обратно.

Начинается возня. Через пять минут Вова появляется на кухне с исцарапанными руками и ссадиной на шее.

— Баба Катя, а что он оцарапывается,— жалуется Вова.

Баба Катя по-другому называется еще Наша Соседка. Ей Вовина мама, уходя на работу, поручает наблюдение за своим пятилетним сыном. В детский сад Вову вот уже несколько дней не пускают. И никого не пускают. Потому что там какой-то Карантин, и он может всех заразить болезнью. И приходится Вове оставаться дома с молчаливой полуглухой старухой. Ей не слишком нравится роль няньки, и сейчас она уси-

ленно гремит горшками и кастрюлями, не обращая на мальчишку внимания.

Постояв немного в кухне, Вова возвращается в комнату. Ему скучно. Мама целый день сидит в какой-то там конторе, на улицу баба Катя его не пускает, а Васька, когда с ним начинаешь играть, сердится и царапается.

Чем же заняться?

Вова ставит свой танк на ножки, подвигает к комоду и, взобравшись на стул, смотрит на фотографию отца. Еще давно мама вынула ее из бумажного треугольничка. Папа снят в военной форме, у него худое серое лицо и усталая улыбка.

— Давай, папа, побеседоваем,— предлагает Вова.— Ты бы мне сказку рассказал, а я тебе про войну... Чего молчишь-то?

Папа, как живой, смотрит прямо в Вовины глаза и не отвечает.

— Ну ладно, я с Васькой побеседоваю,— тихо говорит Вова и, опустив голову, слезает со стула..

Он сидит под кроватью и что-то бормочет там, когда в комнату входит мать. Быстро-быстро перебирая ручонками, Вова на четвереньках бежит к ней, вскакивает и обнимает ее ноги.

— Какая ты замерзлая, мама. Давай я тебя погрею.

— Отойди, Вова. Простынешь.

Он отходит к столу и, засунув палец в рот, наблюдает за матерью.

— Вынь палец изо рта. Сейчас будем кушать.

— А если не кушать, так можно?

— Что можно?

— А палец сосать.

— Ох ты, хитрец маленький! — Мама смеется, и Вова очень рад: ведь это бывает так редко.

Вове хочется рассказать маме о том, как он провел день, как играл с Васькой и беседовал с папой, но мама гладит его по голове и говорит:

— Перестань, малыш, болтать. За обедом не разговаривают.

— Я и не болтаю, я тебе рассказываю.

— Потом расскажешь.

— А потом будет ночь, потом ты в контору уйдешь, а потом опять за едой нельзя...

Убрав со стола посуду, мать переодевается и, подойдя к зеркалу, мажет губы красным.

— Мам, а к тебе опять дядя Ваня придет? — догадывается Вова.— Тот, черный такой, усатый.

— Да, придет,— говорит мама и почему-то оглядывается на дверь.

— А я его не люблю.

— Почему не любишь?

— Он нехороший, он не такой, как папа.

— Нет, Вова, дядя хороший. Он тебе опять конфетку принесет...

Усатый дядя приходит вскоре. Раздевшись, он берет Вову на руки и пугает его «козой».

— А я не боюсь,— угрюмо насупившись, говорит Вова.

— А вот это ты хочешь? — Дядя показывает ему конфету в красивой серебряной бумажке.

— Нет, я конфеты не кушаю, я уже большой.— Вова отворачивается и глотает слюну.

От дяди сильно пахнет табаком и духами.

— Пусти,— дрыгает Вова ножками.

— Бросьте вы его, Иван Сергеевич,— говорит мама,— он нехороший мальчик.

Вова отходит в сторону и бормочет:

— Вовсе я хороший, и папа писал, что я хороший.

Мама с гостем садятся ужинать. Они зачем-то стукают рюмку об рюмку, говорят о чем-то непонятном, смеются. Вова решает вмешаться:

— Мама, а за едой не разговаривают. Ты сама сказала.

— Большим разрешается, Вова. А ты помолчи.

— Я и так помалчиваю.

Мама улыбается, но улыбка у нее получается какая-то нехорошая — кривая и совсем не веселая.

— Ну, иди ко мне,— зовет его дядя Ваня.— Я тебя вином угощу. А?

— Не, я лучше к Ваське...

Но Васька куда-то исчез. Побродив по комнате, Вова подходит к матери и взбирается на колени. Ему хочется приласкаться к ней, но его смущает этот черный усатый дядя, по-хозяйски распоряжающийся за столом. Вова не знает почему, только очень неприятен ему этот человек.

— Мама,— Вова склоняется к ее маленькому теплому уху и шепчет: — А фашисты тоже усатые?

— Тебе пора спать, малыш,— говорит мама.

— Пора, пора,— гудит дядя Ваня.

Мать уносит Вову за ширмочку. Вова уже умеет раздеваться сам, но сейчас мама помогает ему.

— Мама, а ты ему скажи, пусть он гитару не трогает: она папина.

— Хорошо, Вова, только ты молчи и спи,— говорит мама и зачем-то кусает губы.

Вова лежит, спрятав голову под одеяло. За ширмочкой слышится приглушенный смех. Потом мать подходит к сыну и спрашивает:

— Вова, ты спишь?

Вова не отвечает. Мать целует его, потом, подойдя к репродуктору, включает радио. Теперь не слышно ни мамы, ни дяди.

Как она подходит к нему еще раз, Вова не слышит, он спит уже по-настоящему.

Утром мама будит его.

— Пора вставать, сынок.

— А дядя Ваня ушел?

— Ну, конечно, он еще вчера ушел.

— А я его больше не пущу, я его танком выгоню.

Мама делает сердитое лицо:

— Не говори глупостей, одевайся скорее,— но голос ее почему-то звучит не сердито, а грустно.

Она торопится приготовить завтрак. Умывшись, Вова некоторое время размышляет, чем ему заняться. Потом он подходит к комоду и, обращаясь к фотографии отца, говорит:

— Папа, а ты все молчишь, так я тебе письмо писать буду.

Достав со стола большой красный карандаш и лист бумаги, Вова усаживается на полу. Он водит по бумаге карандашом, вырисовывая строчки.

— А на улице холодно,— бормочет Вова, сочиняя письмо папе,— в детском садике у нас Карантин, и я играю дома. Ты, папа, приезжай домой. Я тебя люблю, и ты мне расскажешь сказку. А еще ты прогонишь усатого дядю, который к маме ходит...

Вдруг Вова слышит, как у мамы в горле что-то булькает. Он испуганно поворачивается к ней и ви-

дит, что мама, раскрыв сумочку, рвет какую-то бумагу. На пол падает кусочек с поблескивающим черным усом...

Потом, забыв, наверное, что ей надо торопиться в контору, мама подсаживается к Вове, прижимает его к себе и долго сидит так...

Рядом, довольный тишиной, мурлыкает кот Васька.

1946 г.

ИЗ ЦИКЛА «ПАДЕНИЕ ПЛЕМЕНИ ЙЕСКЕЛОВ»

РЫЖИЙ НАТ

Это имя было грозой для всех малолетних обитателей квартала. Только Петя Синцов, хмурый и самоуверенный парнишка, не трепетал перед ним. Он просто-напросто произносил такое слово, от которого грозность Рыжего Ната улетучивалась. Это слово было «девчонка».

Дело в том, что Рыжий Нат действительно была обычной десятилетней девчонкой. У нее было круглое веснушчатое лицо, небольшой вздернутый носик и тоненькие ярко-рыжие косички. Но она не хотела признавать ничего «девчонковского» и признавала только «мальчишеское». Она даже переделала свое имя. Ее настоящее имя было Наташа, а она называла себя Нат.

К своим куклам Нат не притрагивалась вот уже года три. За иголку она не бралась, пока не увидела однажды, что отец ловко пришивает к пиджаку пуговицу.

— Папа, разве мужчины это делают?

— А ты думаешь, солдатам мамы или няньки починяют одежду?

С тех пор и Нат стала вдевать нитку в иголку.

Что она признавала из «женских» дел, так это нянчиться со своим годовалым братом Никиткой. Никитка был забавным парнишкой, и возиться с ним доставляло Нату удовольствие. Заставить же ее вымыть посуду или сварить кашу было делом нелегким. Зато она любила колоть дрова и охотно выполняла другие «мужские» работы по хозяйству.

Лазать по заборам так, как лазала Нат, никто не умел. Из рогатки она стреляла лучше всех. А драться с ней было вообще невозможно. Она не визжала, как другие девчонки, не царапалась и тем более не пла-

кала. Сухими, но крепкими кулачками она быстро-быстро дубасила своего противника до тех пор, пока он не признавал себя побежденным. Все боялись этих проворных и гневных кулачков.

Однако перед Петей Синцовым Нат позорно пасовала. Это был невысокий черненький мальчуган. Он жил в одном доме с Натом. С ребятами Петя играл мало. Чаще всего можно было видеть его насупленным, поглощенным какой-то думой. Видимо, поэтому ребята считали, что Петя зазнается. Он то высчитывал что-то, то принимался чертить, а летними днями забирался в сарай и там пилил, строгал и резал, мастеря какие-то сложные, но малопонятные машины.

Это был тихий, старательный паренек, и, однако, Нат оказывалась перед ним бессильной. Стоило ему сказать сквозь зубы свое презрительное «девчонка», как все могущество ее рассыпалось в прах. А называл он ее не Натом, а Наташей.

Хорошо еще, что Нат сталкивалась с Петей редко. Она просто избегала этих встреч. Пусть он там себе мудрит, высчитывает, строгает. Собрав около себя стайку подруг и товарищей, Нат верховодила среди них.

В это летнее утро, выйдя во двор, Нат потребовала у своего адъютанта Юрчика, чтобы он притащил лук и стрелы.

Они хранились у него.

Юрчик — коротконогий толстенький мальчуган, без ума преданный Нату, которая была года на два старше его,— быстрой рысью, вперевалку, как медвежонок, помчался выполнять приказание. Лук и стрелы — значит, будет игра в войну.

Тем временем Нат по лестнице, приставленной к сараю, взобралась на крышу. Размахивая большой березовой веткой, она громко закричала: «Э-ге-э-эй!» Это означало: «Мальчишки и девчонки, сюда!»

Яркое белое солнце катилось между облаками в далекую голубую высь. Знойные лучи позолотили рыжую головку, и волосы, выбившиеся из кос, тянулись по ветру к солнцу. В сером платьице, легкая и стройная, Нат была, как птица на высоком утесе. Казалось, сейчас, вот сейчас она кинется стремительно в воздух, звонко крича призывное «э-ге-э-эй».

Сигнала словно ждали. Не успела Нат спуститься на землю, а во дворе уже собралась почти вся боевая компания: белобрысые сестры-толстушки Соня и Шурка, Витя Козоедов, Боря Свистун и Юрчик. Витя прискакал на палочке и сейчас лихо гарцевал перед друзьями, показывая, какой у него прыткий и послушный «конь». Боря ковырял щепкой землю и насвистывал.

— Смотрите! — крикнула Нат и, не держась руками за лестницу, стала прыгать вниз с перекладины на перекладину.

— О-ой! — удивилась Соня испуганно и восторженно, а Боря даже бросил щепку. Но когда Нат спрыгнула на землю, он сказал:

— А я вверх ногами могу. Только сейчас не могу, сейчас на мне штаны новые.

— А знаете что? Давайте играть в войну,— предложила Шурка.

— Хватит! — строго сказала Нат.— Мы в войну больше играть не будем. Мама не велит, потому что позавчера воевали и окно разбили. Понятно? Мы сейчас в тайгу будем играть. Тайга — знаете что?

— Подумаешь! Все знают,— ответил за приятелей Витя, останавливая своего «скакуна».— Это такой дикий лес, и там медведи. Что, скажешь, нет?

— И не только медведи. Там бывают рыси, белки и разные другие животные и звери. А ходить по тайге очень трудно, потому что в тайге деревья и ничего не видно. Понятно?

— А как же мы будем играть, если деревья? Тут, во дворе, только три березы и сирень.

— Ты, Витька, поперешный,— сказала Нат. Она слышала однажды, как мать Вити назвала его этим словом.— Вечно ты поперек другим выдумываешь. Ведь игра же. Будто что деревья. Будто что. Понял?

— А звери?

— А звери мы будем сами. Я буду охотник, а вы — звери. Нет, я буду и еще Шурка — охотники. А вы...

— Нет, я зверем не буду... Ц-ц, но! Поехали! — Витя воображаемой нагайкой огрел своего «коня».

— Мне тоже нельзя,— сказал Боря.— У меня штаны...

Они долго спорили, но в конце все-таки договорились, что охотниками будут Нат и Шурка. Витя согла-

сился стать медведем: ведь медведя называют хозяином тайги. Борю уговорили превратиться в собаку. Без собаки охотникам никак нельзя. А быть собакой даже очень хорошо: она нигде не прячется, только ищет зверей и лает.

Юрчику поручили стать рысью. А Соне пришлось назваться лисицей.

«Охотники» и «собака» пошли на две минуты в дом. «Звери» за это время должны были разбежаться по «тайге» и спрятаться.

«Тайгой» был двор, широкий и длинный. Слева от ворот стоял дом, за ним росла сирень, потом березы и снова сирень. От ворот справа тянулись грядки, а по краю — малинник. За грядками был сарай, а за сараем опять грядки и еще сирень.

Через две минуты «охотники» вышли из дома. Нат была с луком и стрелами, а Шурка тащила «ружье» — палку от половой щетки. «Собака» громко лаяла.

— Ищи,— приказала Нат.

Бойко подпрыгивая, Боря понесся в сарай. Он облаял кусты сирени, но никого там не нашел. Подумав, он помчался в малинник.

— Ты с той стороны заходи, а я с этой,— шепнула Нат Шурке.— И если медведь, не бойся — стреляй.

— Вав, вав!! — раздалось в кустах, послышалось грозное урчание, и, выскочив из своей берлоги, «медведь» побежал за сарай.

— Бу-ух!! — закричала Шурка.— Чего же ты не падаешь?

Нат выстрелила из лука и промахнулась: стрелы были без наконечников, легкие, они летели плохо, а «медведь» бежал очень быстро.

— Витька, ты почему на двух ногах бежишь? Ты на четырех должен.

— Да! А Борьке можно на двух. Ишь вы какие...

— Так ведь у Бори же штаны новые!.. Давай снова. Это не в счет. Мы за тобой после придем.

И, кликнув «собаку», Нат направилась к березам. Там, по ее предположениям, обитал страшный таежный зверь — рысь.

Нат приближалась к рысьему логову, как настоящий охотник. Она не пошла напрямик, а, прижимаясь к стене дома и пригибаясь, прячась за кустами сирени,

подкрадывалась осторожно-осторожно. Шурка пробиралась за ней, держа «ружье» наготове. А «собака» помчалась напрямик.

И тут произошло неожиданное.

Только Боря подскочил к дереву и принялся облаивать «рысь», прицепившуюся к березе за сучок метрах в двух от земли, как та сорвалась и упала прямо на него.

Нат закричала боевое «э-ге-эй», выпустила в «рысь» стрелу и сама, как стрела, полетела к березам.

Юрчик, потирая ушибленную ногу, виновато ухмылялся. А Боря сидел на земле и сквозь слезы ворчал:

— Совсем не по правилам. Не буду я больше собакой. Сами будьте. Вот уйду сейчас домой.

Нату сначала стало жалко его, но когда он сказал, что уйдет домой, жалость исчезла.

— Ну и уходи. Пожалуйста... Уходи! Ну!

— И уйду,— сказал Боря и с видом оскорбленного зашагал к воротам. Постояв там с минуту, он грустно засвистел и поплелся домой.

Охота продолжалась. «Рысь» срочно превратилась в «собаку». Она бросилась по следам «медведя» и моментально обнаружила его. Опять в малиннике раздались лай, урчание, началась возня, и вдруг прозвучал голос Юрчика:

— А что он кусается! Это я собака, а не он. А он кусается.

Нат кинулась было туда, чтобы навести порядок, но в это время из кустов сирени донеслось:

— А за лисицей-то вы когда будете гоняться?

Это волновалась Соня, которой от безделья стало скучно. Охота расстраивалась. Это злило Нат. В несколько прыжков она очутилась около сирени и, сильно натянув тетиву, пустила стрелу в красное платьице. Это было совсем не больно, но «лисица» обиделась. Она засопела и, цепляясь платьем за сучки и ветви, стала поспешно выбираться из своей норы. А расходившаяся Нат уже снова натягивала тетиву.

— Зачем еще-то? Ведь я уже застреленная! — запротестовала Соня, но было поздно: вторая стрела ударилась в ее грудь. У Сони скривились губы, и по щекам побежали слезинки.

— Нюня,— презрительно сказала Нат. Ей было стыдно за то, что она обидела толстушку, и все же Нат повторила назло: — Нюня!

Соня уселась на крыльцо и надулась. Витя с Юрой выбрались из малинника.

Охота расстроилась окончательно.

В это время из дома вышел Петя Синцов. В его руках было какое-то странное громоздкое сооружение из маленьких дощечек, колесиков и железных пластинок.

Петя не пошел, как обычно, под сарой, а устроился посередине двора — присел на корточки, поставил перед собой свою самодельную машину и принялся что-то крутить у нее.

— Палкоход,— пояснил он, ни к кому не обращаясь.

Такой машины ребята никогда не видывали. Она походила на громадного толстого таракана. Только вместе лапок у него были три длинные палки-ноги. На концах их были приделаны колесики.

Петя покрутил какой-то винтик, и внутри «таракана» затрещало и задребезжало. Петя отпустил руки — и вдруг передняя нога «таракана» резко подалась вперед, потом обе задние, и все неуклюжее тело дернулось вперед. А передняя нога уже снова двигалась, за ней — задние, и «таракан» бойко зашагал по земле на своих ногах-палках.

Соня даже рот раскрыла от изумления. Ее голубые глазенки стали большими-большими.

— Вот это да-а,— протянул Витя и решительно шагнул вслед за «палкоходом».

— Нат, давай посмотрим, а? — попросила Шурка и, не дожидаясь ответа, бочком поскакала к Пете.

— Очень надо! — Нат горделиво тряхнула косичками.— А я по заборам лазать пойду.

И она, хотя ей очень хотелось поглядеть на «палкоход», не оглядываясь, двинулась в дальний угол двора, на ходу крикнув:

— Юрка, пошли!

Адъютант Ната с тоской посмотрел на шагающую самоделку, оглянулся по сторонам, словно выискивая, куда бы спрятаться от грозной предводительницы, потом еще раз взглянул на ребят, сгрудившихся около

Пети, недовольно шмыгнул носом и вперевалку затрусил за Натом.

— Очень надо! Ползун какой-то,— бормотала Нат, влезая на забор.— Вот в мастерской у папы я станки видела — да! А этот все равно завтра сломается. Юрка, верно?

Юрчик молчал. Он молчал, во-первых, потому, что влезать на забор ему было трудно; Нат — она длинноногая, ей хорошо. Во-вторых, он вовсе не хотел, чтобы «палкоход» сломался. Пусть ходит, а когда Нат уйдет домой, он посмотрит машину и, может быть, Петька даст даже покрутить.

Нат бормотала всякие страшные слова про Петину самоделку и грозилась, что перебьет у нее палки-ноги, но Юра понимал, что настроение у Ната совсем не боевое, просто — мрачное.

— А руками зачем держишься? — вдруг повернулась Нат к Юрчику.— Видишь, как я...

Искусство хождения по заборам состояло в том, чтобы, используя продольные перекладины на изгороди, идти, не держась руками. Кто падал, тот должен был начинать путь снова, от того места, где забрался на изгородь.

Они прошли по своему забору и перебрались на изгородь двора, где жили Шура и Соня. Тут двигаться стало легче: перекладины были широкие. Нат даже могла бежать. Конечно, не по-настоящему, но все же быстро.

Перебираться на забор следующего двора было опасно: там большущая собака, она высоко прыгает и, того и гляди, сцапает за ногу.

Нат остановилась.

Слева раскинулся большой пустырь. Собственно, пустырем он был до нынешней весны. А весной здесь началась стройка. Переваливаясь по ухабам, урча и гукая, засновали грузовики. Они привозили кирпичи, бетон, доски, бревна. Пришли рабочие и начали строить два огромных дома. И пустыря не стало. Уже четыре этажа поднялись в небо, а большие железные клетки на стальных тросах поднимали наверх все новые и новые груды кирпича.

Наверху работало много каменщиков. Один из них — молодой мужчина с выбившимся из-под кепки

черным вихром — трудился по-особенному весело и быстро. Он работал на самом высоком месте стены.

— Здорово работает,— солидно сказал Юрчик и добавил: — Это Петькин отец. Вон ему и привет написали.

Двое вертких подручных едва успевали подавать ему кирпичи.

Под мостками, на которых стоял каменщик, билось по ветру прибитое к стене красное полотенце. На нем красивыми размашистыми буквами было выведено: «Привет бригаде Тихона Синцова! Вчера она выполнила норму на 220 процентов».

— У меня папа тоже... новатор,— сказала Нат.— Про него даже в газете было... Ну, поворачивайся, пошли обратно.

Когда они вернулись в свой двор, там уже никого не было. Вся компания разошлась.

— Спрячь.— Нат подала Юрчику лук и задумалась, решая, что бы такое интересное предпринять.

Из квартиры Синцовых раздавался громкий детский плач. Нат вспомнила, что мать Петьки с утра уехала в город по каким-то срочным делам. Шестимесячную Тому она оставила на попечение сына.

«Вот сейчас я над ним посмеюсь»,— решила Нат и заглянула в окно Синцовых. В комнате никого не было. На полу возле печки стоял «палкоход». Нату очень захотелось отвернуть у него хотя бы одну ногу-палку, и она перелезла через подоконник. Но, прежде чем взяться за «палкоход», Нат через дверную щель заглянула в соседнюю комнату, откуда раздавался плач.

Петя стоял около уставленного немытой посудой стола и держал на вытянутых перед собой руках завернутую в пеленки девочку.

— Ну, чего ты орешь? — сердито и растерянно спрашивал он.

Сестренка не переставала кричать. Тогда Петя принялся заталкивать в рот девочки соску, Тома закричала еще пронзительнее.

Тут Нат не выдержала и вбежала в комнату. Петя, увидев ее рядом, растерялся и начал изо всех сил трясти сестренку.

— А ну, дай! — закричала на него Нат и отобрала ребенка.

Петя хотел сказать ей свое обычное презрительное «девчонка», но не сказал: это действовало, когда Нат изображала из себя парнишку, а тут она была... Тут она была как настоящая девчонка. Это «убийственное» слово сейчас можно было бросить ему самому.

Петя покраснел. Он подумал, что Нат задразнит его.

— Сразу видно — мальчишка, ничего не знает! — сказала Нат.— Ведь она же мокренькая. Где пеленки?.. Не плачь, Том, не надо. Он глупый. Сейчас мы с тобой... Да пошевеливайся ты!

Петя послушно подал пеленки. Нат запеленала девочку в сухое, и Тома, еще красная от крика, вдруг принялась улыбаться и пускать пузыри, что бывало с ней лишь в минуты радости.

— А на столе-то что! Ужас! — совсем как мать сказала Нат.— Безобразие. Сейчас же затапливай плиту. Будем мыть посуду. И кашку надо сварить.

...Когда Юрчик, уже потеряв всякую надежду найти свою предводительницу, заглянул, между прочим, в окно Синцовых, он увидел такую картину.

За столом сидел Петя и что-то чертил на большом листе бумаги, поясняя:

— ...А тут у нас корытца такие будут. Они станут бетон загребать и на конвейер скидывать...

Нат стояла рядом, легонько покачивая на руках Тому.

— А это? — спросила она, тыча пальцем в чертеж.— Это зачем?

— А это для сигнализации. Тут вот натянем проволоку, тут блок устроим...

Юрчик был поражен: Нат мирно беседует с Петей Синцовым?!

— Слушай, Петь! — воскликнула Нат.— А ты знаешь, что мы можем сделать?

Петя вопросительно посмотрел на нее.

— Мы твою машину в один миг соорудим. В одну неделю. И не маленькую сделаем, а большую.

— Это как?

— А мы сразу все будем работать. Один станет выпиливать, другой — строгать... третий... Ну, ты сам скажешь, кому что делать.

— Ты что, хочешь, чтобы все ребята?

— Ну да!

— Они же не умеют.

— Ого, не́ умеют! Боря, знаешь, какие свистульки вырезать может? И лобзиком умеет. А потом — ты же научишь. Да?

Петя нахмурился. Его эта затея и пугала немножко, и привлекала. Больше, пожалуй, привлекала. Ведь, если возьмутся все, машину действительно можно изготовить быстрее и, главное, большую. Тогда, может быть, сразу разрешат попробовать, как она действует прямо на строительстве...

— А еще нам папа мой может помочь,— сказала Нат.— Выточить на токарном станке или что...

Лицо Пети светлело, и губы незаметно для него самого начали ползти в стороны.

— Давай,— тихо сказал Петя,— попробуем.

Тут Юрчик не выдержал и решил вставить свое авторитетное слово.

— Конечно, попробовать надо,— сказал он, еще не зная толком, о чем идет речь.

Петя круто повернулся:

— Ты что здесь? Подслушиваешь?

— Ничего я не подслушиваю. Я Ната ищу.

Нат обрадованно пригласила:

— Залезай сюда! Да не бойся... Слушай. Мы будем строить машину. Надо быстро-быстро созвать сюда всех. Она будет кирпичи таскать и загребать бетон. Понятно? Скажи: вызывает начальник строительства. Это я. А Петя — главный инженер. Понятно?

Верный адъютант Ната скосил глаза на Петю, посмотрел на «палкоход», бодро сказал «понятно» и полез через подоконник во двор.

Когда Юрчик уже огибал дом, Нат высунулась в окно и прокричала вслед:

— А Боре скажи, чтобы новые штаны не надевал! Скажи, мы по-настоящему будем строить!

И уже из-за угла донеслось тоненькое:

— Поня-ятно!..

1952 г.

СЕМА И ВЕЛИКИЙ ФИРС

Девчата называли это «разногласиями между двумя великими державами». «Великими державами» были Валерка Худяков и Виктор Фирсов. «Разногласия» начались со знакомства.

Первого сентября седьмой «б» собрался у входа в школу задолго до звонка. Девчата, сгрудившись, слушали какой-то смешной рассказ Веры Садкиной, легкомысленно хихикали и даже повизгивали. Пареньки стояли чуть в стороне и с солидностью знатоков обсуждали шансы на победу футбольной команды «Спартак». Именно за эту команду болела почти вся школа.

— Выскочат! — уверенно утешал приятелей Валерка Худяков.— Им только обойти динамовцев — и все.

— Не так-то это легко,— длинный сутулый Кеша Строганов грустно покачал головой.— Не так-то...

Сема Благинин вдруг хлопнул себя по бедрам и захохотал.

— План! — выкрикнул он.— Гениальный план!

Все заулыбались: сейчас Семчик что-нибудь «отмочит».

Это был неисправимый шутник. Его веселые «теории» ходили по всей школе. Например, по Семкиной теории головной мозг школьника устроен так. В черепной коробке — бесчисленные коридорчики. А в них от потолка до пола — ящички. По коридорчикам бегает малюсенький человечек со связкой ключей. Если школьник узнал что-нибудь новое, человечек хватает это новое и засовывает в один из ящиков. Когда школьнику надо что-нибудь вспомнить, человечек бежит к ящику и вытаскивает из него требуемое. У одних школьников этот человечек бойкий, проворный, старательный, у других — ленивый и неповоротливый, у третьих — соня, у четвертых — со ржавыми ключами...

Вообще Сема был оригинальный, если не сказать странный, человек. Это бросалось в глаза уже при беглом знакомстве с ним. Очень толстый и неуклюжий, он был неудержимо подвижным и совершенно заслуженно имел прозвище Семка Живчик. Во всем классе он был самым безобидным: мухи не тронет. Всюду, в каждое дело он совал свой маленький вздернутый нос и в то же время оставался внутренне спокойным, ка-

залось, безучастным. В нем не было равнодушия, но было очень много беззаботности. Когда над ним посмеивались, он смеялся вместе с другими. Ничто не могло вывести его из себя.

Товарищи любили Сему за его веселый нрав. Всегда он что-нибудь да выдумает потешное. Сейчас этот толстяк сказал: «Гениальный план!»— и все заулыбались: опять какая-нибудь «теория»...

Сема напустил на свое круглое румяное лицо нечто вроде серьезности, похлопал ресницами и провозгласил:

— Электромагнитная атака! Главный исполнитель — Стружка.

Стружкой звали Кешу Строганова. Звали, во-первых, потому, что подходящей была фамилия, во-вторых, потому, что он всегда что-нибудь мастерил, выпиливал, строгал, а в-третьих, и это было, наверное, главным,— сам он очень уж походил на тощую вытянутую стружку.

— Атака,— продолжал Сема,— проводится тайно. Наш Стружка готовит мощный электромагнит и закапывает его у ворот динамовцев. Перед самым матчем Валерка похищает у судьи мяч...

— И попадает в милицию,— перебил незнакомый голос.

Все оглянулись. Около них стоял какой-то паренек. Высокий, видать, сильный. Чуть вьющийся чубчик, дерзкие темные глаза. Брюки снизу пообтрепались, на плечах висела свободная спортивная куртка «фасонного» покроя.

С независимым видом паренек отодвинул Кешу Строганова и, сразу очутившись в кругу ребят, спросил:

— Вы и есть седьмые балбешники?

Все молчали. Кеша вежливо поинтересовался:

— Балбешники — это что?

— Не знаешь? — паренек покровительственно усмехнулся.— Балбешники бывают шестые, седьмые и так далее. Означает: шестой «б», седьмой «б» и так далее. Понятно?

Валерка Худяков — первый ученик и не последний драчун — вызывающе прищурил глаза:

— А ты кто такой?

— Ктокалка! — не оборачиваясь к Валерке, ответил паренек, но тут же смилостивился, пояснил: — Виктор Петрович Фирсов. Понятно?

Сема хлопнул себя по бедрам и фыркнул:

— Это ты — Виктор Петрович? Хо!

— Нет, твой папа,— огрызнулся Виктор.

— А ты не очень...— нахохлился Валерка.

— Что «не очень»? Тоже мне указка!

— А что, и укажу!

— Конечности коротки.

Девчата притихли, насторожились: опять у мальчишек скандал.

Вера Садкина тряхнула косами и решительно направилась к спорящим.

— Левый край, правый край, не зевай!...— пропел Сема в предвкушении потехи.

Но тут из школы вышел Николай Никифорович Скворцов — классный руководитель седьмого «б», старичок, прозванный из-за фамилии и длинного носа Скворцом. Бочком протиснувшись поближе к спорящим, он пугливо взъерошился и воинственно пригнулся:

— А ну, с кем на кулачки?!

Мир был восстановлен.

Впрочем, то была лишь видимость мира. «Разногласия» между «великими державами» продолжались.

Виктор держался в классе независимо и вызывающе. На вопросы преподавателей он отвечал с ленцой и плохо скрываемой небрежностью, если же не знал материала, заявлял: «забыл» — и молчал, чуть ли не с гордостью подняв голову и усмехаясь поджатыми губами. Виктор был второгодником, и все ему было трын-трава. Поняв, что Валерка Худяков — сила (за ним идут почти все ребята), Виктор попытался примириться с классным вожаком, но ничего не получилось. «Не получилось? Наплевать!» — решил Виктор.

Валерка принадлежал к числу «земных отличников». Вы знаете, что отличники делятся на «земных» и «неземных»?

«Неземные» заняты только делом, книгами, науками. Вот, например, Кеша Строганов. Оттого он всегда и бледный, и немного грустный, другим с ним скучновато, а ему скучновато с другими.

«Земные» — те на уроках старательно сопят над письменной работой, неотрывно слушают преподавателя, любят взахлеб читать, но выдайся свободная минутка — они будут вместе со всеми дурачиться, прыгать, вертеться, как бесенята.

Валерка был «земной».

Сема говорил про него:

— У Валерки в голове такой особый циферблат. С надписями: «Веселье» и «Дело». Как уроки — человечек ставит стрелку на «дело», свободное время — переводит стрелку на «Веселье».

Веселиться Валерка мог как угодно и с кем угодно. Но только не с Виктором. При Викторе он делался нахохленным и молчаливым, лишь иногда бросал короткие злые фразы. И весь класс, привыкший видеть в Худякове вожака, относился к Фирсову настороженно, неодобрительно.

Только Сема не поддался общему течению. Он, конечно, объяснил это, поскольку он всегда все объяснял.

— У меня такой принцип,— сказал Сема.— Чего я буду ввязываться в их «разногласия»? Мне с Фирсом даже интересно.

Видимо, и впрямь было интересно: Сема перебрался к Виктору на последнюю парту, у окна.

Это Виктору понравилось: теперь он был не один. Всякому полководцу нужна армия. Виктор хотел быть полководцем.

На первых порах полководец держался со своей «армией» весьма учтиво: он побаивался, как бы «армия» не перешла на сторону противника. Сильные руки толстяка его не смущали. Этими руками Семчик умел только жестикулировать.

Постепенно Виктор убедился, что с Семчиком можно делать все что угодно: насмехаться, понукать, помыкать. Скулы Валерки Худякова бледнели, когда он наблюдал, как безропотно и беззаботно Благинин выполняет команды своего Великого Фирса. Так Сема называл Виктора.

У Валерки чесались руки подраться с Фирсовым. Заметив однажды (и не в первый раз), как сверкнули у Валерки глаза в разговоре с Виктором, Вера Садкина отозвала его в сторону. Она была редактором классной

стенгазеты и считала, что должна всем делать замечания. Валерке она сказала:

— Худяков, ты это брось.

— Что «брось»?

— Ты же знаешь, о чем я говорю. Ты же хочешь подраться с Фирсовым. А еще отличник!

— Что ж, отличник, так и стукнуть подлеца нельзя, не имею права?

— Можно обойтись и без драки.

— Ну, это не ваше, девчоночье, дело!

— Не наше? Да? А ты забыл, о чем тебя предупреждали на совете отряда?

Хм, Валерка действительно порой забывал об этом. А на совете его предупредили, что если будет еще хоть одна драка — берегись, товарищ Худяков: рекомендации в комсомол ты не получишь.

— Что же я сделаю, если его... бить надо?

— Бить не обязательно,— наставительно сказала Вера.— Его надо воспитывать. Побеседуй с ним, поспорь...

— Сама и беседуй!

— Ну и что же! Ну и побеседую.

Очень скоро, однако, Вера убедилась, что «беседовать» с Виктором невозможно и, главное, бесполезно. На все ее горячие и проникновенные слова он лишь усмехался, а когда ее речи надоедали ему, Виктор обзывал ее пигалицей и поворачивался к названной пичуге спиной. «Пигалица» от возмущения краснела и начинала понимать, что означает выражение «руки чешутся подраться».

Ясно, что Фирсовым были недовольны не только одноклассники, но и учителя. Он уже имел не один неприятный разговор с Николаем Никифоровичем и даже с директором школы. Важнейший вывод, который Виктор сделал для себя из этих разговоров, состоял в том, что необходимо каким-то путем исправить отметки. Пришлось взяться за Семкины тетради.

До этого Фирсов вообще не делал домашних заданий. Теперь он переписывал их из тетрадей Семчика.

Семчик не возражал. Со своей добродушной улыбкой он выкладывал тетради перед Виктором, а однажды предложил:

— Если очень лень самому, Великий Фирс, могу переписать тебе упражнения.

Было непонятно, шутил он или говорил всерьез. Виктор все же сообразил, что почерки у них разные и подделка может моментально раскрыться.

Все шло бы своим чередом, если бы Семчик не хромал в математике. После того как Виктор получил по алгебре две двойки за примеры, неправильно решенные Семой, он возмутился:

— Что ты мне подсовываешь?! Твой человечек,— Виктор ткнул в круглую стриженую голову Семы,— ничего в математике не смыслит.

— Почти как твой,— согласился Сема.

На следующий день Виктор стал «обхаживать» Стружку: тот был лучший среди семиклассников математик.

— Как приемник-то у тебя, подвигается? — осведомился Фирсов, едва Кеша появился в классе.— Мне говорили, мощный делаешь?

Кеше было приятно: даже Виктор Фирсов наконец заинтересовался его приемником! А тот продолжал свое:

— Я вообще считаю, что это самое толковое дело — радиотехника. Раньше я тоже занимался. Люблю!

Кеша оживился:

— Правда? Если хочешь, присоединяйся к нам. Я ведь не один делаю! Приходи вечером.

— Загляну. Мы еще и передатчик смастерим.— Виктор лихо подмигнул: дескать, со мной не пропадешь.— Слушай, у тебя по алгебре все сделано? Я в одном примерчике сомневаюсь. Может, дашь тетрадку? Сверить бы.

Отчего же не дать тетрадку человеку, который так любит радиотехнику? Пожалуйста... Одним махом Виктор «сверил» все задание по алгебре.

На следующий день повторилось примерно то же. Валерка Худяков бросал на Кешу убийственные взгляды, а после уроков принялся за воспитательную работу:

— Ты, Кешка, что же, в подлипалы к Фирсову записался?

Кеша озабоченно похлопал ресницами:

— Я не понимаю...

— А тут и понимать нечего!

— Но все же?

— А все то же! Зачем ему тетрадь свою даешь? Кеша удивленно вытянул шею, пожал плечами:

— Почему же не дать, если человеку сверить надо?

— Сверить? Что ты, не знаешь, как он сверяет? Сдует все, перепишет — и будто сам задание выполнил.

Кеша не сдавался:

— Ну, ты, Валерий, как всегда, горячишься. Ты не горячись. Да, раньше Виктор действительно делал так — списывал у Благинина. А сейчас он берется за ум.

— Берется! Было бы за что браться...

— Говорю, не горячись. К чему это? Вот ты его все время отталкиваешь от себя, от наших общих дел, а ведь его тоже... ему тоже хочется. Он радиотехнику, оказывается, любит. Почему не помочь?

Валерка от злости начал зеленеть:

— Соглашатель ты! Тряпка! Слюнтяй!

Кеша побледнел:

— Ты... Если ты так... Я не хочу с тобой говорить.

— Ну и все! Ну и иди, лижи ему пятки!

Вот как оно, дело-то, обернулось.

Кеша поссорился с Валеркой. Оба дулись, оба нервничали и злились.

А Виктор этому был только рад.

Сема плутовато поглядывал на вчерашних неразлучных приятелей и все норовил посмеяться над ними. То, что Виктор, сближаясь с Кешой, несколько отошел от него, от Семы, видимо, не очень-то огорчало невозмутимого толстяка:

— А мне-то что? — говорил он.— Наплевать. У меня такой принцип.

Впрочем, Виктор старался быть дипломатом. Он вовсе не хотел рвать приятельских отношений с Семчиком. Этот шутник и острослов был нужен ему для нападок на тех, кто был ему не мил. Сема с увлечением подхватывал злые шутки Великого Фирса и не щадил никого, даже Валерку Худякова. О нем он говорил: «Пых-пых».

С Кешей Фирсов вел себя по-иному. Он подлаживался под серьезный тон Стружки, толковал с ним о радиотехнике и возможностях создания школьного

радиоузла. Но и доверчивый Кеша начал понимать двуличие Фирсова. Как-то раз он сказал ему:

— Что же ты говоришь о радиотехнике, а ничего не делаешь.

— Все некогда, Стружка. Заниматься много приходится.

— Занимаешься, а по устному на алгебре двойку получил. Ведь в домашнем задании у тебя все было верно, а объяснить не смог.

— Ерунда. Исправлю.

На следующий день, однако, Кеша потребовал, чтобы Виктор, прежде чем сверить задание, показал ему свою тетрадь.

— Давай сверять вместе, а списывать я тебе не дам.

— Да ты что, очумел?

— Ни капельки.

— Ну, дашь тетрадь или нет?

— Списывать — не дам.

— Что, Худяк настрополил? Под его дудку пляшешь?

— Ни под чью дудку я не пляшу, а сказал — и все.

— Ну, и пойди... куда-нибудь подальше, к своему Валерке!

В тот же день на уроке Николая Никифоровича произошло следующее. Кеша, слушая объяснение, почти машинально черкал на листе бумаги, вырисовывая какие-то замысловатые узоры. Сидевший сзади Сема шепнул:

— Покажи.

— Сначала мне,— сказал Фирсов.

Кеша обернулся, не зная, кому подать листок, и в этот момент Сема, нагнувшись, выхватил у него рисунок. В тот же миг в классе раздался звонкий шлепок. Скворец остолбенел.

— Строганов! Что это такое?

Кеша встал:

— Это, Николай Никифорович... Это я получил подзатыльник.

— От кого?

— Не знаю, Николай Никифорович.

— Благинин!

— Я!
— Это ты?
— Это я,— с готовностью подтвердил Сема.
— Я спрашиваю, это ты ударил Строганова?
— Нет, Николай Никифорович, что вы! Не я.
— Что же ты прыгаешь за партой? И кто тогда, если не ты, безобразничал?
Сема молчал, невинно помаргивая.
— Фирсов!
Виктор нехотя поднялся.
— Это не я, Николай Никифорович.
— Садитесь. Все садитесь. Стыдно! Нехорошо...
Старик не на шутку обиделся.
На перемене Валерка подошел к Виктору и выпалил в лицо презрительное:
— Трус!
— Кто трус? — взъерошился Фирсов.
— Ты трус. Ударил, а как признаться, так в кусты.
— Ты поосторожней.
— Нечего мне с тобой осторожничать. Врун!
— Тебе что, мазнуть?
— Мазнуть я сам умею!
— Худяков! — к спорящим подлетела Вера Садкина.— Худяков, ты слышишь или нет?
Разъяренный Валерка обернулся к ней, хотел что-то сказать, но только махнул рукой:
— А ну вас всех! — и быстро вышел из класса. Вера выбежала следом.
В классной стенгазете появилась карикатура: правой рукой — рука была нарисована длинная-предлинная — Фирсов бьет по голове Кешу Строганова, а коротенькой, с растопыренными пальцами — левой, прикрывает себя и говорит: «Я — не я».
Ребята, переговариваясь и пересмеиваясь, стенкой окружили газету. Никто не заметил, как сзади подошел Фирсов. Высокий, сильный, он одной рукой раздвинул стенку и долго и внимательно рассматривал рисунок.
— Та-ак,— угрожающе произнес он наконец, и все даже отшатнулись.— Ну, так смотрите. Во-первых...— резким взмахом руки Виктор рванул газету со стены.— Во-вторых...— он огляделся, выискивая кого-то, и увидев Веру Садкину, шагнул к ней.— Редакторша!—

Фирсов со злостью щелкнул Веру по носу и сквозь зубы процедил грязное слово.— В-третьих...

И тут произошло то, чего никак никто не ожидал: Семчик, незлобливый, беззаботный, все прощающий Семчик, стремительно бросился на Фирсова и одним ударом сшиб его с ног.

Сема не умел драться. Он никогда не дрался. Он умел прощать другим слабости, шалости, лень и грубость. Но простить подлость он не мог.

Всей силой своего грузного тела Сема навалился на Фирсова и схватил его за горло. Потом, откинувшись, начал тузить без расчета, без всякого умения бойца, как попало. Никто толком и сообразить ничего не успел.

Сема поднялся бледный, и всем казалось, что он похудел и стал стройнее и выше.

— Ты! Великий Фирс! — крикнул Сема.— Никакой ты не Великий. Ты... Ты... вошь! Вот ты кто! Понял? Еще хочешь?

Фирсов встал. Он было сжал кулаки, но глянул на Сему, ставшего вдруг грозным, на стенку товарищей, плотно окруживших его, и вдруг размяк, заюлил глазами, повернулся и, ссутулившись, почти выбежал из класса.

1956 г.

ИЗ ЦИКЛА «ЗАКОН ТАЙГИ»

МАНСИЙСКИЙ НОЖ

Рассказ охотоведа

В рабочей комнате моего брата на полках, в шкафах, на столе и даже на полу лежат кипы книг и свернутые в трубки географические карты. С этюдными зарисовками перемежаются фотографии, снимки дремучей тайги чередуются со степными пейзажами, портреты ханта сменяются кадрами из жизни животных.

Свою жизнь брат посвятил изучению жизни животных и птиц. Он охотовед. Это вечный странник. Ему не сидится на месте. Он все время в путешествиях, скитаниях, ходьбе по самым темным и глухим, неизведанным уголкам Урала и Сибири.

Его путешествия скопили ему своеобразную коллекцию самых различных предметов.

В этой коллекции есть один предмет, который брат считает особенно дорогим и ценным. Это обыкновенный охотничий нож, сделанный каким-то неизвестным манси, простой кусок стали, отточенный и вделанный в деревянный брусок. Хранится он в ножнах, вырезанных из куска березы.

— Почему,— спросил я однажды у брата,— ты так дорожишь этой пустяковой вещью?

— Так, память,— ответил он.— Давно было... Этот нож пережил со мной одну неприятную историю.

Брат не любит подробно рассказывать о своей работе, но тут я упросил его, и он рассказал эту «неприятную историю».

Река, обозначенная на карте пунктиром

Река Обь известна во всем мире. Ее приток Иртыш знаком каждому советскому школьнику. Впадающую в Иртыш Конду знают уже не все. А о при-

токах Конды — северных реках Есс, Нюрух, Пурдан, Адем-Немы-Яган — слышали совсем немногие. На карте они бегут к Конде извилистыми голубыми змейками. Среди этих змеек извиваются этакие робкие черточки пунктира. Что они означают?

Это река Ух.

Люди слышали, что такая река есть, но никто не бывал там, никто этой реки не видел, никто не знает точно, как она течет, и потому лишь предположительно занесли ее на карту в виде неопределенной пунктирной линии.

В глухой, нетронутой чаще урмана таится эта река. Непроходимые таежные болота обступили ее со всех сторон, и лишь тропы диких зверей местами прорезают заросли болотного багульника. Для человека эти тропы недоступны, они непроходимы и подобны запутаннейшему лабиринту, довериться которому — значит погибнуть.

Ух — священная река манси. По преданию, здесь издавна поселился какой-то лесной дух. Дух не любит, когда его беспокоят люди, кто бы ни были они. Рассказывают, что где-то в этом районе мансийские шаманы запрятали своего знаменитого идола — «Золотую бабу».

Тогда — это было в 1936 году — я работал в Кондо-Сосьвинском боброво-соболином заповеднике. Короткие и неясные разговоры о реке Ух заинтересовали меня. К тому же, по слухам, она была очень богата бобрами, и бобры там были самого лучшего качества.

Я решил обследовать эту речку.

Шаман Езин сердится

Еще зимой я стал подыскивать себе проводника. Пускаться в таежный неведомый путь одному было нельзя, просто не под силу. Мне необходим был спутник, компаньон, товарищ.

Скитаясь по тайге, перебираясь от одной юрты к другой, я предлагал знакомым и незнакомым манси пойти со мной. Услышав об Ухе, манси делали испуганные глаза и шептали:

— Нельзя, начальник. Там худое место.

И уговаривали:

— Не ходи, Борис. Шайтан сильный. Не ходи.

Никто из них не упоминал, что Ух — их святыня. Просто они говорили «худое место».

Надо помнить, что в то время, в 1936 году, до северных манси советская культура только-только доходила. Это был еще темный, запуганный шаманами народ.

Я убеждал, просил, уговаривал — все было бесполезно.

Наконец мне посчастливилось. В юртах Тимка-пауль жил манси Илья Номин. Невысокого роста, лохматый, с большими, как у теленка, глазами навыкат, он был неразговорчив и замкнут. Даже манси про него говорили, что Илья «тронут шайтаном». Говорили:

— Ненадежный Илья человек.

Я махнул рукой: лишь бы согласился.

Номин, выслушав меня, долго молчал, потом что-то бормотал себе под нос.

Наконец он сказал:

— Пойдем.

Мы условились с ним встретиться в середине мая на озере Есс-Талях-тор, в верховьях речки Есс, чтобы оттуда двинуться на Ух.

В начале мая, нагрузив свой вещевой мешок сухарями, сахаром, солью, табаком, фото- и боеприпасами, я вышел из Шухтункурта. До Есс-Талях-тора было больше ста километров.

Последнюю остановку перед озером я сделал в юрте Еман-курт, что значит «святая юрта». В ней жил старик хант Езин. Он был шаманом.

Езин накормил меня, пригласил заночевать, потом стал расспрашивать, куда идет мой путь.

— Хочу Ух посмотреть...

— Ух? — Полуслепые узкие глазенки старика стали совсем-совсем маленькими и очень злыми.— Ты правду говоришь, русский начальник? Хотя, я знаю, ты всегда говоришь правду.

Езин знал, что такое работа охотоведа. Он привык к тому, что я непрестанно лазаю по тайге.

Он задумался, поглаживая пальцами подбородок, из которого все волосы, по старому хантыйскому обычаю, были тщательно выщипаны. Потом, гневно гримасничая и морща дряблую желтую кожу, Езин потряс головой, покрытой редкими волосами.

— На Ух ходить не можно,— сказал он,— нельзя ходить. Пропадешь. Все равно пропадешь. Шибко худое место. Шайтан сердиться будет.

— Ничего, старик,— попробовал я успокоить Езина.— Твои боги на меня не обидятся. А шайтана, ты же знаешь, я не боюсь.

Я улегся на лежанку и укрылся оленьими шкурами, а старый шаман еще долго бормотал какие-то страшные слова, видимо, призывая лесных духов помочь ему остановить осквернителя священных мест. Утром, увидев мои приготовления в дорогу, Езин зло нахохлился и спросил:

— Идешь?

— Иду.

— Запомни мое слово, начальник. Шибко худо тебе будет. Шаман знает богов, боги шибко тебя обижать будут. Ружье твое стрелять не будет. Ноги твои ходить не будут. И собака твоя пропадет. Не ходи на Ух.

Ну что ты с ним поделаешь, с этим упрямым полоумным стариком?

Езин сердито повозился в углу юрты и вышел на улицу покормить моего пса Грозного рыбой. Сердиться — сердись, а законы гостеприимства не забывай.

Вернувшись, он спросил:

— Дорогу знаешь? Кто поведет тебя?

— Я иду с Ильей Номиным.

Через несколько минут мы распрощались.

Первые неудачи

До Есс-Талях-тора оставалось километров тридцать. Почти все время я шел по подснежной болотной воде, изредка пересекая заросшие сосняком и ельником сухие островки. Я спешил к озеру, чтобы там, остановившись, подсушиться и сварить пищу. Но мой Грозный, обычно неутомимый, деятельный, энергичный, сегодня был почему-то вял и устало плелся в стороне. Лишь поздно вечером добрались мы до острова. Через сутки туда явился и Номин со своей лайкой Ворсиком.

Мы собирались с Ильей ложиться спать, как вдруг совсем недалеко, метрах в ста от нас, раздался какой-то дикий нечленораздельный крик. Я вздрогнул и не-

произвольно съежился. Высокий дребезжащий звук входил в уши, как игла, и, достигнув предельной резкости, внезапно оборвался. Почти тотчас возник другой, такой же протяжный и дикий, но низкий, густой, тяжелый. Он оборвался так же, как и первый.

Это не был голос человека. Но это кричал не зверь.

Я сидел без движения. Илья тоже притих, испуганный, подавленный, дрожащий. В больших и светлых его глазах застыл страх. Собаки ощетинились, напряглись, но в нерешительности замерли на месте.

Взметнулись золотой игривой струйкой искры от костра, рассыпались и, потухая, медленно упали вниз. Мы подвинулись к огню. И вдруг снова из черной плотной тьмы, обступившей нас, раздался дребезжащий визгливый вопль.

— Гхрьа-а-а-а!

А за ним — низкое и гулкое:

— У-у-у-у-ух!

Нужно было что-то сделать, предпринять, хоть слово громкое вымолвить, чтобы встряхнуться. Иначе, казалось, так и окаменеешь навек, сдавленный тоской и страхом. С усилием глотнув слюну, я прохрипел:

— Ничего, Илья, не трусь. Это зверь...

Я и сам не верил этому. Я знаю повадки зверей и знаю их голоса. Так не кричит ни одно из животных. Но кто же это? Или что?

Нужно было гнать от себя страх, и уже громко и упрямо я повторил:

— Зверь!

Я взял ружье и выстрелил в кричавшую тьму.

Больше в ту ночь вопль не повторялся, но заснул я лишь под утро. А Илья так и не сомкнул глаз.

Утром мы двинулись в путь к верховьям Уха.

Путь наш лежал по топким моховым болотам, поросшим сосновым нюром — деревцами высотой в человеческий рост. Меж болот — кедровые острова и сосновые боры. У берегов болотных речушек лепится к земле посуше березняк и ельник. На десятки километров раскинулись заросли багульника, и над землей висит дурманящий запах его белых цветов.

Мой Грозный ник все больше. Он ничего не ел и слабел с каждым днем. Уже не поспевая за мной, он еле волочил ноги, но все же — верный, преданный

пес! — тащился вперед. Последние два дня своей жизни Грозный приходил к месту наших ночевок лишь утром. Придет, ляжет и смотрит, все смотрит на меня затуманенными грустными глазами. Тащить его на себе я не мог: тяжело и бесполезно.

Однажды Грозный не пришел и утром. Я ждал его безрезультатно. Он отстал навсегда, погибнув где-то в урмане.

Тогда вспомнились мне недобрые слова шамана. Не зря, видно, кормил старик Грозного перед моим уходом.

Ночью три раза пронзительно и жутко кричал все тот же... неизвестный.

Через несколько дней пути мы нашли в болотах район, где берет начало Ух. Пробираясь по течению речной струи, мы дошли до того места, где Ух уже определенно принимает вид реки метра в четыре шириной.

Выбрав островок посуше, мы сделали стоянку. В тот день мне удалось застрелить оленя — первого и последнего за время моей экспедиции на Ух. Убив его, я навялил и накоптил мяса. Илья в это время вырубил из прочного тяжелого кедра днище для лодки. Для обшивки бортов мы использовали легкую сосну и с помощью топора и тесла смастерили лодку. Выбрав ель посуше, вырубили из нее два весла.

На следующий день наша лодка уже плыла по Уху. Радость от удачного начала плавания настолько взволновала нас, что между нами завязался примерно такой веселый, оживленный разговор:

— Поехали, Илья! — возбужденно кричал я.

— Угу,— отвечал мой спутник.

— Да-а,— в тон ему подхватывал я.

— Хм,— продолжал Илья...

Но радоваться пришлось недолго. К ночи лодка остановилась: Ух струился по болоту-зыбуну, среди громадных, тесно прижимающихся друг к другу кочек. Пришлось тащить лодку на себе. Лишь утром река опять стала рекой, найдя свое русло.

К вечеру Ух снова растекся по болоту, и снова всю ночь тащили мы лодку и припасы на себе, замерзшие, мокрые, по грудь в зыбкой прогнившей воде. Ведь среди нее мы не могли остановиться для отдыха.

И опять те страшные, леденящие душу крики...

«Черт возьми! Когда же кончится это?» — думал я, с тревогой посматривая на Илью. Дикие ночные крики действовали на него значительно сильнее, чем на меня. В глазах Ильи не исчезали настороженность и испуг, при каждом повторении криков он бледнел и дрожал всем телом.

В зыбуне мы мучились три ночи. И только на четвертые сутки кончились опостылевшие смрадные болота. Вода стала чище и глубже. Вплотную подошел к реке урман. Берега, густо поросшие елью, пихтой, кедром и сосной, надвинулись темной глухой стеной. Лишь посредине, над водой, светлела узкая полоска бледного северного неба.

«Шайтан пускать не хочет»

Бобров на Ухе оказалось, действительно, немало. Было радостно: не зря я решил обследовать эту реку. Мне удалось сделать много интересных фотоснимков. Все время вел я маршрутную съемку и заносил на схему места бобровых поселений.

— Что рисуешь, Борис? — спрашивал Илья.

Я объяснил ему. Номин недоверчиво качал лохматой головой:

— Ам номсеум, атим (я думаю, нет). Ты шайтана след ищешь, а?

— Атим, Илья, атим. Я для людей дорогу рисую.

— Зачем другим людям сюда дорогу знать? Не надо это. Шайтан шибко сердиться будет.

Я пытался объяснить — зачем. Бобров разводить будем. Недаром пушнину называют «мягким золотом». Номин за нее из Москвы товары получит и деньги. Москва за нее машины получит и золото. Новые дома будем строить, просторные, красивые, теплые. Школы построим. Дети Номина учиться будут. И сам Номин, если захочет, тоже...

Илья лишь недоверчиво качал головой.

Случилось в эти дни несчастье: исчезла лайка Номина Ворсик. Отошла куда-то по берегу в сторону и — как не бывало ее. Думали, вернется. Нет, не пришла. Неважная была у Номина собака, а все же... все же это была собака.

Горевал я очень: плохо в тайге без пса. Номин испуганно таращил глаза на лес и молчал. Опять мне вспомнились злые слова шамана.

В тот же день свалилось еще одно горе. Перетаскивая лодку через упавшие деревья, мы измокли, замерзли и решили подсушиться. Я вышел на берег и, выбрав в густой чаще маленькую полянку, разложил костер. Илья в это время подтаскивал лодку к берегу. Пока он возился у воды, я, пригретый огнем, заснул коротким, тревожным сном. Внезапно — бывает иногда так: словно кто-то незримый толкает тебя, и ты мгновенно просыпаешься — внезапно я очнулся от сна и сразу вскочил на ноги. Илья сидел у костра и дремал:

— Илья! Лодку подтащил?

— Си, си, (да, да),— встрепенулся Номин.

Я сквозь чащу посмотрел на берег. Лодки не было.

— Илья, где лодка?

— Олы, тыпал (есть, тут).

— Нет лодки, Илья!

Он поднялся, огляделся, и лицо его сразу сделалось встревоженным и испуганным:

— Шайтан, Борис!.. Шайтан лодку утопил.

Я подбежал к берегу. Лодка была на месте, но... под водой.

Теперь-то я все знаю... А тогда, увидев, что у лодки в нескольких местах отлетела на швах смола, я решил, что это — результат нашей небрежности.

Все мои записи и фотоприпасы сильно подмокли, часть их испортилась. Соль и сахар растворились в воде, сухари превратились в кашицу. Нетронутыми остались лишь спички да порох, закупоренные в специальные баночки.

Потом... Не думал я, что подведет нас мой старый друг — урман. А вот подвел. Вплотную подступил он к берегам Уха, и многие деревья, полусгнившие, поваленные ветрами громадины, упав поперек реки, преградили нам путь. Лодку приходилось перетаскивать через деревья, местами волочить по берегу. Поваленные деревья встречались все чаще и чаще. Пять суток тащили мы лодку на своих руках. Я все надеялся: будет возможность плыть. Ее не было. Ночные крики повторялись.

Илья ворчал:

— Минунг эри юн (пойти надо домой). Шайтан велит...

Мы, собственно, и так шли домой. У меня уже скопился довольно богатый материал о здешних бобрах и составилось вполне определенное мнение о реке. Но Илья хотел идти через лес: подальше от «святыни шайтана» и путь короче. Я же убеждал его пробираться по Уху на Конду. Илья упрямился:

— Шайтан вперед пускать не хочет. Шайтан сердится.

У нас кончились продукты.

Два дня тащились мы, обессилев от голода.

— Минунг юн,— все чаще повторял Илья.

Голодная тайга

В тот вечер как-то особенно тяжело было на душе. Над урманом собрались грозовые тучи, и шалый ветер, качая деревья, выл больно уж тоскливо.

Голодные, мы сидели у костра на берегу сурового, неприветливого Уха.

— Давай спать, Илья,— предложил я Номину.

— Атим. Я посижу.

— Ну, посиди,— и я завернулся в брезент...

Утром у тлеющего костра Номина не оказалось. Я было подумал, что он ушел от меня, но сразу же от этой мысли сделалось стыдно. Не может такого случиться. Просто отошел в тайгу попытаться промыслить что-нибудь.

Прошел час. Прошло два часа. Илья не возвращался. Я ждал. Прошло пять часов, шесть... Я кричал Номина, стрелял. Тишиной, глухим безмолвием отвечал мне урман. Я провел на этом месте еще ночь, но Илья не пришел, и наутро я двинулся в дорогу.

Истощенному и ослабевшему, мне было уже не под силу тащить лодку. Оставался один путь — через урман на запад к юртам Тимка-пауль.

И я пошел на запад.

Неопытным людям трудно представить себе, что в нетронутом, диком лесу, имея ружье, человек может погибнуть голодной смертью. По представлениям многих, тайга всегда кишит животными и птицами. Увы, бывает и не так.

Был июнь — самый пустой для таежного охотника период, а без собаки — совсем безнадежный. Птицы засели в гнезда на яйца, многие из них линяли, прячась в травах. Лоси и олени ушли в непролазные чащи, скрываясь там со своей только что появившейся на свет молодежью. Глухая, мертвая — вот именно мертвая — тишина заполняла урман.

Если бы жив был мой Грозный!.. О, этот пес что-нибудь бы да разнюхал — не зверя, так птицу, не птицу, так зверюшку. Но моего верного пса не было, и я тащился вперед один, усталый, голодный, злой — на запад, напрямик, напролом.

В первый день я прошел километров тридцать, во второй — меньше, а в третий уже только километров двенадцать. Слабость все сильнее сковывала тело. Ноги передвигались с трудом, злым и упрямым усилием воли...

Это случилось на четвертый день. Я проходил через красивый, чистенький, как парк, сосновый бор. Вдруг в стороне, в лощине, заросшей ельником, раздался крик дрозда.

Ох, как забилось мое сердце!.. Мясо! У меня будет кусок мяса — и, весь сжавшись, затаив дыхание, я стал подкрадываться к ельнику. Ничего не подозревавшая птица деловито трещала на дереве. Сейчас, вот сейчас трепещущий комочек мяса упадет к моим ногам.

Вот я прицелился, вот выстрелил, вот уже падает убитый дрозд. И в тот же миг с рявканьем и пышканьем из-под поваленной ели выскочила медведица и крупными скачками направилась прямо на меня...

Несостоявшийся поединок

Позднее один из егерей нашего заповедника, старый манси Николай, уверял всех, что меня спасла его молитва.

В тот час, когда я, обессиленный, еле стоящий на ногах, сжимал слабеющими руками ружье, готовясь к поединку с медведицей, Илья Номин подходил к своей юрте. Да, он пришел домой...

С ним, как я узнал это позднее, произошло следующее. Когда я уснул, Илья, сидевший у костра, услы-

шал, как кто-то тихонько зовет его по имени. Он испугался и хотел разбудить меня. Но в это время он увидел за деревом человеческую фигуру. Это был шаман Езин. Номин, удивленный, подошел к нему.

— Боги шибко сердятся, Илья,— зашептал старик.— Ты слышал — шайтан кричал?.. Да-да, это он кричал. Шайтан будет убивать того, кто ходит по святым местам. Боги позвали меня, я пришел и принес им жертву. Я попросил у них, чтобы шайтан не убивал тебя. Боги сказали мне, пусть манси Илья живет. Только пусть уходит, скоро-скоро уходит...

Это он, Езин, ревнивый и упрямый хранитель шаманских тайн, все время тайно преследовал нас. Он кричал по ночам, надеясь, что страх прогонит нас обратно. Он испортил лодку и убил собаку Номина. Все это я узнал позднее.. В ту ночь Езин увел Илью. Он уговорил его оставить меня в жертву шайтану. Уверен был шаман, что не выйти мне из тайги, и святое место останется по-прежнему неведомым для людей, глухим, недоступным, а воля шамана и его сила — по-прежнему священными.

Вернувшись домой, Номин лег спать, никому не рассказав обо мне. Но его жена оказалась болтливой. И пополз по тайге слух: «Илья вернулся, а Борис остался в урмане».

Уже к вечеру на ближайшей ПОС (производственно-охотничья станция) это стало известным. Директор станции спешно выехал к юрте Номина.

— Где Борис? — спросил он у Ильи.

— Тапал (там, по ту сторону),— невозмутимо отвечал Номин.

— Где там?

— В урмане. На вершине Уха.

Он указал место в верховье реки, совсем не то, где меня оставил. Так велел Езин.

Директор ПОС немедленно послал в верховья Уха людей.

В тот день, уходя на поиски в тайгу, и молился за меня своему деревянному идолу старый манси Николай.

...А с медведицей получилось так. Когда рассерженная внезапным шумом выстрела она выскочила из-под ели и бросилась ко мне, я немедленно зарядил второй

ствол пулей. В правом пуля сидела у меня и раньше. Зверь пробежал метров двадцать и остановился. Я прицелился, собираясь спустить курок, и тут вспомнил, что старые охотники всегда говорили мне:

— Прежде чем стрелять в медведицу, подумай.

Я вспомнил этот мудрый совет и хорошо сделал. Левый ствол моего ружья давал осечку. Подумав, я решил первый выстрел сделать именно из этого ствола: если произойдет осечка, я не прогадаю — второй осечки этого же капсюля не будет. Если же я выстрелом из левого ствола не убью, а лишь пораню медведицу, у меня в запасе останется заряд в безотказном правом стволе. А тогда важна будет каждая доля секунды. И пусть зверь подойдет еще ближе. Ни в коем случае не отступать: от этого медведи обычно лишь смелеют.

Так обдумал я свое положение. Конечно, это заняло совсем немного времени, лишь столько, сколько нужно белке, чтобы перепрыгнуть с ветки на ветку.

Я сделал несколько шагов вперед, встал за толстое дерево и прислонился к нему. Приготовив на всякий случай нож, я стал ждать.

Медведица пофыркала и тоже спряталась за дерево. Через минуту она вышла из-за ели, сделала несколько крупных скачков и вновь укрылась, уже за другое дерево, ближе ко мне.

Я не отводил стволов с ее лба. Медведица недовольно рюхала, и ее маленькие глазки свирепо блестели. Вот она остановилась шагах в двадцати от меня.

«Пора!»

Я нажал спусковой курок. Цок! Медведица резко вздернула голову, прислушалась. Я снова щелкнул, взводя курок. И в этот миг ее как ветром сдуло. Бросилась в сторону и тотчас исчезла в чаще молодого ельника. Остановилась там, зафыркала, закричала, завозилась.

Смотрю, с ели слезает медвежонок. За ним — второй. И оба — в чащу, к мамаше. Хотелось, очень хотелось пристрелить одного медвежьего парнишку, да здравый смысл удержал: в клочья разорвет меня их мать.

Чаща, в которой засела медвежья семья, была очень близко от меня, временами я видел медведицу между

ветками. Но стрелять не стал. Не мог я тогда стрелять не наверняка.

Так и остались они там. И дрозд мой с ними остался. А я ушел.

Наперегонки со смертью

В тот же день, часа через полтора, мне встретился еще один кусок мяса. Это был глухарь. Он линял, не мог взлететь и бежал по земле. Сгоряча, обрадовавшись удаче, я выстрелил в качающуюся над травой голову убегающей птицы, не перезарядив ружья дробью. Пуля, припасенная для медведицы, в глухаря не попала. Моя надежда поесть исчезла в лесной траве.

После этого я уже ни разу не встречал дичи. Я ел тонкие кисловатые листочки лиственницы, жевал какую-то, похожую на пырей, траву, сосал свой кожаный ремень — и это была вся моя пища.

Но я продолжал идти.

Во что бы то ни стало я должен был дойти до юрт. Кто вперед: я — или смерть.

С каждым днем, с каждым часом убывали мои силы. Я ослабевал все больше и больше. Ноги казались ватными, они подгибались и не хотели слушаться. Я мог идти лишь несколько километров за сутки. Болота и речки стали для меня непреодолимыми препятствиями. Приходилось их обходить. Случалось, набредешь на болото, повернешь вдоль края, чтобы обойти, идешь, идешь, а край его загибается назад. Кружишься целый день, а вечером вновь подойдешь к тому месту, откуда ушел утром.

Где-нибудь в буреломе зацепится нога за дерево, упадешь и лежишь полный час: силы подняться нет.

Не помню, на седьмые или восьмые сутки голодного путешествия по лесу наткнулся я на су́мех — амбар с припасами, установленный на высоких столбах. Строят их туземные охотники, оставляя в них на всякий случай продукты и разные припасы. Недобрый случай какой или охота приведет манси к этому месту — он знает, есть у него в сумехе на черный день мука или сухари, соль и сушеное мясо.

Увидел я сумех — обрадовался страшно: это же спасение! Это жизнь!

Амбарчик стоял на деревьях высотой метров пять или шесть. Стволы их были гладко очищены и отполированы, чтобы зверь какой-нибудь, росомаха дерзкая не разграбили добра. Под деревьями лежала толстая, сантиметров пятнадцать-двадцать, жердь с зарубками. Приставив ее к амбару, охотник забирается наверх.

С бьющимся сердцем взялся я за эту своеобразную лестницу... Проклятая слабость! Я не мог поднять жердь. Я тужился, кряхтел, обливался потом — бился всячески... Но — тщетно!

Мне было совершенно ясно: если я не заберусь в сумех, смерть неизбежна. Вот она, здесь стоит, рядом...

До вечера возился я с жердью, окончательно вымотал себя и, наконец, упав, уже не мог встать на ноги...

А люди с верховьев Уха вернулись ни с чем. Ни у реки, ни в тайге они не могли найти меня. За это время все кругом были подняты на ноги. Партиями по несколько человек люди уходили в урман на поиски.

Уже нарочный директора ПОС известил заповедник — база его была в двухстах двадцати километрах — о случившемся. Оттуда тоже спешили на помощь. Я этого, конечно, не знал, а если бы и знал, что толку?.. Меня окружали мертвое безмолвие урмана, чаща, болота, смерть.

Своего тела я не чувствовал. Его как бы не стало. Необычайно хорошо работал мозг. Я понимал все совершенно отчетливо, предельно ясно. Лежа во мху у сумеха, я написал записку для тех, кто когда-нибудь найдет мое тело. Разводить костер в тот вечер я уже не стал: лишние движения. Наступила ночь, и я заснул.

Сон освежил меня. Проснувшись утром и лежа на спине, я случайно взглянул на тонкую высокую сосну в нескольких метрах от меня. Вот где спасение!

Тогда и сослужил мне свою лучшую службу этот старый охотничий нож.

С лихорадочной поспешностью я начал подрубать им сосну. Не знаю, сколько я потратил времени. Здоровый человек обыкновенным столовым или перочинным ножом подрубил бы это дерево в несколько раз быстрее.

Я часто и подолгу отдыхал. Наконец еще усилие — и сосна повалилась на сумех.

Передо мной был мост в жизнь.

Но — мост-то мост, а еще надо суметь по нему пройти.

Медленно, отдыхая через каждые полметра, взбирался я наверх. Подтянусь, всажу нож в ствол, отдохну, держась за нож, опять подтянусь, снова всажу — и так до сучьев.

А они были высоко.

И каким же горьким, каким обидным было мое разочарование, когда я очутился в амбарчике!.. Старые шкуры, глиняный черепок, наконечники стрел, пустые мешочки, обломок сабли времен Ермака да еще какая-то рухлядь — вот все, что было там. Стоило из-за этого мучиться!..

Но нет! Что-то желтеет вон в том углу... Да, да, конечно, ведь это мука. Мука! Хлеб... Словно кто-то сдавил мне горло.

Ее было граммов двести — отсыревшей, полусгнившей муки, когда-то нечаянно рассыпанной здесь. Наверное, ни один старатель не собирал с такой тщательностью золотой песок, с какой сгребал я эту затхлую муку.

Через несколько минут я уже пек на костре лепешки, завернув кусочки теста в листья.

Воля зовет вперед!

А потом... Потом я опять шел. Правда, не в буквальном смысле слова. Вернее будет, если я скажу, барахтался в урмане, полз, лез, корчился, карабкался — все, что угодно, но в общем, двигался.

Воля! Она толкала меня, тянула, тащила. Туда, на запад, к заветному жилью манси. Часто очень хотелось лечь, упасть, чтобы больше не вставать, не мучиться. Так хотелось телу. Но мозг — не велел. Для того ли, чтобы погибнуть, шел я на Ух и терпел все невзгоды? Я нес с собой ценные научные материалы. Их ждала от меня моя страна. Черт возьми, ведь жизнь еще теплится во мне! Быть может, завтра придет смерть. Но — завтра. А сегодня, пока во мне есть хоть маленькая

частица жизни, я буду изо всех остатков сил биться и за эту частицу. Нет, только вперед!

На десятый день я наткнулся на охотничий тес — лесную тропу от зарубки к зарубке. По большим и ровным стесам я узнал руку знакомого манси Кирилла Дунаева. До юрт оставалось уже совсем немного, меньше двадцати километров.

Последние пять или шесть километров я преодолевал сутки. Это выходит километр за четыре часа. Вот какая арифметика.

Хватаясь за деревья, шатаясь, я еле-еле перебирал ногами.

Упаду и не могу встать. Ползу. Ползти тоже было очень трудно.

Когда я услышал лай собаки, у меня покатились слезы, и я хотел побежать. Рванулся — и упал. Упал и, хоть убей меня на месте, не могу ни встать, ни пошевелиться. Такая была обида!

Отдышался еле, приподнялся на четвереньки — и дальше.

Мой вид, наверное, был очень страшен. Худой — одни кости, бледный, грязный, заросший, исцарапанный, трясущийся от слабости и волнения, в одежде, изодранной в клочья, подползал я к юртам.

Крайней была юрта Кирилла Дунаева. Я добрался до нее и, не вставая с четверенек, постучал.

— Кто там? — спросила Авдотья, жена Кирилла.

— Это я — Борис.

— Борис?!

— Ну да, я... Открой, Авдотья.

— А зачем ты пришел, Борис?

— Авдотья, мне плохо... Поесть...

— Иди в урман, тебе там ходить надо.

Моя давнишняя знакомая, обычно очень приветливая и гостеприимная, она препиралась со мной минут десять. Мужа ее дома не было, все мужчины из юрт ушли в тайгу искать меня. Потом оказалось, Авдотья думала, что это был не я, а явилась из мира мертвых моя тень.

После этого я месяца два болел. Распух весь, цинга мучила. Откуда-то достали мне две сырые картофелины — на четыре приема. Очень хорошее лекарство, помогло...

А на Ухе я думаю побывать еще. Только, надо полагать, экспедиция эта сейчас повторится в совсем другом виде. Несколько лет назад был у меня гость из тех краев. И кто, вы думаете?

Входит в комнату низкий, приземистый человек в унтах, в куртке из оленьей шкуры. Уже в годах. Снял шапку, говорит: «Здравствуйте». А я смотрю на него, вижу — что-то знакомое в лице и никак не вспомню, кто такой.

— Однако не узнаешь Номина? — говорит.

— Илья?!

Улыбнулся, головой закивал. А мне все не верится, что это он. Побрит, волосы пострижены «под бокс». И выговор чистый.

— Ты как в Свердловск попал?

— Приехал вот. Командировка.

— Садись, пожалуйста, гостем будешь.

Илья был по-прежнему не слишком многословным.

— Приехал, моторы надо получить,— объяснил он.— Потом книги. Дунаева Авдотья новый приемник просила. Потом...

— Постой, постой. Какие книги, моторы?..

Он удивленно взглянул на меня своими большими светлыми глазами, потом улыбнулся, видимо, поняв мое недоумение.

— А я моторист. Мотористом работаю.

Когда я спросил, не для себя ли он книги покупать собирается, Илья чуть не обиделся и не без гордости сказал:

— Какой такой человек, который читать не умеет!

— А Езин, шаман, читать разрешает? — не удержался я от лукавства.

И тут, боюсь, я потерял изрядную долю доверия ко мне в душе Номина. Он отвечал с укоризной:

— Однако ты плохо головой думаешь. Сам говорил еще когда: шайтана нет и шамана не надо. Не знаешь разве? Нет их у нас сейчас. А старик — худой это был человек, обманщик — помер...

После этой встречи я и подумал, что экспедиция моя будет совсем не такой, как десять лет назад.

1947 г.

ЗАКОН ТАЙГИ

Б. Ф. Корякову

Становилось все хуже и хуже. Просто невыносимо. Дурацкое слово — «невыносимо». Вроде женского «ужас».

Но иногда слова приобретают совершенно точный, физически ощутимый смысл.

В глазах темнело. Тайга шаталась и туманилась. Липкая испарина покрывала лицо. Спина набухла болью. Ноги сделались совсем слабыми и мозжили.

Все живое в Федоре Ильиче, нечеловеческие дикие инстинкты и человеческая воля напряглись до предела — чтобы идти. Сознание и подсознание словно бы сместились, поменявшись местами: логические понятия, как в трясину, ушли в подкорку, мысли становились бредовыми.

Он не сразу понял, что ему говорит Павлик.

— ...Дальше мы не пойдем. Вы слышите, Федор Ильич? Так нельзя! Вам надо полежать, это необходимо. Давайте полежим.

Все это Федор Ильич не то что понял — скорее почувствовал.

— Да,— сказал он, трудно разлепляя запекшиеся губы.— Мне надо полежать. Хорошо. Давайте полежим.

Теперь его острый кадык и заросший редким седоватым волосом подбородок смотрели в небо. Холодное, белесое, оно светило совсем скупо. Под стыло вытянувшимися деревьями не было теней.

Тайга молчала равнодушно, хмуро.

Павлик и Лена склонились над Федором Ильичем. Его лицо было очень худым и очень бледным. Губы расслабились, а брови, густые и тонкие, судорожно сводились к переносице и подергивались.

Молодые люди переглянулись. У Лены задрожала нижняя губа. Пелым вдруг начал тихонько и тонко поскуливать.

— Надо костер,— сказал Павлик.

Федор Ильич пришел в себя. Рот с чуть выщербленным зубом приоткрылся в виноватой улыбке.

— Мне лучше,— сказал он,— полегчало. Сварганька, Павлик, чайку.

Павлик схватил котелок и, неуклюжий и быстрый, шумно потопал в лесную чащобу.

Лена разожгла костер, постояла над пламенем и осторожно повернулась в сторону Федора Ильича:

— Я положу вам что-нибудь под голову?

— Нет,— жестко сказал он и, помолчав, выдавил из себя: — Спасибо.

В нем закипала желчь. «Под голову! Голова-то у меня, слава аллаху, еще ничего. Совсем не от головы я подыхаю.— И рассердился уже на себя: — Раскис, нервишки, видишь ли, истончились. Нельзя же злиться на девчонку по каждому пустяку».

Он прислушался к своему телу. Боль утихала. Но почку все равно нужно было согреть. В каком же рюкзаке свитер? Федор Ильич начал поворачиваться, чтобы приподняться, но от резкой боли вновь рухнул.

«Ничего.— Он весь сжался и закрыл глаза.— Подожду Павлика».

Лена опять склонилась над ним. Теперь в ее руках был толстый теплый свитер.

— Ну-ка, Федор Ильич... я подложу вам под спину.

«Догадалась таки! Иногда все же соображает... Нет, так нельзя: эта неприязнь становится патологической».

Она давно уже мешала всем им — кричащая, почти не сдерживаемая неприязнь Федора Ильича к Лене. Когда она возникла? Сейчас Федору Ильичу казалось, что с этого чувства и начались их взаимоотношения. Но это было неправдой.

Когда после долгих и ожесточенных споров с профессором Вязгиным Федор Ильич заявил о своем намерении отправиться в верховья Тарсуя и доказать, что там еще сохранились бобры,— это сразу же стало известно всем в институте. Спор Вязгина с Чазовым не был их личным делом. От него зависело решение важных зоологических и хозяйственных проблем.

Идти с Чазовым хотели многие: известный среди биологов таежник, серьезный ученый, простой и добрый человек, он притягивал к себе молодежь. Но взять с собой Федор Ильич мог только двоих. Павлик Вересов — это было бесспорным. Неважно, что парень кончает лишь первый курс университета. Его преданность

зоологической науке, неприхотливость и выносливость Федор Ильич испытал уже не однажды. Павлик был сыном его давнего друга. Впрочем, и сам он, наверное, был Чазову другом, несмотря на разницу в возрасте.

Выбрать нужно было лишь третьего спутника. Лена просилась особенно рьяно. Впрочем, держала себя она скромно. Когда она пришла к нему в первый раз, Федору Ильичу показалось, что перед ним девчонка, студенточка с третьего курса. Правда, была она рослой и статной, но так смешно и естественно небрежно были перепутаны ее недлинные рыжеватые волосы, так чисто, чуть восторженно смотрели глаза и по-детски пугливо и настороженно хмурились короткие темные брови, что Федор Ильич разговаривал с ней почти как с юннаткой — весело, беспечно и чуть покровительственно.

— Вы меня, наверное, не помните,— начала она.— Я Елена Слепцова, аспирантка Анатолия Дмитрича. Профессора Вязгина. Не помните?

— Как же! — улыбнулся Чазов.— Отлично помню Анатолия Дмитриевича Вязгина. Да, пожалуй, и вас... припоминаю.— Он, и верно, начал вспоминать что-то такое — не то фамилию в плане научных работ, не то упоминание ее в споре. А, может, и в лицо видел где-нибудь, в лаборатории или на собрании. Да, конечно... определенно видел.

В тот раз Лена долго и упорно убеждала его, просила, почти умоляла взять ее в поиск. Особенно упирала она на то, что ее будущая кандидатская связана с экологией бобров. Федор Ильич отказал ей добродушно, но достаточно решительно. На другой день Слепцова пришла опять. Снова они долго говорили, потолковали даже не без интереса о некоторых неясностях и скрытых возможностях экологической науки, но итог был прежним: отказ. Причин к тому, по разумению Федора Ильича, было много, но главной, не высказывая ее, он считал то, что Слепцова — аспирантка Вязгина. Взять ее с собой — не походило ли это на сманивание «кадра» у своего противника?

Однако именно эта-то причина, повернувшись неожиданно, и послужила поводом зачисления Лены в группу Чазова. Кто-то из сотрудников намекнул Федору Ильичу, что он необъективен в подборе группы и

вроде бы побаивается иметь рядом с собой «вязгинский глаз». Чазов рассвирепел, тут же разыскал Слепцову и объявил, что она с ним пойдет.

Правда, поостыв, он чертыхался на свою горячность: «Что я, ради Вязгина собираюсь лезть к черту на кулички или ради науки?» — Однако изменить свое решение счел неудобным.

Может быть, именно после этого появилось у Федора Ильича чувство неприязни к Лене? Нет, не появилось, и в тайгу они отправились вполне дружной троицей.

Когда же это случилось?

Это не случилось, это произошло.

Шли они без проводника: Федор Ильич бывал в этих местах, и, хотя до Тарсуя не доходил, урман на северо-восток от Таежного был ему знаком. По дороге били белок и тут же их препарировали; данные о кормежке и миграциях пушного зверя были нужны институту. Лена вела дневник наблюдений, и Федор Ильич хвалил ее за полноту и научную четкость записей. По вечерам, усталые, они не сразу заваливались спать, а подолгу болтали у костра, больше на свои, зоологические темы. Разговоры эти были интересны для них, особенно для молодых. Когда Федор Ильич начинал развивать свои идеи переселения и расселения животных, идеи реконструкции фауны, он становился вдохновенным и рисовал товарищам такие картины, зажигал их такой верой во всесилие человека, что они восторженно немели. Этому делу, по сути, была посвящена жизнь Чазова.

Все было славно и ладно, только Федора Ильича сначала чуть, а дальше — больше начинали тревожить глаза Лены Слепцовой, ее взгляды. Очень уж ласково, нет — влюбленно смотрела она на шефа. Поначалу Федор Ильич чувствовал неловкость и смущение, потом начал потихоньку, глухо сердиться. Сердясь, он стал настороженно присматриваться к поведению Лены и обнаружил, что она во всем проявляет к нему особое внимание и особую заботливость. «Этого не хватало!» — в сердцах думал он и терялся, не зная, как поступить. В сих делах человек он был неопытный.

Однажды, рассказывая, как она попала в аспирантуру, Лена упомянула мужа.

— Ты разве замужем? — очень удивился Павлик.

Лена встрепенулась. Видно, вырвалось это у нее нечаянно.

— Была,— сказала она и выдохнула с тоской: — Все было, Павлик, все было...— Острыми точеными зубами куснула губу и умолкла.

Федор Ильич украдкой глянул на нее. Ему сделалось грустно и страшно.

Полчаса спустя он пристроился у костра со своей походной тетрадью. Куртка, наброшенная на плечи, сползла, и Лена, подойдя, поправила ее. И тут Федор Ильич совершенно ясно ощутил, что к нему прикоснулась женская рука. Не товарищеская, а женская.

— Оставьте, пожалуйста! — грубо выкрикнул он и резким капризным движением сбросил куртку с плеч.

С этого вечера он стал называть Лену Еленой Викентьевной.

Теперь он боялся оставаться с ней наедине и не отпускал Павлика от себя. Неприязнь стала явной. Лена внутренне подобралась, стала сдержанней и строже, и только редкие украдчивые взгляды выдавали ее.

А потом у Чазова забарахлила почка. Это после Тарсуйских болот. В их мокрой гнили они вязли несколько дней. Первую почку у Федора Ильича вырезали давно. Теперь забарахлила вторая. Начались дикие боли и жар.

В глазах Лены полыхали жалость, любовь, страх. Лена предлагала Чазову остаться с Павликом, отлежаться, а она пойдет одна, приведет людей, врача, вызовет вертолет, позвонит в Свердловск, в Москву — она прорвется куда угодно, все сделает, только бы Федор Ильич... Федор Ильич злился и упрямился.

Собственно, какое же это упрямство? Отпустить женщину одну он не мог. Послать Павлика значило самому остаться с Леной. Отправить их вдвоем? Они наотрез отказались покинуть его. Оставалось двигаться втроем.

Вперед, до конца вперед — это привычно. У него было однажды такое: на большом зауральском озере, наблюдая осенний перелет уток, он далеко уплыл на утлой лодочке. Вообще-то лодочка была превосходная: она очень хорошо взламывала ледок, покрывший озе-

ро. Но, стреляя в птицу, Федор Ильич опрокинул суденышко, оно нырнуло под лед, Чазов очутился по грудь в воде, держа над головой ружье и фотоаппарат. Он попытался найти и поднять лодку — ничего не получилось. Оставалось к берегу шагать. И он пошагал. Озеро было мелкое, как громадное плоское блюдо. Почти сплошь оно заросло камышом. Камыш очень мешал. Тело сводили судороги. Ноги подламывались, все прочней, казалось, становилась кромка льда, упиравшаяся в грудь. Мир туманился и кружился, судороги гнули ко дну. Он упрямо шагал. Если это можно так назвать — «шагал». Его нашли на берегу лежащим без сознания. Без сознания, но на берегу.

Вперед, до конца вперед — это уж наверняка: или пан, или пропал. Закон.

Когда фашисты в лагере для военнопленных держали его в бункерной яме, было похуже. Это случилось после второй попытки убежать. Двое суток его, раздев догола, продержали прикрученным колючей проволокой к столбу. Это было зимой. Потом вместе с другими штрафниками бросили в бункер. Их там набралось двенадцать. Один заболел тифом, потом другой, третий — пошло. Немцы боялись подходить к ним. Они опускали на веревке ведро с баландой на двенадцать. А тиф косил больных. Живые меняли позы мертвых, чтобы немцы продолжали давать еду на всех. К весне живых осталось двое. Весна принесла тепло, началось разложение трупов. Чтобы спастись от смрада, немцы решили засыпать бункер. Живым они милостиво разрешили выкарабкаться.

Через две недели Чазов бежал в третий раз. И убежал. Но одну почку лагерь съел. Это фигурально; почку удалили в госпитале через полгода.

Ну, вторую-то, последнюю, он не отдаст. Самому нужна...

Федор Ильич открыл глаза. Ствол сосны над ним длинной и тонкой ракетой уходил в небо. Пелым лежал рядом, под боком, от него шли тепло и псиный дух. Тайга лопотала что-то умиротворенно и жалостливо.

Вдали захрустели сучья — стремительно и тяжко топал Павлик. Он выскочил из чащи прихмуренный и тревожный, но, встретив спокойный взгляд Чазова, тут же расплылся в улыбке. Лена захлопотала у огня.

Федору Ильичу сделалось неловко. Стараясь говорить бодро и насмешливо, он молвил:

— Что, напугал я вас?

Павлик, эта туша в шесть пудов, улыбнулся растерянно, с детской беспомощностью:

— Ну, что вы... Ну, право... Сейчас такой чай приготовим!

Чай у них оставался еще настоящий.

Федор Ильич принял аспирин. Он почему-то весьма верил в это древнее эскулапское средство. И, может быть, не зря.

Решили здесь и заночевать. До Таежного, ближайшего «цивилизованного» селения, оставалось километров пятьдесят. Можно было выходить на Суливат или Никляпауль — поближе, но оттуда все равно придется идти в Таежное.

Лена с Павликом принялись готовить ужин. Лена хозяйничала словно играючи. В штанах и куртке, она походила на рослого и быстрого паренька, только движения ее были женственно округлы и расчетливы. Павлик делал все неторопливо, основательно, с тщанием. Открывая консервы, он старательно выравнивал края банки, которую через минуту предстояло выбросить. При этом его светлые и большие, всегда как будто удивленные глаза смотрели серьезно и вдумчиво, а на лице, покрывшемся мягким цыплячьим пушком, выступали мелкие бисеринки пота. Так же неторопливо и основательно устраивал Павлик постель для Чазова. Потом он принялся вырубать бревешки для нодьи — жаркого, незатухающего всю ночь костра.

Становилось холодно, шла осень. Уже срывались с гор Полярного Урала злые морозные суховеи, пластались над урманом, осыпали нежные иголочки лиственниц.

Ужинали в молчании. Федор Ильич ел через силу. Лена взглядывала на него коротко и жалостливо, Павлик хмурился, и круглое мальчишеское лицо его делалось от этого обиженным.

Лишь Пелым без всякой там психологии поедал свою долю, аппетитно чавкая, и пушистый его хвост сладострастно вздрагивал.

Павлик решил нарушить гнетущее молчание.

— Вот,— сказал он,— такая наша специальность.

У геологов — нет. У геологов — вертолеты, рации. Техника! А у нас — ноги.

— Что,— прищурилась Лена,— разочаровался? Может, поменяешь специальность?

— Я не об этом,— Павлик засопел.— Я вообще. Техника, говорю, вертолеты... Рацию нам можно дать? Я верно говорю, Федор Ильич?

Федор Ильич полусидел, откинувшись на ствол сосны, сосал трубку. Серые глаза его казались темными, в них смутно мельтешили малюсенькие отблески костра. Он взглянул на Павлика и легонько улыбнулся.

— Нет, Павлик, не очень верно. Ты что думаешь, так все геологи и летают? Это в крупных поисковых партиях. А возьми армию геологов-съемщиков. Тысячи и тысячи людей. Так же миляги, вроде нас, топают и по урману, и в пустыне. А иначе и нельзя. Нам — особенно. Какие же мы зоологи, если не прощупаем и глазом, и рукой, и ногами все вот это? — Он широко махнул рукой, в спину ударила боль, брови Федора Ильича дернулись.

— Ну, а рация? — не унимался Павлик.

— Охота тебе с ней таскаться? — ушел от ответа Чазов.

Разговор не клеился. Думали они — каждый о другом.

Павлик думал:

«Как он исхудал и пожелтел... Дотянет ли? Я бы потащил его на себе, так ведь не дастся. Упрямый, ох, упрямый! — Об этом он подумал почти с восхищением.— Ведь и на Тарсуе бобров нашли только из-за его упорства. Другой бы наверняка повернул назад: лишь старые бобровые погрызы, разрушенные временем хатки,— казалось, зверь давно исчез. А Федор Ильич — упрямо вперед, в самую глушь, в гибельную непроходь. И нашли бобров! Куски деревьев со свежими погрызами, фотопленки — неопровержимые свидетельства правоты Чазова — в рюкзаках. Что скажете, профессор Вязгин? Утерли вам нос? То-то же! И ваша аспирантка товарищ Слепцова все это тоже подтвердит... Хоть бы провалилась она, эта чертова аспирантка, сквозь землю, что ли! Ах, любовь, глазки, шуры-муры. Не видит разве, что смазливая ее морда противна Фе-

дору Ильичу? Совсем по-другому шло бы дело, если б ее с нами не было. И настроение у Федора Ильича было бы другое, а так — сплошные нервы, и сбегал бы я за помощью, день и ночь шел бы, а потом на оленях — вскачь, вскачь...— И вот тут он подумал о рации.— И почему не дают нам рации? Кричат, хвастают: полупроводники, транзисторы, чудо техники! Ну и дайте таежникам это чудо, сделайте для них карманные радиостанции. Ведь без них погибнуть можно просто-запросто, тайга — она и в двадцатом веке тайга... Вон как брови у него дергаются, опять боль вскинулась. Ах, славный мой дядя Федя, чем же тебе помочь?..»

Лена думала:

«Может, мне уйти потихоньку? Заснут, а я прыг в урман — и в дорогу. Скорей, скорей, скорей. Без остановки. Я дойду. Я всех подыму на ноги. Я криком кричать буду... Только вот карту надо, а она у него в планшете. Он рассердится, он опять станет нервничать. Милый, милый Федор Ильич! Дура я, дура! Но что же делать, если я люблю его, а он этого не хочет? Болван Павел, мальчишка, охраняет его, как цепной пес, слова сказать нельзя, объяснить нельзя, пореветь нельзя. Я бы все ему, родному, сказала... Я бы ничего не стала говорить. Я б его обволокла теплом, тайгу заставила бы петь для него, сама тропинкой бархатной легла бы перед ним... Ах, дура, дура, не надо было с ним идти. Любить бы издали, как и прежде, совсем тайком, только видеть его и знать, что он есть. Не выдержала, напросилась, пошла — вот и принимай муки... Надо идти. Уснут — пойду. Оставлю записку, три слова: «Ждите, приведу врача». Улыбнется Федор Ильич, Федя, скажет: «Лихая». А если и не скажет — пусть не скажет, пусть не улыбнется, рассердится пусть — все равно. Пойду. Ночь да день — завтра к вечеру доберусь до поселка...»

Федор Ильич думал:

«Неужто отбродил свое? Рановато бы. С одними бобрами теперь дел здесь будет невпроворот, а кроме бобров... Кто возьмется? Энтузиасты, впрочем, найдутся. Жаль, Павлик молод. Ну что ж, та же Лена Слепцова — у нее и знаний, и энергии достанет. Странно как: дело свое передать... ей. Ну, а что же, старина,

надо быть объективным. Науке, честное слово, плевать на твою сугубо личную неприязнь к этому человеку. Да и неприязнь эта, если разобраться, выросла на очень уж узенькой и шаткой площадке. Мы каждый прощаем себе потому, что хорошо понимаем побудительные причины своих поступков. Попробуй понять и других. Только понимая других, можно стать истинно справедливым. Попробуй поменяться со Слепцовой местами.— Почти невольно он взглянул на нее; она сидела ссутулившись, взгляд был потерянным, пальцы беспорядочно и бесцельно перебирали хвоинки на сосновой ветке.— Да, старина, ты перегнул. Чувство можно отвергнуть, но можно ли за него осуждать? Ее боль не меньше твоей. Только о своей боли думают лишь дети, а ты взрослый человек. Хм, взрослый! Пятый десяток — это не просто взрослый... Ты ведь и впрямь должен быть учителем для этих двух...»

Боль отходила все дальше. «Оживаешь, начинаешь хорохориться,— с усмешкой подумал про себя Федор Ильич.— Паршивое же существо человек: ему плохо — он смотрит на все и всех зверем, ему лучше — все кругом розовеет».

Постепенно сумерки переходили в ночь. Вокруг костра сгущались темень и тишина. Мир исчез — не то растворенный во тьме, не то отгороженный черной громадой урмана,— остался маленький мирок у трепетного жалкого пламени, кусочек леса, приютивший трех спутников. Но, странное дело, именно в эти минуты Федор Ильич, словно бы прозрев чудесным образом, вдруг увидел всю неохватную таежную ширь страны. В буреломной глухомани Сибири, на берегах диких якутских рек, среди колымских болот и в чащобе тюменских лесов — всюду яркими манящими звездочками мерцали скромные походные костры. То братья его — охотоведы, геологи, геодезисты, разведчики будущих трасс и рудников, неутомимые и дерзкие искатели — подавали дружеский знак ему, старому таежному ходоку Федору Чазову.

«Что ж, Федор,— мысленно сказал он себе,— если это последний твой поиск, так тем паче должен ты быть человеком, а не мальчишкой, не тряпкой, не неврастеником. Рядом с тобой молодые, им тянуть дальше твою лямку, какой пример ты показываешь им?»

И, уже не раздумывая больше, заботясь об интонации голоса, он сказал:

— Что ж вы приуныли, молодежь? А, Елена Викентьевна? Павлик!

Они вздрогнули. Удивленные глаза Павлика округлились. Даже при неярком свете костра было видно, как радостный румянец заливает щеки Лены. Она вскинула голову, на шее забилась, пульсируя, тоненькая ниточка-жилка.

Федор Ильич выговорил эти слова — словно прыгнул в холодную воду. Аж перехватило дыхание. Но, прыгнув, надо было плыть — и он заговорил, вроде бы спокойно и чуть со смешинкой, но торопливее обычного.

— Что-то уж очень мы с вами кислые. Верно? Это все от меня. А ведь напрасно, честное слово. Мы же с вами славное дело сделали. Можно сказать, с победой возвращаемся...

Он знал, что его поймут. Поймут, что это «дипломатический ход». Он хотел этого понимания, и все же ему было стыдно, но в то же время чувство освобожденности от чего-то неладного, нехорошего подступало все ближе, оттаивая душу.

— Может, еще чаю выпьем? — не совсем кстати сказал Павлик.

— Что ж, давайте,— покладисто и весело согласился Чазов, хотя ему вовсе не хотелось.

Какое-то время они молчали, потом Павлик заговорил о предстоящей встрече в институте, о том, какой там возникнет переполох, когда узнают о бобрах, как будет потрясен Вязгин, и постепенно что-то похожее на первые дни дружества и понимания стало воцаряться в их мирке.

Они бы ничего, наверное, не услышали и не увидели, если б не Пелым. Навострив уши, чуткая мансийская лайка вскочила и звонко взлаяла. Разговор смолк. Послышался легкий приближающийся похруст.

Из таежной темени к костру вышли двое. Одежина на них была худая — рваная и нетеплая, оба обросли бородами и вид имели измученный. Один был сравнительно молод. Высоченный рост, широкие костлявые плечи и длинные, чуть не до колен, руки — все выдавало в нем силу. Другой, низенький, с вертлявыми

глазами, был много старше. Под седым волосом проглядывала дубленая, с нездоровым лихорадочным румянцем, кожа.

— Мир на стану! — хрипловатым тенорком приветствовал старший.— Здравствуйте, люди добрые.

Они шагнули еще ближе, и младший, не спросясь, присел к костру. Он ни на кого не смотрел. Под темной курчавой бородкой угадывался тяжелый угловатый подбородок, по низкому, приплюснутому лбу, рассекая левую бровь, тянулся рваный шрам.

— Дозвольте пристроиться,— попросил старший и плюхнулся рядом с товарищем.— Пристал, ноги так и гудят,— пожаловался он, быстро обшаривая всех глазами.— Заплутали мы. Два дня не евши. Не найдется ли кусочка какого?.. Славная собачка, добрая, вишь, как ласково обнюхивает нас.

Лена метнулась к остаткам ужина.

— Вот... пожалуйста. Только тут мало... Федор Ильич, может, еще банку открыть?

Чазов, не отрывая взгляда от пришельцев, молча кивнул.

У старшего при виде еды заблестели глаза, но он подвинул котелок товарищу:

— Ешь, Григорий Иваныч, тебя эвон какая масса...

— Я подогрею,— предложила Лена.

Григорий Иванович бросил на нее угрюмо-усмешливый взгляд, сграбастал котелок и стал быстро и жадно есть. Сухари ядрено хрустели на его зубах. Павлик тем временем старательно, аккуратно вскрывал новую банку консервов.

— Значит, заблудились? — тихо спросил Федор Ильич.

— Вот-вот,— живенько повернулся к нему старик.— Закрутила тайга окаянная, совсем проклятая закрутила... Да вы не разогревайте консервы-то, девушка, не надо, так сничтожим. Держи, Григорий Иваныч, мне чего-нибудь оставишь.— Он сглотнул слюну.

— И откуда же вышли вы? — снова спросил Чазов.— Где плутать начали?

— Откуда вышли, говорите?.. Да мансиец тут один, знакомый мой старый... Сами-то мы городские. Он, значит,— бородач кивнул на товарища,— с металлургического завода, а я по торговой части, кладовщиком

работаю. Приятели мы. Отпуск у нас, вот и решили поохотничать. К мансийцу, значит. Оч-чень хорошо нас принял. И тебе лосятина, и спирт, и рыба — ну, всего завались. А потом вот сплоховали мы. Вышли в тайгу, и закружила она нас, черт дери ее... Извините великодушно, девушка милая.

Павлик поднял на него большие удивленные глаза:

— Как же вы без ружей на охоту пошли?

— Зачем без ружей? Ружья у нас есть. Только, видишь ли, почему мы без них вышли — так, пройтись, силки осмотреть. Силки, значит, мы расставили на зверушек разных. Ну и вот... с вами повстречались. Говорил мне мансиец: провожу, мол, вас. А я ему: что, маленькие мы, что ли? А вот оказалось — хуже маленьких, потерялись.

— Да потерялись-то откуда? Как место называется? — вернул его к прежнему Федор Ильич.

— Место как называется?.. Вот черт дери, запамятовал ведь я! Помню, что «пауль» какой-то, а вот чтобы в точности — запамятовал. Это, видно, извините, спирт на меня подействовал, непривычен я к нему.

— Не Никляпауль? — подсказал Павлик, и Федор Ильич взглянул на него сердито.

— Вот-вот! Никля. Никляпауль. Только где он, этот «пауль», хоть убей, не укажу сейчас. Совсем закружились мы.

Григорий Иванович кончил есть, протянул остатки бородачу, сказал отрывисто:

— Карту нам, Яша, надо. Карту.

— Да-да,— подхватил старик,— это вот верно. Вы уж нам дозвольте поглядеть карту, хоть краешком глаза. Разберемся да и в путь, беспокоится мансиец наш.

Он принялся за еду, попросив плеснуть в кружечку кипятку — размачивать сухари.

— Карты у нас нет,— сухо сказал Федор Ильич.— Вот поджидаем товарищей, карта у них. А как пройти на Никляпауль, я вам могу объяснить.

Тут Павлик и Лена посмотрели на него: смутная догадка осенила их.

Григорий Иванович с каким-то скрытым значением покосился на приятеля, будто подтолкнул его. Тот, прожевавшись, сделал жалостливое лицо:

— Ну как же, дорогой товарищ, карты нет? Должна она у вас быть. А без карты мы куда? Опять, значит, заплутаем, совсем пропадем. Вы уж нас выручите, дорогой товарищ. А в городе — милости прошу в гости ко мне, как родных встречу.

— Нет у нас карты,— повторил Федор Ильич, и у костра нависло нехорошее молчание.

Чуть потрескивали сучья в огне, да чавкал, приканчивая консервы, старик. Григорий Иванович осоловел от еды, глаза замутились, но время от времени он вскидывал их то на Чазова, то на Лену. На Павлика он не посмотрел ни разу.

— А ведь лося бить нельзя,— с вызовом сказал Павлик.— Вы о лосятине говорили. Это нарушение закона. И силки...

Григорий Иванович, лениво глянув на него, скривил губы в усмешке, перебил:

— А ты, значит, в законе понимаешь? Законы разные бывают. Здесь — свой. Такое слышал: закон — тайга, медведь — хозяин? Вот тебе и весь кодекс... Карта-то в сумке? — кивнул он на планшет Чазова и вдруг рявкнул: — Где, спрашиваю, карта? — Шрам на лбу начал багроветь.

Федор Ильич неожиданно улыбнулся:

— А ничего голосок. Верно? Приятный. Сильный голосок.

— У меня не только голосок сильный,— погрозил Григорий Иванович и весь напружинился, готовый неведомо к чему.— Давайте добром скалякаемся: карту и консервов с сухарями!.. На дорожку нам.

Павлик смотрел на него удивленно и растерянно. Он смотрел на Григория Ивановича и не замечал, как Федор Ильич глазами настойчиво указывал ему на ружье,— оно висело на сучке рядом с Павликом. Заметила Лена. Осторожно, чтобы не вызвать подозрения, она поднялась.

Но поздно.

— Маячишь? — ухмыльнулся в лицо Чазову Григорий Иванович, вскочил, оттолкнул Лену, сорвал ружье.

Пелым глухо заурчал.

Огромный и бешеный, бандит встал над костром, повел стволами по людям, скомандовал:

— Сидеть, падло! Греби, Яша, карту, харч, курточки ихние. Мне любезничать некогда.

— Ну и дурак,— деревянно сказал Федор Ильич.— Зря гомонишься, ружье-то не заряжено.

Как ни в чем не бывало он отвернулся от бандита, не торопясь, нарочно замедленно склонился к своему рюкзаку и запустил в него руку... Только спокойнее.

Нелепая привычка — таскать нож в рюкзаке. Где же он?.. Спокойнее, спокойнее.

— Прими будылья из сидора! — напуганно и зло крикнул Григорий.— Ну!.. Вынь, говорю тебе, руки из мешка.

— Спокойнее,— уже вслух произнес Федор Ильич, и в руке его матово блеснуло широкое лезвие охотничьего ножа.

— Ггых! — Ружье мелькнуло в воздухе; перехватившись за стволы, Григорий размашисто и резко занес приклад над головой. Лена прыгнула к Федору Ильичу, прикрывая его, и тут же, сильно и коротко охнув, рухнула: с горилльей силой бандит обрушил на нее удар, нацеленный в Чазова. Тусклым прочерком взрезал воздух нож. Зарычал и громко гавкнул Пелым, бросаясь в драку. В тот же миг Павлик всей тушей навалился на Григория, тот упал, но, падая, отчаянно пнул парня и, вывернувшись, вскочил и бросился в лес.

— Стреляй! В ноги! — закричал Чазов, сам схватил ружье и ахнул картечью в мелькающую меж сосен фигуру.

Дробины звонко прошелестели по лесу, посбивали сучья, посыпалась хвоя; стремительный топот убегающего, вломившись в урман, исчез в глухой вязкой тьме; Федор Ильич отшвырнул ружье и торопливо склонился над Леной.

Она лежала скрюченная, голова неуклюже и страшно подвернулась. («Лена!» — вскрикнул Федор Ильич). Но рука была теплой, на шее неровно и редко билась голубая ниточка.

— Водицей ее сбрызнуть надо, оклемается,— услышал Федор Ильич хриповатый тенорок и, обернувшись, с удивлением увидел рядом с собой старика Яшу.

Прихрамывая, подошел с котелком воды Павлик. У него дрожали губы.

Пелым облизывал ушибленный бок и тихонько поскуливал; смотрел он виновато: добрый охотничий пес совсем не умел драться с людьми, не его это дело, не обучен, не привычен.

Лена очнулась. Трудно, с напряжением повернув голову, она глубоко, со всхлипом, похожим на рыдание, вздохнула, и лицо ее сморщилось. Затылок разламывало от боли, левое плечо и спина онемели.

Встревоженно всматриваясь в нее, Федор Ильич спросил:

— Ну как, Ленушка, очень плохо?

Она распахнула на него глаза, потом закрыла их и блаженно улыбнулась:

— Очень хорошо!

Ее положили на хвойную постель, приготовленную для Чазова. Он дал ей аспирина, она благодарно поморгала и попросила чаю. Мужчины принялись хлопотать возле костра.

— Как бы не было сотрясения мозга,— тихо сказал Федор Ильич Павлику.

Лена услышала. И опять улыбнулась. Темное небо тихо плыло над ней. О чем-то озабоченно перешептывались сосны...

— Изверг он,— сказал, прихлебывая чай, старик.

— А сплоховал! — не без злорадства откликнулся Федор Ильич.— Слаб, видать, духом. Ружье-то превосходно заряжено было. Да и без ружья, наверное, вдвоем вы бы справились с нами.

— Зачем же это вдвоем? — Старик даже руки приподнял, как бы сдаваясь и умоляя о чем-то.— Я его темным делам не потатчик. Он меня силой, можно сказать, увел. Попутчик ему, видишь ли, нужен — для помощи и... кто его знает, может, для мяса. Теперь я от вас ни за что не отстану. Вместе пойду, властям в руки отдамся, покаюсь, обскажу все. Не я бежал — меня уволокли. А мне чего бегать? Я свой срок отработаю.

— Ну-ну, болтай, емеля... Павлик, дай, пожалуйста, мне свитер.— Брови у Федора Ильича опять начали подергиваться.— Ты, старик, как патефонная пластинка: то одно пел, перевернули — другое.

— Так ведь порешить меня Гришка мог. Кому живота лишиться охота! — с надрывом вскрикнул Яша и уже совсем другим тоном попросил: — Иголочка у вас не найдется с ниткой? Псина этот ничего мне на заднем, извините, месте от штанов не оставил.

— То-то ты и не сбежал,— усмехнулся Федор Ильич.

...Старый тетерев, житель этих мест, видел в сумрачном рассвете, как уходили от костровища четверо. Двое — старик и юноша — несли на грубых самодельных носилках молодую женщину, четвертый, худой и длинный, с ружьем в руках, шагал позади. Кудлатые сосны чуть покачивали вершинами, склоняясь друг к другу и перешептываясь о чем-то.

1963 г.

РОЖДЕНИЕ ДОРОГИ

Л. Н. Овчинникову

Урча на малом ходу, машина свернула с тракта на проселок и почти сразу же угодила в болотину.

— Вы-ылезай! — радостно пропел Ваня Спичкин, словно ему доставляло величайшее удовольствие под дождем вытаскивать грузовик из болота.

За Ваней, так же проворно, через борт перемахнул Слава Дунаев с топором в руках — мостить гать.

Виталий Трубкин в нерешительности поставил ногу на борт, с тоской поглядел на тяжелые, гнусно-серые облака, придавившие мир дождевой слякотью. Прыгать? Может, без него обойдутся?

— За-алезай! — раздалась в это время веселая команда, и Ванчик, а за ним Слава, оба мокрые, влезли в кузов, под брезентовый тент.

— Иван-большой,— сказал Слава о шофере,— обещает объехать.

Мощный мотор двухтонного ГАЗ-63 взревел, из-под колес брызнула жижа, и грузовик подался назад, а затем начал обходной маневр.

Машину трясло и бросало на ухабах и пнях, но ее пассажирам, кажется, все было нипочем. Они проеха-

ли в этом кузове, колеся по степи и уральской тайге, уже около тысячи километров, сжились с ним, да и кузов-то походил не столько на кузов, сколько на обычное жилье геологов. Сверху он был закрыт растянутым на железном каркасе обтрепавшимся брезентом. На «полу» стояли ящики с провизией, инструментом и геологическими образцами. В переднем левом углу торчала крепко принайтовленная бочка с бензином. Ящики были прикрыты тючками с палатками и спальными мешками, и на них-то с полным походным комфортом устроились наши путешественники.

Такая это была машина.

Справа у борта, так, чтобы видно было дорогу, полулежал Ефрем Иванович Суров, кандидат наук, заместитель начальника отряда. На ухабах его большое, тяжелое тело обязательно ударялось о борт, но Ефрем Иванович за долгие годы своей экспедиционной жизни привык не обращать внимания на подобные пустяки.

Слева от него расположились коллектор Виталий Трубкин и аспирант геологического института Слава Дунаев, который непрерывно, одну за другой, распевал песни, какие только приходили на память. Он уже охрип. Виталий не то дремал, не то спал.

Около бензинной бочки свил себе гнездышко Ванчик. Он лежал, полузакрыв глаза, и его добродушное, чуть расплывчатое лицо было серьезным. Ванчик размышлял о себе, о товарищах, о жизни.

Заметили? — у всех есть должности, звания: кандидат наук, заместитель начальника, аспирант, коллектор... У одного Ванчика нет. А между тем он вовсе не последняя спица в колеснице отряда. На привалах и во время работы только и слышно: «Ванчик, сюда!», «Ванчик, за водой!», «Ванчик, дай молоток», «Ванчик, подержи...». Без Ванчика — никуда. А кто он такой? Очень неопределенная должность — Ванчик, и только.

Но Ванчик на это не обижается. Что ж, такая у него пока что доля. Ему всего-навсего семнадцать лет (он всем говорит: восемнадцатый), и приняли его минувшей весной в научный геологический институт кем-то вроде ученика. Вот он и учится всему и все делает. А выучится — будет и у него настоящая должность.

Другое дело — Виталий Трубкин. Он старше Ванчика на три года и уже закончил заочно один курс горного института. И должность у него вполне солидная — коллектор; это значит сотрудник экспедиции, собирающий и распределяющий образцы минералов. Ну, правда, делает он это по указанию старших. И вообще Ванчик считает, что сотрудник этот, Виталий, почему-то не очень уважает свою должность. Не болеет за нее. Не любит, что ли.

Слава Дунаев, например, тот и институт закончил, и уже не в одной экспедиции успел побывать, и в аспирантуре учится, а старается куда больше Виталия. И звать-то его надо бы не Славой, а Станиславом Васильевичем, да уж так все привыкли. И он привык. А что особенного?

Вот кончится «поле» — время работы геологов в поле, в лесу — Ванчик поступит в вечернюю школу, закончит девятый класс, десятый, поможет сестренке, а там и в институт пойдет. Поездит с экспедициями — можно будет, как Слава, попроситься в аспирантуру. Глядишь, и Ванчик станет кандидатом наук. Ого-го! А что? Вполне возможно.

Ну, а дальше?.. Ой, Ванчик, не зарывайся... Ведь профессор-то Овечкин сколько своими ногами по земле топал, сколько научных работ написал, сколько новых месторождений открыл! На Северном Урале и сейчас работает рудник его имени — Овечкинский...

Ну и что же? И мы своими ногами потопаем, и мы научные работы писать будем, и мы, может быть...

Машина резко остановилась, всех сильно качнуло вперед, назад, и тотчас раздалось зычное и требовательное:

— Ванчик, карту!

Это подал голос сам начальник отряда, профессор Петр Николаевич Овечкин.

Невысокого роста, левое плечо чуть ниже правого, почерневший на ветру и солнце, в грубых брезентовых штанах и такой же куртке, он, как медведушко, выбрался из шоферской кабины, потоптался, разминаясь, посмотрел в мокрое небо, сказал коротко и недовольно:

— Н-да-с,— и полез под брезент, чтобы карту не замочило дождем.

Машина остановилась у домика лесника. Во дворе яростно заливались собаки. За оконным стеклом, сплошь застланным бегучей водой, показалось чье-то бородатое лицо.

— Ну, вот,— потыкав пальцем в бледно-зеленый лист карты, сказал Овечкин,— здесь и сворачивать нам на Уватал.— И кивнул Ефрему Ивановичу на домик: — Сходим расспросим.

Ванчик шмыгнул вслед за начальством.

Лесник, тот самый, что показывал в окне свою роскошную бороду, узнав, куда едут геологи, задумчиво почесал грудь и похмыкал. Затем полюбопытствовал:

— Сколько вас на машине-то?

— А что?

— Да вот не знаю, где разместить. Места-то у меня не шибко много.

— Размещать нас не требуется.

— Что, в палатках расположитесь?

— Да нам ехать надо!

— Понимаю,— усмехнулся в бороду лесник,— очень даже понимаю. Всем ехать надо, да дорогу-то дождь съел. И так была она хлипкая, а ныне залило — не то что машина, а человек едва проскочит... Денька четыре — это уж наверняка — обождать придется.

Овечкин задумался. Он любил во всем ясность и определенность.

— Вот, слушайте, уважаемый.— Профессор мягко положил руку на плечо старика.— Сейчас у нас двенадцатое, утро. Так? В Уватале мы должны быть не позднее чем послезавтра днем. Должны. Посоветуйте, как нам это лучше сделать.

Овечкин не стал объяснять, что вся работа его отряда идет по строгому графику, что на последних перегонах они выиграли сутки и могут, в крайнем случае, потерять только эти сутки, не больше, что послезавтра днем в Уватале приземлится вертолет со специальными приборами, и к тому времени отряд обязан быть там.

Профессор не стал всего этого объяснять. Он только сказал: «Должны».

Старик долго хмыкал и всей пятерней озабоченно скреб волосатую щеку.

— Не знаю, что и присоветовать. Не проехать вам, вот и все. Только машину загубите, а толку все одно не будет. Разве что... Вот не знаю, решайте сами. Через гору двинуться, напрямик... Будет, конечно, посуше. Но дороги через гору нет, так, тропки в лесу. Продеретесь со своей машиной через лес — продирайтесь. Только уж сами решайте.— И старик, растопырив пальцы, выдвинул перед собой обе руки, как бы отгораживаясь от геологов.

Овечкин и Суров рассматривали карту.

— Попробуем? — сказал Ефрем Иванович.

Овечкин сосредоточенно молчал, поджав губы.

— А что! Попробуем! — не утерпел Ванчик.

Профессор с совершенно откровенной насмешкой обернулся к нему:

— Ты так думаешь?

Ванчик смутился, но ответил как можно солиднее:

— Вытянем, Петр Николаевич.

Овечкин повернулся к леснику.

— Ясно, старик? Вот какие у нас орлы!.. Ну, все. Раз Ванчик сказал — так и будет. Двинулись!

...Сначала, как обычно, ехали в кузове. Но все чаще и чаще Ванчик запевал свое: «Вы-ылезай!» — нужно было то подкладывать жерди под колеса, то забрасывать цепь за деревья, чтобы грузовик сам, своей силой подтягивался вперед, то вырубать деревья, упрямо преграждавшие путь машине.

Им не нравилось, этим старым, седым великанам, что какая-то урчащая козявка столь бесцеремонно нарушила их замшелый покой. Сначала они пытались останавливать ее своими лапами-ветвями. Но лапы гнулись, отступали или просто ломались и повисали беспомощные, бессильные, мертвые. Затаив стон, раненые гиганты гневно перешептывались, сговариваясь о какой-то новой каверзе, которая наконец устрашит и остановит этих наглых людишек.

Первым покинул машину Овечкин. Косолапя, чуть заваливаясь влево и вперед, он спорой походкой человека, который больше половины из своих сорока пяти лет провел в лесу, шагал впереди грузовика и высмат-

ривал, где бы половчее протиснуть машину меж деревьев.

На еланях, где буйствовали дикие травы, Овечкина скрывало почти с головой, и над цветастым густотравьем мелькала лишь его заломленная на затылок кепка. За этой прыгающей точкой и полз неутомимый ГАЗ-63.

Следом за профессором лесной тихоход покинули Ванчик, Слава и Суров. Неизвестно, сколько посидел бы в кузове Виталий,— его выбросил оттуда властный бас Овечкина:

— Третий топор — сюда!

Оно собралось с силами, несгибаемое племя таежных жителей, одетых в вечнозеленые и вечнопрохладные шубы. Деревья тесно сгрудились вокруг машины и, видимо, были уверены в своей победе: больно уж хвастливо и насмешливо, хотя и обеспокоенно, размахивали они своими лапами над головами людей. Поднимался ветер.

Ванчик орудовал топором рьяно, размашисто, весело, и трудно было сразу определить, от чего одежда на нем мокрая: от дождя или от пота. Слава рубил резкими, короткими, математически точными ударами. Виталий тюкал неторопливо и вяло. Ефрем Иванович подошел к нему, молча забрал топор, так же молча отстранил коллектора — и лесной великан вздрогнул под крепкими умелыми ударами. Вот он качнулся, затрещал, помедлил немного, словно прощаясь с братьями, и, ломая свои и чужие ветви, тяжело рухнул на землю. Рядом уже падал второй...

Снова ползли, продираясь, вперед.

— Люблю, когда дождь! — пытался сострить Слава, отжимая воду из рукавов куртки.

— Да уж есть что любить! — отозвался Трубкин.

— А что! — влез в разговор Ванчик.— Хоть мокро, зато мрази меньше. Красота! — Мразью они именовали комаров, мошкару и паутов — всех, кто не давал им житья.

— Сразу видно: разбираются люди в лесной жизни,— не то одобрительно, не то с издевкой откликнулся Овечкин. Эта неопределенная ироническая интонация всегда звучала в репликах профессора, особенно если был он в добром настроении.

Суров снисходительно молчал: что ж, пусть поболтают, человек — существо слабое, ему без разговоров никак нельзя.

Через четыре часа были преодолены первые три километра.

Ваня-большой — высокий, жилистый, черный, лобастый, с крупным ртом — объявил:

— Устал мой человек, запарился.— И, загремев капотом, полез в мотор.— Водицы бы человеку испить.

Овечкин развернул карту.

— Тут, с полкилометра, ручей.— Он махнул в сторону круто сползающего вниз склона.

— Петр Николаевич, я сбегаю? — И глаза, и веснушки на лице Ванчика сияли так откровенно, что было ясно: с той же готовностью он побежит и не за полкилометра, а за все пять.

Профессор хмуро покосился на Виталия и пожал плечами, словно хотел сказать: «Дело твое. Как хочешь».

Ванчик схватил два ведра, но уже на ходу второе у него отобрал Слава, и, скользя по склону, с лёта обнимая стволы деревьев, они устремились вниз.

Иван-большой возился с мотором своего «человека». Остальные забрались в кузов покурить. Молчали. Сопя непрочищенной трубкой, профессор мычал какой-то несложный мотив.

Неожиданно он сказал:

— Что, господин хороший, не любишь за водой-то под горку ходить? — И, как бы читая мысленное возражение Виталия, пробурчал: — Мы, брат, в свое время бегали. Так же бегали. Н-да-с.

И снова сердито засопел.

Принесенная вода оказалась чудесной. Ее с удовольствием пили не только Ванин «человек», но и люди.

Виталий тоже пил.

Дождь почти перестал. Над головой, чуть не задевая верхушки сосен, торопливо бежали посветлевшие, рваные облака. Впереди было редколесье, но предстоял тяжелый подъем.

Надрывно и нудно ревел мотор. Метр за метром. Иногда — рывок: сразу сзади десятки метров. Хорошо, что у ГАЗ-63 обе оси ведущие.

— Не лезь по гребню,— сказал Овечкин шоферу.— Давай по склону.

Ваня-большой взял правее. Тут-то чуть не полетел вверх тормашками отряд профессора Овечкина.

Машина вдруг поползла вниз. Накренившись, она боком скользила к обрывистому обнажению гранита. Шофер дал задний ход. Безрезультатно! Лишь летели из-под колес тяжелые клочья мокрого мха.

Суров бросился назад. Через минуту, с разбухшей от напряжения шеей, он тащил толстое полусгнившее бревно.

— Мох! — гаркнул Овечкин.— Сдирать из-под машины мох!

Он подскочил к Сурову, и вдвоем они поставили бревно, как подпорку, между судорожно бьющейся машиной и ближним деревом. Дерево было чахлое, оно гнулось.

Ванчик и Слава распростерлись у передних колес и срывали мох с гранитной плиты, что лежала под грузовиком. Видно, дождевой воды было так много, что она подмочила ризоиды-волосинки, которыми мох цеплялся к камню. Моховой покров превратился в непрочно державшуюся на ослизлой поверхности массу. Колеса буксовали.

Виталий вытащил из кузова лопату и принялся соскребать мох перед задними колесами. Быстрее было бы руками, но он боялся: машина рванется — раздавит.

Бревно-подпорка угрожающе затрещало.

Овечкин подлетел к Виталию и, вырвав, отшвырнул лопату.

— Руками! — заорал он и сам, кинувшись на землю, начал отдирать и отбрасывать мох.

Подпорка с треском рухнула.

Но почти в тот же момент машина подалась назад. Медленно-медленно, с натугой, быстрее... пошла!

Когда от этого места отъехали с километр, Овечкин спросил у Виталия:

— Лопату захватил?

Виталий растерянно посмотрел на товарищей:

— Никто не подобрал?

Нет, никто не подбирал. Никто, кроме Овечкина, и не видел лопаты в руках коллектора.

— Что же, я за тебя должен это сделать? — Громы готовы были вот-вот прорваться в голосе профессора.

Виталий быстро и зло взглянул на него и уныло побрел назад.

— Бегом! — хлестнул его Овечкин, и Трубкин побежал.

Он догнал отряд уже вечером, когда располагались на ночлег.

Никто не сказал Виталию, что его специально ждали почти час. Все поняли, что он попросту дожидался привала, таясь где-то в хвосте.

Каждый делал свое дело. Ефрем Иванович поставил и окапывал палатки. Овечкин с Ваней-большим, разведя костер, натаскивали хворост. Ванчик ушел за водой. Слава возился с продуктами, орудуя одной рукой: вторую он поранил перед самым привалом.

Обычно обязательно находилось какое-нибудь дело и для Виталия, а тут он увидел, что делать ему нечего. Принялся было собирать топливо, но оказалось — напрасно: уже была заготовлена большая куча валежин и хвороста.

Он сел на поваленную ель, закурил и начал бросать в костер шишки, стараясь попадать в одну, выбранную им, головешку.

Рядом подсел Овечкин, стянул сапоги, блаженно пошевелил пальцами и крякнул. Не глядя на Виталия, сказал:

— Покуриваем, молодой человек?

Виталий огрызнулся:

— А что же еще, если все уже сделано!

— Оно, конечно,— почти смиренно согласился профессор.

«Что он меня преследует? Что я ему плохого сделал? — мучительно, с гневным раздражением думал Виталий.— Недоволен, что я не такой, как Ванчик? Так я же не мальчишка для побегушек!»

Блики огня, то яркие, то слабые, прыгали по лицу Виталия, и от этого казалось, что лицо подергивается. Оно и так было не очень правильным — плоское, словно вытесанное торопливым и не очень умелым скульптором,— теперь же колеблющиеся тени еще более подчеркивали ошибки ваятельницы-природы...

Под утро в палатку — бог знает, в какие щелочки! — набилось столько мошкары, что Ванчик, как ни умаялся накануне, проснулся. Все лицо горело и нестерпимо зудилось. Ванчик решил сходить в машину за накомарником, но, выбравшись из спального мешка, а потом из палатки, окончательно стряхнул с себя сонную одурь.

Еще не совсем рассвело. Тяжелый сырой туман затопил лес. Смутно темнели деревья. Костер почти потух. Блеклое пламя лениво полизывало посеревшие от пепла головешки. Нахально громко звенели комары.

Раздув огонь и набросав на костер мокрой травы, Ванчик, поеживаясь, устроился на дымке. Тонкие желто-белые нити пламени никли в дыму и пару, но вдруг, соединившись, выхлестывали вверх, трава вспыхивала и, обугливаясь, чернела. Сразу дыма становилось мало, и тогда Ванчик подбрасывал травы снова.

Думать ни о чем не хотелось. Очень хорошо было сидеть просто вот так, расслабив тело, не напрягая мысль, и смотреть в огонь.

Он задремал. Словно что-то толкнуло его; Ванчик раскрыл глаза и прямо перед собой, метрах в сорока, увидел лося.

Подняв тяжелую бородатую голову, лось повернул ее в сторону ночного бивака, недоумевая, кто это, непрошеный, обосновался в его владениях. Ванчик замер. Замер и могучий таежный красавец. Его широкие, лопатками, рога осветил первый солнечный луч, и от этого черная мохнатая грива стала еще чернее. Лось раздул ноздри: ему хотелось понять непонятное по запаху. Но ветерок дул от него, и, видимо, лось ничего не понял. Он стоял все так же, как проснувшись, увидел его Ванчик.

— Свистать всех наверх! — раздался зычный голос из маленькой палатки профессора. Овечкин называл это «подъем с прочисткой горла».

Ванчик даже вздрогнул.

Лось тоже вздрогнул, вздернул голову еще выше, метнулся в сторону и побежал, легко неся длинное горбатое бурое тело. Через две секунды он исчез в затуманенной чаще леса.

Овечкин, выслушав Ванчика, хмыкнул.

— Поди, приснилось,— небрежно сказал он. Потом посопел трубкой и, пробормотав: — Н-да-с. Жалко,— пошел умываться.

И Ванчик понял, что профессор только притворился, будто не поверил рассказу о лосе, а на самом деле жалеет, что спугнул его, а еще больше — что не посмотрел сам...

В первый день пробились на семь километров. Оставалось еще десять.

— Чепуха! — Слава лихо взмахнул перевязанной рукой и подмигнул Ванчику.

Тот шутки не принял и, морща нос, отчего веснушки сбежались почти в одно рыжее пятно, очень серьезно ответил:

— Конечно, не чепуха. Но ничего, одолеем. Верно, Петр Николаевич?

Профессор посмотрел на него насмешливо:

— Ты думаешь?

— А что! Факт.

...Дорогая, тысячу раз воспетая поэтами тайга! Провалилась бы ты в тартарары, что ли? Нельзя же так мешать людям делать нужное дело. Ну, хоть немного посторонись, чуточку!

Нет, не хочет сторониться непоклонная, гордая властительница.

Отгородившись кронами от солнца, в душной, пряной полутьме вырастают, падают, гниют и вновь тянутся к солнцу — поколение за поколением — упрямые сыновья и дочери тайги. Она повеселее мрачного хвойного северного урмана. Но ведь машине не веселость нужна. Ей нужна дорога.

Дороги нет.

— В топоры!..

Падают деревья. Урчит, переваливается на колодинах, лезет, все лезет, продирается вперед ГАЗ-63. Настырный!

Ночью было холодно, теперь — пот литрами. На еланях воздух плавится от жары, дрожит и слоится.

Но это бы все ничего, вполне терпимо, если бы не лесная мразь.

— Вот за всякие там открытия премии разные дают,— начинает рассуждать Ванчик.— Я бы все премии собрал и отдал тому, кто изведет мошкару и комаров.— Он нещадно бьет себя по лицу.

Накомарники давно сброшены: в них слишком жарко, и, кроме того, мошкара все равно пробивает сетку, жжет, липнет к потной, распаренной коже, лезет в уши, нос, рот.

Слава на мотив известной песенки о моряке запевает:

По горам, по лесам,
Нынче здесь, завтра там...

И Ванчик во все горло подхватывает:

Эх, по-о лесам, лесам, лесам, лесам,
Да ны-ынче здесь, а завтра там!

Остальные молчат, и песня быстро вянет: очень уж неестественна сейчас ее бодряческая интонация. И на песню уходят силы...

Все же к вечеру еще восемь километров остались позади.

На ночлег остановились засветло. Профессор сочувственно оглядел свой отряд. На руках и лицах — ссадины, расчесы, синяки. Одежда сносилась, обтрепалась, поизорвалась.

— Н-да-с,— Овечкин задумчиво помолчал. И неожиданно: — Виталий, за водой!

— Почему это я?

— А почему не ты?

Коллектор сжал зубы: «Ладно, товарищ Овечкин, пользуйтесь своей властью!»

— Ванчик, магнитометр!

Ох, опять шагать по тайге... Ну, ничего, зато — с магнитометром. Это интересно, и есть чему поучиться. Недаром Ванчика, хотя еще и не всерьез, называют магнитометристом. Штука, может быть, и не очень хитрая, а важная — по колебаниям магнитных напряжений узнавать, какие породы и как глубоко залегают под землей. Ну, узнаёт-то, конечно, не Ванчик, а сам профессор. Ванчик только таскает магнитометр по лесу, смотрит на прыгающую по циферблату прибора стрелку и сообщает профессору отсчеты...

Зыбкие сумерки начали кутать лес. Овечкин, склонившись над каким-то камнем, отбил молотком образец, протянул Ванчику:

— Держи-ка. У меня все полно. У костра запишем,— и двинулся к биваку.

Ванчик повертел камень в руках, сунул в карман и догнал профессора.

— Это амазонит, да, Петр Николаевич?

— Ишь ты, разбирается!

Лица Овечкина Ванчик не видел, но в коротком хмыканье услышал одобряющую теплоту. Ванчику сделалось приятно, и он решился спросить:

— Петр Николаевич, а как вы думаете, выйдет из меня геолог? Когда-нибудь, конечно, не сейчас.

— Геолог? А вот посмотрим, когда это «когда-нибудь» придет. Тогда и посмотрим.

— А я институт думаю кончить, Петр Николаевич.

— Институт институтом. Во всякой профессии, кроме знаний, еще кое-что требуется...— И, не досказав, что же еще требуется во всякой профессии, умолк, и Ванчик уже не решился его беспокоить...

— Ага, учуяли, Петр Николаевич, как вкусно пахнет? — приплясывая около костра с поварешкой в руке, закричал Слава.

— Учуяли, что варево у тебя подгорает, только и всего,— буркнул Овечкин.— Виталий, мешочки для образцов!..

Есть не давала все та же лесная мразь. Миску можно поставить на землю, но ведь надо еще держать ложку и хлеб, а отбиваться от мошкары и комаров одной рукой просто невозможно. Виталий, кроме того, не признавал, как он сам говорил, «вареной мрази», и ему приходилось то и дело вытаскивать из миски упавших туда комаров.

— Желающие могут последовать доброму примеру,— возвестил Ефрем Иванович и, держа миску в руке, стал прохаживаться около костра, одновременно работая ложкой.

«Последовать доброму примеру» пожелали Ванчик и Слава.

Оказалось, получается почти превосходно. На ходу летучие кровопийцы беспокоили куда меньше.

— Эге, даже к комарам можно приноровиться,— не

без удивления констатировал Слава.— Ефрем Иванович, может, вы нас и спать на ходу научите?

— Еще сам не научился,— добродушно признался Суров.

После ужина полагалось посидеть у костра. Такой уже завелся обычай.

Сидели, курили. Овечкин, Суров и Слава скупо поговорили об особенностях горного массива, в пределы которого вступил отряд. Остальные, не очень разбираясь в геологических терминах, молчали. Потом замолчало и начальство.

Ванчик начал дремать, но пойти в палатку не хотелось, что он, хуже других?

Ваня-большой счел своим долгом развеселить компанию. Веселил он всегда одинаково. Изобразил из куска брезента не то юбку, не то фартук, повязал сетку накомарника, как платочек, подпер пальцем щеку и, повиливая туловищем, залихватски запел нарочито тонким, визгливым голосом:

Ой, девочки-милашечки,
Ну разве я не пташечка?
Я геолога люблю,
Ему песенки пою.
Йэх, ух, йэх, ух!
Я люблю даже двух:
Этот рыжий, тот блондин,
А меня — ни один.

У костра зашевелились.

— Полюбишь тебя, дубину такую! — весело усмехнулся профессор.— Помните,— повернулся он к Сурову,— на Вишере в тридцатом у нас дивчина-коллектор была. Такая же вот дубина. Работник — золото! И тоже все с частушками.

— Как не помнить,— улыбнулся и Суров.— Она еще нас мясом с жареными тараканами однажды накормила. Ох, и до чего же противно воняют! Молодежь-то,— он кивнул на молодых членов отряда,— поди, не пробовала жареных тараканов.— И громко засмеялся.

Виталий, сидевший в сторонке, резким движением откинул накомарник.

— Знаете, товарищи, мне это надоело! Петр Николаевич все время тычет нам в нос тем, что он когда-то сам землю рыл, воду таскал или там... помои. Те-

перь Ефрем Иванович решил жареными тараканами похвалиться. К чему это? Если наши старшие товарищи в свое время пережили что-то трудное, тяжелое, плохое, так зачем, спрашивается, обязательно требовать этого и от нас? Тогда время было другое. Вот вы, Петр Николаевич, начинали жизнь простым, неграмотным рабочим и думаете, что точно такие же сейчас у вас в подчинении. А времена-то ведь изменились — изменились и люди. И вовсе не нужно нам этих... жареных тараканов!

Виталий встал, губы его дрожали.

Ему долго никто не отвечал. Ванчик смотрел на коллектора, приоткрыв рот: что он, рехнулся, что ли? Ефрем Иванович, опустив голову, ворошил в костре угли. Овечкин, не докурив трубку, начал набивать ее заново.

— Ну, знаешь... не ожидал,— первым заговорил Слава.— Не тебе бы говорить.— Он тоже встал и принялся подбрасывать в костер хворост, хотя и без того огонь был жаркий.

— Куренок,— пренебрежительно сказал Иван-большой и сплюнул.

Овечкин раскурил трубку, попыхал дымом, заговорил спокойно:

— Н-да-с... Ожидать-то этого было можно. Но не думал я, что это так остро и глубоко. Запущенная болезнь, господин хороший. Трудно лечить. Но мы будем лечить. Удвоенной и утроенной нагрузкой. Почему лечить так — можно было бы и не объяснять, но я объясню. Специально для Виталия. Популярно объясню, хотя он и считает себя очень грамотным человеком. Трудностей, связанных с прошлым, вы, молодой человек, не видели и, слава богу, никогда не увидите. Они ушли вместе с ушедшим социальным строем. А возмущаетесь вы трудностями профессиональными. Они остались. На преодолении этих трудностей человек закаляется и проверяет свою любовь к профессии, свою пригодность к делу...

— На подноске воды,— перебил Трубкин,— на мытье посуды я проверяю свою пригодность к занятиям геологией?

— Да, в частности, и на этом. И пока что для вас — в первую очередь на этом.

— Ну, знаете, профессор... Отошло время, когда мастер гонял учеников за табаком да водкой. Мастер теперь обучает учеников приемам мастерства.

— Чтобы обучить вас, господин хороший, брать руду, я должен сначала научить подходить к руде. Я должен научить вас быть хорошим человеком и хорошим работником. Я должен научить вас относиться...

— Так или иначе,— снова перебил Виталий,— мыть посуду я больше не собираюсь.

— Помолчите! — крикнул Овечкин.

— И молчать не собираюсь. Наплевать мне...

Овечкин не дал ему договорить.

— Хватит,— тихо сказал он и встал.

Таким профессора еще не видели. Его видели и злым, и насмешливым, и ядовитым, и просто суровым.

Теперь Овечкин был яростно спокоен.

— Хватит,— повторил он и переспросил: — Наплевать? — Правая бровь его начала вдруг страшно подергиваться и дрожать.— На что наплевать? На товарищей? На отряд? На геологию?..— И неожиданно закричал: — Тогда геологии наплевать на вас! Такие ей не нужны. И можете убираться, господин хороший! Немедленно!.. Слышите? Сейчас же!..

Никто не остановил Трубкина. Бледный, с закушенной губой, он подошел к машине, забрался в кузов и собрал свои вещи. Не сказав ни слова, он, сутулясь под тяжестью заплечного мешка, пошел от костра по примятой машиной траве обратно, к тракту. Ему не смотрели вслед.

Прошло несколько минут.

Овечкин спросил:

— Деньги у него есть с собой?

— Есть,— ответил Слава.

— Ванчик, догони,— глухо сказал Ефрем Иванович,— дай хлеба и консервов.

Ванчику очень не хотелось делать это. Но он побежал и догнал.

Услышав сзади торопливые шаги, Виталий остановился.

— На, возьми,— Ванчик протянул продукты.

— Подите вы все... к черту! — Круто повернувшись, Виталий зашагал вновь.

Когда Ванчик вернулся, у костра сидел один Овечкин. Вымытые миски, сложенные стопкой, лежали в ведре.

Ванчик пошел в палатку. Не спалось. Какое-то нехорошее, стыдное чувство шевелилось в душе. Рядом ворочались Ваня-большой и Слава.

Ванчик не очень привык разбираться в своих переживаниях, но это нехорошее чувство не давало ему покоя. Откуда оно? Может, от грубости профессора? Нет. Даже в обычной мальчишеской игре поступили бы так же. А тут разве игра? И Виталий не мальчишка. Как же это он? Выбрал себе занятие и какое хорошее занятие, а оказывается, вовсе и не любит его. Или любит, да ленится? Как это так: и любит, и ленится? Нет, видно, тут что-то другое. Вот Петр Николаевич о трудностях говорил... Но ведь трудности в каждом деле. И у токаря трудности, и у летчика, у кого угодно. Кем же теперь станет Виталий? Пойдет искать, где нет трудностей?... Где он сейчас шагает? Выйдет на тракт, попросится на какую-нибудь машину — и к железной дороге. Хорошо ехать по тракту, не болтает, не трясет... Только покачивает. Как во сне.

Ванчик и впрямь уснул.

Его разбудил раздавшийся около самой палатки знакомый голос:

— Ванчик, за водой!

Ванчик поспешно выбрался из спального мешка и выскочил из палатки.

Солнце уже карабкалось по ветвям деревьев. На поляне, освещенной его косыми, еще нежаркими лучами, сопели и кряхтели Суров и Ваня-большой: боролись. У костра над закипающей в ведре кашей хлопотал Слава. Значит, воду-то уже принесли? Ванчик вопросительно посмотрел на Овечкина.

Тот отвел улыбающиеся глаза в сторону:

— Долго спишь, брат. Видишь, люди давно делом занимаются.— Он кивнул в сторону барахтавшихся на траве шофера и заместителя начальника отряда.— Уработались люди. Миски, ложки готовь...

В Уватал они приехали часов в одиннадцать утра. Остановились у края небольшой и, как стол, ровной поляны: хорошее место для посадки вертолета.

Вскоре следом за ними из леса выехал какой-то

грузовик. Водитель его, бойкий черняевенький малый, подошел к Ване-большому.

— Вы и есть те самые героические геологи или как вас там?

— Это в каком смысле? — скосил на него глаза с высоты своих почти двух метров Ваня-большой.

— Ну, через лес дорогу пробивали...

— А ты откуда знаешь?

— Я вообще все знаю. А в частностях — Ипатьич, лесник, сказал. И, кроме всего прочего, ехал я по вашему следу. Груз везу срочный уватальцам. И сам я вообще человек срочный, не люблю задержек. Вот Ипатьич мне и сказал. Взялись, говорит, некоторые отчаянные в Уватал через горку махнуть. Может, говорит, махнули, так за их спиной и ты проскочишь. Ну, а я что? Я проскочил. Так что могу сказать: спасибо... У Ипатьича одного вашего встретил. Молодой такой, а сердитый. Говорит...

— То не наш,— прервал Ваня-большой.— Наших я тебе могу продемонстрировать. Видишь, во-он стоят. То наши. А посередке — главный прокладыватель дороги. Познакомить? Сейчас представлю. Ванчик, сюда!

Ванчик было повернулся к нему, но Овечкин что-то сказал ему, а потом повернулся к шоферу:

— Некогда Ванчику пустяками заниматься. Дело есть,— и ткнул рукой в небо.

Там, в сверкающем голубизной просторе, показалась темная точка. Это к геологам шел вертолет.

А из леса, по неожиданно для шоферов появившейся дороге, выехали еще два грузовика...

1956 г.

ПЕРЕПРАВА

1.

Они не понравились друг другу чуть ли не с первого знакомства — Сенюрчик и Паша-моряк.

Сенюрчик — по анкете Клюшников Семен, семнадцати лет, образование восемь классов, беспартийный — не был среди геологов зеленым новичком. В партии Сеню многие знали и, еще в предотъездовой

суете, завидя его длинную нескладную фигуру, окликали весело и фамильярно:

— Сенюрчик! Запасные сапоги приготовил?

Это намекали на то, что в прошлом году он утопил в реке свои сапоги и, сколько потом ни нырял, найти их не смог.

— Сенюра, топай сюда, подмогнуть надо!

Сеня безропотно «топал» к зовущим, улыбался толстыми губами и хватко брался за тюк, ящик, связку лопат — за все, что нужно было погрузить, передвинуть или перетащить. Сделав то, что от него требовалось, он привычным коротким движением указательного пальца утирал нос, хлопал редкими белесыми ресницами и спрашивал:

— Можно идти?

— Куда спешить, Сенюрчик? Закуривай.

— Да я же не курю.— Он улыбался чуть ли не виновато.

— Все еще не научился? — притворно удивлялись геологи.

Сеня только хмыкал и улыбался. В эти минуты он казался просто-напросто очень глупым парнем, у которого «не хватает».

Над ним посмеивались, но его любили. Его любили, но над ним посмеивались. Он сносил и оставался неизменно исполнительным, послушным и тихим. И даже когда распевали глупейшую нелепицу, придуманную коллектором Сашкой Гнесиным, Сеня вместе со всеми напевал не очень в лад глуховатым осекающимся голосом:

Сенюра-ню,
Сенюра-ра,
Сенюра-а-бра-ка-да-бра.

Сеня к этому притерпелся. Он считал, что только один человек в партии, старший рабочий Илья Миронович, относится к нему вполне серьезно и даже уважительно. А, может, и не так? Он не посмеивается, не скалит зубы, но зато суров и холоден не в меру. А хотя, пожалуй, он со всеми суров. Такой уж характер.

Миронычу было что-то около тридцати, но его сильно старили густая черная борода и броская проседь на

голове. В старших он ходил уже не первый год, заочно учился в горном институте и был правой рукой начальника партии. Мироныч не боялся давать Сене самые сложные поручения и, вроде бы, еще ни разу не ошибся.

Впрочем, чаще всего на Сенину долю выпадали дела мелкие и далеко не всегда приятные.

В тот день, когда в партии появился новый рабочий Павел Климов, Сеня сидел в большой, заваленной грязно-зелеными тюками комнате и чинил палатки и спальные мешки. Работа нетрудная. Орудуя иглой, Сеня лениво размышлял о том о сем. Мысли вихлялись из стороны в сторону, ни на чем подолгу не задерживаясь.

«Дратву не забыть с собой взять. Хотя у Мироныча, наверное, уже припасено... И ботинки сапожнику отнести — Шурику в пионерлагере ой как пригодятся: по две пары на парнишке за лето сгорает... Где же достать учебник физики?.. Вот был бы Сашка Гнесин человеком — занимались бы вместе, он бы помог. В дождливые дни время в тайге всегда выбрать можно...»

— Клюшников! — Это вошел Илья Миронович.— Знакомься, новый товарищ наш — Климов. Поможет пока тебе. Подучи.— Быстрым хозяйским взглядом окинув комнату, Мироныч вышел.

У порога стоял невысокий крепыш в просторной спортивной куртке, за ее раскрытым воротом виднелась тельняшка. Под лихим рыжеватым чубом доброжелательно щурились веселые глаза.

— Привет, братишка! Я, значит, Паша. А ты, значит, Сенюрчик? Слышал.

Это «Сенюрчик» покоробило Сеню. Пора бы, вроде, привыкнуть, ан нет. Другие так зовут — ладно, они свои. А этот только-только появился — и сразу же: Сенюрчик! Будто имени спросить нельзя.

А крепыш вразвалочку прошелся по комнате, остановился перед Сеней.

— Смотри-ка, тоже рыжий! Это хорошо! Рыжие — счастливые... А боцман-то у вас,— он кивнул в сторону вышедшего Мироныча,— строгий, а дурной. «Подучи», говорит. А чего меня учить? Это, небось, не корабль в тумане вести — заплаты класть. Новых-то палаток не могли получить? Чего молчишь? Ну-ка,

подвинься, давай инструмент. Мы это в полсчета провернем.

Сеня подал иглу с нитками, придвинул кусок брезента для заплат, указал на одну из палаток:

— Начинай вот эту.

Ему не понравилось, что Климов обозвал Мироныча дурным, и он построжел, прихмурился, не зная, чего еще ждать от нового товарища.

— Эту так эту,— легко согласился Павел.— А ты всегда такой молчун? Чего хоть не расспросишь меня — кто я, откуда, почему здесь, у вас?

— Ну, расскажи.

— Такому даже и рассказывать неинтересно — через «ну»-то. А у меня жизнь, знаешь, какая!.. Тебе вот сколько? Восемнадцать?

— Семнадцать.

— Ну да? — Павел недоверчиво покосился на Сеню. Ему и хотелось и неловко было признаться, что самому уже исполнилось девятнадцать. Так ничего и не сказав о своем возрасте, Павел лишь покрутил головой:

— Ишь какой вымахал! А чего не в школе?

— Работаю — вот и не в школе.— Сеня помолчал, собственный ответ показался грубым, и, уже мягчая, он пояснил: — Без отца мы, семья большая, не до школы мне.

— Ну да? — обрадовался Климов.— Выходит, мы с одной полянки ягоды. Я тоже без отца, сбежал он от нас. Ну, да мою мамашу не проведешь — сыскала. На Сахалин забрался. Я вот ездил к нему, теперь вобрат вернулся.. А твой где?

— Умер,— нехотя и глухо буркнул Сеня, похлопал своими белесыми ресницами и снова уткнулся в работу.

Минутку помолчали.

— А на Сахалине я пожил — дай бог! С отцом в море ходил. Он капитаном... На «рыбу́шке». Сейнер так зовут. Эмэрес. Значит малый рыболовецкий. Ну, на малом-то еще потруднее, чем где. Море, понимаешь, волны — во! Качает — на ногах не устоишь. А я бинокль возьму...

— Ты неправильно заплату кладешь,— тихо сказал Сеня.— Надо внахлест. Вот смотри.— Он показал, как

это внахлест: одну часть заплаты под верхний край дыры, другую — над нижним краем.

— Это ж возни в два раза больше,— поморщился Павел.

— Зато дождь пойдет — в палатку течь не будет.

— Много ли натечет!

— Ты делай, делай, а то Илья Мироныч — знаешь...

В дверях появился Сашка Гнесин. Ероша и без того спутанные кудри, он щурился, чуть приметно улыбаясь. Хотя он стоял неподвижно, его легкая худощавая фигура выражала движение и порыв.

— Ну, рабочий класс,— громко и весело сказал Сашка,— пошли обедать. В столовку пиво привезли... Что, моряк, за тряпки тебя посадили? — Он улыбался дружески, и Сеня понял, что они с Павлом уже знакомы.

Сашка подошел ближе, присел.

— Как, моряк, на пиво смотришь?

— Мы и покрепче чего принять можем,— усмехнулся Павел.

— Но-но! — Сашка предостерегающе поднял палец.— Пиво, как известно, жидкий хлеб и не возбраняется даже Миронычем, а насчет покрепче — это у нас в партии только Сенюрчик может.

— Сенюрчик — он, наверное, может,— сразу подстроился в лад Сашке Павел,— мамкино молоко сосать.

Оба, довольные, хохотнули. Сашка встал: «Пошли».

— Отдать швартовы! — закричал морячок и оглянулся на Сеню: — Поплыли?

Сеня виновато улыбнулся и покачал головой: «Не».

Он дошил заплату, потом достал припасенные кусок соленой рыбы и хлеб, налил в кружку воды и принялся за еду. Он думал о далеком острове Сахалине и о море, которого никогда не видел. Остров представлялся ему совсем как в учебнике географии — «часть суши, окруженная водой». Этакий длинный вздыбленный кусок земли, а вокруг синяя вода без конца, без края. И ходят по берегу рыбаки, рослые и отважные люди в просоленных робах, и уходят на малых сейнерах в море, в гремучие валкие волны, и там, в раздолье, на шалом морском ветру, забрасывают сети и

потом вытягивают их, полные крупной жирной рыбы. А с ними Павел Климов, стоит на шаткой палубе, расставив ноги, смотрит в бинокль, высматривает...

Что он там высматривает в свой бинокль?.. И почему они с Сашкой Гнесиным вместе и совсем по-свойски?.. «Лихой» — Мироныча обругал. А он же его, Мироныча, и не знает еще...

2.

Река возникла почти внезапно: лес перед ней вовсе не поредел, деревья густо толпились у самого края низкого топкого берега. Был июнь, вода шла вешняя — сильная и быстрая.

Машины сгрудились одна к другой. В прошлом году здесь навели паром, и переправа предстояла скорая и легкая. Только вот сам паромный плот был угнан на другой берег и приткнулся там возле избушек маленького лесного поселка. Геологи, сойдя с машин, принялись дружно и весело кричать. На том берегу никто не появлялся, зато из домика, стоявшего тут же, в полусотне шагов от машины, выползла старушка. Подковыляв к геологам, она пояснила, что «Ефимыч к Титычу уехал» и что были они на веселой ноге, а потому докричаться будет трудненько.

— Машину какусь-то перегоняли. С ножом на передке. Бутдозер, ли как ее. Здесь выпили, это уж обязательно, теперь там с Титычем допивать будут. До зеленых чертиков, это уж обязательно.

Геологи вновь принялись кричать — громко, с ожесточением. Надсадный крик звенел в ушах, плясал на волнах, но серые, вбитые в прибрежный мох домики на той стороне реки никак не откликались.

— Вот раззявы! — зло сказал Паша-моряк.

— А зря надрываетесь,— спокойно возразила старушка.— Не выйдет Ефимыч, душа его бездонная. Вон лодка, посадите кого, пусть пригонит паром-то. Завсегда так делают.

— Давай, моряк,— подтолкнул Сашка Павла.

— Илья Миронович, разрешите?

Мироныч, чуть склонив крупную седеющую голову, посмотрел на Павла, молча смерял глазом реку и повернулся к Сене:

— Клюшников, возьми Климова, пригоните паром. Смотрите, чтобы аккуратно.

— Ладно,— сказал Сеня, поддернул штаны и направился к лодке.

Ему было неприятно, что старшим назначили его, а не Павла — все-таки моряк. Как он будет давать ему указания?.. А хотя какие тут указания? Пустяковое дело, несколько минут, и все на глазах у людей... Но тут ему сделалось даже неловко от этой мелочной мысли о старшинстве. Вообразил из себя начальство!

— Садись за весла,— небрежно бросил Павел и, дождавшись, пока Сеня забрался в лодку, столкнул ее в воду, лихо запрыгнув на корму.

Лодка была маленькая и верткая. А вешняя вода в реке мчалась с буйной яростью. Невысокие упругие волны с силой били в борт почти игрушечного суденышка, и оно бестолково вихлялось, норовя метнуться совсем не туда, куда хотелось бы гребцу. Уже через три десятка метров Сеня вспотел. Весла казались тяжелыми и неповоротливыми.

Павел ругался:

— Ты которым местом соображаешь? Не видишь, куда несет? Левым загребай, язви тебя!.. А ну встань. Как куль с рыбой... Проходи на мое место. Помощничек!

Сеня встал, лодку резко качнуло, он чуть не полетел в воду и, судорожно уцепившись за борт, плюхнулся на кормовое сиденье, едва не сбив с ног Павла. Было стыдно людей, толпившихся на берегу. Вовсе не так уж плохо он греб, чтобы позорить его на виду у всех. Ну, даже если бы и вынесло лодку пониже переправы,— что в том особого?

Поначалу у Павла получалось тоже не гладко. Видно, ко всякой лодке надо иметь свою привычку. Но все же весла слушались его много лучше. А скоро Сеня просто залюбовался: так быстро и властно Павел овладел суденышком. Он загребал уверенно и сильно, лодка перестала вихлять и напористо шла к берегу.

Из-за темной зубчатой кромки тайги надвигалась сумеречная хмарь. Хлестнул резкий косой ветер. Сеня начал дрогнуть и очень обрадовался, когда лодка стукнулась наконец о паром.

— Порядок! — весело крикнул Павел.— Теперь обратно, это мы в полсчета.

Паром был грубо сколоченный, громоздкий, но, видать, надежный. Они наскоро прикрутили лодку, и Сеня взялся за ржавый трос. «Рукавицы надо было прихватить»,— подумал он и сильно потянул трос на себя. Паром отвалился от берега с трудом, нехотя; утробно хлюпнула под ним тяжелая волна.

Трос сильно провисал и на середине реки мок в воде. В лицо бил резкий косой ветер. Паром, казалось, качался на месте. Правда, берег отодвигался. Но очень медленно.

— Тяни! — закричал Сеня, и Павел встал рядом.

Трос дрожал и ходил в стороны. Паром начало заносить. Сеня несколько раз оглядывался на руль. Рукоять его была сделана из бревна изрядных размеров. Рукоять кренилась вперед, паром заносило все больше и больше.

— Не вертись,— пасмурно бросил Павел. Он тянул, прихватив трос поло́й куртки.

— Так ведь заносит! — не очень решительно возразил Сеня.

Павел глянул на руль и согласился:

— Надо выправить.

Сеня бросился к рукояти. Ее совсем выворотило вперед. Упираясь в мокрый, скользкий настил, Сеня напрягал все свое длинное нескладное тело, толкая руль. А вода заносила его обратно. Вода грозно бурлила. Паром дрожал. Или лопнут сухожилия — или треснет рукоять. Рукоять не треснула, и сухожилия не лопнули. Только на миг глаза как бы заложило красной ватой, когда руль, сначала став перпендикулярно к парому, вдруг словно бы сам подался назад и медленно пополз дальше, поворачивая плот к тросу.

Полил дождь. Тело ослабло. Захотелось лечь.

— Ну, где ты там? — закричал Павел, и Сеня рванулся к нему.

Дождь понужал все сильнее. Полуотодранный от настила лист железа погромыхивал на ветру. Иногда паром содрогался: плывшие по реке деревья ударялись о него. Сзади раздался чей-то истошный крик. Через плечо Сеня заметил, что возле причала, у серых

домишек поселка, суматошливо мечется по берегу какой-то мужик. «Паромщик»,— безразлично подумал Сеня и тут же увидел нависший над водой разлохмаченный кусок троса.

У Сени разжались пальцы. Он дернул Павла за рукав: «Смотри!» Но Павел увидел и сам:

— Оборвется... Снесет к черту...— Он начал озираться.— Впереди, говорили, перекат. Разобьет...

— Тянем! — снова ухватился за трос Сеня.— Может, выдюжит.

Теперь они тянули осторожно, как будто от этого могло зависеть, оборвется паром или нет. Разлохмаченный, надорванный кусок троса все приближался, и отчаянный мат Ефимыча на оставленном позади берегу становился все тише, словно уплывал вдаль. В сознании были только шум разъяренной воды и этот жалкий, но коварный в своей слабости кусок троса.

— Тянем... тянем... тянем,— хрипло приговаривал Сеня в такт движениям рук.

Иногда он взглядывал на руль. Рукоять опять отодвигалась вперед. Но лохматина все приближалась. В ней было главное. «Вот пройти ее, миновать, а там уже не страшно».

Бережно, как перешибленную топором руку, перехватил Сеня кусок троса с торчащими, растопыренными жилками, и тут паром тряхнуло, с присвистом ударил по настилу оборвавшийся конец, и в тот же миг ладони обожгла боль — будто шаркнули по мясу грубым рашпилем.

Паром качнулся легко, освобожденно. И так же легко, с какой-то просветленностью подумалось, что вот сейчас его вынесет на быстрину, руль уже заворачивает... Обрывая мысль, Сеня прыгнул к рукояти. Грудью, руками, плечом навалился на нее. Повернуть рукоять к «своему» берегу. Туда, где машины, люди, товарищи. Повернуть рукоять. Повернуть!..

Как умудрился он заметить Павла? Тот, захватив одной рукой перильца, скорчился над лодкой, рвал запутавшуюся цепь. «Бежит, струсил... Ну и пусть». И неожиданно для себя заорал:

— Климов, назад!

— Брось, Сеня, давай в лодку.

— Назад, Климов!

Павел приподнял голову. Сеня был страшен. Нижняя челюсть отвисла, глаза налились яростью. Павел встал.

— Смотри, чумной, как несет... Перекат же там.

— Помогай! — глухо выкрикнул Сеня, опять бешено навалился на рукоять и больше уже не оглядывался, словно был уверен, что ослушаться его невозможно.

Прошло с минуту—он почувствовал, как, заскрипев, круто подалось бревно под крепким нажимом Павла, как повернулся плот. Тогда Сеня выпрямился и, размазывая с ладони кровь, отер лицо.

Паром несло по реке вкось к берегу. Дождь редел. В одежде, с багром в руках по воде бежал к парому Мироныч. Саша Гнесин раскручивал над головой веревку, свитую в кольцо.

Подтягивая вместе с другими паром к берегу, Мироныч сказал сердито:

— Говорил ведь, поаккуратнее!

Но было в его интонации что-то ворчливое, отнюдь не категорическое. Сеня спрыгнул на берег, Мироныч положил руку на его вымокшее острое плечо, качнул головой:

— Эк ведь угораздило! — и подтолкнул в спину.— Пойди перевяжись.— Усмехнулся: — Капитан! Чуть команда-то не сбежала, а?..

4.

Паром навели заново. Пообедали. Пьяненький Ефимыч, с аппетитом уплевший три миски супа из консервов, изъяснялся начальнику партии в великом почтении к геологам и, замаливая свою вину, в десятый раз клялся впредь блюсти переправу в полной исправности.

Миронычу надоело хмельное словоблудие старика, он подошел поближе, озабоченно поднес к глазам часы:

— Наверное, двигаться пора, Евсей Николаевич?

— Да-да-да! — обрадовался начальник партии.— И так сколько времени потеряли.

— Это верно, это верно,— сокрушенно подхватил Ефимыч.— Не подумайте, однако, что от нерадения или чего такого. Не тот, скажу вам, в прошлом годе трос приспособили, с изъяном...

— По коням! — бодренько прервал его Мироныч, и все вокруг пришло в движение.

Как всегда — стоит расположиться хоть на час,— из машин повытаскивали кучу всяческих вещей, и теперь надо было водворить их обратно.

Домыв походную посуду, Валя столкала миски в ящик и оглянулась, выискивая, кто помог бы ей погрузить кухонную утварь в машину.

— Сенюра, подсоби немножко... Ой, да у тебя же ладони порваны!

— Ничо... — Сеня ухватился перевязанной рукой за ящик.

— Нет, нет! — решительно пискнула Валя и повернулась к Сашке: — А ты что, не пообедал — стоишь?

Сашка шутейно пожал плечами и развел руки:

— Справедливо, мадам, как в верховном суде. Пообедал — поработай, поработаешь — поешь.

Валя залезла в кузов, чтобы принять от ребят ящик. Переваливая его через борт, она придавила ногу, и, видимо, это вывело ее из себя:

— А этот Пашечка — он что, аристократ? Или он боится за свою красоту в тельняшке?

Сене сделалось неловко. Зачем же так обижать человека?

Он и без того переживает свой позор. Вон какой смурной, подавленный сидит в сторонке. Никто к нему не подходит, не заговаривает — и человек мучается в одиночку, болеет душой.

А Сашка еще плеснул бензинчику:

— Действительно, такой большой специалист по эвакуации — и сидит без дела!

Павел рывком поднялся, метнул на ребят недобрый взгляд и молча оттеснил Сеню от артельного котла.

— Один справлюсь,— бормотнул он, ухватил котел и, натужившись, широко расставляя ноги, понес его к машине.

— Это ж сила! Юрий Власов в тельняшке! — издевался Сашка. Потом вытащил пачку папирос.— Давай, Семен, закурим.

Сеня удивленно посмотрел на него: «Почему — Семен?» Но только робко улыбнулся:

— Да я ж не курю.

Павел взгромоздил котел на борт — там его приняла Валя — и, отходя, лихо, через зубы, сплюнул.

— И дел-то всего — пустяк.

— Хи! — пискнула Валя и словно бы подавилась.— Ой!.. Хи-хи!

Все посмотрели на нее, на Павла. На подбородке у него чернела аккуратная, словно бы по заказу намалеванная сажей бородка. Павел недоуменно озирался. А Сашка, справившись со смехом, пропел с обычными ужимками:

Какой Пашурчик элегантный.
Ах, до чего же он пикантный!

— О-о-ой! — простонала Валя, уже не в силах смеяться.

— Измарался ты,— поспешил объяснить Сеня, и, хотя ему тоже было смешно, он старался поджать свои толстые расплывающие губы.

— Где? — Павел принялся отглаживать лицо и увидел на ладони сажу.— «Измарался!» — зло передразнил он Сеню.— Ну и раззява ты, Валентина. Не могла котел почистить! Чего ржете? Подумаешь! — Поплевав на носовой платок, он начал яростно тереть им подбородок.

«Чего же он ругается? — думал Сеня, и теперь ему было стыдно уже за Павла.— Что же тут особенного? Ведь не нарочно. Людям весело, а он ругается. Нехорошо».

Подошел Илья Мироныч, усмехнулся и полез в кузов, через плечо сказав: «Поехали». Ребята забрались следом.

Павел все еще хмурился и молчал. Сашка покосился на него темным прищуренным глазом:

— Бом-бум-брамсель сник. Адмирал скис. Сражен бурей и смехом.

— Пошел ты..— вяло огрызнулся Павел.

— И он пошел! — трагически-торжественно произнес Сашка, выдернул из-под Павла тючок со спальным мешком и через ящики перебрался к Сене.— Пусти-ка рядышком, я песни петь буду.

— Верно, Саша, споем! — обрадовалась Валя.

— Я буду тенором, а ты басом,— сказал Сашка, а Валя кокетливо хихикнула.

Они и верно пели что-то, только Сеня их не слышал. Видно, он устал. Мысли уютно и сонно качались вместе с машиной. Убегала назад тайга в прорези брезента, а Сене казалось — море. И представлялось ему, что стоит он у корабельного руля, и ветер дует ему в лицо, и бьет нещадная вода, а он ведет корабль. Гремучие валкие волны катятся окрест, гудит и фырчит океан, но крепкие руки надежно держат руль. Где-то там, позади, на шаткой палубе, стоит Паша-моряк в своей тельняшке, форсит с биноклем. А к чему бинокль, когда и без него Сеня знает, куда вести судно...

1962 г.

Хмурый Вангур

Повесть

Глава первая

1.

Устланная ковровой дорожкой мраморная лестница была длинная-длинная, но Наташа взбежала по ней в одну минуту. Быстро, ничуть не запыхавшись, она прошла по всему коридору и только в конце его, у высокой массивной двери с аккуратной табличкой, задержалась. На табличке значилось: «Директор института». Это надо было понимать так: директор Горногеологического института Уральского филиала Академии наук СССР.

Когда тебе только девятнадцать лет, а в служебном удостоверении в графе «должность» стоит маленькое скромное «лаборант», перед такой дверью, конечно, остановишься. Но надо сказать, что в этом учреждении Наташа Корзухина работала уже почти три года, все здесь было ей знакомо и привычно, а по характеру своему она не очень-то любила робеть и задерживаться перед чем-либо. К тому же сегодня, пока «по секрету», ей сообщили, что, по всей вероятности, ее переведут в старшие лаборанты. Старшая — это что-нибудь да значит!.. И уже через секунду высокая тяжелая дверь была распахнута, и Наташа вошла в приемную, с ходу выпалив все, что ей было нужно:

— Заседание началось? Давно? Наш вопрос обсуждают? Здравствуйте!

Секретарь директора, седая чопорная дама, не подняла головы, не кивнула, только скосила глаза. Она хорошо знала, когда надо кивать, когда вставать, а когда и вовсе не обращать на вошедшего внимания. На этот раз она все же снизошла до улыбки, похожей на приветливую, и даже произнесла с чуть томным выражением несколько слов:

— Ты, как всегда, моя девочка, нарядна, порывиста...

— ...и непоследовательна,— грубовато закончил здоровенный взлохмаченный парень, сидевший на диване с книгой в руках.

Седая дама бросила на него неодобрительный взгляд, поджала губы и уткнулась в бумаги. А парень, обращаясь к Наташе, с мрачноватым простодушием ответил на ее вопросы:

— Здравствуй. Началось. Давно. Обсуждают.

Это был Юра Петрищев, сотрудник того же профессора, у которого работала и Наташа. Впрочем, сказать о Юре Петрищеве «сотрудник» — может получиться, пожалуй, несуразица: еще подумают, что он состоит в высоком ранге научного сотрудника.

Нет, но пришлось употребить это обтекаемое, неопределенное слово, так как круг занятий у Юры был тоже весьма неопределенным. Петрищев выполнял и обязанности техника-магнитометриста и радиометриста, и слесарничал, и бегал по поручениям своего шефа в различные городские учреждения, а в экспедициях таскал тяжелые мешки с минералогическими образцами. Привела его сюда нужда: умер отец, старый железнодорожный машинист; мать, никогда не знавшая никакой работы, кроме домашней, растерялась, и Юра, скрепя сердце, засунул подальше зачетную книжку студента второго курса горного института и пришел наниматься в лабораторию профессора Кузьминых. Дорожка сюда была не совсем чужда ему: Юра явился к тому самому профессору, в геологическом отряде которого работал в свои первые студенческие каникулы.

Наташа относилась к этому парню несколько покровительственно. Во-первых, работает он без году неделю, а у нее, что ни говорите, стаж; во-вторых, она уже кончает заочно второй курс института, а он... может, он вообще никогда больше не поступит в институт.

Сейчас Наташа пренебрежительно махнула на Юру рукой, что должно было означать порицание его бездеятельности в данный момент, и, крадучись, чтобы не обратить на себя внимание дамы-секретаря, подошла к двери в директорский кабинет. Тут она приложила ухо к замочной скважине. Секретарь, женщина весьма бдительная, заметила это и была шокирована.

— Товарищи! — сказала она, и это «товарищи»

прозвучало, как «господа».— Это, знаете, все-таки нехорошо. Так, знаете, делать все-таки неприлично.

Наташа незаметно для нее высунула язык и еще плотнее прижала ухо к двери...

В кабинете шло заседание ученого совета. Совет обсуждал предложение аспиранта Плетнева. Директор института, седой, аккуратный, очень интеллигентного вида человек, был недоволен, что этот зеленый аспирант, пришедший в институт из Геологического управления совсем недавно, уже вторгается в хорошо продуманные, давно утвержденные где надо планы и добивается их ломки. Нужно, конечно, признать, что его рассуждения не лишены интереса, их стоит обдумать и проверить, но без этой горячности, без спешки. Директор слушал аспиранта холодно и не очень внимательно.

А Николай Плетнев, молодой стройный крепыш, поминутно поправляя быстрыми движениями руки непослушные волосы, спадавшие на лоб, уже заканчивал выступление:

— ...Исходя из этой геологической характеристики, я и предлагаю провести предварительные поиски титановых руд в районе реки Вангур. Больше того...— Энергичным, сильным движением Плетнев поправил волосы и на секунду задержал руку на темени, словно размышляя, не слишком ли он поразит сидящих перед ним тем, что скажет им сейчас.— Больше того: я утверждаю, что там титановые руды в виде россыпей рутила должны быть почти наверняка. Железнодорожная ветка длиной в триста-четыреста километров, которую можно проложить от Ивделя, окупится почти моментально.

— Так один мужик шкуру медведя делил, а медведь его... задавил,— без улыбки пошутил кандидат наук Пушкарев, примостившийся у отдельного столика в углу кабинета. И добавил уже совсем серьезно: — Рановато о железнодорожной-то ветке говорить:

Сдерживая гнев, Плетнев укоризненно бросил ему:

— Опять, Борис Никифорович, в вас говорит неверие!

Директор воспользовался заминкой, придрался:

— Уточним. Насколько я понимаю, вряд ли следует ставить вопрос так резко о неверии Бориса Никифо-

ровича. Просто в нем, видимо, говорит здоровый, необходимый ученому скептицизм. Я правильно понимаю вас, товарищ Пушкарев?

Пушкарев отодвинул от себя кучку мелко изломанных спичек и встал, худощавый, подтянутый, опустив руки по швам. Заговорил он сухо, официально:

— В основном, Владислав Викентьевич, правильно. В своем выступлении полчаса назад я уже говорил, что сомневаюсь в некоторых положениях, высказанных товарищем Плетневым. Данные Геологического управления, которыми он оперирует, страдают, на мой взгляд, существенными изъянами. Слепо опираться на них было бы ошибочно. Знаки рутила в шлихах * нижнего течения Вангура незначительны. Непроверенным остается и тот факт, что в районе этой реки простирается зона метаморфических пород.

— Так вот и надо проверить! — воскликнул Николай Плетнев.

Аспирант Векшин, секретарь комсомольской организации института, ободряюще кивнул Николаю. Ему нравился этот не очень-то выдержанный, задиристый парень, который не особенно считался с авторитетами и напористо отстаивал свою точку зрения.

— Мало, мало у нас данных,— Пушкарев задумчиво покачал головой (и точно так же покачал головой директор), но закончил опять сухо, официально: — Впрочем, я сомневаюсь в существе идеи, высказанной товарищем Плетневым, но я не против ее проверки.— И сел.

Глаза Николая неспокойно горели. «Эх,— можно было прочесть в их взгляде,— морочите вы мне тут голову!..»

— Теперь, товарищ Плетнев, позвольте спросить вас.— Сложив два пальца в аккуратную щепотку, директор выставил их перед собой.— Геоморфологические данные района реки Вангур вы изложили нам довольно... гм... подробно. Но поясните, пожалуйста, почему, каким образом вы считаете возможным возложить именно на отряд профессора Кузьминых, кроме работы на Ключ-камне, обследование Вангура?

---

* Шлихи — концентрат из тяжелых минералов, получаемый после отмывки песков из россыпей.

Николай вопросу обрадовался:

— Это же очень естественно и просто!

Он стремительно подошел к висящей на стене карте, и головы всех повернулись за ним. И все — кто с симпатией, кто с завистью или неприязнью — заметили, как легко и четко шагает этот парень с рыжеватой, вызывающе буйной шевелюрой, как по-весеннему ярко цветет румянец на загорелой коже его лица, как уверенно, почти властно протянул руку Плетнев к карте.

Ближе к верхнему краю большого зеленоватого листа, среди бескрайных лесистых болот, был воткнут красный флажок. В этой точке располагалась недавно созданная база филиала академии. На север от нее чернел малюсенький треугольник — одна из вершин Северного Урала, гора Ключ-камень. От Ключ-камня, прихотливо извиваясь, бежала на юго-восток голубая ниточка Вангура.

— Взгляните.— Рука Николая коснулась карты.— Путь на Вангур как раз возможен только от Ключ-камня. Между базой вашего... виноват, старая привычка... базой нашего филиала и Вангуром — непроходимые летом болота. А мы пройдем на Ключ-камень и оттуда в район поисков спустимся по Вангуру на лодке. Дайте мне еще одного геолога, и мы вдвоем с помощью проводника сделаем всю работу!

Это прозвучало так же вызывающе и гордо, как знаменитая фраза Архимеда о земном шаре. Но никто не улыбнулся, и даже директор института взглянул на молодого аспиранта почти сочувственно. Опытный и умный человек, он особым чутьем старого ученого вдруг почувствовал, что игра, предложенная Плетневым, стоит свеч.

Предложение Николая было простым и смелым. Несколько лет назад, во время разведки на золото, в нижнем течении реки Вангур обнаружили в шлихах рутил, ценную титановую руду. Содержание рутила было незначительным, однако уже тогда кое-кто высказал мысль, что выше по течению реки и ее притокам вполне возможны богатые, промышленного значения руды. Именно на этом настаивал сейчас и Плетнев.

Игра стоила свеч, потому что найди геологи такое

месторождение, оно окажется очень выгодным. Промывай песок и получай руду — просто и дешево.

Однако прав был и Пушкарев: дело представлялось вовсе не таким уж верным, и директор института счел нужным несколько охладить пыл молодого геолога.

— Ну-ну, не так быстро,— сказал он и тонким холеным мизинцем легонько почесал бровь.— Признаться, я не большой сторонник подобных экспериментов, однако... Что скажет нам сам профессор Кузьминых? Как, Алексей Архипович?

Сидевший неподалеку от директора крупный, тучный мужчина лет пятидесяти, с грубоватыми, топорной работы чертами лица коротко кивнул, давая понять, что он готов высказаться. Однако с места профессор не двинулся, лишь побарабанил пальцами по сукну стола. Потом заговорил — медлительно, не поднимая большой, тяжелой бритой головы.

— Вангур мы не знаем. А знать надо бы. Геологические данные...— он задумался, подбирая слово,— действительно интересные. (Только тут Кузьминых поднял голову и взглянул на директора института.) Полагаю, что наш отряд, если поднатужится, с этой дополнительной задачей справится.

Коротко похмыкивая и опять касаясь мизинцем брови, директор посмотрел на часы:

— Вы кончили, Алексей Архипович? Что ж, если без нарушения плана, на ваш, так сказать, риск... Ну-с, а персонально? Впрочем, мы решим это в рабочем порядке. Да-да. Спасибо, товарищи. Мы решим. Возражений нет? Всего хорошего... Вас,— он кивнул Пушкареву и Кузьминых,— я попрошу остаться.

2.

Из кабинета директора Николай Плетнев вышел возбужденный и радостный: принято! Его предложение, как там ни крутили, принято.

— Ну как, Николай Сергеевич? Здравствуйте!

Перед ним сияли живые светло-карие глаза Наташи Корзухиной. Они говорили о явной заинтересованности тем, что решалось на ученом совете. Подошел и Юра Петрищев, с любопытством и некоторым смуще-

нием поглядывая на Николая. «Ну конечно, она пришла специально. И этот увалень Петрищев тоже». На сердце у Николая сделалось совсем светло.

— Здравствуйте! Здравствуйте, Наташа! Ну, бой выдержан. Чуть не поцапались, правда, с Пушкаревым...

— Пушкарев цапаться не способен: у него выдержка,— не скрывая насмешки, поправил Юра.

— Выдержки у него действительно хватает.— Николай улыбнулся.— Но мне, кроме того, показалось — хватает и умения рассуждать в лад с директором института, а?

— Ну, уж это неправда! — довольно горячо вступилась за Пушкарева Наташа и, смягчаясь, добавила: — Вы его мало еще знаете.

— С вами, Наташа, не спорю, сдаюсь.— Николай шутливо поднял руки.— Да это и неважно. Важно, что поиски на Вангуре мне разрешили. Наша взяла! А?

Хотя к предложению Николая Плетнева ни Юра, ни Наташа прямого отношения не имели, это «наша взяла» прозвучало как признание коллективного торжества, и Наташа и Юра почувствовали себя его участниками.

Секретарь прислушивалась к разговору, как строгая классная дама. Что за тон? Что за фамильярность? Ведь он же все-таки аспирант!..

Разговаривая, молодые люди вышли на улицу и остановились на широком, просторном крыльце филиала академии. Николай закончил институтский курс недавно, и ни работа в Геологическом управлении, ни переход в аспирантуру еще не дали привиться скучной солидности и высокомерию по отношению к младшим. Он ощущал себя почти студентом, и компания Наташи и Юры подходила ему больше, чем общество научных сотрудников.

И, право, это было очень хорошо: стоять с ними вот так, запросто, щуриться на солнышко и чувствовать, будто ты только что выскочил с ребятами из учебной аудитории и никакой ты еще не специалист,— это и все другое впереди, а сейчас можно просто поболтать, порадоваться миру и этим вот большим светло-карим глазам, которые искрятся совсем близко от тебя.

— Вы молодец, Николай Сергеевич! — Наташа

тряхнула головой, и лишь ее первый в жизни перманент не дал рассыпаться светлому шелку волос.— Ведь если мы... если на Вангуре действительно обнаружится титан, да еще на Ключ-камне, это будет просто замечательно! Да? Ведь сколько у нас сейчас разговоров об этом металле! Как он нужен!..

— Ты, кажется, намерена прочесть популярную лекцию? — осведомился Юра.— Лектор из тебя неважный.

Наташа смутилась. Если бы здесь был только Юра,— ого, она сумела бы ему ответить! Но Плетнев... Все-таки он аспирант. И даже не в этом дело. Просто в его присутствии Наташа чувствовала себя «как-то не так». Она одновременно и воодушевлялась, и была подавлена.

Николай выручил ее:

— А что, товарищи, если мы с вами организуем по этому случаю веселье? Возьмем такси — и в парк. Мысль?

Но тут на крыльцо вышел профессор Кузьминых. Остановившись, Алексей Архипович оглядел молодежь из-под косматых бровей:

— Ну-с, утрясли... Группу на Вангур поведет Пушкарев.

Николай опешил:

— Позвольте, но ведь...

— Что? Хотите сказать, что коли предложение ваше, то и вести группу...

— Нет, но... Это связано с моей будущей диссертацией.

— Ну, вы, естественно, будете включены в группу.

— Но как же Пушкарев, человек, который сомневается в ценности моего предложения, будет это предложение осуществлять?

— Вот так и будет. Ничего. Две разных головы — это хорошо. Еще и третью приспособим. Вот, например, эту.— Профессор ткнул в Юру Петрищева, приподнял шляпу и ушел.

— Вот те и килограмм изюму! — первый опомнился Юра.— Вовсе я не собираюсь ходить под начальством этого сухаря Пушкарева.

— Н-да,— растерянно пробормотал Николай.

— А я буду проситься в эту группу,— весело ска-

зала Наташа и повернулась к Плетневу:— Возьмете меня с собой?

Он уже пришел в себя:

— Вас? Обязательно! Уж тогда мы рутил найдем наверняка.

— Найдем!— задорно откликнулась Наташа; ей хотелось как-нибудь утешить, подбодрить Плетнева.

Николай задумался. Пушкарева, как, впрочем, и других работников Горногеологического института, он знал еще плохо, но слышал о нем немало. Уроженец знаменитой уральской Мурзинки. Борис Пушкарев был сыном горщика. Уже одно это и кое-какой опыт в минералогии сразу выдвинули его в среде студентов-горняков, а после окончания вуза Пушкарев в рекордно короткие сроки стал кандидатом наук. Ему пророчили невесть какие успехи, но прошло три или четыре года, а он, казалось, не оправдал и десятой доли надежд, возлагавшихся на него. Два года он работал главным инженером, а потом начальником рядовой геологоразведочной партии где-то в глуши. Говорили, нашел интересный материал для докторской диссертации. Но вместо диссертации появилась лишь куцая, скупая заметка в одном из научных сборников. Благожелатели оправдывали Пушкарева, указывая на его похвальную требовательность к себе и неудовлетворенность найденными результатами. Однако многие полагали, что кандидатская диссертация была в научной деятельности Пушкарева успехом случайным и последним.

И вот теперь руководство института сочло возможным доверить этому человеку новое, рискованное, но многообещающее дело.

— Да-с, утрясли! —передразнил профессора Юра.— По случаю этого случая веселье, видимо, отменяется?

Николай встряхнулся, резко отбросил волосы назад:

— Это почему? Веселье состоится! Идемте атаковать такси...

3

...Очень трудно в этом разобраться и все объяснить. Или это и называют — любовь?

Вот тысяча людей вокруг, и очень много красивых, и еще больше просто хороших, и с любым можно раз-

говаривать, шутить, смеяться, а через минуту забыть о нем, и только. А об этом рыжеголовом хочется думать, об этом хочется вспоминать.

Ох и дура же ты, Наташка! Любовь... Словом-то каким играешь! Ты же и не знаешь его, человека этого, совсем не знаешь. И давно ли тебе казалось, что нет на свете лучше Пушкарева? Именно таким представлялись тебе герои — с суровым лицом, немножко замкнутые, молчаливые. А теперь тебе кажется, что герои должны быть другими: с буйной, непокорной шапкой волос, веселые, неунывающие, открытые.

А при чем тут герои? Просто эти двое — хорошие люди, товарищи по работе. Хотя и старшие, а товарищи. Николай — тот даже и не очень старше. Николай... Как хорошо без отчества! Он такой простой и славный. И ты ему нравишься. Ты нравишься ему, Наташка, это факт...

Так сама с собой, в душе, разговаривала Наташа Корзухина, возвращаясь из парка. Николай и Юра предлагали проводить ее, но она отказалась: хотелось побыть одной, «попереживать».

Был вечер, и от света фонарей, от ярких реклам, от говора толпы и переплесков смеха улицы казались праздничными.

И празднично, легко шагала Наташа, помахивая нежной веточкой сирени.

Как всегда, стремительно вошла она в квартиру, еще с порога оглушив пожилую рыхлую женщину, открывшую ей дверь:

— Теть! Можете поздравить. Обед, наверное, простыл? Меня переводят в старшие лаборанты.

— Слава тебе... Вот что значит способности! И жалованье повысят?

— Как будто это главное! — Наташа повела плечами.— Повысят. Понюхай, как приятно пахнет. Это я в парке была. И еще решено: на Вангур — это на севере, в тайге, река такая — посылают специальную группу. Я буду проситься туда.

— Ну, вот это, Наташенька, ты неладное говоришь. Зачем же это тебе опять в тайгу? Если старшей будешь, можно и в институте, в городе остаться... А прибавят сколько? Рублей сто, поди, не меньше?.. В тайгу-то другие пусть едут, которые младшие...

Тетка говорила все это и суетилась, накрывая на стол, а Наташа уже не слушала ее, думала о своем. Ложка в ее руках чертила на клеенку букву «Н». Подошел и положил морду к ней на колени Томми, ее пес. Спохватившись, Наташа почти отбросила ложку и покраснела.

А что краснеть? Вот глупая! Что тут особенного?

Ничего особенного.

И в своем секретном девичьем дневнике она в тот же вечер записала очень просто:

«Вот уже два месяца, как у нас появился новый аспирант, Николай Сергеевич Плетнев. Симпатичный. (Она подумала и зачеркнула это слово, написала другое.) Славный человек».

И все.

Спрятав дневник, Наташа решительно взялась за учебник петрографии *. Но читалось плохо. На второй или третьей странице она поймала свои мысли совсем в другой стороне, попыталась вспомнить только что прочитанное — и ничего не вспомнила.

Тетка, изредка поглядывая на племянницу, замечала, что взгляд ее устремлен не то на светящуюся напротив неоновую рекламу «Храните свои деньги в сберегательной кассе!», не то просто в высокое синее небо. «Размечталась девчонка, приятно, что по службе повысили»,— решила старая женщина.

Совсем в другом доме, на другой улице сидел у окна Юра Петрищев и небрежно-лениво перебирал струны гитары. Томные, нежные звуки как-то плохо вязались с широкими, богатырскими плечами музыканта и крупными, несколько расплывчатыми чертами его простодушного лица. Но Юра был в комнате не один, и присутствие второго человека, женщины, стушевывало это несоответствие.

Вторым человеком была Юрина мама, сидевшая с вязаньем в руках на старой, потрепанной кушетке. Рядом с сыном она казалась совсем миниатюрной. В комнате стоял полумрак; свет из-под абажура-грибка падал только на сухонькие проворные руки женщины.

---

* Петрография — наука о горных породах.

Им обоим, матери и сыну, было хорошо и чуточку грустно. Эта маленькая тихая женщина и ее большой ласковый (она хорошо знала это: ласковый) сын очень любили такие минуты. Он всегда ревностно заботился о ней, не давал делать ничего тяжелого, но в такие вот минуты, без слов и жестов, они особенно остро и сладко ощущали, как близки и дороги друг другу.

Стукнула входная дверь, и скоро в комнату скользнула длиннокосая Анютка, сестра Юры. В ту же секунду она оказалась на коленях у матери, замурлыкала:

— Мамочка, я еще погуляю.

— Поздно, дочь.

— Ну я минуточку. Во-от такую маленькую минуточку! Хорошо?

Анютка мягко спрыгнула с материнских колен и, очутившись на подоконнике, зашептала брату:

— Юрка, ты что тут сохнешь? Там, в саду, знаешь сколько ребят и девчат собралось! И это... твое «счастье с глазами серыми»...

Анютка прыснула и была такова.

Ну, это уж слишком! Все-таки надо будет ее как-то проучить. И когда она подсмотрела? Ведь он так тщательно скрывал от нее свои стихотворные опыты и уж, конечно, вовсе не хотел, чтобы она узнала эти строки:

Там, в таежной глуши, у скал,
У седого лохматого дерева,
Встречу ту, что давно искал, —
Свое счастье с глазами серыми.

Выходит, она знает и эти строки из заветной коленкоровой тетради, и то, что счастье-то уже отыскано, правда, ни в какой не в глуши таежной, а в обыкновенном городском соседнем доме.

Что ж теперь делать? Теперь и пойти туда как-то не хочется... Ну, полно врать: все равно хочется. А Анютка?.. Подумаешь, Анютка!

— Мама, я, пожалуй, тоже... прогуляюсь.

Мать спрятала улыбку, закивала:

— Прогуляйся, Юрок, конечно!— И, провожая сына взглядом, мысленно поворошила его лохматую голову...

Профессор Кузьминых отодвинул рукопись, откинулся от письменного стола и обеими руками потер ли-

цо так, будто умывался. Грузно поднявшись, он побрел на кухню, к жене:

— Мать, в черепной коробке заворот. Дай какую-нибудь работу полегче.

— Полежи. Хорошая работа. Или, так и быть уж, популькай.

Столь пренебрежительно — «популькать» — она называла любимые профессорские упражнения в стрельбе из духового пистолета. Этот совет Алексей Архипович пропустил мимо ушей. Молча подошел он к водопроводному крану, вымыл руки и молча отстранил жену от кухонного стола.

— Ты что?

— Посиди, мать, посмотри, как пирожки надо стряпать.

— Ох, горе ты мое! И всю-то жизнь мешает мне на кухне! Угораздило же человека попасть на геологический рабфак! В повара надо было идти.

— А что? Получается?

— Глаза бы мои не глядели!

— Ну и отвернись, не гляди.

— Как вы там сегодня, решили хоть, когда ты наконец в тайгу свою ненаглядную отправишься?

— Скоро, мать, скоро.

— Бориса-то с собой берешь?

— Пушкарева? Нет, любимца твоего мы в самую что ни на есть глушь думаем загнать.

— Как же ты без помощника останешься?

— А уж это, матушка, не твое дело— мое, служебное.

— Ох, какой принципиальный!

Записать бы их разговор на магнитофон да послушать — бранятся муж с женой... А они оба улыбаются и поглядывают друг на друга ласково, влюбленными глазами, почти как тридцать лет назад...

А вот еще комната. В ней не очень уютно, но, в общем, удобно и чисто. Даже удивительно, что так чисто: ни на книжных шкафах, ни на столике, где разложены образцы минералов, нет ни пылинки. Удивительно потому, что это жилье одинокого, холостого мужчины. А таковые, как известно, считают себя неприспособлен-

ными к столь тяжкому труду, как вытирание пыли... Впрочем, и в этой комнате не все на своем месте: недопитый стакан чая, сахарница и чайник стоят на письменном столе, рядом с пожелтевшей от времени фотографией, на которой изображены бородатый мужчина и худенькая крестьянка с застывшими лицами.

Одетый по-домашнему, в пижаме, Пушкарев сидит на краешке стола и задумчиво смотрит на фотографию, не на ту, пожелтевшую,— на другую. Вот он осторожно коснулся бумаги... не то погладил, не то убрал малюсенькую соринку.

Эх, Наташа, ничего-то ты не знаешь! Ведь в руках Бориса Никифоровича твой портрет...

В дверь постучали. Пушкарев поспешно сунул фотографию в лежавший под рукой том «Избранного» Ферсмана, встал:

— Да!

На пороге, снимая шляпу, стоял Николай Плетнев.

— Добрый вечер, Борис Никифорович. Не ожидали? А я вот нагрянул... О, новое издание! Я еще не видел.— Николай протянул руку к «Избранному».

Вспомнив, Пушкарев чуть не выхватил том у Плетнева и тут же убрал в шкаф:

— Извините, я не посмотрел еще сам.

Николай в недоумении замялся.

— Я, собственно, на одну минуту. Можно? — Он придвинул к себе стул; чтобы хозяин пригласил сесть, тут, видимо, не дождешься.

Пушкарев остался у книжного шкафа, в тени. Вспыхнувший румянец быстро сползал с его щек. Плетнев сел, покрутил шляпу и, преодолевая неловкость, заговорил:

— Борис Никифорович, я люблю напрямик. Поиски на Вангуре вверили в ваши руки. Я уважаю ваши знания, опытность, но то неодобрительное отношение, которое вы... В общем, понимаете, успех моей диссертации...

Пушкарев сдержанно прервал:

— Понимаю, Николай Сергеевич. Скажу вам тоже прямо.— Глядя через окно на вечерний город, он чуточку подумал.— Меня интересует не столько успех вашей диссертации — это дело второе, сколько успех работы на Вангуре. Сомневаюсь я в нем или нет,

поскольку на меня возложили определенные обязанности, я их выполню до конца.— Тут он взглянул на Николая в упор.— В этом вы можете быть уверены.

Пушкарев замолчал и начал раскуривать трубку. В пижаме он выглядел еще более худощавым, и эта простая одежда не придавала ему уютного, домашнего вида. Лицо его, остававшееся в тени, было видно плохо, низкий голос звучал монотонно, словно он произносил заученные фразы.

«Задевает как-то его моя диссертация, что ли? — неприязненно подумал Николай.— Вот и попробуй поговори с таким по душам!» Однако, не давая себе распалиться, он сказал как можно спокойнее:

— Ну что ж, спасибо и на этом... Собственно, у меня все.— Николай, помедлив, встал.— Извините, что потревожил.

Пушкарев поклонился:

— До свидания.

Видимо, у него и в мыслях не было хотя бы для приличия предложить гостю остаться.

Уже на пороге, небрежно, будто о чем-то малозначительном, Николай спросил:

— Да, а как вы решили насчет третьего? Кто пойдет с нами? Я думал, может быть, есть смысл взять на Вангур Корзухину? Все-таки студентка, ей было бы полезно.

— Не знаю. Это будет зависеть от профессора Кузьминых: кого выделит он.

— Ну да, понятно... Всего хорошего,— Николай плотно закрыл за собой дверь.

Пушкарев долго стоял, сосредоточенно посасывая трубку, потом достал из книжного шкафа «Избранное» и раскрыл там, где лежала фотография. Но тут же задумчиво и вместе с тем решительно захлопнул книгу...

Глава вторая

1

Пролетали по земле легкие рваные тени от паровозного дыма. Торжествующе, победно ревел гудок. И все убегала, стремительно убегала назад сплошная зеленая стена за окном.

Второй день поезд мчался на север.

Второй день Наташа и Юра осаждали профессора Кузьминых в его купе.

Алексей Архипович слушал их, склонив большую круглую голову вперед и чуть набок, насупив косматые брови. Рядом, неотрывно глядя в окно, дымил трубкой Пушкарев.

— Ведь это так просто, Алексей Архипович! — почти умоляла Наташа.— Кто-то из нас должен с Ключ-камня уйти на Вангур. Ведь вам все равно — кто. Если я — даже лучше: вам спокойнее. Ну, Алексей Архипович, миленький...

— Какой же я вам «миленький»?

— Извините! — Наташа страшно смутилась, но тут же лицо ее сделалось очень решительным.— Хорошо. Значит, вы считаете, что я работник неполноценный, да? Что я еще легкомысленна и совсем не подхожу для трудной экспедиции. Так ведь? Я понимаю вас, но...

Не раздвигая бровей, профессор искоса кольнул ее взглядом:

— Если понимаете, так что тогда плачетесь?

Наташа прикусила губу, беспомощно оглянулась на Юру. Юра приосанился, расправил плечи, зачем-то тронул комсомольский значок и мягко, но с силой положил перед профессором свою огромную руку, прикрыв ладонью лежащие на столе книги.

— Алексей Архипович,— решительно начал он,— вы только взгляните: ведь она же горит желанием... Моральный фактор! Она же там горы свернет. А у меня... наоборот. Очень хочется работать на Ключ-камне. Пусть уж она с ними плывет, а я с вами останусь.

Профессор вскинул брови, внимательно, остро взглянул на Наташу, на Юру, покрутил головой:

— Детишки... А еще комсомольцами значатся! Вы мне который день работать мешаете? — Алексей Архипович сдвинул Юрину руку с книг.— Распустили нюни! Этой лично интересно быть на Вангуре, этот лично хочет работать на Ключ-камне. А может, я лично хочу сейчас варенье варить с женой?..

Он сердито замолчал. Юра засопел: и совестно, и сдаваться не хочется. Наташа повернулась к Пушкареву:

— Борис Никифорович, ну почему же вы-то молчите? Замолвите за меня хоть словечко! Я буду помогать вам изо всех сил. Верите?

— Верю.— Пушкарев смущенно улыбнулся, и сухое, суровое лицо его сделалось чуточку растерянным; он отвел взгляд в сторону.— Конечно, верю, но все же считаю, что Алексей Архипович прав: с нами на Вангур должен идти Петрищев.

Кузьминых молча взял руку Юры и руку Наташи и положил их рядом, две руки: большую, сильную, крепкую — и маленькую, с нежными белыми пальцами.

— Сравните. Которая нужнее на Вангуре?.. Вот так. Идите-ка лучше в шахматы сыграйте, что ли. А я поработаю.— Профессор придвинул к себе книги и записи.— Идите, идите...

Понурившись, они вышли в коридор. Коридор был длинный, прямой, строгий. От одного из окон навстречу шагнул Николай:

— Ну как?

Наташа ткнулась лбом в стекло, сердито ударила кулаком по раме:

— Вот ведь упрямый!

— Упрямый,— сокрушенно согласился Николай; он не знал, как ее утешить.— Я пытался его уговаривать...

— И Пушкарев этот...— Обычно спокойный, Юра от злости не мог подобрать слова.— Ему-то не все равно?

Николай посмотрел на Юру, на Наташу — и расхохотался:

— Да вы их всерьез готовы загрызть — и Пушкарева и Алексея Архиповича. Бросьте. Перетерпим.

— Николай Сергеевич! — В сердце Наташи шевельнулась ревнивая обида.— Как легко вы об этом говорите! Вам хорошо, вы-то на Вангуре побываете, а я.. так мечтала...— Наташа снова уткнулась в окно.

Юра испугался, как бы дело не дошло до слез, и потому, почесав затылок, побрел в купе. У него было вечное, всегдашнее средство от всех печалей — книги.

Николай молча стал рядом с Наташей.

Над дальними лесистыми увалами, где-то на краю хвойного моря, угасал последний отблеск неяркой

северной зари. В лесу, под густым переплетом мохнатых лап, уже царил тяжелый, плотный сумрак.

За окном пролетал паровозный дым. Белые клубы его, казалось, ударяли в лесную стену и толкали ее назад.

Потом солнце исчезло совсем. Постепенно лес, сквозь который прорывалась грохочущая вереница вагонов, сделался черным. Из облаков выплыла луна, осветила землю, и от белых клубов дыма упали и побежали назад темные тени.

— Как красиво!..— прошептала Наташа.

Николай все молчал. Неожиданно он сказал, чуть склонившись к ней:

— Вот взять бы вас за руку — и вдвоем по этим просторам!..

Наташе сделалось радостно и страшно. Как неопытному пловцу на большой глубине. Сама того не ожидая от себя, она вдруг повернулась к Николаю и лукаво прищурилась:

— А если под руку?

— Под руку в лесу опасно,— усмехнулся он,— можно о бурелом споткнуться.

Своих слов Наташа испугалась, но какое-то веселое ощущение превосходства, чуть ли не власти озорно вытолкнуло из нее:

— О, да вы трусишка!

Она засмеялась и тут же прижалась лицом к стеклу. Лицо было очень горячим. Сердце сильно билось. Хорошо, что колеса стучали все-таки чуть громче...

2.

А потом все они ехали на грузовиках. Дорога шла по лежневке. Две нескончаемые узкие полоски досок — для колес — протянулись по таежному, поросшему лесом болоту.

Машин было две. В них разместились и научные сотрудники, и рабочие, и весь походный скарб. Руководил укладкой вещей сам Алексей Архипович. Все тяжелые и громоздкие предметы уложили вниз, а сверху прикрыли тючками с палатками и спальными мешками, потом застелили брезентом. «Хоть спи, хоть песни пой», как сказал Николай. И то и другое было

дельно, и тем и другим советом воспользовались: и спали, и пели.

Лишь Томми, пес Наташи, спать не хотел, а петь, как выяснилось, не умел, хотя его хозяйка, когда ратовала за то, чтобы Томми взяли в экспедицию, утверждала, что умеет он все.

Шоферы на Северном Урале водят автомобили по лежневкам так же лихо, как кавказские — по горным дорогам. Только ветер бил в уши, и было удивительно, почему это машины до сих пор не обрушились в жадную гнилую топь, раскинувшуюся без конца без края по обе стороны лежневки. Совсем близко, почти рукой достать, мелькали стволы сосен, но иногда лес отходил в стороны, и тогда вдали были видны бугры гор.

Ехали час, два, три... Неожиданно лежневка оборвалась, и лес чуток расступился вокруг небольшой кучки домов. Машины остановились. В этом мансийском поселке была база филиала Академии наук.

Жители высыпали из домов и спешили к приехавшим. Раньше всех к машинам подошел могутный мужчина с большой черной бородой — старший рабочий отряда Степан Крутояров, неизменный спутник профессора Кузьминых во всех его экспедициях. Сюда он был послан заранее.

— С благополучным прибытием! Добро пожаловать! — гудел Степан, а сам зорко вглядывался в приехавших: все ли на месте, все ли у них благополучно?

— Здорово, Степан, здорово! — Профессор крепко тряхнул его руку.— Как тут у вас?

— А все готово, Алексей Архипыч. Хоть ныне в путь. И проводников сыскал.— Он повернулся к двум манси, стоявшим в толпе, которая уже успела окружить профессора и его спутников.— Вот Михаил Куриков, из Никляпауля.

Небольшого роста старый манси с выщипанной, по старинному обычаю, бородой, быстро окинув профессора цепким, настороженным взглядом, молча протянул ему руку.

— Он, значит, на Вангур поведет. А вот этот,— Степан, не оборачиваясь, молча ткнул в стоявшего рядом чернявого парня,— сын его, Василий, тоже, значит, Куриков, до Ключ-камня пойдет.

Василий улыбнулся приветливо и смущенно и тоже, как отец, протянул профессору руку.

— А Ключ-камень отсюда видно? — не утерпела Наташа.

Степан скосил на нее свои цыганские глаза, подмигнул профессору — дескать, вишь какая молодежь-то прыткая,— но ответил вполне уважительно:

— Отчего не видно? Видно. Эвон,— и указал на еле видневшуюся в далекой дымке гору.

— Семь дней ходить надо,— пояснил Василий Куриков и для верности показал на пальцах: семь.

3

Урман — так зовут на севере тайгу — штука серьезная. Урман не одолеешь ни на машине, ни на лошади, особенно летом. Ни дорог, ни троп. Нетронутый, дикий лес, чаща, бурелом, болота. Слабому нет здесь пути. Слабых урман губит.

Отряд упрямо шел на северо-запад. С базы профессор взял несколько носильщиков, но все равно каждому приходилось тащить за плечами пуда по два груза. Все явственнее становились следы пребывания в тайге: рваные дыры на одежде, царапины на лицах и руках, кровавые расчесы — от мошкары.

Алексей Архипович потел, сопел... и улыбался: он был в любимой стихии. По утрам, обливаясь ледяной водой горных ручьев, гоготал, как леший:

— Го-го-го! Еще два килограмма жиров за сутки долой!

Пушкарев суховато охлаждал его восторг:

— Зимой супруга пирожками вернет.

— Ох, вернет! — вздыхал профессор и принимался яростно рубить дрова.

У Николая оказался острый и памятливый глаз. Наташа с удовольствием слушала его, чтобы научиться еще лучше определять горные породы. На ходу это было трудно, и, когда однажды во время перехода она отстала, увлекшись интересным обнажением гранито-порфиров, Кузьминых рассердился и потребовал прекратить «баловство». После этого Николай умудрялся по пути набирать десяток-два образцов и давал девушке уроки петрографии на привалах. Брезентовая сум-

ка с камнями, которую он таскал, была тяжелой и както раз чуть не наделала беды.

Перевалив через небольшую скалистую вершину, отряд спустился в глубокий лог и остановился перед горной речкой. Переходить ее нужно было по камням. С шестом в руках вперед двинулся Василий. Он должен был перенести на другой берег конец веревки, чтобы протянуть ее над перекатом. Взгляд его напряженно шарил по камням, шест щупал дно. Бешеный, от пены белый поток бурлил у самых ног. Прыжок. Еще прыжок. Еще... На последнем камне Василий долго топтался и наконец показал: проток слишком широкий, не перепрыгнуть.

Николай, сбросив рюкзак, быстро двинулся к манси. Он стал рядом с ним на скользком камне, оглянулся на товарищей и, растопырив руки, помахал ими. Это означало: надо перелетать подобно пичуге. И это было смешно. Но в ту же секунду Николай резко оттолкнулся от камня и прыгнул. Наташа зажмурилась. Все кругом закричали, Наташа открыла глаза и увидела, что Николай, судорожно уцепившись за корень прибрежной сосны, повис над бурным потоком. Тяжелая сумка с камнями тянула его вниз, освободиться от нее, не опуская рук, он не мог.

По камням уже прыгал Пушкарев.

Но манси не стал дожидаться помощи. Упершись шестом в дно, он перемахнул через поток вслед за Николаем. Шест помог. Ухватившись за руку Василия, Николай выбрался на берег.

— Ай-ай, торопишься! — Бледный, но улыбающийся манси покачал головой.

Николай молча пожал ему руку.

Пушкарев перебросил им топор. Подрубленная сосна упала в воду, стремительный поток прижал ее к камню. По этому мостику перешел весь отряд.

Снова шли непролазной чащей урмана. Когда останавливались передохнуть, воздух начинал звенеть: это плотными серыми тучками над людьми вилась мошкара. Накомарники и дымокуры помогали мало.

Ключ-камень то скрывался за ближними увалами и лесами, то, все разрастаясь, вставал на горизонте.

К его подножию они подошли вечером шестого дня. Наутро двинулись к вершине.

Запрокинув голову, Наташа долго смотрела на угрюмую громаду. Томми, вертевшийся у ног, вдруг начал злобно лаять на гору. Сзади подошел Кузьминых:

— Ну, как оно... поближе-то?

— А ничего! — Наташа тряхнула головой.

От поляны, на которой остались примятая трава, пепелище костра да кучка пустых консервных банок, отряд уже уходил в гору.

Шли цепочкой, один за другим. Склон быстро набирал крутизну. Даже Михаил Куриков, старый, опытный ходок, задышал тяжело. Пропуская мимо себя Юру, на спине которого громоздился особенно большой рюкзак, манси шутливо похвалил парня:

— Гора на гору пошла гулять.

Наташа чувствовала, как дрожат, преодолевая кручу, ноги.

— Давайте помогу.— Николай взялся за ее рюкзак.

— Еще ваш могу прихватить! — почти со слезами крикнула Наташа и рванулась вперед.

Началась каменная осыпь. Большие и мелкие валуны, обкатанные друг о друга, шлифованные ветрами и водой, заполнили, казалось, весь склон. Ноги срывались с камней, застревали между ними. Еще хуже было, когда валуны, потеряв опору, с грохотом летели вниз, слепо угрожая всему, что попадалось на пути.

Но все ползла вверх упрямая цепочка.

И все ближе подступала неприветливая скалистая вершина.

Призывно замахал накомарником вырвавшийся вперед Николай:

— Наша взяла!

Еще десяток метров. Еще!.. Вот и вершинный шихан — врезавшаяся в небо неприступная, обрывистая скала. К ней стянулся весь отряд.

Отсюда было видно чуть ли не полмира. Сползая по склону горы, неоглядным разливом уходила в синеющую дымку тайга. Среди нее, будто ленты на ветру, вились реки. Над болотами висли туманы. В бескрайные дали выстилалась на восток Сибирская равнина. А по западному горизонту синела главная линия горного хребта — будто разбежались в яростном порыве и, как в сказке, застыли, окаменели, гигантские волны древнего моря.

Ветер обдувал разгоряченные лица, трепал волосы.

— Вот он, Каменный пояс, батюшка наш Урал! — негромко сказал профессор.

Что ж, теперь-то уж можно, сбросив тяжелую ношу, по-настоящему отдохнуть. Юра, как плохой актер, став в позу завоевателя, провозгласил:

— Здесь будет город заложен!

Глава третья

1.

Ни у Юры, ни у профессора Кузьминых не было волшебной палочки, но палаточный лагерь-городок возник словно по ее мановению. Его разбили не у вершины, а ниже, выбрав на склоне более пологое место, близ небольшого струящегося меж камней ручья. Несколько сосен — полусухие и скрюченные ветрами горные ветераны — встали вокруг лагеря на страже.

Как всегда, с первых же минут лагерь охватило деловитое движение, сегодня оживленное тем более, что геологи устраивались здесь не на день, не на два, а надолго. Одни еще выверяли растяжку палаток и копали ровики вокруг них, другие уже заготавливали топливо и разжигали костры, третьи разбирали вещи, натягивали антенну для радиоприемника. Ухнули в лесу выстрелы: это старший Куриков и Пушкарев успели начать заготовку мяса.

Пристроившись у входа в палатку, Юра вытаскивал из рюкзака и сортировал его содержимое.

— Э! — неожиданно услышал он над своей головой.— Это у тебя что такое?

Не только голос — и вид у профессора Кузьминых был сердитый.

— Это? — С невинной физиономией Юра ткнул в футляр прибора.— Радиометр, Алексей Архипович.

— Не изображайте из себя младенца! Я спрашиваю тебя вот про эту... штуку.

«Штука» представляла собой нечто длинное, обернутое в брезент и перемотанное бечевкой. Профессор вытащил ее из рюкзака, и сразу стало ясно, что это ги-

тара. Ведь надо ж было ухитриться замаскировать ее в заплечный мешок!.. Ну, замаскировать замаскировал, а теперь вот, музыкант, объясняйся.

— Это, Алексей Архипович, значит... инструмент. Для подъема морального духа.

— Все бы забавляться! Сколько минералогических образцов можно унести вместо этого... духа. Геолог!

Рассерженный профессор потопал от палатки. Юра сконфуженно поморгал, огляделся и увидел, что Николай, сидящий у костра, одобрительно подмигивает ему: дескать, молодец, Петрищев, не робей! Тогда Юра расплылся в улыбке и проворно сунул гитару в палатку.

На горы опускался вечер. Потемнела зубчатая громада шихана, лишь с запада освещенная угасающей зарей. Расплывался сумрак, и с каждой минутой ярче казался огонь костра.

Наташа в рабочих брезентовых штанах и сапогах хлопотала над ведрами с варевом. Как у заправской хозяйки, возле нее лежал целый набор баночек и мешочков с надписями: «Соль», «Перец», «Лавр. лист». Николай взялся помогать ей. Сидя на сучковатых поленьях, он ощипывал принесенных к ужину глухаря и тетерку. Работа не из очень почетных, зато она не мешала ему разговаривать с Наташей.

— Я от этой экспедиции многого жду. Найдем на Вангуре рутил... а я уверен, что найдем, хоть коекто сомневается... найдем, и сразу же я сажусь за диссертацию.

— Только побыстрее, Николай Сергеевич, побыстрее.

Он удивленно поднял на нее глаза, потом, сообразив, в чем дело, засмеялся:

— Это про птицу — побыстрее, а я...

— Слушай, Наташа,— прервал его подошедший Юра,— выдай ты мне что-нибудь такое... пожевать. Ведь не дождешься твоего ужина.

— Бедненький!.. Ох, Юрий, выведешь ты меня из терпения! Третий раз подходит клянчить. Займись этой своей... контрабандой.— Наташа изобразила, как играют на гитаре.

— Да... займешься! — Юра кивнул на профессора, который копошился у костра манси.

Откуда-то из-за палаток раздался голос Пушкарева:

— Томми, ко мне!

Пес, дремавший у костра, сорвался с места и исчез в сумерках.

— Что это он так льнет к Пушкареву? — Николай спросил это будто между прочим.

— Ну как же! Они старые друзья. Мне его Борис Никифорович еще вот таким щеночком подарил. В прошлом году.

— Значит, и вы с Пушкаревым... старые друзья?

— Мы? — Под испытующим взглядом Николая Наташа чуть смутилась.— Ну, какие же мы друзья! Я лаборантка, студентка, он кандидат наук. И потом... знакомы мы с ним уже больше двух лет, и он мне нравится, но... как бы это сказать... он со мной как-то особенно сух, официален, вот так себя держит.— Наташа показала, как: рукой как бы отгородила, не допуская к себе, кого-то.— Не знаю.— Она задумчиво покачала головой, потом, спохватившись, принялась размешивать варево.

Юра тем временем подошел к профессору. Тот разбирал свои вещи, вытаскивая из рюкзака походный несессер, компасы, одеколон, трусики, какие-то склянки.

Подойдя Юра наблюдал нехитрую работу начальства и вдруг сказал:

— Э! Это у вас...

— «Шипр». — Кузьминых деловито ткнул в одеколон.— Рекомендую. Прекрасное...

— Нет, Алексей Архипович, я спрашиваю вот про эту штуку.— И Юра вытащил из рюкзака коньячную бутылку.

— Ну-ну! — угрожающе буркнул профессор, но тут же, вспомнив недавний разговор, перестроился: — Это, молодой человек, особый препарат для подъема морального духа.

Тут оба они расхохотались.

Так была отомщена гитара.

И надо сказать, что, когда все они собрались у костра, она пользовалась, несомненно, большим успехом, чем профессорский «препарат». Усердно приложился к бутылке лишь старый Куриков. Осоловев от выпито-

го, он смешно щурил глаза и, оглядывая шумную компанию, одобрительно кивал:

— Много раз, однако, геологов вижу. Всегда смеются, всегда веселые. Почему смеются, почему веселые?

— А потому, папаша...— Неожиданно с силой Юра ударил по струнам и запел сочиненную им еще в беззаботный год студенчества песню:

Потому что мы, геологи, такой народ:
Ни беда нас и ни горе никогда не берет.
Горевать нам некогда,
Тосковать нам некогда —
Надо нам шагать, шагать... Куда? Вперед!
Потому что мы, геологи, такой народ!

Наташа и Николай, а за ними долговязый техник-магнитометрист Кеша с азартом подхватили песню, замычал ее себе под нос профессор, и Василий Куриков, еще с трудом осваивая мелодию и слова, начал подпевать, оживленно оглядываясь на окружающих и очень довольный собой. Даже пламя костра, казалось, начало приплясывать в лад песне, и тьма отпрянула от этой молодой, здоровой и очень бодрой компании.

А Юра не растерялся — поймал момент, перешел на плясовую. Как тут усидишь? Наташа вскочила, крутнулась и пошла в пляс. Подлетела к Пушкареву:

— А ну, Борис Никифорович!..

Он только головой помотал и — руки вверх: дескать, не способен, не могу.

Тут с лихим па вышел в пару Наташе Николай, свистнул молодецки, топнул —она, должно быть, этого и хотела, только постеснялась сразу вызвать его — и вместе они понеслись, закружились у трепетного костра...

2

Только позавтракали — Наташа куда-то исчезла. Уже люди ушли на работу и профессор давал последние указания дежурному по лагерю, когда она появилась, возбужденная, раскрасневшаяся.

— Товарищи, тут недалеко, на том склоне, пещера! Кто со мной? Алексей Архипович, можно?

— А почему это вы оказались «на том склоне»? Вы же должны быть с Крутояровым.

— Просто я... ходила размяться. Ну, Алексей Архипович, можно? Я с Васей схожу.

Василий Куриков уже готов был вскочить, но его отец, оторвавшись от куска дерева, из которого он что-то вырезал, поспешно и недружелюбно возразил:

— Вася со мной ходить будет. Место смотреть надо, птицу кушать стрелять надо. Сиди, Вася, покури... Манси под землю гулять нельзя. Там духи. Шибко злые. Нельзя духов дразнить. Шайтан сердиться будет.

Наташа хотела ему возразить, но Куриков не замолчал — он просто перешел на мансийский язык.

— Понятно? — Кузьминых чуть приметно улыбнулся.— Духи. Давайте-ка... на свое рабочее место. Двинулись.— Он легонько подтолкнул Наташу.

— Но, Алексей Архипович, это же безобразие: на тридцать восьмом году Советской власти — и вдруг духи! И Василий его слушает!

— А вы что, и в шайтана не верите?

Профессор спросил это очень серьезно. У него такое бывало: скажет что-нибудь — и не знаешь, смеяться или плакать. Наташа рассмеялась.

— Ох, и возьмусь я за этого старика!

— Перевоспитаете?

— Обязательно.

Увы, проверить талант Наташи на ниве культурного просвещения не удалось: Пушкарев заявил, что уже завтра они выходят в путь, на Вангур. А вести их туда должен был старый Куриков.

С утра группа Пушкарева еще помогала геологам на Ключ-камне, а после обеда занялась своими делами. Николай и Юра проверяли инструмент и снаряжение. Пушкарев засел вместе с Куриковым за карту: решил еще раз уточнить детали маршрута. Особенно интересовали его притоки Вангура. Куриков рассказывал о них скупо, некоторые он не знал вовсе. Про среднее течение Вангура сказал:

— Не знаю, не ходил.

— Может, слышал от других? Берега там какие?

— Не ходил. Тут ходил, там — не ходил. Манси не ходят. Худое место.

В урмане есть такие уголки, куда манси действи-

тельно не заглядывают. Трудно ли туда попадать, нет ли там зверя или все еще, по старой памяти, действует древний запрет шаманов — и то и другое старики объясняют одним понятием: «худое место».

— «Худое»...— Пушкарев усмехнулся.— Вот мы и посмотрим, что это за место.

Куриков взглянул на него с недоверием и затаенным страхом, но промолчал. Послышались громкие голоса: с работы возвращались Кузьминых и его помощники. В маленьком полотняном городке сразу стало оживленно.

Наташе не терпелось, и тут же, у палатки, она разостлала брезент и мигом оборудовала что-то вроде походной лаборатории. Все смешалось здесь — и образцы горных пород, и склянки с препаратами, и спиртовка, и лупы, и микроскоп.

— Ой, товарищи! — Она подняла голову от лупы, лицо ее сияло.— Смотрите...

Профессор увидел, как разом повернулись к ней Пушкарев и Николай.

— Смотрите, Николай,— заключила Наташа,— какое интересное включение!

Николай сразу вскочил и подошел к ней, и сразу потускнел Пушкарев.

Профессор отвернулся. Пушкарев нахмурился и начал разжигать дымящуюся трубку.

— У тебя все готово? — повернулся он к Курикову, забыв, что этот вопрос задавал ему всего лишь час назад.

— Все, все,— закивал старик.— Нож есть, ружье есть, порох, ноги — все готово.

Пушкарев встал. Лицо его сделалось прежним — спокойным, суровым, и только чуть глубже обозначилась складка между темными неровными бровями. Он подошел к Юре и молча наблюдал за его работой.

— Это выбрось,— Пушкарев взял и повертел на ладони складной столовый нож с вилкой.— Лишняя тяжесть.— Юра согласно кивнул.— И гитару не забудь оставить здесь.

Юра вскинул на него гневные глаза:

— Ну да!

— Да, да. Придется, друже, оставить здесь,— твердо сказал Пушкарев.

Юра посмотрел на него как-то странно и неожиданно смирился:

— Понятно...

В этот вечер уже не было того веселья, что шумело здесь вчера. Ужинали быстро, деловито. А потом долго сидели у костра и говорили о чем-то совсем незначительном, неважном.

В стороне, привалившись к большому валуну, грустил с гитарой Юра, рассеянно перебирая струны. Подошла и присела на валун Наташа. Она переоделась в платье и потому выглядела необычно нарядно. Помолчала, потом тихо попросила:

— Юрочка... что-нибудь на прощание...

— Изволите желать веселенького?

Вопрос звучал явно саркастически. Но Наташе было не до этого, и возразила она вяло:

— Не надо веселого. Что-нибудь такое... Ну, понимаешь...

Конечно, Юра понял. И все у костра замолчали.

Это была песня. Никто не знал ее, но это была песня. Потому что Наташа запела.

Песня была про любовь, вернее — про мечту о любви, мечту страстную, свежую и туманную. Как юность. В песне говорилось о любимом, которого девушка еще не знала, но который должен прийти. И должен быть он сильным и большим, очень хорошим, храбрым и умным. Самым хорошим на свете. Она не знала, кто он, когда и как к ней придет, но знала: придет.

Может быть, Наташа притворялась? Кто скажет! Такие были у песни слова.

Николай слушал ее так, будто знал: слова о любимом относятся к нему. Светло задумался о чем-то Пушкарев. Насупил косматые брови профессор; рассердился, что ли, на свою давно прошедшую молодость?

Пушкарев взглянул туда, откуда доносилась песня. Красиво и четко на фоне догорающей зари темнел силуэт Наташи. Вдруг силуэтов стало два. Борис Никифорович оглянулся: место Николая у костра стало пусто...

Томми понял своего друга: посмотрел на хозяйку, на Пушкарева и, словно хотел утешить, уткнулся мордой в его колени.

Песня оборвалась. К костру подошел Юра.

— Пойдемте-ка, дядя Степан. Кое-что передать надо.— Юра выразительно помахал гитарой.

Вдвоем они ушли к одной из палаток, в густые синие сумерки.

Без гитары, без песни стало как-то пусто, неуютно. Пришла ночь. Люди разбрелись по палаткам.

А утро разыгралось ясное, солнечное, и палатки нежились, купаясь в потоках света. Но их стало на одну меньше. Там где было жилье Пушкарева и его товарищей по походу на Вангур, остался ясно видимый на траве четырехугольник.

Все столпились у края палаточного лагеря. Пушкарев с редкой у него ласковой улыбкой поглядывал на своих спутников — как старший брат. Николай не мог, да, наверное, и не хотел скрыть свое возбуждение: ведь это по его предложению уйдет сейчас группа на Вангур, и цель близка. Лицо Юры Петрищева было довольно унылым.

— Ну, найти вам во-от такое месторождение! — Широко раскинув руки, Наташа улыбнулась Николаю.— А вам, Борис Никифорович, что пожелать? Ведь вы сомневаетесь, что на Вангуре титан есть. Значит, пожелать, чтобы не найти? — Она смотрела то на Пушкарева, то на Николая, лукавинки так и плясали в глазах.

— Вот коварная девица! — добродушно буркнул Кузьминых.

— Пожелайте найти истину,— ответил Пушкарев, и от его короткого, быстрого взгляда Наташе почему-то сделалось неловко.

Юра завертел головой, кого-то выискивая.

— Дядя Степан, гитара, значит, будет в порядке?

— Это уж точно, будет,— загудел Степан и ухарски подмигнул.— В полном порядке.

На минуту все умолкли.

— Ну...— Пушкарев сделал знак: пора двигаться.

— Что ж,— профессор протянул ему руку,— ни пуха вам ни пера.

И сразу все заговорили, зашумели:

— Ни камня ни глины!

— До встречи, товарищи! Успехов!

— Вам также! Всего лучшего!

Даже Томми, присоединяя свой голос к этим возгласам, залаял.

Старый Куриков молча пожал руку сыну и отошел.

Взмахи руками, кепками, накомарниками, обычное возбуждение, за которым скрывается невольная грусть.

Дольше других взлетал платочек над головой Наташи. До тех пор, пока ушедшие не вступили в таежную чащу. Шагавший позади Николай обернулся — она все стоит и машет, машет...

Глава четвертая

1.

Снова вокруг был урман, глухие таежные дебри. После горного простора, раздольной шири земли и неба мир казался съежившимся и помрачневшим. Земля угрюмо щетинилась буреломом, небо исчезло: деревья, теснясь, не давали увидеть его людям.

Они шли по урману напрямик, напролом. Чуть в сторонке бежал Вангур. Они часто выходили к его берегам. Речушка была еще маленькой и бурной. Как молодой беззаботный зверек, она прыгала с камня на камень, урчала и разбрасывала клочья пены. Иногда, решив отдохнуть, она затихала, а потом снова бежала вприпрыжку, резвилась безобидно и весело.

А урман был тих и хмур. Лесные великаны, почти не расступаясь, пропускали мимо себя эту расшалившуюся речонку, прибежавшую с гор. «Ничего,— наверное, думали они,— подождем: еще умаешься, завязнешь несколько раз в наших болотах — и присмиреешь».

Молчаливый, нахохленный, как старый воробей в непогодь, Куриков неутомимо шагал впереди. Или старик очень уж хорошо знал эти места, или было у него какое-то особое чутье — он выбирал путь самый удобный и скорый, ловко минуя болотца, бурелом и завалы.

Идти было трудно, очень тяжелой оказалась поклажа. Пушкарев настоял, чтобы взяли и палатку (она была маленькая и называлась двухместной, но в ней могли поместиться четверо), и спальные мешки, и пилу, и два брезентовых полога, не говоря уж о снаряжении

более необходимом. Его расчет был прост: как-нибудь дотянуть до водного пути, а там тяжесть не страшна.

Постепенно Вангур терял задор и резвость и делался все более солидной речкой.

— Дня через два поплывем? — поинтересовался Пушкарев у проводника.

Куриков помолчал, зачем-то оглядел кроны деревьев и подтвердил:

— Через два дня, однако, поплывем.

Николай шагал, пересвистываясь с бурундуками или напевая полюбившуюся ему удалую, чуть хвастливую песенку:

Потому что мы, геологи, такой народ:
Ни беда нас и ни горе никогда не берет...

Оглядываясь назад, он видел сосредоточенное и довольно угрюмое лицо Юры.

— Эгей, геология! Приуныла?

— Печенка твоя приуныла! — пробормотал под нос Юра и вдруг подхватил почти свирепо:

Горевать нам некогда,
Тосковать нам некогда —
Надо нам шагать, шагать... Куда? Вперед!
Потому что мы, геологи, такой народ!

Русло Вангура становилось шире и глубже, течение — спокойнее. Берега начали расползаться по урману болотиной. Появились заросли багульника. Лес стал мельче.

Второй день путники шлепали по болоту, среди нюра — низкорослого, чахлого сосняка. Бродни* легко уходили в жижу, она чавкала, пузырилась, жадно охватывала ноги. Брюхо у лайки Курикова не просыхало от воды и грязи.

Юра, шедший в хвосте цепочки, споткнулся о коряжину, упал и чертыхнулся. Николай остановился, хохотнул:

— Ты кого там цитируешь?

— Да так... из геологической литературы.— Не утерпев, Юра чертыхнулся еще.— Ну, прорва! Второй день обсохнуть не могу!

---

* Бродни — высокая легкая обувь из кожи, напоминающая сапоги.

— Урман — он такой... Ничего, поплывем — обсохнешь.

«Ишь ты, утешитель!» — с неожиданной злобой подумал Юра и зашагал вперед напропалую, без разбора, без опаски. И странно: идти стало легче.

Ближе к вечеру, остановившись, чтобы раскурить трубку, Куриков сказал:

— Однако, плыть пора.

Вангур неторопливо нес свои воды меж низких заболоченных берегов. С трудом нашли место посуше — небольшой холм, поросший кедром, елью и сосной. Здесь решили остановиться, чтобы построить лодку.

С утра свалили кедр и сосну. Плотничать взялись Куриков и Пушкарев. У обоих был опыт подобной работы. Николая и Юру Борис Никифорович послал на охоту:

— Берите ружья, пса — и ждем вас с мясом.

— Вялить будем?

— Вялить... Это кто мешок бросил? — Пушкарев тронул рюкзак ногой и почувствовал что-то необычное. Присев на корточки, он принялся развязывать тесьму...

Из палатки выбрался Юра:

— Мой. Давайте уберу.

— Стоп, стоп. Что это в нем?

И тут на свет божий была извлечена та самая «штука», которую несколько дней назад обнаружил профессор.

— Гитара?! Ты же ее оставил Степану.

Бедный Юра! Он не рассчитывал, что его уловка будет разоблачена так скоро.

— Оставлял. Ну только... вот как-то так получилось...

Пушкарев решительно размотал бечевку, скинул с гитары брезентовую одежку и шагнул к костру.

— Договаривались? — напомнил он.— Ничего себе походное снаряжение!

Еще секунда — и гитара полетела бы в огонь.

— Ну, Борис Никифорович! Ну разве можно? Сжечь ее мы всегда успеем. Мы ж ее не потащим. Она ж сама поплывет. Положим в лодку — и поплывет...

Так Юра убеждал Пушкарева, а сам постепенно овладел гитарой.

На помощь пришел и Николай:

— Оставьте, Борис Никифорович. Он нам такие романсы исполнит — держись!

— «Романсы!» — передразнил Пушкарев, но злости было маловато.— Заладили оба: «Никифорович», «Никифорович»! Что я вам, министр? Только в прошлом году сменил комсомольский билет на партийный... Живо отправляйтесь на охоту!

— Это — пожалуйста,— с величайшей готовностью откликнулся Юра...

Уже на изрядном расстоянии от бивака, прыгая с кочки на кочку, Юра сказал Николаю:

— А с ним, оказывается, можно иногда ладить.

Николай не ответил: рискуя оставить бродень в болоте, он с натугой вытягивал ногу из вязкой жижи.

Когда они вернулись с охоты, у поваленного изрубленного кедра лежало готовое днище лодки. Куриков и Пушкарев вырубали из сосны борта́.

— Ну-у мастера! — удивился Юра.— Что тебе настоящие судостроители!

Собака ли плохо работала без хозяина или мало было в этих местах дичи, охота не была удачной. Весь следующий день Николай и Юра опять лазили по громадному окрестному болоту, и весь день тюкали топоры и шуршало тесло на стоянке геологов.

Когда уже заканчивали смолить лодку, пришла блистательная, как считал Юра, идея. Распластав один из мешочков для минералогических образцов, он на живую руку изготовил небольшой флажок и на нем углем вывел:

В П Е Р Ё Д !

— Ты понимаешь смысл этого великого слова?

Вопрос был обращен к Николаю. Урок демократизма, данный начальником группы, пошел впрок: даже Юра, самый младший из путников, отверг высокое «вы» в пользу дружеского «ты».

— Не понимаешь? Расшифровать ты это слово можешь? А я — пожалуйста. Смотри.— Последовательно тыча в каждую букву надписи, Юра «расшифровал»:— «Великие Путешественники Едут Разыскивать Ёлки Да Палку». Осознал?.. Неостроумно? Придумай поостроумнее. Пожалуйста. Вот вам, товарищ, мое стило.

Николай беззлобно отмахнулся от протянутого ему куска угля.

— Отвяжись, чудик. Помоги лучше мясо сложить в мешок.

Но Юра уже шествовал к лодке.

— На флаг! Смирно!— провозгласил он и, с напыщенной торжественностью ступив в лодку, прикрепил флажок на ее носу.

2.

И вот лодку завалили пожитками, уселся на корме с веслом в руках Куриков, в ногах у него устроилась лайка, на заднюю скамью забрались Николай и Юра, переднюю занял Пушкарев. Встрепенулся флажок — лодка двинулась по реке... Что-то ждет их там, на диких, нехоженых берегах Вангура, в неизведанном сердце урмана?..

Пушкарев сразу занялся делом: начал, пользуясь компасом, маршрутную съемку. Николай шарил по берегам биноклем, изредка фотографируя их.

Медленно текла река, и так же медленно — время.

На пути лодки нет-нет, да возникали большие травянистые кочки. Куриков ловко отвертывал от них. Иногда, взяв второе весло, Юра помогал проводнику.

Но кочек становилось все больше. Чуть ли не на каждом метре торчали они из воды, словно какие-то упрямые бессловесные твари, сговорившиеся всем скопом загородить людям дорогу. В конце концов лодка остановилась. Кочки зажали ее. Весла не помогали, шесты безнадежно вязли.

— Кто храбрый — в воду! — с сумрачной шутливостью скомандовал Пушкарев.

Николай глянул на него недобрым взглядом и, скинув ватник, перелез через борт. Было неглубоко, по колени, со дна поднялась муть. Навалившись на лодку, Николай толкнул ее, кочки неохотно раздвинулись, лодка пошла вперед.

Николаю приходилось вылезать еще несколько раз. Юра счел нужным внести рационализаторское предложение:

— Профессия водолазов отменяется. Вводится профессия кочколазов.

Когда лодку зажало снова, он, большой, длинноно-

гий, перешагнул через борт и взгромоздился на ближнюю кочку.

— Толкаю!..

Толкнул — и ухнулся в воду. Было не до смеха, но не улыбнуться сидящие в лодке не могли: очень уж смешно отфыркивался Юра, долго и величественно утирал нос тыльной стороной ладони, прежде чем принялся толкать лодку дальше...

В этот день место для ночлега они нашли с большим трудом. Пришлось остановиться на сырой, заболоченной поляне. Костер окружили воткнутыми в землю ветками и кольями, на них повесили сушить одежду и бродни. У самого пламени, кутаясь в брезентовые плащи и яростно отбиваясь от мошкары, приплясывали раздетые до трусиков «водолазы».

Утром первым из палатки вылез Пушкарев. Нодья* чуть дымилась. Густые космы тумана, обволакивая кочки, жались к воде Вангура. Сырая одежда липла к коже. Раздув огонь, Пушкарев, чтобы согреться и размять мышцы, пробежался вокруг палатки. Бродни громко шлепали по болотине.

— Подъем, великие путешественники!

В палатке закряхтели. Спавший у костра на ложе из веток Куриков поднял всклокоченную голову, присел и закивал:

— Подыём, подыём...

Начинался второй день плавания по Вангуру.

Он походил на первый. Все так же обступали лодку кочки. Их становилось все больше: река растекалась по болоту, берега исчезли. Собственно, реки не было — было болото.

Пушкарев решил сходить в разведку. Ушел он прямо по воде: это был единственный путь. Вернулся часа через два, измученный, заляпанный грязью, по грудь мокрый.

— Неважные дела. Болото — сплошняком.

— Может, вернемся, обойдем?

— А где он, обход? Есть он? Можем и силы и время потратить впустую.

---

* Нодья — особым образом устроенный костер, который горит долго и жарко.

Помолчали. Довод Пушкарева звучал вполне убедительно.

Юра с горестной ужимкой спросил:

— Значит, толкать?

— Значит, толкать,— ответил Пушкарев жестко.

— Эх, ду-убинушка, у-ухнем! — Юра не хотел унывать.

Обедали они, сидя в лодке. Сухари, консервы да по куску сахара.

— Не угодно ли кофейку? — Зачерпнув воды из-за борта, Юра протянул кружку Николаю.

Тот отхлебнул и начал плеваться:

— Гниль!

Помолчав, Николай, ни на кого не глядя, сказал с едва приметной усмешкой:

— Выходит, не на том месте, где надо бы, лодку-то построили.

Это был камешек в начальника группы. Пушкарев, конечно, понял это, взглянул на Николая, нахмурился, но промолчал.

Теперь лодку толкали по очереди. Вечером старый манси помянул шайтана:

— Пускать не хочет.

Обращаясь ко всем и ни к кому, Пушкарев спросил:

— Ну что ж, надо и поспать, а?

Николай поежился:

— Без огонька-то того...

— А что сделаешь?

Сгрудились под брезентом, приткнувшись друг к другу. В мокрой одежде было холодно почти до судорог. Куриков присоединиться к молодежи отказался. Нахохлившись на корме, он курил трубку за трубкой, и слабый огонек освещал его недовольное, хмурое лицо. Темная гнилая вода беззвучно струилась меж кочек.

Прошло не больше часа. Брезентовая горка зашевелилась, вылез Николай:

— Так совсем окоченеть можно! — Он принялся размахивать руками, лодка закачалась, захлюпала вода.

Видимо, Пушкарев и Юра тоже не спали. Поднялись и они.

— Оно верно,— согласился с Николаем начальник

группы,— окоченеть можно в два счета. Лучше уж толкать.

— Чтобы я — в воду? — поляскивая зубами, сказал Юра.— Да никогда в жизни! — И тут же перемахнул через борт.— У-ух! Пошел экспресс!

Забулькала вода, зачавкали потревоженные кочки, лодка поползла вперед...

Вскарабкавшись из-за дальнего леса, солнце увидело холодно и смутно поблескивавшую в тумане широкую гладь воды с торчавшими над ней тысячами травянистых бугорков, а среди этих бугорков — длинную деревянную скорлупку, которую толкали посиневшие от холода люди. Солнце сжалилось над ними, разогнало туман и стало припекать по-летнему щедро, жарко.

Но лишь к вечеру Вангур стал снова походить на реку: появилось что-то подобное руслу, меньше стало кочек. Забравшись в лодку, Куриков уселся на свое место, раскурил трубку и взялся за весло.

— Плывем! — закричал Юра.— Как рыба, плывем!

Глава пятая

1.

Алексей Архипович шагал вдоль залитого солнцем гребня Ключ-камня. Бритый шар его головы сделался уже почти бурым; старенькая парусиновая кепка, туго натянутая на макушку, каждый день светлела по сравнению с головой все больше. В брезентовых штанах, заправленных в сапоги, в просторной клетчатой рубахе с засученными рукавами, Кузьминых совсем уже не походил на ученого мужа, его трудно было отличить от рабочих отряда.

Вдали показался техник-магнитометрист, сосредоточенно и медленно двигавшийся меж валунов. Профессор нагнал его и скосил внимательный взгляд на вздрагивающие стрелки прибора, на записи отметок:

— Ну и как оно?

— Интересные отметки, Алексей Архипович. В меридиональном направлении резко увеличиваются к вершине горы. Правда, потом почему-то снижаются.

— Угу, угу! — Профессор молвил это так, будто иного ответа и не ждал.— Отметки через пятьдесят

метров? А вот в этом месте,— он отчеркнул карандашом рядок цифр в записях,— ты мне построй график через двадцать пять метров. Ясно? Ну, шагай. Я на седьмой шурф.

Работа на Ключ-камне шла уже полным, ровным ходом. Кузьминых умел сделать так, что впустую не тратилось ни одного часа. Он был требователен и неутомим. С утра профессор уходил вместе с рабочими, целый день лазил по горному массиву, и два коллектора едва справлялись с теми образцами, которые он отбирал. По вечерам он просматривал и обрабатывал показания магнитометрической съемки, подолгу сидел над записями.

Жил Кузьминых в довольно просторной четырехместной палатке, в которой лежали два спальных мешка — его и Степана Крутоярова, были собраны инструмент и приборы да стоял сколоченный на скорую руку грубый стол. Лагерь засыпал, а в «штабной» палатке еще долго горел фонарь, сопел над вычислениями Алексей Архипович и ворчливо бранился Степан: он считал, что профессор может просто-напросто загубить себя непосильным трудом.

Алексей Архипович к этому ворчанию привык, но иногда все же огрызался:

— Хватит бубнить! Не нравится — на вот, садись на мое место, посиди.

— «Садись!» Не надо было Пушкарева-то отправлять на Вангур, вот и спали бы спокойно.

— Кого же надо было отправлять? Тебя, что ли?

— Ну, от меня толку мало.

— Вот и помалкивай.

— Как же, помалкивать!... Завтра-то подыматься чуть свет.

— Слушай, Степан,— свирепел Кузьминых,— я тебя к костру спать отправлю!.. Удивляюсь, как с таким ворчуном жена живет! Я бы не стерпел.

Степан бурчал что-то, потом задремывал, а открыв глаза, вновь видел своего старого товарища и начальника склонившимся над расчетами.

— Вот ведь пропасть! Вся палатка керосинным духом пропахла! И верно, к костру надо перебираться.

— Угу, угу,— соглашался Алексей Архипович, не отрываясь от бумаг.

Степан кряхтел, переворачивался на другой бок и, натянув клапан спального мешка на голову, все же засыпал, чтобы наутро подняться пораньше и хоть в чем-нибудь заменить Алексея Архиповича...

Кузьминых подошел к одному из шурфов. Двое рабочих, сидя на отвале, курили.

— Ну и как оно? — С ходу профессор полез в шурф.

— Теплая, Алексей Архипович, работка.

— Хм! — Кузьминых придирчиво осматривал шурф.— Теплая. Мы в прежние времена, бывало... Дай-ка.

Он деловито протянул руку к кирке и принялся орудовать ею так, что здоровенные парни, уже привыкшие к этому инструменту, восхищенно закрутили головами: вот это профессор!

— Стоп! — заметив что-то, сказал сам себе Алексей Архипович, присел на корточки и начал внимательно рассматривать шурф. Наконец он поднял голову; по глазам было видно: доволен человек.

— Что, Алексей Архипыч, добрые приметы порода кажет?

— Ничего! Мы сюда еще экскаваторы притащим,— не прямо отвечая на вопрос, заверил профессор.

Вечером разбирались в образцах. Коллекторы маркировали минералы: один пятнал их разведенными на ацетоне белилами, другой ставил на пятнышках номера. Профессор определял образец и его судьбу, Наташа под его диктовку вела запись в журнале наблюдений, техник-магнитометрист готовил этикетки, Степан заворачивал их вместе с образцами в бумагу, другой рабочий нумеровал свертки. В общем, работы хватало.

Рассматривая образцы, Алексей Архипович тихонько напевал без слов «Наш паровоз, вперед лети!..»

— Триста шестьдесят три — титанит. Шлифовка.— Отложив образец в сторону Степана, профессор взял следующий.— Триста шестьдесят... какой там?..— четыре — метаморфизированный ильменит. На спектральный анализ... Что, усталость берет? — Он заметил, что Наташа с усилием сжимает и разжимает пальцы.

— Давно не писала помногу.

— Ну, эта беда не великая. Передохнем.

Профессор все не мог установить, как ему обра-

щаться к этой девчонке: на «ты» или на «вы». Вообще он предпочитал «ты», но с женщинами говорил на «вы». Наташа, с одной стороны, вроде бы и женщина, с другой — какая же она женщина?.. Алексей Архипович подбирал фразы, в которых личных местоимений вообще не было. Впрочем, это удавалось ему не всегда, он путался.

Осмотрев как бы по инерции еще два-три образца, профессор снял очки.

— Степан, все забываю тебя спросить: почему ты никогда не побалуешь нас гитарой?

— Да я, Алексей Архипыч, вы же знаете, не мастак на эти шутки.

— Хм! «Не мастак»! Для чего же, спрашивается, тебе инструмент доверили?

— Да как сказать,— неопределенно буркнул Степан, склоняясь над кисетом.

— А ведь зря я его тогда за гитару обругал, а?

Профессор сказал это совершенно серьезно, и всем было ясно, о ком он говорит,— о Юре. Наташа улыбнулась:

— Вы, Алексей Архипович, всегда так: отругаете человека, а потом жалеете.

— Жалею я сразу. Только сознаюсь потом.

Все заулыбались и потеплели. Приятно знать, что начальство, если и ругает тебя, все-таки жалеет. Особенно такое начальство, как профессор Кузьминых.

— А сознайтесь...— Наташа задумчиво положила руку на загривок Томми.— Только вы не обижайтесь. Группу на Вангур вы согласились... вы послали наверняка или...

— ...наобум, да? — Брови профессора дернулись вниз.

— Ну...

— Ни «наверняка», ни «наобум» в науке не существует,— сердито перебил ее Алексей Архипович.— В науке существуют гипотезы, предположения, основанные на фактах, и истины, вытекающие из фактов. Иногда, чтобы установить истину, мы идем и на риск. У науки, уважаемая, есть долг перед народом, перед страной. Вы вроде человек грамотный, и не вам объяснять, что титан — это сверхпрочные реактивные самолеты, это широкая дорога для развития атомной

техники. Стране сейчас очень нужен титан. Вот и все. Понятно я вам это изложил?

— Так и знала: обидитесь.

— Экая у нее самоуверенность! И опять ошиблась. Могу даже улыбнуться. Если очень желательно.

— Очень желательно.

— Ну-ну! После ужина.

— У вас что — улыбки по строгому расписанию? Как у Пушкарева?

— По мере надобности.

Наташа чуть задумалась, медленно поглаживая пса.

— Нет,— сказала она,— Борис Никифорович, пожалуй, чаще улыбается.

— Плетнев,— профессор прищурился,— тот еще чаще.

— А что! Николай Сергеевич действительно веселый человек, славный...

— На вечеринках, наверное, хорош,— почти в тон с Наташей и в то же время как-то неопределенно, словно скрывая особый смысл своих слов, поддержал профессор.— Как говорится, душа-парень..

— На вечерках-то куда ни шло,— ухмыльнулся в бороду Степан.— Парень весе-олый!

— Наверное, хорош...— тихо обронила Наташа.— Знаете, очень мне обидно, что вы меня не отпустили на Вангур.

— А вы не торопитесь обижаться. Может быть, и, сидя здесь, вы поможете им. Вот поглядите.

Надев очки, Алексей Архипович быстрыми, точными линиями набросал в записной книжке схематический разрез местности. Слева взбугрился Ключ-камень, вправо, на восток, ровной плоскостью уходили к долине Вангура болота.

— Вот поглядите.— И, помогая себе карандашом, профессор коротко изложил мысль, которая занимала его, видимо, не первый день.

Отряд Кузьминых был занят исследованиями большого рудного тела, обнаруженного на западном склоне Ключ-камня. Некоторые отрывочные наблюдения подсказывали, что на противоположном, восточном, склоне горы очень возможна зона метаморфических, то есть измененных рядом геологических причин, по-

род, содержащих титановые минералы. Если так, то именно эти породы с Ключ-камня могли образовать россыпи рутила в долине Вангура. Веками по крупицам сносились они вниз, в бассейн реки, и скапливались там.

Исследование зоны метаморфических пород на Ключ-камне могло бы дать косвенное доказательство того, что в долине Вангура действительно есть перемещенные россыпи рутила.

Об этом и сказал сейчас профессор Кузьминых.

— Но, Алексей Архипович, миленький... Ой, извините... Но ведь тогда мы должны срочно, просто немедленно обследовать и восточный склон, и подошву Ключ-камня!

— Так уж и немедленно?

— Конечно!

— Это не только поможет определить положение рудного тела здесь,— поддержал Наташу долговязый Кеша, техник-магнитометрист,— это поможет и поискам на Вангуре.

— Соображают,— не без ехидства одобрил Кузьминых.— Однако, молодые люди, не до конца соображаете. Мы, знаете, не можем этак... бесконечно распылять силы. Перебросить сейчас людей на восточный склон — значит зарезать работы здесь, на западном.

— Но ведь это важно!

— Работы-то зарезать?.. Нельзя. И мне небось любопытно посмотреть, что там, на восточном-то склоне. Только позднее. Всему свой черед. Вначале надо управиться здесь.

— Здесь-то дело верное, а на восточном — бабушка еще надвое сказала,— не совсем поняв разговор, вступил в него и Степан.— И то кое-как хватает силенок управиться...

— Вот так... Ну ладно, к этому мы еще вернемся. Успеется. А сейчас,— профессор нагнулся за очередным образцом,— продолжим.

Наташа уже взялась за свою старенькую ручку-самописку, уже вывела номер «365», и вдруг словно что-то толкнуло ее.

— Алексей Архипович! А пещера! — Она почти выхватила у профессора записную книжку.

Как же это раньше она не догадалась? Ведь вот же...

Ох, Наташка, какая ты молодчина! Уж теперь-то Алексей Архипович не назовет тебя легкомысленной. Теперь-то он увидит, какая у него умная, думающая, инициативная помощница.

— Ведь вот...— Наташа торопливо набросала на профессорской схеме предполагаемые очертания пещеры.— Что, если копнуть в пещере на контакте известняков с основной породой?

— Ишь какая быстрая!.. «Копнуть»! Сказать-то просто. Многовато еще легкомыслия, уважаемая, многовато... Ну-ка... Какой там номер? Триста шестьдесят... пятый? Пишите...

У Наташи задрожали веки, она хотела что-то сказать, но передумала, с обидой поджала губы и низко склонилась над записью.

2

А жизнь четверых на Вангуре потихоньку ползла вперед. Она была однообразной и пока ничем не порадовала геологов. У них, в сущности, было только два дела: плыть на лодке и вести шлиховую съемку.

Шлиховая съемка — это в основном битье шурфов. Все очень просто. Киркой и лопатой надо выкопать яму, чтобы посмотреть, что лежит под слоем почвы там, в глубине. Для того нужно набрать в лоток породу, веками копившийся на берегу реки песок и промыть. Вода унесет все, что полегче, и останутся шлихи, наиболее тяжелые минералы. В них и ищи рутил.

Все очень просто.

Но рутила не было. Местами попадались его следы, ничтожные, очень мало значащие крупицы. И на шлиховой карте, помечая места, где закладывались шурфы, Пушкареву приходилось писать цифры, неизменно начинавшиеся с ноля: «0,5 %», «0,0 %», «0,2 %»...

Первые неудачи никого не удивили и не огорчили особенно. Очень спокойно, как к должному, отнесся к ним и Николай Плетнев. Нет рутила — будет ниже по течению.

Но и ниже рутила не было.

Пушкарев решил последовательно «прощупать» все притоки Вангура. Вначале Николай охотно поддержал

его: больше площадь поисков — больше шансов найти руду. Однако уходили дни, и вместе с ними убавлялись шансы на успех, таяла надежда. Николай начинал нервничать. Его уже раздражала спокойная размеренность методики Пушкарева. Какой смысл лазать по всем этим мелким притокам Вангура, если все равно рутила там нет? Что ни речонка, то два-три потерянных дня.

Пушкарев рассуждал так. В нижнем течении Вангура, где когда-то были обнаружены знаки рутила, элювиальной, то есть оставшейся на месте образования, рудной россыпи нет. Речь идет о поисках перемещенной россыпи. Питать ее могли воды, принесшие рутил со стороны Уральского хребта. Значит, руда могла накопиться в долине не только Вангура, а и любой из речек.

Соглашаясь с этими рассуждениями, Николай продолжал их. Речки впадают в Вангур. Если месторождение находится на одной из них, она все равно притащит какую-то часть рутила к Вангуру. Значит, искать руду можно и прямо на Вангуре, у мест впадения его притоков.

Ну, а если эта рутилоносная речка давным-давно исчезла, пересохла или нашла другое русло?

Но ведь когда-то она все-таки впадала в Вангур!

— Что ж, значит, не заглядывая в притоки, обследовать только Вангур? — Пушкарев насмешливо щурился.

— Вот именно! — горячился Николай.— Мы сэкономим и силы и время.

— А на шлиховой карте, в отчете что укажем?

— Мы что, для отчета работаем? Да?

— Не петушись. Мы-то работаем не для отчета, а вот отчет — для нас. Как ты будешь строить свои выводы, если в отчете на шлиховой карте будут белые пятна, пустые места?

— Я буду строить выводы не на пустых местах, а на найденном месторождении!

— Сначала его надо найти...

Юра в эти споры не вступал. Ученые мужи... им виднее. Впрочем, своя точка зрения у него была. В душе он стоял на стороне Пушкарева, но поддерживать его в открытую не хотелось: в Николае Юра видел наи-

более близкого себе товарища, Пушкарев же для него... Правда, отношение к Пушкареву у Юры постепенно менялось. В урмане он оказался не совсем таким, каким был в городе, в институте.

Борис Никифорович оставался замкнутым, суховатым, порой черствым. Но эти его недостатки начинали в глазах Юры искупаться достоинствами, без которых в тайге не проживешь: Пушкарев не боялся черной работы, умел и не ленился делать все, что нужно делать в лесу, был решителен и тверд. За его спокойными, казалось, бесстрашными репликами чувствовалась уверенная властность.

Эту властность хорошо ощущал и Николай. Он понимал, что попал в руки сильного человека, и это еще больше злило его: Пушкарев настоит на своем и будет методично, аккуратно ставить на шлиховой карте нолики, ничуть не страдая оттого, что это нолики. Лишь бы карта была составлена по всем правилам, а найдут они рутил или нет — это дело второе...

День за днем они били шурфы. Руки огрубели и покрылись мозолями и ссадинами. Старый Куриков не знал и не любил земляных работ, но и его Пушкарев заставил взяться за лопату. Правда, толку от старика было не очень много, и основная тяжесть ложилась на Пушкарева и Николая. Юра помогал им не всегда: он выполнял дополнительное задание профессора по гамма-съемке * и часами вышагивал по тайге со своим «урманчиком» — так ласково окрестил он полевой радиометр «УР-4».

Вангур вел себя хорошо и больше не строил геологам никаких каверз. Неторопливо, но ходко нес он свои темные, буроватые воды. С обеих сторон реку сжимал густой, мрачный лес. Местами берега подходили друг к другу совсем близко, стояли как две линии громадного частокола, и только наверху между ними светлела узкая полоска бледного северного неба.

---

* Гамма-съемка — выделение и оконтуривание площадей повышенной радиоактивности с помощью специальных приборов.

Глава шестая

1

Когда-то один из свирепых уральских ураганов прочесал здесь тайгу. Это было давно: поваленные бурей гиганты уже иструхлявились и сгнили, нога уходила в их стволы, как в мох, но их было много, и они мешали идти. А вдобавок на месте, очищенном тогда ураганом, буйной порослью взметнулся молодняк, теперь уже ставший вполне солидным, настоящим лесом. В нем еще не было стариков гигантов, деревья поднимались ровно и потому спорили между собой и, торопясь и жадничая, стремились захватить как можно больше места. Разве они думали о том, что тут, между ними, придется пробираться с радиометром на груди Юре Петрищеву?..

Солнце за серой облачной пеленой катилось, наверное, уже вниз. Юра устал и шагал медленно. Собственно, медлил он не от усталости: просто, работая с радиометром, идти быстро нельзя, тем паче по бурелому и чаще. Мало того, что на груди у тебя прибор весом в несколько килограммов,— в руке еще штанга зондирующей гильзы, глаза следят за стрелкой счетчика на щитке, а слух напряженно ловит непрерывно поступающие в телефонные наушники сигналы из недр, то громкие, то слабые, почти совсем не слышные.

Все же, хотя Юра и был занят работой, глаза исподволь отмечали какие-то наиболее яркие, необычные черточки в окружавшем его однообразии урмана: то искривленный и сплошь покрытый слоем зеленовато-серого мха ствол, будто какое-то марсианское, что ли, растение; то громадный, расщепленный молнией кедр, склонившийся устало и грузно; то мрачную щетину молодого пихтача, такую густую, что, если б упасть на нее с неба, так бы и остался лежать на вершинных ветках, и они, поднявшись, вернули бы тебя небу, не пустив на землю... Недалеко от пихтача попалось небольшое обнажение гранитопорфиров. Юра задержался около него, пощупал пустую брезентовую сумку для минералогических образцов, болтавшуюся на боку, помедлил и двинулся дальше.

Какое-то нехорошее смутное чувство целый день

копошилось сегодня в душе. Юра попытался отделаться от него, оно не исчезало, и он понял, что оно не может исчезнуть. Это чувство осталось после сегодняшнего утреннего спора между Николаем и Пушкаревым. Собственно, спора не было: Николай говорил несдержанно, зло, упрекая Пушкарева в неправильной методике поисков, а Пушкарев молчал, лишь изредка вставляя фразу, две.

Очень это плохо — ссора в тайге. В большом коллективе она не страшна. Коллектив или потушит ее, или разожжет и доведет до конца, так или иначе рассудив, кто прав, кто виноват. А здесь, в глуши, от нее не огонь, а едкий, горький дым, копоть, и леший его знает, когда и где огонь прорвется и каких натворит бед. И мнет душу сумрачное беспокойство, и неуютно бывает у костра, когда настороженно прислушиваешься к каждому слову: не оказалось бы оно «не тем», неловко сказанным...

С этой невеселой думой Юра подошел к биваку.

Пушкарев, сидя на отвале шурфа, склонился над шлиховой картой. Те же, все те же пометки: «Шурф 17.0,2%», «Шурф 18.0,0%»... Рядом, небрежно отодвинутый, перевернулся лоток со шлихами, тут же валялась лупа.

Юра снял наушники и начал укладывать прибор в футляр.

— Ну, как у тебя? — лениво поинтересовался Николай, выбрасывая из шурфа лопату и кирку, и покосился на пустую брезентовую сумку.

— Государственная тайна,— неохотно пошутил Юра.— Все покрыто мраком неизвестности... А у вас?

Николай не ответил.

— Куриков, забери! — крикнул он проводнику, указывая на инструмент, и выбрался из ямы.

Пушкарев задумчиво и, пожалуй, печально посмотрел на Юру, потом улыбнулся своей смущенной, застенчивой улыбкой:

— Тоже... мрак неизвестности.

— Это у нас какой? Девятнадцатый? — Юра кивнул на шурф.

— Девятнадцатый,— подтвердил Пушкарев, спрятал записную книжку и начал сворачивать карту.— И все тот же результат: ноль.

— А какой же еще может быть? — сказал Николай, старательно отряхивая штаны.— Если Борису Никифоровичу угодно копаться там, где титановых руд нет, конечно, результат будет нолевой.

Руки Пушкарева, складывавшие карту, на мгновение замерли, но тут же аккуратно продолжили дело. Бросив быстрый взгляд на Николая, Пушкарев медленно сказал:

— Мне «угодно» одно: добросовестно выполнить порученное дело.

Николай криво усмехнулся:

— Ну ясно. Право руководителя группы... Начальство!..— И вдруг закричал: — Но ведь за свою идею отвечаю я!

— А я,— возразил Пушкарев,— отвечаю за проверку этой идеи.— Он встал, угрюмо помолчал.— Ну, двинулись...

Молча столкнули они лодку, молча сели в нее. Вангур безропотно потащил их вперед.

2

Река бежала, сжатая урманом. Угрюмой громадой привалился он к Вангуру и молча и сумрачно смотрел на легкую скорлупку, скользящую по узкой водяной дорожке.

Лодка проходила под поваленным бурей большим деревом, которое комлем упиралось в один берег, а вершиной легло на кроны деревьев другого берега. Николай отнял бинокль от глаз и тронул плечо Юры:

— Смотри...

Гигантская лиственница далеко впереди перегородила реку. Подплыли ближе. Ствол дерева лежал в воде и выступал над поверхностью. Пути вперед не было. Куриков подвернул к берегу.

Лодка была тяжелая, ее пришлось тащить волоком.

— Теперь, выходит, мы водо-кочко-бреголазы? — пытался пошутить Юра, но тут же с унылой самокритичностью признался: — Не смешно.

Николай повернулся к проводнику:

— Куриков, и много будет... такого?

Старик подумал, пожевал губами:

— Кто знает?

Впереди уже была видна точно такая же преграда. Урман ставил свои заслоны...

В эти дни все как-то сразу осунулись, исхудали и вдруг заметили, что одежда на них обтрепалась и порвалась. Николай перестал бриться и мрачно шутил:

— Материал для диссертации.— Он тыкал в свою бородку.— Разве это не доказательство подвижнического научного труда?

А на третий или четвертый день «путешествия волоком» он бросил в сердцах:

— Черт его знает! Так, видимо, ничего мы и не найдем?

— Это почему? — Пушкарев спрашивал нарочито спокойно, будто все шло нормально.

— Да что, не ясно, что ли? Никаких признаков.

— Неизвестно, что еще впереди.

Николай усмехнулся:

— Очень хорошо известно.— И показал вперед.

Там виднелись сразу несколько деревьев, лежащих поперек течения.

Пушкарев взглянул на них — тяжелые, мокрые стволы, упрямо ложащиеся на пути всюду, куда ни ткнись,— и страшное липкое видение встало в памяти. Однажды его с отцом завалило в небольшой старательской шахте. Отец хорошо знал ее и надеялся выбраться. Они лезли по старому, заброшенному ходу, но и он оказался заваленным. Отец не мог проползти и велел пробираться сыну. Борис пополз один в жуткой молчащей темени, и сверху на него напирали, грозя обрушиться, тысячи пудов породы. В конце концов застрял и он. Дрожащими и потными, еще слабыми мальчишескими руками он шарил вокруг, и руки натыкались на твердый камень, холодную, вязкую глину и мокрые, осклизлые бревна рухнувшей крепи. Они были всюду — спереди, сзади, сверху. И еще были молчащая темень и грозная, тысячепудовая тяжесть земли. Борис закричал так, что отец подумал: конец. Он выбрался назад, почти потеряв сознание. Потом они пробивали себе выход. Они не знали, пробьют ли, но верили и пробивали...

Все это мелькнуло перед Пушкаревым, когда он взглянул сейчас на эти мокрые, тяжелые, упрямые стволы.

— Ну ладно, там посмотрим,— сказал он и полез в лодку.

Куриков стоял на берегу. Умоляюще взглянул он на Пушкарева:

— Минунг юн... Шайтан, однако, не велит дальше плыть.

Пушкарев выпрыгнул обратно, на землю. Он подошел к проводнику, хмуря брови, постоял и вдруг обнял старика и мягко похлопал по плечу:

— Не тужи, Куриков, не тужи. Все будет хорошо. Поплыли! Ну...

Пушкарев подтолкнул его к лодке, и маленький, съежившийся Куриков послушно, как ребенок, тихо уселся на корме...

Шли дни.

Время отдыха приходилось сокращать. На ночевки останавливались уже в темноте.

В этот вечер причалили у небольшой поляны, приткнувшейся к Вангуру. Ели, кедры, лиственницы, тесно сгрудившись вокруг, прикрывали ее с трех сторон, и поляна манила к себе спокойствием и уютом.

Лодка еще не успела коснуться кромки земли — Юра уже был на берегу. За ним, прихватив палатку и колышки к ней, прыгнул Пушкарев. Куриков, ворча, принялся вытаскивать нос лодки на берег, Николай помог ему и пошел вслед за товарищами.

— Парень! — окликнул его манси и ткнул пальцем в лодку.— Надо, однако, починять?

На одном из швов отлетел кусочек смолы. Николай колупнул пальцем — что-то пустяковое.

— Ерунда. Сойдет. Пошли...

Глава седьмая

1

Солнце показало лишь самый краешек диска и скалы на Ключ-камне чуть порозовели, когда Наташа подошла к неширокому угловатому отверстию, черневшему в горе. Это был вход в пещеру.

Наташа зажгла фонарь, передвинула поудобнее моток веревки, перекинутый через плечо, поправила вы-

бившийся из-под платка локон и проскользнула в отверстие. За ней шмыгнул Томми.

Усыпанный камнями ход уползал вперед и вниз, теряясь в густой черноте. Наташа ступала осторожно, опираясь на длинную рукоять геологического молотка. Фонарь неясно освещал угрюмые низкие своды, небольшие округлые сталактиты и острые выступы стен. Камни под ногами исчезли, пол устилала грязно-серая вязкая глина.

Вдруг стены раздвинулись. Наташа оказалась в просторном подземном зале. Свет фонаря едва достигал потолка. Огромные тени — девушки и пса — колыхались и прыгали по гроту.

В левой стене виднелся узкий лаз. Наташа направилась к нему. Ход постепенно расширялся. Бесшумно, словно тени, перед лицом сновали летучие мыши. Было удивительно, как это они не ударяются о стены узкого коридора. Мыши пугали Наташу. Томми лаял на них. В расщелинах копошились и пищали десятки отвратительных мышиных детенышей, потревоженных светом.

Ход, расширяясь, уползал все дальше в земную глубь.

— Ой! — Наташа отпрянула назад, чуть не ступив в воду.

У ее ног лежало подземное озеро. Чистенькие глинистые берега были пологи. Вода удивляла необыкновенной прозрачностью. Ровная-ровная, абсолютно спокойная гладь уходила куда-то под дальние черные своды. Наташа бросила камешек — гладь ожила: побежали один за другим, заколыхались, заискрились круги.

Как теперь двигаться дальше? Не плыть же по озеру! Наташа начала оглядываться внимательнее. В одной из стен, за причудливыми глыбами известняка, она заметила отверстие. Извилистый, ломаный ход, довольно круто падал вниз. Передвигаясь по нему, пришлось цепляться не только за выступы стен, но и за «пол».

В пещерах Наташа бывала и раньше, а однажды, еще курносой пигалицей, она во время экскурсии, поспорив с ребятами, пошла в пещеру ночью одна. Ох, жутко было!.. И все-таки она дошла до последнего гро-

та — пещера была метров двести длиной — и там в доказательство своего посещения оставила выдернутую из косы ленту. Наутро двинулись туда всей компанией, нашли ленту, и с того дня Наташа Корзухина из седьмого «Б» часто слышала за своей спиной уважительный шепот: «Вот эта самая...» Она очень гордилась...

Потом Наташа бывала в знаменитой Кунгурской пещере, лазила по гротам двухэтажной Смолинской, но всякий раз с неизменной силой существо ее наполняло волнующее чувство неведомого и страх перед мрачным, никогда — никогда! — не видевшим солнца подземным миром.

Было страшно ей и сейчас. Темнота всегда настораживает и пугает, пещерная — вдвойне. Гуще, темнее ее нет ничего. И не хочешь этого, не веришь в это, а чудится, что вот-вот из мрачных глубин на тебя навалится что-то мохнато-жуткое.

Но ты должна идти вперед, Наташка! И надо торопиться. Что, если Алексей Архипович хватится раньше времени? Вот будет нагоняй! Насупит косматые брови, забранится, забурчит: «Выпороть бы вас! Мальчишество!» Сердитый старик...

Наташа остановилась передохнуть. Рядом уселся притихший Томми.

— Что, пес, не очень тебе здесь нравится?.. Смотри-ка, мы ведь намного ниже уровня озера, а воды тут нет. Что это значит, понимаешь? — Она разговаривала с ним, как разговаривают с не очень понятливым учеником.— Значит, видимо, озеро лежит не на известняковой подушке. Может такое быть? Вполне может.

Если бы Наташу услышал кто-нибудь из товарищей, она бы, бедняжка, смутилась. Потому что разговаривала с Томми слишком серьезно, и речь ее была необычна: «значит, видимо...», а самой ей в это время казалось, будто она высказывает очень уж умные, вполне «научные» мысли. Томми, склонив голову набок, казалось, задумался. Наташа принялась осматривать стены.

— Вот видишь, с этой стороны уже гранит. Значит, мы с тобой в зоне контакта. Глупый ты человек, ничего не понимаешь!.. Ты где?.. Томми!

Пес был впереди. Припав на задние лапы, он вглядывался в черный провал подземного колодца. Колодец был узкий и неглубокий, метра три-четыре. Наташа определила это, бросив вниз несколько зажженных спичек.

Надо лезть туда. Может быть, вернуться и когонибудь позвать? Эх ты, малодушная! Посмотри все, пощупай, а потом и позовешь, и приведешь, и расскажешь... Обвязав веревку вокруг небольшого сталагмита, Наташа попробовала, прочно ли получилось. Получилось прочно.

— Вот,— сказала она псу,— я спущусь, а ты сиди здесь. Смотри не прыгни вниз. Будь паинькой.

И, чмокнув Томми в нос, она стала спускаться, держась за веревку и упираясь в стенки колодца. Скоро ноги коснулись его дна. Томми беспокойно заскулил. Наташа прикрикнула на него и пошла по ходу. Он тянулся в прежнем направлении. И по-прежнему справа был гранит.

В небольшом продолговатом гроте, заметив жилы кварцевого порфира, Наташа решила взять образцы. Подземелье глушило звуки ударов молотка. Что-то блеснуло. Осторожно ухватив небольшой темный кристалл с металлическим блеском, Наташа склонилась к фонарю.

Неужели рутил?.. Ну да! Или анатаз? Да какая разница! Все равно титан. Титан!..

Что это — счастье, слепая удача? Так просто: спустилась в пещеру, взяла образец — и на́ вот тебе, титан... А почему «слепая удача»? Ведь на том склоне горы есть титан. Отчего же ему не быть и здесь?.. Неужели сбудется предположение профессора? Ой, Наташка, Наташка!..

Даже не завертывая найденный кристалл, а просто сунув его в кармашек куртки, она поспешно схватила фонарь, молоток, повернула назад... и остановилась. Обрадовалась! Мир удивить захотела. Какой геолог сделает так? Конечно, легкомысленная девчонка. Надо вернуться, взять несколько образцов, набросать схему залегания пород. Теперь-то уж Алексей Архипович не заругается...

Снова Наташа взялась за молоток. Медленно продвигалась она вдоль угрюмой тускло-серой стены.

Вдруг нога ее ухнула в пустоту, и, падая, Наташа сильно ударилась головой.

В глухом гроте раздался вскрик, фонарь описал короткую, стремительную дугу, звенькнуло стекло, и стало абсолютно темно и тихо...

2

А над землей, над Ключ-камнем, царствовало солнце. Солнца было очень много. Блаженствовали деревья, трава, камни. Было тихо. Только приглушенно тюкали в шурфах кирки рабочих да, вгрызаясь в каменистый грунт, поскрежетывали лопаты.

В живую, полную неслышного ликования солнечную тишину обрушился крик Василия:

— Лексей Архипыч! Лексей Архипыч!..

И, напуганные им, замерли, затихли даже кузнечики.

Василий подбежал к профессору запыхавшийся, испуганный.

— Худо, Лексей Архипыч... Наташа... там... Худо.

— Толком говори. Что случилось?

— Не знаю. Только собака из-под земли пришла — лает, под землю зовет. Наташа не пришла, верно, там осталась. Я подумал: худо ей, к тебе побежал.

— Она что, в пещеру ушла?.. Я тебя спрашиваю!

Василий растерянно молчал.

Томми ухватил профессора за штанину, потянул, беспокойно скуля.

— Отстань! — отмахнулся Кузьминых и энергично потер подбородок.— Она же собиралась на двенадцатый шурф. Вечером еще говорила, что с утра пойдет туда... Ох, и задам я ей!.. Идем!

Кто-то из рабочих предложил:

— Алексей Архипыч, может, что пособить?

— Справимся. В случае чего Василия пришлю.

Томми привел их к пещере и с нетерпением поглядывал на приготовления профессора. Тот медлил недолго — зажег фонарь и решительно шагнул к черной дыре. Василий робко окликнул:

— Лексей Архипыч...

— Ну?

— Ты... один ходить можешь?

— А что? — не понял профессор.

— Старые люди говорят: манси под землю ходить нельзя. Старые люди говорят: там злые духи. На земле знаю — нет, под землей — не знаю.

Профессор даже растерялся, но тут же верх над растерянностью взяла злость.

— Эх ты! А еще в школе учился! Трус ты, Василий Куриков, вот кто! — повернулся и скользнул в пещерную темень вслед за поскуливающим Томми.

Молодой манси тоже рассердился:

— «Трус»! Василий Куриков совсем не трус!

Решившись было, он шагнул в пещеру, остановился, отступил и вдруг, как в омут головой, бросился вперед.

Профессор еле поспевал за Томми. Услышав сзади шаги, обернулся:

— Ну, где ты там? — В его голосе уже не было гнева, одна озабоченность.

— Иду, иду,— полушепотом отозвался Василий.— Шибко быстро, однако, ходишь.

Он боязливо оглядывался, вздрагивал, но все же продвигался вперед. Когда в большом зале вокруг них начали носиться летучие мыши, Василий зажмурился, закрыл лицо и голову руками и присел.

— Ну-ну, мышей испугался!

Василий приоткрыл один глаз, недоверчиво глянул им, открыл второй, робко улыбнулся...

Веревка у колодца ясно указывала путь Наташи. Профессор спустился первым. На Василия пришлось прикрикнуть, и, лишь когда в провале повисли его ноги, Алексей Архипович двинулся дальше. Звали Наташу — в ответ возникало только короткое, быстро потухавшее эхо.

Первое, что они увидели в небольшом продолговатом гроте, был валявшийся на полу разбитый фонарь. Рядом, у самой стены, темнела широкая дыра колодца. Василия профессор оставил наверху: прочно привязать веревку было не к чему, проводник должен был держать ее. Работа выпала ему не из легких: Кузьминых весил без малого сто килограммов.

Наташа лежала, распластавшись на каменистом ложе, без движения, в неестественной позе. Волосы на лбу слиплись в крови. Алексей Архипович довольно бы-

стро нащупал пульс, дал понюхать нашатырного спирта и принялся растирать им виски.

Склонившись над провалом так, что рисковал свалиться, Василий спросил:

— Живой?

Сильно-сильно насупив брови, профессор молчал и смотрел на Наташу. Потом снова взялся за нашатырный спирт.

Веки девушки дрогнули, она судорожно вздохнула и приоткрыла глаза; взгляд был тусклый, как у разоспавшегося и не совсем еще проснувшегося человека.

— Не надо,— медленно и тихо проговорила она, отводя руку профессора.

— Живой! — обрадовался наверху Василий.

— Ну, руки-ноги целы? — грубовато поинтересовался профессор.

Наташа поморщилась, облизнула губы:

— Целы. Алексей Архипович... я нашла...

Кузьминых отвернул пробку у фляжки:

— Ну-ка, глотните.

Наташа мотнула головой: нет, пошарила в нагрудном кармашке и слабой рукой протянула кристалл рутила:

— Вот... титан.

Профессор резко отстранил ее руку и крикнул:

— Плевал я на ваш титан!

Глаза его под косматыми, такими страшными бровями влажно заблестели, профессор отвернулся и глухо, надорванным голосом, уже не скрывая ни только что пережитой боли, ни теплоты к этой упрямой, своевольной девчонке, добавил:

— Выпороть бы вас... хорошенько!

И Наташа слабо улыбнулась.

3

Под нудным мелким дождиком лениво догорала нодья. Юра громыхал посудой, сбрасывая ее в ведро, чтобы помыть после завтрака. Николай уже снимал палатку. От лодки раздался голос Пушкарева:

— Товарищи!..

Николай и Юра замерли: голос был пугающе тре-

вожный. Куриков, чинивший бродень, от неожиданности уколол палец шилом.

Пушкарев снова позвал, и они поспешили к нему. Стоя в воде, он торопливо выбрасывал из лодки припасы и вещи. Вся корма была залита. На корме лежал второй мешок с продуктами; соль, сахар, сухари, концентраты — все было вымочено и попорчено. Сухари, когда их вывалили на брезент, расползлись по нему кашеобразным месивом.

— Как же это? — растерянно пробормотал Юра и взглянул на начальника группы.

Только сейчас он заметил, как туго обтягивает кости лица Пушкарева обветренная, задубевшая кожа, как ввалились щеки, а возле уголков потрескавшихся губ пролегли некрасивые морщины и потемнели сухие, воспаленные глаза. Пушкарев склонился над лодкой и начал придирчиво осматривать швы. Вот она, предательская щель!.. Куриков и Николай переглянулись и молча отвели глаза в сторону.

— Не доглядели,— с горькой досадой проговорил Пушкарев и выпрямился.

Ему было тяжело смотреть на товарищей: виновным в этой оплошности он считал себя, руководителя, но он посмотрел — прямо, сурово и печально,— а потом негромко, но энергично сказал:

— Ну, не будем стоять. Что можно, надо подсушить... Быстренько!

И все, словно были виноваты, принялись старательно и бестолково суетиться, не зная толком, кому за что взяться. Пушкарев остановил их: пусть Николай и Юра займутся сушкой продуктов и вещей, а он с Куриковым будет чинить лодку. Ее вытащили на берег, перевернули, все припасы и вещи перенесли к костру. Возле палатки натянули еще брезентовый полог, взятый из лодки,— от дождя.

Перемешивая парившую от жаркого огня сахарную кащицу, Николай задумался.

— Вот, Юрочка, какие бывают дела...

— Угу.

— И спутал меня черт с этим Пушкаревым!

Юра поднял голову:

— А что?

— Как «что»? Ты понимаешь, как он будет торже-

ствовать, когда мы вернемся! Как же: Плетнев настаивал, требовал, можно сказать, хвалился титаном, а титана — пшик. Пушкарев осторожно, весьма дипломатично сомневался — и пожалуйста: он прав, он истинный ученый. На каждом шагу будет мне в нос тыкать. И никуда не попрешь, никому не пожалуешься. Факты!

Юра нахмурился:

— Ну, это ты брось. Он как ученый сухарь не способен, конечно, на подвиг, но не способен и на подлость. Он будет просто молчать. «Истина установлена», и все.

— Будет, жди!.. В общем, надо поскорее кончать с этой петрушкой.

Замолчав, Николай опять тяжело и сосредоточенно задумался. Одна из курток, лежавших около него, задымилась. Юра подскочил, схватил ее.

— Никола! Здесь же нет телефона, чтобы вызвать пожарную команду.

Николай встрепенулся:

— Что? А-а...— И вдруг разозлился: — Все остришь!

— Просто изрекаю истины... Где тут флажок валялся, то бишь, наше гордое знамя?

Он подобрал флажок. Надпись почти совсем стерлась, буквы еле-еле виднелись. Юра взял и снова жирно, четко вывел:

ВПЕРЕД

Глава восьмая

1

Нет, не нравится, очень не нравится все это старому Михаилу Курикову. Уже больше месяца пробираются они по Вангуру, а что от этого пользы?

То они торопятся, как шальные, эти молодые парни, геологи, то вылезут на берег и с утра до вечера копают ямы, бродят по урману, ищут камни. Если камни надо искать здесь, ищите здесь хорошенько, не торопитесь. Если камни там, ниже по реке, не надо останавливаться здесь, надо торопиться.

Они ученые, должны знать. Вот он простой охотник, не ученый, а посмотрит на урман — сразу видит: зверя нет. Они ученые, а не видят, что нужного камня нет. Здесь нехорошие места, совсем худые. Звери разбежались, птица разлетелась. Где-то близко шайтан ходит. Не надо бы здесь задерживаться, нехорошо.

Во всем виноват начальник, Пушкарев. Плывут они, плывут, выйдут на берег — Пушкарев говорит: «Давайте бить шурф».

Это такая яма. Ее копают, чтобы найти дорогой камень. И ему, старому человеку, тоже велят копать. Выкопают шурф — ничего найти не могут. Николай говорит: «Поехали дальше».

А Пушкарев говорит: «Еще шурф».

Николай сердится: «Ты хочешь на пустом месте показать, что я неправ».— «Нет, я хочу найти правду».

Какая тут правда! Не ее ищут — камень. У них бывают и совсем непонятные слова. Но главное-то старый Куриков понимает. Его не обманешь. Вот копают свои ямы, спорят, ругаются, а пользы нет. И сейчас копают — и опять ничего не найдут. Он уже знает...

Мимо с полным лотком песка прошел от шурфа к воде Юра.

Куриков покосился на него:

— Пустой песок.

— А это мы, старик, сейчас посмотрим.

Присев у воды на корточки, Юра принялся промывать песок, бормоча:

— Это мы еще посмотрим... Еще посмотрим...

Куриков хотел сказать еще что-то, но не сказал, отвернулся и взялся за прерванную работу: охотничьим ножом он обстругивал новое весло из ели.

Подошел к костру Николай, зло бросил кирку, устало опустился на бревешко.

Пушкарев присел на корточки возле Юры:

— Ну, титан геологии, как дела с титаном рудным? Есть рутил?

— Нет рутила.

Пушкарев начал рассматривать шлихи через лупу:

— Н-да... Как-то там у наших, на Ключ-камне?..

Николай сидел понурившись. Взгляд его, сосредоточенный и в то же время отсутствующий, бесцельно

уставился на кирку. Когда же это кончится? Все неудачи, неудачи, неудачи! Задержки в пути не так уж страшны — было бы на что надеяться. Надеяться было не на что, надежда уходила из-под рук, таяла с каждым километром, с каждым новым шурфом. Неужели все-таки он ошибся, а прав был Пушкарев с его сомнениями?.. Но ведь это же позор! И диссертация и кандидатская степень — вверх тормашками!..

Из задумчивости Николая вывел голос Пушкарева:

— Придется здесь задержаться. С едой совсем плохо. Завтра геологию в сторону, все — в поход за мясом.

— Пустое дело,— отозвался проводник.— Мяса тут нет. Минунг эри юн. Надо пойти домой. Там мясо.

— Чу-удак старик! — Привыкший к ворчанию Курикова, Юра и не подозревал, что старик о возвращении домой говорит очень серьезно...

С утра они разбрелись по лесу. Возвращаясь к стоянке, пустой и усталый, Юра услышал негромкие, но возбужденные голоса.

Пушкарев раздувал костер. Николай стоял возле.

— Что же это, по-твоему, еда? — с тоскливым возмущением спрашивал он, держа за крылышко убитого дрозда.— Ты скажи: еда?

Пушкарев продолжал заниматься костром; наконец ответил:

— На худой конец и дрозд — еда. Ну, и рыбу, хоть она осточертела, будем ловить.

Юра молча подсел к огню. Была надежда на Курикова: он с собакой. Но старик, вернувшись, бросил рядом с дроздом лишь белку.

— Шибко худое место. Нету зверя. Птицы нету. Кого, однако, стрелять? — Он смотрел на Пушкарева со злостью.

— Нету, так будем искать! — упрямо сказал Пушкарев, и в его холодных светлых, как северное небо, глазах тоже блеснула злость.

Поев и отдохнув, они пошли в урман опять. Юра ушел с Пушкаревым, Николай двинулся за Куриковым. Через некоторое время манси сказал:

— В одной стороне одна птица, в двух сторонах две птицы. Ты, однако, ходи немножко сюда, я — сюда.

Они пошли порознь.

Пословица северных охотников говорит: «Убегающий зверь хуже нападающего». Сейчас Николай хорошо понимал это. Пусть бы даже медведь, но — лицом к лицу. А так — никого, все куда-то попрятались, убежали, ищи их, не зная, найдешь ли,— так много хуже.

Как с рутилом. Пусть бы опасность, борьба, схватка, но — разом. Он бы не побоялся, он был готов к этому. И, если мечте будет сказано «нет»,— пусть «нет», но тоже разом. А тут это «нет» приходится самому тащить, выколачивать однообразным, скучным трудом, каждодневными и каждочасными усилиями. А надежда на «да»... Ее становится все меньше. Ее почти не осталось.

Задумавшись, Николай забрел в такую чащу, что невольно ощутил ее своими боками. Надо выбираться. Прикрывая лицо, он стал выдираться из еловых зарослей и... остановился, пораженный.

Перед ним было старинное место мансийских жертвоприношений. На невысоких столбах стоял небольшой, чуть пошире собачьей будки, полуразвалившийся амбарчик. Дверь полуотваливалась и болталась на одной кожаной петле. Перед амбарчиком валялись оленьи рога и кости, ставшие уже не белыми, а буровато-серыми. На ветках вокруг висели истлевшие тряпицы.

Николай шагнул ближе, и ему стала видна внутренность амбарчика. Там в беспорядке лежали уже попорченные, полусгнившие шкуры, деревянное блюдо со старинными позеленевшими монетами и бумажными царскими кредитками, большие, толстые стрелы, тряпье, когда-то бывшее яркими шалями. Несколько уродливых, потемневших от времени деревянных идолов тупо уставились черными мертвыми глазницами...

С удивлением и интересом рассматривал Николай все это, и смутный страх начинал сковывать его тело.

Вдруг кто-то резко и сильно рванул его за плечо назад. За спиной стоял Куриков. Подбородок старика дрожал, глаза гневно сузились. Николай услышал хриплый, прерывающийся полушепот:

— Зачем святое место смотришь? Ходи отсюда. Нельзя!

— Да ты что?!

— Святое место. Нельзя! Ходи, ходи!

Куриков решительно потянул Николая, потом, ловко извернувшись в чащобе, начал его подталкивать. Николай не противился. Но почти тут же почувствовал, что лежавшая у него на спине рука Курикова обмякла и задрожала. Николай обернулся. В глазах старика был ужас. Куриков втянул голову в плечи и застыл, словно ожидая, что сейчас, вот сейчас на него обрушится страшный, смертельный удар.

— Что с тобой такое?

Куриков не мог вымолвить ни слова. Медленно-медленно повел он глаза в сторону. Николай взглянул туда же и увидел, что манси зацепился рукавом за сухую ветку; она держала его.

Старик решил, что его схватил шайтан.

Николай отцепил его. Куриков, должно быть, не очень поверил в то, что это была ветка. Всю дорогу до бивака он молчал и, только подходя к стоянке, горестно поцокал языком и покачал головой:

— Забыли, однако, манси своих богов. Боги шибко сердиться будут. Худо будет, шибко худо...

2

Наташа шагала по пещерному ходу, почти не глядя под ноги. Сколько уже раз пришлось ей пройти здесь! Все знакомо...

В тот день профессор немало попортил настроение всему отряду. Он придирался к каждой мелочи, кричал, бурчал, к нему невозможно было подступиться. С Наташей он не разговаривал и, изредка поглядывая на нее, только грозно супил брови. А на следующее утро огорошил ее.

— Вот что, товарищ Корзухина. Заварили кашу — расхлебывайте. Эту преисподнюю — пещеру вашу — придется хорошенько прощупать. Но на помощь не рассчитывайте. Никого не дам. Вот этого «злого духа»,— он кивнул на Василия,— взять можете. Пусть свою темноту там, в темноте, ликвидирует.— Кузьминых хмуро помолчал, потом неожиданно повернулся к Степану: —И тебе, друг, придется туда же. А то опять... натворит что-нибудь.— Заметив радость на лице Наташи, он буркнул:— А вам я еще выговор влеплю. В приказе. Да-да.

«Хоть десять!» — хотелось крикнуть Наташе и расцеловать этого большеголового насупленного человека. Но, подавив смех, она отвернулась и подмигнула Василию, чем привела молодого манси в смущение...

Вспомнив все это сейчас, Наташа улыбнулась и взглянула через плечо: где же ее верный помощник?

— Вася-а!

«...а-а!» — откликнулась пещера.

Бросив еще один камешек в озеро, Василий припустил за Наташей и Степаном.

— Опять озером любовался?

— Ага. Красиво.— Он звучно прищелкнул языком.— Только худо: рыбы нету.

Надо бы побранить его за недисциплинированность, буркнуть что-нибудь так, как бурчит Алексей Архипович,— должен парень знать порядок, должен и старшую в ней, Наташе, чувствовать,— однако язык не поворачивался: очень уж хорош был Василий в своей непосредственной, почти мальчишеской радости.

В большом зале сновали летучие мыши.

— «Злые духи»! — Василий покрутил головой.— Однако, старики выдумают: летучий мышь — злой дух! — Он засмеялся.

Степан ухмыльнулся в бороду:

— Разобрался, что к чему...

На земле был уже вечер. Профессор встретил «пещерную бригаду» своим обычным:

— Ну, и как оно?

— «Оно» хорошо, Алексей Архипович. Очень хорошо. И помощники у меня чудесные... Степан Иванович, покажите-ка профессору тот кристалл сфена, который мы внизу нашли. Вася нашел.

Василий, расплывшись в улыбке, повернулся к Алексею Архиповичу:

— Скоро ученый стану. Наташа говорит. А потом профессор стану.

Кузьминых усмехнулся:

— Ишь расхвастался. Профессор!.. Ты вот скажи лучше, как образцы на базу потащим. Многовато набирается.

Улыбка Василия стала еще шире:

— Я думал, как камни таскать. Видел: много камней. Как таскать? Тяжело, не утащить. Мы утащим. Нарты сделаем, как лодка.

— Волокушу, что ли?

— Ага! Как лодка.

— Молодчина! Правильно придумал... Вот как наши от Вангура потащат?

— Утащат! — весело заверила Наташа.— Николай Сергеевич так увлечен своей идеей, что весь Вангур может утащить.

— Н-да,— неопределенно буркнул профессор и потер подбородок.— Понимаете, если они там действительно обнаружат рутил.. славный вы друг другу подарок сделаете!.. Ну ладно. Показывайте, что вы там сегодня наскребли.

3

Бесшумно и быстро скользят над урманом низкие, отяжелевшие от влаги облака. Под облаками бежит Вангур. Вразнобой плещут его некрупные темные волны, разбиваются о прибрежные коряги и бессильными брызгами падают на кромку грязно-желтой пены. За ними, приплясывая, идут нестройными рядами другие, за теми — еще и еще, и, чуть слышно позвенькивая, шебаршит черно-серая чешуя реки. Как ленивая, засыпающая змея, вьется река в глухих, нехоженых дебрях урмана...

Николай оторвался от карты, развернутой на коленях, и повернул худое небритое лицо к сидящему рядом Курикову:

— Так, говоришь, давно уже манси здесь не ходят?

Проводник покачал головой:

— Совсем не ходят. Худое место. Нельзя ходить.— Он проворно придвинулся к Николаю, острым взглядом уперся в его лицо: — Зачем помирать? Ко мне в юрту ходить надо. Рыбу кушать, оленя.— Куриков нагнулся к карте, коротким грязным пальцем повел по линиям листа.— Смотри, однако.— Ткнул в малюсенькую точку на северо-востоке от Вангура.— Никляпауль. Моя юрта. Дом. Олени. Белки много, соболь. И камни — скажи им — тоже есть. Разные есть, краси-

вые. Золото найдем. Здесь какой камень? Пустой, некрасивый. Ты скажи им. Никляпауль. Вот. Совсем близко.

— Твой, говоришь, дом? — Николай был удивлен, Ему почему-то казалось, что Куриков живет совсем в другой стороне.

— Мой, мой. Никляпауль.

Николай достал компас, карту, прикинул по ней расстояние.

— Верно, тут недалеко.

— Совсем близко. Мало-мало ходить — три дня, быстро ходить — два дня.

— Ты все-таки думаешь улизнуть?

— Чего лизнуть? Ходить домой буду. Начальнику говорил — уйду. Белку скоро стрелять надо. Патроны надо брать, в урман ходить.

Николай медленно сложил карту, поднялся, постоял и, ничего больше не говоря, направился от реки к костру.

Разложив возле палатки все припасы, Пушкарев проверял их, намереваясь, видимо, еще подрезать норму. Она и так уже была урезана до предела. Но что же сделаешь?..

Борис Никифорович пересчитал патроны, взболтнул над ухом большую флягу со спиртом.

— Слушай-ка,— заметив присевшего рядом Николая, заговорил он,— тут километров через пятнадцать у Вангура довольно большой приток должен быть. Надо будет посмотреть, шурфы заложить.

— Э! — Николай махнул рукой.— Что там разыгрывать комедию! К чему все это? Теперь и мне уже совершенно ясно, что тогда, на ученом совете, я увлекся... фикцией. Никакого рутила мы здесь не найдем. Сколько бьемся — никакого толку.

— Ты что это, всерьез на попятную?

— Если хотите, всерьез,— Николай говорил спокойно.— Я люблю смотреть правде в лицо. Ошибся — значит, ошибся. Нет титана — значит, нет.

— Ишь ты какой маневренный!

Николай пожал плечами:

— Надо быть честным перед наукой.

— Вот именно. И в данном случае надо честно проверить те предположения, которые высказывались о

Вангуре. Ведь в некоторых шурфах нам попадался рутил.

— Какой там рутил! Крохи.

— Ну что ж, в верхнем течении крохи, а среднее мы еще не прошли. Пройдем — видно будет.

Николай встал. Он начал злиться.

— Как пройдем? На карачках?

— Хотя бы!

— Эх, Борис Никифорович! Ну ведь вы же опытный человек. Неужели вы не видите, что мы плетемся из последних сил? Ведь припасов у нас почти не осталось.

— Да,— очень жестко подтвердил Пушкарев.— И больше того: осень нынче ранняя, скоро возможны морозы. Урал не очень-то считается с календарями. Мы должны торопиться и торопиться, пополнять припасы времени нет. Время — только на работу.

— Вот-вот. Мы ежедневно теряем его на поиски, на битье шурфов, но к титану мы не приблизились, а к собственной гибели — вполне. Да-да! Я понял, что это несерьезно. Надо немедленно выходить к жилью, а на будущий год организовать специальную солидную экспедицию. Тут нужен настоящий размах.

— Размахнулась крыльями курица... Размах! На государственные денежки. А государство не на будущий год, а нынче, сейчас ждет от нас ответа: целесообразно или нет вести здесь детальную разведку. А она, как известно, стоит больших рублей. И мы, коли уж взялись, обязаны ответить «нет» или «да». То или другое. Но ответить совершенно точно, так, чтобы совесть наша была совершенно чиста, чтобы у самих у нас не было никаких сомнений. Вот почему нам надо спешить и спешить!

— Не понимаю,— в Николае опять кипела злость,— не понимаю: что у нас — научная работа или таежный кросс?

— Научная работа в тайге. В тайге, а не в лаборатории, не в кабинете!

— Вас, я вижу, заедает спортивное самолюбие.

— А вы, я вижу, забываете о научном долге.

— Оставьте эти высокие словеса!

— А низкие мне противны,— Пушкарев помолчал.— И вот что. Давай договоримся так: критиковать

меня ты будешь, когда вернемся. А сейчас придется подчиняться. Я заставлю подчиняться!

— И точка.— К спорящим подошел Юра с бритвенным прибором в руках. Он почувствовал, что спор начинает быть слишком уж горячим.— Точка. Регламент научного диспута исчерпан. Прошу приступать к брадобрейным процедурам.— Юра протянул Николаю бритву.

— А ну вас... обоих! — Резко отвернувшись, Николай отошел.

Из кустов настороженно и чуть растерянно смотрел на геологов старый манси.

Бесшумно и быстро скользили над хмуро молчавшим урманом тяжелые, низкие облака.

Глава девятая

1

Заморозки больно щипали землю. Редкие в урмане березы, совсем не радуясь новому, багряному цвету одежды, стояли жалостно-печальными. Словно пытаясь прикрыть свою наготу, растерянно топорщили узловатые ветви лиственницы, потерявшие пышный игольник. И только сосны, ели да могучие, кряжистые кедры ничем не выдавали своего беспокойства перед зимой, уже заносившей над ними свое ледяное крыло, и стояли суровые, чуть потемневшие, лишь покряхтывая на ветру.

Скукожилась и побурела трава. Поникла. Только отдельные ее сухие стебельки не хотели сгибаться и торчали, гордясь никчемной своей прямотой. А может, и не никчемной? И мертвые, они будут, споря с яростным ветром, цепко удерживать около себя снег, чтобы надежнее укрыть упавшие на землю семена...

Лагерь на Ключ-камне сворачивался.

Удивительное это дело: чтобы развернуть его, нужно каких-нибудь полчаса, а свернуть... тут надо повозиться. Обжитое место ликвидировать трудновато.

Это — как со спальным мешком. Вечером раскладываешь его двумя легкими движениями — одним развяжешь лямку у чехла, другим вытащишь мешок и бросишь в палатку, залезай в него, спи,— а утром надо

расправить вкладку, поаккуратней и потуже свернуть мешок, вложить его в чехол да еще и завязать.

И, как всякое жилье, лагерь постепенно обрастает десятками мелочей, кажется, и не очень важных, и неприметных, а коснись их — оказывается, дорогих сердцу и, главное, удобных. Взять хоть колышки к палаткам. На временном ночлеге вырубишь их из первого попавшегося под руку деревца, а потом и выбросишь с легкой душой, а в лагере они подобрались прочные, любовно заостренные, так и хочется взять их с собой, словно не в тайгу идешь, а в безлесную степь.

А личные вещички — носки, тюбик зубной пасты, мыльница, гребенка, тетрадь для записей, перочинный нож — да мало ли еще что! — эти вещички, на походе удобно и компактно ютившиеся в заплечном мешке, глядишь, повылезли из него, и каждая облюбовала себе подходящее местечко. Теперь разыскивай их, вытаскивай, собирай все вместе.

Пожалуй, только Василий Куриков да Степан Крутояров не особенно были обременены этой мелочной заботой и со сбором своих пожитков управились очень быстро. Покончив с укладкой образцов, Степан, деловитый и скорый, помогал снимать палатки и проверял экспедиционное имущество.

Наташа измучилась со своими вещами: она решила забрать с Ключ-камня кое-что и для собственной коллекции. Оказалось, что рюкзак при любых вариантах укладки все-таки имеет определенные размеры, раздвинуть которые нельзя. Но ей очень хотелось сделать это, и пришлось просить помощи. Наташа осмотрелась, выискивая человека посвободнее, и закричала:

— Профессор! А ну-ка, быстро сюда!

Эта непочтительность со стороны лаборантки, имеющей весьма скромное звание студентки-заочницы, никого не удивила. Тотчас девушке откликнулись:

— Сейчас, сейчас! — И к ней поспешил Василий.

— Давай-ка, профессор, помоги,— Наташа указала на рюкзак: — Никак не могу с ним сладить.

Подошел и Степан:

— Что-то многовато у вас набирается. Донесете ли?

— Донесем! — ответил за Наташу Василий.

А сама она только сказала:

— Лишь бы до базы дотянуть.

Степан не удержался и хмыкнул:

— На базе помощники найдутся?

А что тут хмыкать? Известно, что на базе будет транспорт и ни при чем тут какие-то помощники. Однако Наташа почему-то не обратила на эту нелепицу внимания: видимо, думала вовсе не о транспорте.

— Конечно, найдутся,— сказала она и после короткой паузы спросила: — Как вы, Степан Иванович, думаете: нам их недолго придется ждать?

— Нам-то? Кто его знает. Однако, думаю, не нам, а им придется нас ждать... Ничего, подождут.

Наташа прищурилась на него, зачем-то поправила волосы, распрямилась, раскинула руки, словно захотелось ей в счастливом возбуждении объять необъятные таежные дали, что раскинулись перед ней, и с уверенностью подтвердила:

— Подождут!..

2

Куриков решительно закинул ружье за плечо:

— Я все сказал.

Пушкарев посмотрел на него не сердито — грустно и уже в который раз спросил:

— Значит, твердо решил?

— Совсем твердо.

— Я ведь не прошу идти с нами до конца. Вот пройдем завалы, начнется чистая вода, тогда и шагай себе домой. А? — Надежды в этом просительном «а» было совсем мало.

— Все сказал,— упрямо повторил проводник.— Много раз сказал. Манси нельзя дальше ходить. Надо домой ходить. До свиданья.— Старик запросто, будто ему нужно было только улицу перейти, протянул руку.

Пушкарев покачал головой, сказал «Эх!» и все же подал руку. Так же Куриков попрощался с Николаем. Юра от него отмахнулся и, не скрывая презрения и гнева, обругал:

— Шайта-ан!

Не говоря больше ни слова, манси повернулся и неторопливым, ровным, спорым шагом ушел в урман. За ним потрусила его лайка, такая же неприветливая и молчаливая.

Затих легкий похруст сучков под ногами Курикова. Николай зло сощурил глаза на Пушкарева:

— Ну? Говорил я!

Пушкарев не возразил, не огрызнулся, только упрямо качнул головой:

— Вытянем! Втроем-то.

— Вытянем... ноги.

— Брось ты ныть!

— Я не ною, товарищ Пушкарев. Наоборот. Я сторонник решительных действий. Надо идти с Куриковым, и все. Послушайте, давайте нагоним его. Хоть раз послушайте доброго совета, а?.. Эх! Подохнуть тут в урмане — это, по-вашему, научный подвиг? Грош цена такому подвигу!

— О каком подвиге речь? Просто мы должны пройти Вангур. Должны. Это понятно? И мы пройдем.

— Ну, посмотрим...— тихо и значительно произнес Николай.

Дальше в этот день они не поплыли: нужно было закончить начатый шурф. Хотя и говорят: «Работа всякую беду глушит», ощущение беды не покидало их весь день.

Тоскливо было вечером у костра. Разбухшие темно-серые тучи придавили урман, и он сердито ворочался, кряхтел, постанывал. Беспокойно, суматошливо раскачивались ветви. Под громадными стволами палатка, освещенная колеблющимся, неверным пламенем костра, казалась очень уж маленькой и жалкой.

Пристроившись поближе к огоньку, Пушкарев писал в походном дневничке. Собственно, это был не дневничок, а обычный журнал наблюдений. Он вел его пунктуально. Юра, отдуваясь, прихлебывал из большой кружки кипяток. Николай копошился в палатке, не то укладывался спать, не то еще что-то. Вдруг он крикнул тревожно и громко:

— Товарищи! Вы знаете, какую свинью подложил нам старик?.. —Николай вылез из палатки с рюкзаком в руках.— Патроны, дьявол, с собой прихватил. Полез я за свечой, смотрю — вроде патронов маловато. Половина осталась.

— Не может быть! — Юра поставил кружку чуть ли не в костер.

— А не выпали? — предположил Пушкарев.

— Да нет, я все в палатке осмотрел. Вот.— Николай высыпал перед Пушкаревым патроны из рюкзака.— Восемнадцать штук. А фляга со спиртом... она ведь тут же была?.. Ну, значит, и ее захватил. Свинство!

— Это не свинство,— мрачно откликнулся Юра,— это предательство. Уголовщина!

Пушкарев, машинально ломая сухую веточку, густо дымил трубкой.

— Никогда бы и не подумал. Манси — и воровство? — Он покачал головой и отбросил ветку.— Ну, что поделаешь... Не догонишь.

Так же, как тогда, с этой проклятой дыркой в лодке, ему было тяжело взглянуть на товарищей. Долго сидел он задумавшись, потом снова принялся за дневничок.

Протянув к костру огрубевшие, в ссадинах, руки, Николай неотрывно смотрел на светлые нити пламени. Тихо ворча что-то, Юра взялся за недопитую кружку. «Философическая» натура его взяла верх, и Юра принялся рассуждать:

— Ну и черт с ним! Пусть подавится. Не проживем, что ли? И вообще, товарищи, вы догматики, хотя и высшее советское образование получили. Плохо, значит, диалектику изучали. Он же килограмма на два груз нам облегчил. Спасибо надо говорить... Или вот ужин вам не понравился. Рыба без соли, питье без сладости. А с таким ужином одна красота. Талия с таким ужином не портится, мытье посуды,— Юра покрутил в кружке остатки кипятка,— механизируется. Раз!— он выплеснул воду и сунул кружку в ведерко к другим, уже чистым,— и готово.

Николай чуть скривил губы:

— Все балагурством утешаешься.

— И еще бритьем,— уточнил Юра.

Брился он, хотя природа пока что и не особенно настойчиво требовала от него этого, регулярно.

Борис Никифорович оторвался от записей — решил тоже пошутить:

— Куда там! Единственное утешение у него, наверное, мечта о хорошем куске мяса, кринке молока и хотя бы в килограмме хлеба. А, Юра, так ведь?

— Милый Коля! Не верь ты этому черствому мате-

риалисту. Он же не способен учитывать такой, например, могучий фактор, как гитара. Она же у меня чародейка.

Опрокинувшись на спину, Юра вытянулся во всю свою почти двухметровую длину,и рука его вытащила из палатки гитару. Но, видно, все же не совсем мимо цели была направлена шутка Пушкарева: струны гитары под Юриной рукой зазвенели вовсе не так уж весело. Нет, не веселой была песня Юры.

И Пушкарев и Николай услышали ее впервые. Кто написал ее, они не знали, да и не интересовались этим. Мы не очень-то любопытны, когда дело касается авторов песен. Лишь бы пелось. И, конечно, они не догадывались, что автор сидел рядом с ними, что это свою душу настроил он в лад душам товарищей. Так, как положено настоящему поэту.

Это была суровая песня. В ней не было жалобы, и жили в ней сильные люди, умеющие смотреть опасности в лицо... Но ведь и сильные люди могут печалиться и тосковать. Пел Юра на чуть измененный мотив старой воровской песни, однако новые слова заставили и музыку звучать по-новому — мужественно. Юра пел:

Шумит неспокойно урман,
И волны холодные плещут,
И в тысячу сил ураган
Нам в лица усталые хлещет.

В глухой и далекой тайге
Идем мы навстречу всем бедам,
Навстречу снегам и пурге,
Навстречу желанной победе.

Я знаю, любимая ждет
И ждет меня старая мама.
Заветное слово «Вперед»
Всех смелых ведет и упрямых.

А в тысячу сил ураган
Нам в лица усталые хлещет,
Шумит неспокойно урман,
И волны холодные плещут.

Юра пел, и Николай не шелохнулся у костра, только блики огня то вспыхивали, то гасли на его лице. Пушкарев лежал на спине, глаза его были широко рас-

крыты, он смотрел на бегущие по небу тучи, а видел... кто его знает что.

Оборвалась песня, дрогнули в последний раз и замерли струны под большой исхудавшей рукой, и стало слышно, как глухо плещут о берег волны Вангура и поскрипывают, раскачиваясь, угрюмые кедры.

Еще задумчивый, погрустневший, Борис Никифорович сел, сказал устало:

— Тут чародейства немного надо. Вот ты бы что-нибудь повеселее... Можешь?

— Мы с ней хоть что,— неохотно отозвался Юра, но тут же встал и задорно тряхнул гитарой.— А ну!

Пальцы дернули струны и пошли вперехват, вперeплет, вприпрыжку. Юра сыпанул частушку, другую, подбоченился, повел плечом, притопнул и двинулся этаким гоголем около костра. Вот ноги не спеша, с выкрутасами — носок за пятку, пятка за носок — подвели его к Николаю. Юра изогнулся, лихо топнул, зачастил пуще, подзадоривая товарища. Тот с вялой усмешкой мотнул головой: нет... Тут встал Пушкарев и начал поводить плечами и притопывать.

Юра закатил перебор еще похлеще.

Старый филин, дремавший в переплете веток, открыл глаза и с удивлением вытаращил их. Два оборванных, исхудавших человека смешно и дико размахивали руками, выкрикивали что-то и подпрыгивали около костра. Но, видно, они знали, что делали, и обладали какой-то волшебной силой: свет костра, казалось, вспыхнул от этого ярче, и полянка, на которой плясали люди, раздвинулась. Филин похлопал глазами, пригнулся и бесшумно нырнул в густую, застоявшуюся темень урмана.

Борис Никифорович, запыхавшись, опустился на землю. Присел и Юра.

— Я ж говорю: чародейка. Все может! — Тут Юра взглянул на Пушкарева и хохотнул.— Вот тебе и сухарь... Я ведь вас, Борис Никифорович,— уж признаюсь,— долго сухарем называл. Так и всему человечеству сообщал.

Пушкарев не улыбнулся, только глянул веселее, чем обычно, и ответил:

— Сухарь свое дело знает. Пышечки — на праздники, сухарь — на черный день... годится... Ну, великие

путешественники, пожалуй, надо и поспать. Давайте-ка — отбой.

Тяжелым, усталым шагом он двинулся к палатке.

Плещут черные волны Вангура о корму полувытащенной на берег лодки. Раскачиваются, поскрипывая, деревья, глухо шумит урман, будто дышит надсадно и тревожно.

Все на том же месте у костра сидит Николай, склонившись над потрепанной картой. Вот он зябко поежился, поплотнее запахнулся в наброшенный поверх ватной куртки брезентовый плащ и уставился в костер. В неподвижных глазах заметались отсветы огня.

Вымахнул из костра язык пламени, переломилось и рухнуло в золу обгоревшее полено, взбрызнули искры и, падая, тотчас потухли...

Глава десятая

1

Холодный серый рассвет вползал в тайгу, костер догорал, лишь две крупные головни, покрытые пеплом, чуть дымились. На поляне лежал иней.

Юра высунул взлохмаченную голову из палатки, огляделся и наконец, решившись, вынырнул из тепла. Пушкарев из палатки спросил:

— Как там шайтан насчет погодки распорядился?

— Правильно распорядился.

Юра принялся за костер. Вылез на свет божий и Пушкарев.

— А Николай где?

— Николай? — удивился Юра.— А в палатке?

— Только воздух.

На ветке, воткнутой у костра, белела бумажка. Неровной, ломаной скорописью разбежались три слова: «Пошел поохотиться. Николай». По инею темнели уходящие в урман следы. Недавно ушел.

— Проявил инициативу! — недовольно буркнул Пушкарев.

— А не сбежал?

— Ты думай, прежде чем говорить!

Принимаясь готовить завтрак, Юра балагурил:

— Что угодно вам получить? Кофе? Какао? Бульон? — шутил он, как всегда, с довольно мрачной физиономией.— Может, заодно поджарить яичницу?

— Сам ты яичница. Смотри, концентратов почти ничего. Придется все-таки подсократиться еще. На вот.— Пушкарев протянул пачечку пшена.— В расход четверть пачки.

— Чудесная будет баланда!

— Что-то я не досчитываюсь одной пачки... Ох, этот старик! Никак я от него не ждал.

— Вот бы Николай глухаришку на завтрак зацепил! Килограммчиков этак на пять. Хорошо!

Борис усмехнулся:

— А дятла не хочешь?..

К завтраку Николай не вернулся. Давно пора было отчаливать, а они сидели у костра бездельничая. Дважды бродили по окрестной тайге, кричали, надрывая горло, стреляли — Николай не откликался, не появлялся. На душе стало тревожно. Пришла ночь — его все не было.

Юра бренчал на гитаре что-то грустное, потом ему от этой музыки стало совсем тошно, он отложил гитару и молчаливо нахохлился у костра. Пушкарев уже в который раз взглянул на часы, посопел потухшей трубкой, взял ружье и выстрелил.

— Без патронов останемся,— сказал Юра.

Пушкарев покосился на него, ничего не ответил и выстрелил еще.

Рассвет застал их сидящими все там же, у костра.

Пушкарев поднялся:

— Достань аптечку. Схожу еще. Сигнал в случае чего — два выстрела...

Вернулся Пушкарев уже во второй половине дня. Его куртка в нескольких местах порвалась, на лице тонкими кровяными полосками темнели царапины, губы запеклись. Он тяжело опустился у костра и долго пил из ведерка. Когда он кончил пить, Юра посмотрел в его глаза, хотел сообщить, что и он ходил на поиски и вернулся всего час назад, но ничего не сказал, только нахмурился и опустил голову.

Опустил голову и Пушкарев.

Было отчего. Второй день увязали они в этих мыс-

лях: что случилось с Николаем? И что делать им?

Увяз в болоте? Погиб в схватке с медведем или рысью? Они не слышали ни одного выстрела. Они облазили все окрест и не нашли ничего, что могло бы сказать о несчастье. Может быть, Николай заблудился? Это было бы очень возможно, если бы не Вангур. Карта и компас в любой час помогли бы ему выйти к реке. Ушел? Но куда? В ближайшую юрту? На том берегу Вангура они есть, в нескольких днях ходьбы. Но уйти в сторону, противоположную базе? Бросить товарищей?.. Нет, об этом нельзя и думать.

Но что же тогда с ним случилось? И что им делать дальше?

Доверили тебе группу, товарищ Пушкарев, и что? Проводника отпустил, не смог убедить, настоять на своем. Товарища лишился... Что с ним? Ты знаешь это? Может быть, он уже погиб? Ты даже и на этот вопрос не можешь ответить, начальник группы!.. А поиски рутила? Ну вот, послали тебя, коммуниста, кандидата наук, чтобы сказать «да» или «нет». Очень важное «да» и очень важное «нет». Но ты не можешь ответить ни да, ни нет. Какого же черта ты брался за это большое дело, дорогой товарищ Пушкарев!..

Ждать здесь? Кружить по урману вокруг этой стоянки? А что это даст?..

Всю ночь, всю долгую осеннюю ночь беспокойно копошились и грызли мозг эти мысли. Юра, сморенный сном, бормотнул что-то, пошевелил губами и задышал сильно и глубоко. Приоткрывшись, губы сделались по-детски пухлыми. Пушкарев взглянул на него. «Недоставало, чтобы и этого парня я лишился здесь...» Он взял брезент и осторожно набросил на товарища. От этого легкого прикосновения Юра проснулся.

— Вот леший, задремал! — сконфуженно сказал он, потер глаза и сел.— Ого, уже светает!

— Что вскочил? Спи.

Юра огляделся — нет, Николай не появился.

— Ну, и что будем делать?

Именно этого вопроса Пушкарев ждал. Ждал — и не знал ответа. Вот до этой секунды. А в эту секунду ответ пришел сам.

— Будем двигаться. Дальше.

Юра помолчал, потом сказал тихо:

— Да, ничего другого не придумать.

Молча они позавтракали жидкой несоленой баландой, молча собрались, сложили и перетащили в лодку палатку и вещи. На вырванном из журнала наблюдений листке Пушкарев написал: «Ждали тебя двое суток — безрезультатно. Поплывем дальше по Вангуру и на базу. Под камнями провиант тебе. Не обессудь, сколько уж есть».

Все, что осталось от продуктовых припасов, Юра разложил на три части.

— Взгляни: так?

Пушкарев кивнул: так.

Помедлив, он вынул из рюкзака патроны — двенадцать — и тоже разделил их на три части. Две части продуктов и патронов Юра сложил в рюкзак, третью завернул в брезент и засунул в спальный мешок Николая. Выкопали яму и опустили сверток в нее, сверху прикрыли камнями, положили в банку из-под пороха записку и все засыпали землей. В холмик воткнули жердь с короткой запиской: «Смотри здесь».

— Думаю, заметит,— хмурясь, сказал Пушкарев.

— Если вернется, как не заметить!..

Уже пора было плыть, но Пушкарев все стоял у этой жерди и хмурился, размышляя о чем-то. Юра топтался возле, наконец напомнил:

— Ну как, двинулись?

Пушкарев молчал. Потом он медленно поднял голову, внимательно посмотрел на Юру и сказал глухо и тяжело:

— Вот что, Юрий... Решать — так до конца. Продолжаем мы поиски рутила?

Уже не первый день мучительно трудно допытывался Пушкарев у своей совести: имеют ли они на это право? Два дня назад это был их непреложный долг. Теперь это не могло ли стать их преступлением? Поиски титанового месторождения требовали задержек. Тревога за Николая, необходимость скорее сообщить о случившемся отметали задержки.

Пушкарев думал и думал об этом, и перед ним возникал строгий конференц-зал института, и десятки глаз были устремлены в его глаза, в его душу. Здесь, на глухой таежной реке, он держал ответ перед партийной организацией института.

Долг или преступление?.. Он должен был решить это сам.

Тяжесть славной доли руководителя познается не в беспокойных, хлопотливых делах. Она познается вот в такие минуты раздумий.

Преступление или долг?..

А Юре на память пришел давний детский разговор. Это был разговор с другом. «Юр,— сказал однажды этот друг,— а что, если бы вот ты стал... ну, в общем, самый главный на войне... И, чтобы была победа, тебе обязательно нужно выбрать, кого убить: меня или Ваську Птицына. Ты бы как решил?» — «Зачем это: убить?» — «Ну, вот так было бы нужно. Я ведь понарошку. Если бы».— «Факт, Ваську». — «А если бы так: меня или себя?» — «Себя». — «Ну, а вот так,— не унимал своего злого любопытства друг, — меня или мать?» — «Ну, так не может быть...» — «Ну, а все-таки, если бы...» Юра тогда подумал, подумал, закатил другу-приятелю леща и заревел...

Юра вспомнил этот давний детский разговор и невесело улыбнулся. На вопрос Пушкарева он ответил так же тяжело и глухо:

— Борис...— Юра в первый раз назвал своего начальника так, просто по имени, словно хотел стать с ним на равную ногу, чтобы разделить ответственность.— Я тебе уже говорил... о Николае... что он, по-моему...— Юра замолк.

Все было сказано.

Когда стоишь на острие ножа, не зная, в какую сторону упадешь, достаточно и очень малого толчка, чтобы сторона определилась. Пушкарев еще не знал, что скажут ему на это коммунисты института, но он принял решение.

Он вздохнул, упрямо склонил голову и повернулся к реке:

— Двинулись.

2

Николай шел третьи сутки. Путь был верным — не заблудишься: вверх по течению Вангура до его левого притока Никля, а по Никле — до юрты Курикова.

На левый берег Вангура он перешел в первый же день, а к исходу второго вышел к Никле. Ее темная буроватая вода ничем не отличалась от вангурской. И бежала она так же спокойно, с ленцой, холодная, бесстрастная вода.

В последний раз Николай посмотрел на Вангур. Где-то там, далеко позади, копошатся у лодки двое... Николай задумчиво и невесело усмехнулся...

В тот вечер, переложив в свой рюкзак часть патронов, спирт и пачку пшенного концентрата, он думал уйти на глазах у товарищей. Поругаться — крепко, горячо! — с Пушкаревым и уйти. Но испугался: за это придется отвечать. Можно лишиться и комсомольского билета и аспирантуры. Однако оставаться он не мог: для него было ясно, что без проводника, без пищи их ждала гибель. Уговаривать их, убеждать? Он пытался. Но разве такого, как Пушкарев, уговоришь!.. И Николай ушел тайком, обманув их своей запиской.

Его подстегивало тогда угрюмое ликование злобы. «Поищи без меня, если такой умный! — думал он о Пушкареве.— Через неделю сам будешь рад выйти к юртам, да поздно будет. Вспомнишь меня».

Потом злорадство сникло. Собственно, его не стало меньше, просто оно отошло на второй план, заслонилось другими мыслями. Записка «Ушел поохотиться» оправдает его в любом случае. Это очень естественно: не хватало еды, пошел подстрелить что-нибудь, заблудился... С кем это не могло случиться? Потерял компас, заплутал, закружился. Очень естественно... Ответить людям сумеет. И не это волновало его. Нужно было ответить самому себе и перед самим собой.

Так ли сделал он, как было надо?

Ну, а как было надо?

Ведь он же прекрасно видел, что дело стремительно движется к краху, что дальнейший путь по Вангуру грозит просто-напросто гибелью. И Пушкарева он об этом предупреждал. Он не молчал, нет, он говорил об этом прямо, открыто.

Что ж, сила силу ломит. Трудности, которые встали перед ними, не преодолеть... Да, Николай признавался себе, что эти трудности его согнули. Отправляясь на Вангур, он, конечно, знал, что придется бороться, и, может, не на шутку. Неспособным к борьбе он себя не

считал. Он был готов к схватке с природой, и даже к жестокой схватке. Но эта, медлительная, изнуряющая, тянущаяся день за днем, день за днем, была не по нему. Эту он не выдержал.

Отчего? Наверное, сказалась непривычка к таким вот трудностям, к длительным лишениям. В жизни ему приходилось, и не раз, преодолевать препятствия. Он брал их, как бегун — барьер. Он всегда верил в успех, и успех его не обманывал. Успех так или иначе означал награду. Тут он не видел награды. Тут он видел только провал — провал своей идеи, своих планов, укоризненные и насмешливые взгляды, недоверие в будущем. И, главное, он видел худшее — призрак смерти.

Ну ладно, а Пушкарев и Петрищев? Что вело их? Чувство долга? А что такое чувство долга? Стремление сделать нужное дело, и сделать как можно лучше. Погибнуть в урмане — разве это сделать нужное дело?..

Но нет, какие оправдания себе он ни искал, как ни успокаивал, как ни убеждал себя в том, что уйти от товарищей был вынужден, тревожное, тоскливое беспокойство щемило душу...

Последний раз взглянул на Вангур, Николай поправил ремни легкого, почти пустого рюкзака, подхватил ружье и, уже не оборачиваясь, двинулся по берегу Никли.

Не так давно тайга здесь горела и до сих пор не ожила. Черные, лишь снизу подернутые мхом стволы словно окаменели. Ветер проносился мимо, не шевеля их. Деревья упрямо топорщили изуродованные, обгоревшие ветви. Они казались страшными, а были совсем бессильны.

Николай шел по этому черному безмолвию и, чтобы отогнать навязчивые мысли, старался представить, как бушевало здесь и ревело с посвистом и уханьем яростное пламя, как взметывались в небо гигантские пригоршни искр, раскаленные головни и дым. Но урман рассеял мысли, от которых хотелось отделаться, раскинув перед Николаем громадную болотную топь.

Теперь и мысли и чувства были заняты преодолением этой преграды. Редкие кочки трепетали под ногами, как живые. Они все пытались сбросить его в затя-

нутую радужной пленкой жижу, расстилавшуюся вокруг. Шестом Николай упирался в соседние кочки: между ними опоры не было, шест уходил в бездонную глубь. Впереди виднелся врезавшийся в болото узкий сухой мысок, до него оставалось не больше двухсот метров.

И тут Николай чуть не погиб.

Одна из кочек круто накренилась под ним, он переступил и быстро оглянулся, выискивая, куда можно перепрыгнуть. Что-то громко хлюпнуло, кочка подвернулась и поползла в сторону и вниз. Николай взмахнул руками и, успев только поднять ружье, ухнул в топь. Холодная смрадная жижа плотно охватила тело. Под ногами ничего не было. Николай вцепился в жесткий пучок травы на кочке и рванулся вверх. Кочка пошла вниз. И вместе с ней Николая потянула к себе холодная вязкая смерть... Он набрал в легкие как можно больше воздуха и рванулся снова к маленькой искривленной березке, которая прилепилась на соседней кочке. Ему удалось схватить одну из ее веток, но березка была тонкая и могла вот-вот сломиться. Осторожно опираясь на брошенный плашмя шест, Николай начал подтягиваться к деревцу. Прошло несколько минут, прежде чем он уцепился за ствол березки у корней.

Когда он, промерзший, весь в вонючей тине, вылез на кочку, его долго била крупная, потрясавшая все тело дрожь.

Вернувшись обратно к горелому лесу, Николай кое-как подсушился у костра и пошел от Никли в обход болота. Но попытка найти обходный путь оказалась напрасной. Болото тянулось на несколько километров, потом, повернувшись на юго-запад, подползло к Вангуру и уткнулось в его берег.

Усталый, голодный, подавленный, Николай побрел вверх по течению Вангура. Уже в сумерках он перебрался на его правую сторону и здесь решил заночевать. С утра он поднимется еще выше по течению и, снова перейдя Вангур, окажется на правом берегу Никли. Видимо, путь к юрте Курикова проходит там.

Очень хотелось есть. У Николая оставался небольшой полурассыпавшийся и подмоченный в болоте кусочек пшенного концентрата. «Нет, его надо оставить на

утро». Николай высыпал на тряпку все сухарные крошки, какие были в рюкзаке, и долго выбирал из них мусор.

Крошек набралась почти горсть. Он клал их в рот маленькими щепотками, жевал, запивая кипятком, и думал о том, что поступил почти благородно. Ведь из общих припасов он взял только одну пачку концентрата. Все, что пришлось бы делить на троих, теперь достанется двоим. Они еще благодарить его должны!..

У него не было с собой топора, и поэтому приходилось обходиться без нодьи. Подложив в огонь смолья и несколько вывороченных в буреломе чурок покрупнее, Николай снял ружье с предохранителя и завернулся в брезентовый плащ. Спать... Но уснуть мешал голод. Кусок бы хлеба, и тогда вот спать.

И еще мешали Пушкарев и Юра. Они назойливо лезли в думы. Чтобы уйти от них, Николай стал представлять, как он вернется домой. Бороду он не сбреет. Она поможет воссоздать хотя бы сотую долю того, что пришлось ему пережить. Ох, как вскрикнет, как заплачет мама!..

А отец... отца не проведешь. Он посмотрит на бороду, иронически поиграет тренированной левой бровью и кольнет сухой насмешкой:

«Борода — это, видимо, единственное твое приобретение в этой экспедиции?»

Как помнит его Николай, на лице отца всегда жила ироническая насмешка. Он был еще мальчишкой, круглощеким, кудрявеньким Колей, а отец уже подхлестывал, колол его, как шпорами, язвительно-скептическими замечаниями. Маленький Коля любил по вечерам валяться на мягком, уютном диване, положив голову на колени маме, теплая мамина рука ласково ерошила его кудри, и мама рассказывала ему похожее на сказку будущее, в котором он становился очень умным и знаменитым человеком. А по ковру, разостланному в комнате, неслышно ступал, заложив за спину тонкие белые руки, отец, усмехался и изредка вставлял в мамину бархатную речь остро отточенные критические шпильки.

Отец был неудачником. Так говорила мама. Мама говорила, что отец очень талантливый врач, но ему всю жизнь подставляют ножку недруги, а если бы не они,

он давно бы стал академиком. Отец насмехался над этими рассуждениями, хотя в душе, должно быть, был с мамой согласен.

Своего единственного сына он, похоже, любил, но — по-своему, странно. Упорно, систематически он вводил в его мозг яд иронического скептицизма и неуважения к окружающим. От этого, думал он, его сын будет сильнее. Он высмеивал все увлечения Коли, его пионерский галстук и тимуровские затеи, комсомольский значок и субботники, туристский кружок и интерес к геологии. Он говорил, что геологов в стране десятки тысяч, целая армия букашек, роющихся в земле, и что Николаю суждено быть одной из таких букашек.

Мать, недалекая, но добрая, учила сына мечтать, школа и комсомол указывали пути, по которым можно нести мечту,— отец все это зачеркивал. Постепенно Николай приобрел навыки лавирования между силами, действовавшими на него. Подсознательно он чувствовал, что отец — лишь фразер, пустой и злой. Пытаясь противостоять ему, Николай упрямо рвался к успеху в любом деле: это выбивало у отца козыри. Но только единственный раз, когда Николаю удалось поступить в аспирантуру, отец похвалил его без насмешки: «Это, может быть, походит на стоящее. Впрочем...» — и тут же, высоко вскинув седеющую бровь, иронически поджал губы.

А теперь... Нет, и дома встреча будет неприятной.

Заснул Николай неспокойным, зыбким сном. Его разбудил кошмар.

Ему снилось детство, мягкий, уютный диван, теплая рука мамы. Дверь в комнату почему-то стала открываться, и в щель полетели снежинки. Они кружились и падали на лицо и вдруг превратились в Пушкарева и Юру. Схватив Николая, товарищи потащили его на улицу, мама заплакала и вцепилась в него, и руки у нее были уже холодными, как у мертвой, а папа размеренно и неслышно шагал по ковру и иронически улыбался. Откуда-то возникли ожившие деревянные идолы с пустыми черными глазницами и стали бить Николая толстыми тупыми стрелами. Это было больно, Николай пытался закричать и не мог, ноги его оказались крепко-накрепко спутанными. Он рванулся... и сел, дико озираясь.

Костер почти догорел. Было холодно. Неловко повернутая нога онемела, по ней бегали мурашки.

Николай подбросил в огонь топлива и придвинулся к костру. Пламя ярче осветило стволы ближних деревьев, зато за ними тьма стала гуще, чернее.

Николаю сделалось тоскливо и страшно. Сердце защемила тревога, какая-то непонятная, смутная, и он чуть не закричал от ужаса перед тьмой и одиночеством. Шевельнулась мысль: а не вернуться ли к товарищам?

Но тут же он подумал, что они, конечно, уже уплыли и ему придется пробираться к базе сквозь урман, через болотные топи одному, совсем без пищи. Он вспомнил болото у Никли и даже потряс головой: нет, нет, нет! Только к юрте Курикова. Там еда, тепло, свет. Недалеко морозы, болота подстынут, и тогда, запасшись провиантом, он пойдет на базу. Ведь он же заблудился... не все ли равно, когда выйти из тайги?..

Больше Николай уже не заснул и, похлебав жидкой кашицы из пшена, на рассвете двинулся в путь. Примерно через километр от впадения Никли в Вангур попался завал: большое дерево лежало поперек течения. Вырубив ножом прочный шест, Николай ступил на ствол.

Ствол был скользкий, но Николай упирался шестом в дно, и это помогало ему удерживать равновесие. Вдруг шест провалился куда-то, Николай согнулся, резко выпрямился... и полетел в воду.

Ружье он сразу бросил. Под ним была, видимо, яма, воду кружило и несло вниз, в воронку, и, даже держась одной рукой за ствол, Николай не мог плыть. Тогда он попытался вскарабкаться на дерево. Руки скользили и срывались. Вся одежда промокла и, по крайней мере, пудовой тяжестью тянула на дно. Вода казалась ледяной. Ноги начинала сводить судорога.

Глухо шумел урман. Равнодушный и сумрачный, катил свои волны Вангур.

3

Теперь в лодке на месте Курикова сидел Пушкарев. Вангуру было все равно, кто управляет веслом. Но Вангур чувствовал, что движения весла стали

менее уверенными и ловкими, лодка чаще вихляла и двигалась медленнее.

Маршрутную съемку вел теперь Юра. Он хотел отмахнуться от нее, но Пушкарев настоял. Это, в общем, простое дело было для Юры непривычным, он путался, сбивался, Пушкарев злился.

Но главное, конечно, было не в этом. Главным оставались завалы, эти когда-то сваленные бурями деревья, громадные тупые упрямцы, лежавшие поперек реки.

Уже на первом Юра и Борис явно почувствовали, что двое — не четверо. Пристав к берегу, они сначала перетащили все вещи, потом с натугой вытянули лодку, а волокли ее через силу.

Вытянуть лодку у третьего завала они не смогли: берег был крут. Пришлось вернуться метров на пятьдесят, там берег был положе, но, таким образом, путь волоком удлинился на эти пятьдесят метров.

Так повторялось много раз.

А еще им надо было бить шурфы. Они били их и промывали песок. Рутила не было.

Напрягая силы, изматывая себя, они упрямо, зло, наперекор всему тащились вперед по реке.

Но через три дня этому пришел конец. Через три дня они не только поняли —увидели, что дальше так не могут. Просто не было сил.

Вытащив лодку на берег, они сложили в нее все, от чего могли отказаться в пути, завалили это камнями и, оставив записку для Николая, пошли вдоль реки.

Вяло, неторопливо перекатывая темные холодные волны, бежал мимо хмурый Вангур. А они шли вдоль него пешком.

Пешком... Очень уж обыденное и, в общем, милое понятие. Но ведь ребенок, шагающий по асфальтовой дорожке, и альпинист, штурмующий скалы и бездны,— оба передвигаются пешком.

Они лезли через урман, продирались сквозь него, карабкались, корчились, увязали в болотах, и ноги сводило от холода, а спину ломило от выкопанных шурфов и пройденных километров — и все это называлось «пешком».

Но они шли. Шли вперед. В кармане у Юры лежал смятый, скомканный, небрежно сунутый туда, но все же не забытый флажок с их лодки.

Глава одиннадцатая

1

Этот шурф они выкопали на пологом бугре, вылезшем из болота у самой реки. Копали по очереди; это было очень трудно: поднять даже пустую лопату уже стоило усилий.

Борис Никифорович был в шурфе, когда Юра, промывавший шлихи, закричал. Он закричал так, будто увидел что-то очень уж страшное. Пушкарев полез из шурфа, сорвался и расшиб руку. Юра закричал опять. Кое-как Пушкарев вылез.

Юра поднял лицо от лотка, оно было ошеломленное.

— Смотри... почти сплошь рутил...

Пушкарев посмотрел на шлихи, потом на Юру, и Юра увидел, что глаза у него светлые-светлые, с легкой голубизной и взгляд их чуть растерян и недоверчив, как у ребенка, которому протягивают драгоценную игрушку-мечту, а он не знает, правда ли это, не насмешка ли над ним.

— Постой,— сказал Борис Никифорович.— Ну-ка, дай.— А сам опустился на землю и долго сидел без движения. Потом взял из лотка пригоршню шлихов.— Слушай-ка...— начал он и вдруг сморщился, будто проглотил горсть недозревшей рябины...

За несколько дней на площади около четырех квадратных километров они выкопали одиннадцать шурфов. Откуда брались силы? Отощавшим рукам было очень тяжело поднимать кирку и бить ею, поднимать и бить... Тяжело, но радостно: содержание рутила в шлихах всюду превышало семьдесят процентов. Сомнений не оставалось: у берегов Вангура залегали богатейшие руды титана.

Теперь они могли дать стране ответ и сказать определенно «да». Задача была выполнена.

Вечером начал падать снег — первые «белые мухи», редкие, медлительные, еще совсем не злые.

Натянув на ногу старательно заштопанный бродень, Пушкарев погрел над костром руки и снова взялся за шило:

— Давай и твои починю.

Юра с грустной гримасой посмотрел на свои расползающиеся обутки:

— Эх, мои модельные! — и, развязав кожаные тесемки, начал стаскивать бродень.

Орудуя шилом и дратвой, Пушкарев молчал. Неожиданно он отложил бродень и подтянул поближе к себе полено.

— Смотри, какая штука пришла мне в голову.— Он принялся чертить шилом по полену. Грубые, неровные линии складывались в схему, которая удивительно походила на ту, что когда-то профессор Кузьминых показывал Наташе.— Тут тебе наш Вангур с его рутилом, тут Ключ-камень. Так? Очень вероятно, что там, на Ключ-камне, кроме рудной зоны, есть зона метаморфических пород с включением рутила. Видимо, оттуда в течение веков его и сносило сюда. Ведь какая богатая образовалась россыпь!

— Интересно, обнаружат они там или нет?

— Да-а...— Пушкарев задумался.— Ну ладно.— Он снова взялся за бродень.— Завтра... прощай, Вангур. На базу!

— Ну и наедимся!..

С утра они рассортировали вещи. Нужно было взять с собой только самое необходимое.

Опять вырыли яму. Один за другим укладывали в нее предметы, ставшие такими привычными: радиометр, геологические молотки, кирку, фотоаппарат, одно из ружей... Борис Никифорович взялся за гитару.

— Но-но!

— Да ты что, соображаешь?

— Вполне. Она у меня весит всего триста девяносто четыре с половиной грамма.

— Громоздкая.

— Я и сам громоздкий.

Взялись за мешочки со шлихами и минералогические образцы. По-настоящему-то очередь была за спальными мешками, но взялись не за них. Унести все образцы и шлихи было немыслимо. Отбирали их в несколько приемов. Но и в первый раз, и во второй, и в третий оказывалось, что груз слишком тяжел.

— Ладно,— решился Пушкарев,— все равно придется посылать сюда — заберут. Возьмем только самые интересные, важные.

«Самых важных» набралось около пуда. А ноги и так едва держали их...

Пушкарев прикинул вес рюкзаков и, ничего не говоря, бросил спальные мешки в яму.

Сверху поставили шест. С глухим шорохом упала первая лопата земли. Скоро вырос холмик. На него положили тяжелые камни. Беззвучно и грустно падали хлопья снега.

— Будто похоронили,— нахмурился Юра.

— Еще откопаем,— возразил Пушкарев. Но лицо его было тоже хмурым.

Развернув карту с помеченным на ней местом этой последней на Вангуре стоянки, они взяли азимут на базу, взвалили рюкзаки на спину и, не оглядываясь, двинулись к юго-западу, через урман на базу.

Кружился и медленно падал снег.

2

Дом, в котором размещалась база филиала Академии наук, состоял из одной большой комнаты. Она служила одновременно и спальней, и столовой, и рабочим кабинетом. На закопченных бревенчатых стенах, сложенных из ядреных лиственниц, висели ружья, одежда. Скамейки вдоль стен, два грубых стола и изящный венский стул, оказавшийся здесь невесть по чьей прихоти, составляли всю мебель. Один из столов принадлежал радисту, и на нем стояла рация. С русской печи, занимавшей, по крайней мере, треть комнаты, всегда торчали чьи-нибудь ноги. База существовала первый год, и никто пока не мог требовать каких-то особых удобств.

Летом базой пользовались несколько экспедиционных отрядов различных институтов филиала. Сейчас все они отправились восвояси, и лишь Кузьминых да Степан Крутояров с Наташей остались здесь, чтобы дождаться группы Пушкарева. Остался и Василий Куриков, но жил он в поселке, у родственников. Большая часть отрядного имущества была уже отправлена. Время проводили по-разному. Профессор много работал. Степан пообещал Наташе настрелять белок на дошку и каждый день уходил на охоту. Наташа занималась с Василием. К ним присоединился Ваня Волч-

ков, радист, молоденький робкий паренек, смотревший на Наташу такими глазами, будто она была по меньшей мере академиком.

Так шли дни. Вначале. Группа Пушкарева все не приходила, настроение портилось, и у Наташи опускались руки, занятия перестали клеиться. Она бродила по лесу, иногда с Василием, чаще одна, училась стрелять, изучала с Волчковым азбуку Морзе — все было неинтересно, скучно...

Широко распахнув дверь, Наташа вошла в комнату. Вместе с ней ворвалась заунывная песня Василия, уже не первый час сидевшего на крыльце, ворвалась — и умерла, прихлопнутая дверью. Не раздеваясь, Наташа села на скамейку возле стола, за которым работал Кузьминых. Она молчала, но пальцы ее барабанили по столу, и это, наверное, мешало профессору. Однако он не выразил особого недовольства, не заворчал на нее, а, продолжая рассматривать образец и записывая что-то, заговорил:

— Все нервничаем? Переживаем?.. А нервничаем напрасно. Во главе группы опытный человек. Пушкарев-то. Да и Куриков — лесной волк. И там их не один, не двое — четверо. Четыре человека — это же ого-го!

Профессор оторвался от работы, поглядел на Наташу и, сняв очки, принялся их протирать.

— Снег пошел...— тихо сказала Наташа.

— Эка невидаль — снег! Вот по снежку и притопают.— Алексей Архипович встал и, потирая руки, словно они озябли, прошелся по комнате.— Не сегодня, так завтра. Очень приятно по снежку топать.

Нехорошо завыл в трубе ветер.

Профессор остановился у окна, отвернувшись от Наташи. В его глазах была сумрачная тревога.

Глава двенадцатая

1

Проклятые болота! Они выматывали вконец. Они заставляли выжимать из себя все, без остатка, силы, а сами не давали ничего — ни куска порядочной земли, ни доброго топлива, ни пищи.

В этот день — то был четвертый или пятый день их

пути от Вангура — израсходовали последний патрон... На одинокой голой березе, стоявшей в стороне от опушки, сидел косач. Хороший, крупный косач. И совсем недалеко. Срываясь с кочек, проваливаясь в мутную ледяную жижу, Борис Никифорович подобрался поближе и вскинул ствол. Ствол дрожал и качался. Пушкарев опустил его: так стрелять нельзя. Последний патрон. Надо подождать, когда утихнет дрожь.

Ну, теперь можно... Нет, все-таки ствол дрожал, мушка прыгала. Стой же, чертова прыгалка, хоть на полсекунды замри!.. Замерла. Палец судорожно нажал на спусковой крючок. Грохот толкнул в плечо, и Пушкарев увидел, как птица, сорвавшись с ветки, тяжело и низко полетела прочь. Она отлетела метров на тридцать, не больше, и уселась на другое дерево. Ствол метнулся вслед за ней, палец давнул на второй спуск, курок цокнул... выстрела не было.

Его и не могло быть. В ярости отчаяния Борис размахнулся: сейчас ружье — в щепы!.. Одумался, только сплюнул горькую, тягучую слюну и повесил двустволку на сучок. Она качнулась и замерла.

Не оглядываясь на Юру, Пушкарев двинулся дальше.

Бродни с чавканьем вдавливались в припорошенную снегом болотную мокреть. Вдавлины темнели неровной цепочкой.

Идти они каждый день старались как можно дольше. Пока держали ноги. Спать все равно почти не приходилось: мокро и холодно. Но спать было надо, тело кричало об отдыхе, и с темнотой они останавливались на ночлег.

В болоте, как и в море, попадаются острова. Это очень приятная штука — остров в болоте. Просто счастье. Но и такое счастье в этот день не давалось им в руки. Торопливо проползли на запад сумерки, уже накатывалась ночь, а места, хоть чуточку похожего на сносное, для ночлега не было. Их окружали вода и болотный нюр — чахлые, заморенные сосенки, робко жавшиеся к моховым кочкам.

Пушкарев остановился и спустил рюкзак со спины.

— Все. Придется здесь...

— Что ж, в воду ложиться? Хоть немного бы посуше....

— Тебе, может, и кровать надо? — вдруг закричал Пушкарев.— Перину подать? Электрическую грелочку? — И, поняв, что кричит зря, от нервной слабости, засопел сердито и смущенно и тихо добавил: — Ничего, как-нибудь... Сосенок наломаем.

Сосенки были маленькие, тощие, и ломать и рубить их пришлось много. И никак не разжигался костер: все вокруг было мокрым. Спички гасли одна за другой, последние обрывки бумаги не помогли. Пушкарев дважды перелистал негнущимися пальцами журнал наблюдений и спрятал его: чистых листов уже не было. Посмотрел на спички — их оставалось совсем немного. В последнем коробке.

— Вот что...— начал он и запнулся, помолчал.— Дурака я свалял — ружье бросил. Надо бы ложе на растопку. А сейчас... Придется, брат, без костра.— Он решительно завернул спички в промасленную тряпицу и убрал в карман.— Еще ведь и морозы будут.

Юра смотрел на него, словно не понимая, о чем речь. Бестолково смотрел. Потом шагнул к своему рюкзаку и рывком вытащил гитару. Рука сама зачем-то, видимо просто по привычке, легла на струны.

— «В глухой и далекой тайге...» — с какой-то странной усмешкой речитативом выговорил Юра слова из песни и сразу же резко отдернул пальцы от струн.— Держи-ка.— Словно боясь, что Пушкарев откажется, он сильно ударил гитару о колено, она жалобно звякнула и переломилась.— Все равно,— сказал Юра,— отсырела...

Спали они в эту ночь по очереди: деревьев для нодьи не было, костер быстро прогорал. Дежуривший у огня отдавал верхнюю одежду тому, кто спал.

Проснувшись, Пушкарев увидел, что костер горит неярко, вяло. Юра сидел, скорчившись, и в глазах его были слезы. Острая жалость полоснула Пушкарева. Отодвинувшись в глубь палатки, он завозился, крякнул, покашлял. Помедлив, спросил:

— Как там жизнь под небом?

Юра отозвался глухо и невнятно. Помедлив еще, Пушкарев выбрался к костру. Повернувшись к нему спиной, Юра рубил ветки. Очень захотелось подойти к этому милому верзиле, обнять его и сказать... сказать что-то необыкновенное — возвышенное и вместе

с тем простое, теплое. Но на ум не приходило, из горла не лезло ни одно такое слово.

Пушкарев сел у огня. Потом (зачем он это сделал, Борис Никифорович вряд ли сумел бы объяснить) из внутреннего нагрудного кармана вынул фотографию Наташи, долго смотрел на нее и сказал:

— Вот, брат...

Юра взглянул на портрет, на Пушкарева, все понял, в глазах его мелькнули и изумление, и радость, и еще что-то большое и светлое, как откровение. Юра тихо опустился рядом с суровым своим товарищем и промолвил только:

— Да...— и вздохнул.

2

Тревога на базе росла. Негаданно ранняя зима грозила бедой. Не дожидаясь, когда мороз скует болота, Кузьминых отправил к Вангуру людей с теплой одеждой и провиантом. Один из них вернулся, чтобы сообщить, что никого не встретили, но поиски продолжают. Посоветовавшись со стариками, профессор послал еще две небольшие партии в урман. Однако надежды на них было мало. Искать иголку в сене...

Кузьминых решил просить помощи. Тут же написал радиограмму. Четко выведя подпись и поставив точку, передал листок радисту:

— Давай, Волчков, кричи,— и, тяжело ступая по широким, чуть покатым половицам, принялся шагать по комнате.

На пороге дымил трубкой Василий. Наташа, обеими руками ухватившись за край скамьи, впилась глазами в маленького вихрастого Волчкова. Сильно хмуря безбровый лоб, он передавал радиограмму:

— «... в количестве четырех человек предположительно в квадратах семнадцать — восемьдесят четыре, семнадцать — восемьдесят пять. Положение серьезно осложняется неожиданно ранними морозами и снегом. Прошу срочно организовать поиски, а также доставку теплой одежды и продуктов питания с воздуха. Профессор Кузьминых. Передал Волчков...» Перехожу на прием. Перехожу на прием.

Томми, лежавший у входа, вдруг заскулил. Наташа

зло швырнула в него варежкой, резко поднялась и, подойдя к окну, уткнулась лбом в стекло. Снаружи о стекло хлестали горсти колючего, хрусткого снега.

3

Почти из-под самых ног, взметнув снег, взлетела копалуха. Пушкарев и Юра разом выругались и проводили птицу тоскливым взглядом. Вдруг Борис крикнул что-то и протянул руку в ту сторону, куда улетела копалуха.

— Су́мех,— повторил он, и опять Юра не понял.— Да вон, на дереве.

Среди заснеженных веток виднелся небольшой амбарчик, поднятый кем-то на дерево, на высоту в пять-шесть метров.

— Промысловый амбарчик, «сумех» по-мансийски. В них охотники припасы оставляют. Повезло нам, брат!

Они бросились к амбарчику бегом, если только это можно было назвать бе́гом. Пошатывало, ноги подгибались и путались... Наконец вот он — их спасение, жизнь!.. Стволы, на которых стоял амбарчик, были старательно очищены от сучьев и коры.

— Так не взобраться,— часто дыша, сказал Пушкарев.— Это от росомах очищают.— Он начал оглядываться и разбрасывать ногами снег.— Тут жердь должна быть с зарубками. Вместо лестницы.

Действительно, под амбарчиком лежала засыпанная снегом толстая жердина с зарубками. Ее нужно было приставить к сумеху.

— Берем!

Эх, Юра! Не на тебя ли глядя, восторженно перешептывались во дворе мальчишки, когда ты играючи упражнялся с пудовыми гирями? И где твоя, Борис, цепкость сухих, тренированных мышц?.. Все высосал урман.

Конец жерди поднимался метра на четыре, покачивался и дрожал, беспомощно тыкаясь о стволы. Поднять его выше, приставить к амбарчику они никак не могли.

Вконец обессиленный, Пушкарев привалился к дереву. Ноги сделались как ватные. Юра сел, тяжело ды-

ша, медленно провел по глазам: перед ними мальтешили кроваво-мутные круги.

— Нет,— тихо сказал он,— видно, судьба уж...— И как-то странно и страшно прозвучали эти слова — оттого, что сказал их Юра.

Было тихо, но уже начинал посвистывать и трепать верхушки деревьев ветер. Приплясывая, пока еще легонько, шла над урманом непогодь. Хорошо хоть, что застанет их не в болотном нюре — в лесу.

Частые снежные искорки сыпались на лицо Пушкарева; он запрокинул голову и все не мог оторвать глаз от амбарчика.

— Слушай!.. Давай-ка сюда топор.

Мысль Пушкарева была неожиданно проста: одно из ближних деревьев свалить так, чтобы верхушкой оно привалилось к амбарчику.

Тонкая сосна вздрагивала под ударами топора и, казалось, отфыркивалась, осыпая снег. Но вот она качнулась, помедлила и, растопырив ветви, повалилась, и, поскребя ветвями по амбарчику, рухнула мимо.

Густо осыпался с ближних деревьев снег. Пушкарев убрал со лба слипшиеся волосы.

— Ну, давай снова.

Рубили снова. Вторая сосна качнулась, заскрипела, повалилась. Прямо на сумех. Юра облапил ствол. Борис Никифорович отстранил его:

— Я легче. Подставляй спину.

Наклон был крут, сучья — высоко, руки и ноги скользили по чешуйкам молодой коры. Вытащив охотничий нож, Пушкарев всадил его в ствол и, ухватившись за рукоятку, подтянулся. Передохнул. Потом всадил повыше и подтянулся снова. Ствол качался, руки била крупная дрожь. Юре снизу казалось: вот-вот Пушкарев сорвется.

Из амбарчика пахну́ло затхлым. Свет упал на раскиданные по бревенчатому полу старые, полуистлевшие шкуры, глиняные черепки, самострелы, пустые мешки.

По всему было видно, что хозяин не заглядывал сюда очень давно.

— Ну, что там? — не терпелось Юре.

Борис Никифорович не отвечал. Лихорадочно перебирал он разбросанную в амбарчике рухлядь, ощупы-

вая мешки и мешочки, заглядывал в них — ничего съестного!

— Что же ты молчишь?

Пушкареву хотелось зарыться с головой в эти жалкие, полуистлевшие шкуры, сжаться в комок и горько-горько заплакать. Как маленькому мальчишке. Он закусил губу и принялся заново перетряхивать бесполезное старье. Но вдруг, откинув из угла барсучью шкуру, он заметил под ней желтовато-серую кучку муки. Когда-то нечаянно рассыпанная здесь, она полусгнила и затвердела, и было ее совсем немного.

— Мука? — спросил Пушкарев и закричал: — Мука! Слышишь? Мука!!

Он соскребал ее так тщательно, как ни один старатель, наверное, не собирал золотой песок...

С расчетливой жадностью съели они по горькой скороспелой лепешке, испеченной в золе. Съели — и взгляды обоих почти одновременно упали на оставшуюся третью. И сразу же встретились их взгляды.

— Нет,— сказал Пушкарев.— На завтра... Ну, или на вечер.— Он бережно завернул лепешку.— Спрячь.

Они посидели молча, дожидаясь, когда натает в ведерке снег и вскипит вода. Борис Никифорович как-то странно — как будто и насмешливо, а в то же время задумчиво и грустно — усмехнулся.

— Ты что?

— Да так... Вот подумал: пошла бы на Вангур Наташа, а не ты, как вы тогда просили...

Юра взглянул на него, ничего не ответил, и опять они долго сидели молча. Разговаривать не хотелось: разговор тоже отнимает силы. Борис молча ощупал изодранные, сопревшие бродни Юры и полез в свой рюкзак, вытащил шерстяные носки.

— Держи.

— Сам и держи. Как будто у него целые...

— У меня еще есть, запасные.

— Ты слышал такие детские стишки: «Лгать не надо, лгать нехорошо»?

— Держи, говорят!

— А ну, покажи запасные.

— Ты что, ревизионная комиссия? Натягивай!.. И давай кружки, погреемся немножко, отдохнем. Может, поспится...

Уже два дня летели в снежной мути тревожные сигналы, чьи-то позывные, обрывки фраз: «В районе реки Вангур... Четверо... Квадрат семнадцать — восемьдесят пять... Никаких следов... Четверо... В районе реки Вангур...»

Два дня метался в холодном вьюжном небе самолет. Летчик видел лишь бесконечную тайгу, застланную снежной пеленой, и — никаких признаков людей...

Они очнулись от тяжелой, беспокойной полудремы одновременно.

— Самолет?!

И оба метнулись из палатки.

Они еще успели заметить, как между неясными от снежной завирухи верхушками деревьев мелькнул расплывшийся силуэт самолета. Мелькнул — и исчез; и растаял, заглох рев мотора. Снова стало тихо. Лишь свистел и насмешливо ухал ветер и потрескивал потревоженный лес. И мутное небо было холодным и пустым.

Потом самолетный гул возник еще раз, где-то в стороне, но разглядеть они уже не могли и напрасно жгли большой дымный костер, и напрасно до ноющей боли в ушах вслушивались в шумы урмана.

Глава тринадцатая

1

Рюкзак у Наташи был уже приготовлен. И сама она была готова и сидела у стола тепло одетая, в малице, положив обе руки на карту. Рукава потянули за собой бока и полу малицы, пола раздвинулась, растопорщилась, и от этого Наташа казалась толстой и неуклюжей.

В который раз она рассматривала карту, знакомую, кажется, до последней черточки на зеленоватом листе. Она рассматривала этот лист, и сантиметры вырастали в километры, и снежная белизна застилала простор, и в этом просторе, застывший, мертвый лежал Вангур, а где-то около него у одинокого костра коченели четверо.

Нет, они не сидят у костра. Они идут — упорные, смелые и сильные. Ох, как им, наверное, холодно! Но

Юра, конечно, напевает какую-нибудь песенку, упрямо хмурится Пушкарев, а Николай покрикивает что-то веселое и задорное... Глупая, глупая! Ведь снег, мороз, а у них нет зимней одежды, нет лыж и, кто знает, может быть, нет уже и пищи. Далеко ли до худшего?.. Но уже идут на их поиски люди. Из Суеватпауля, из Визжая, из Тошемки. Вчера ушел в тайгу Степан Крутояров с двумя манси. И сегодня еще уходит партия, рюкзак уже готов...

Открылась дверь, и Кузьминых, не раздеваясь, торопливо прошел к столу.

— Ну, вот что.— Он отодвинул руки Наташи и сам завладел картой.—Из этих вот юрт люди идут на поиски вверх по течению Вангура. Из этих, этих и от нас, с базы,— им наперерез, на северо-восток. Впрочем, вы это знаете... Город будет вызывать вас по радио три раза в день. А по утрам...

— Кого это — вас?

— Детский вопрос. Вас, товарищ Корзухина. — Это было сказано сухо и раздраженно.

— То есть... как это?

— Я же сказал: по радио.

— Но, Алексей Архипович...— И только тут Наташа поняла: ее в урман на поиски не берут.— Вы что же, думаете, я здесь останусь?

— А вы что, думаете, не останетесь?

— Я иду в тайгу с Куриковым.

— Ошибаетесь. С ним иду я.

— А я?

— Вот что, товарищ Корзухина, прекратите эти бесконечные бестолковые вопросы и слушайте совершенно официальный инструктаж! Ясно?

У Наташи дернулись брови, губы открылись, но она промолчала...

Через полчаса из поселка вышла в урман еще одна партия. Впереди оленьих упряжек шли на лыжах Василий Куриков и профессор Кузьминых.

2

По лесу петляют следы. Нехорошие следы. Шаг у людей неширокий, скованный, видно, что еле волочили ноги. Идущий сзади часто ступал не в след

товарища, а в сторону — пошатывало человека. Вот тут они сидели, без костра, просто так. Вставали, упираясь руками... Нехорошие следы.

А вот и сами люди. Заросшие землистые лица; сухая, потрескавшаяся кожа обтягивает кости. Бродни обернуты кусками брезента, перетянуты ремнями и бечевками.

Борис остановился, дожидаясь Юры, взглянул на компас.

Все правильно. Только вот расстояние черт разберет. Сколько они прошли? Сколько осталось? Ни одной приметы, по которой можно бы ориентироваться. Урман и урман.

Юра сзади глухо ойкнул. Пушкарев обернулся. С перекошенным лицом Юра силился подняться из снега. Борис Николаевич помог ему встать, но тот свалился снова.

— Нога... Подвернул...

— А ну сядь. Посмотрим.

Они так и не поняли — растяжение или вывих. Идти Юра не мог. Щиколотка быстро опухала. Пушкарев вырубил палку и смастерил грубый костыль. Потом стал перекладывать ношу в один рюкзак. Камни, шлихи, фотопленка, палатка да разная мелочь. Он уложил сначала шлихи и камни, потом пленку. Взвесил на руке тючок с палаткой и вопросительно взглянул на Юру. Тот кивнул:

— Обойдемся.

— Нет, выбрасывать не будем.

Пушкарев вытащил палатку из чехла и ножом распластал ее пополам. В обоих кусках брезента он прорезал по отверстию — для головы.

В этот день прошли километра четыре, не больше. А вечером впервые взялись за ремень. Юра сначала не понял, зачем Борис начал крошить сыромятную завязку от бродня.

— Варить.

— Брось. Чепуха. Это только в романах...

— Обычный ремень, пожалуй, чепуха,— согласился Пушкарев, посасывая пустую трубку,— а сыромятный — нет... Впрочем, посмотрим. Сам я тоже не пробовал.

Юра слабо махнул рукой. Мучила боль в ноге,

внутренности сводило так, будто из них выкачивали воздух. Сидя в неудобной позе — только бы не тревожить лишний раз ногу,— Юра напряженно уставился в огонь, изредка поглядывая на товарища. Стараясь казаться спокойным и рассудительным, заговорил:

— Вот что, друг Пушкарев, у меня есть одно предложение... хорошее. Слушай. Мне необходимо остаться здесь.— И, сказав главное, заспешил, захлебываясь, боясь, что товарищ, прервет его, остановит.— Ты не подумай всяких там этих... романтических... Просто так удобнее. Выгоднее нам обоим. Для дела выгоднее. Понимаешь? Один, без этой моей,— он сердито ткнул в ногу,— дубины, ты намного скорее доберешься до базы. Там дашь мои координаты. Что ты на меня так смотришь?.. Ну, что?

Почти презрительно прищурив глаза, Борис с насмешкой напомнил Юре песню:

— «Заветное слово «Вперед» всех смелых ведет и упрямых»?

— Да ты пойми: тогда все шлихи, все образцы можно оставить здесь, со мной. До базы уже недалеко. Налегке...

— Не дури! — уже сердито оборвал Борис и снова принялся за ремешок.

— А я не дурю,— теперь по-настоящему спокойно и тоже сердито возразил Юра.— Я просто не пойду — и только. Вот увидишь.

— Пойдешь. Вот увидишь...

Наутро Пушкарев ждал продолжения этого разговора. Но Юра молчал. Только когда Пушкарев начал забрасывать снегом костер, Юра поморщился:

— Я ж тебе говорил... Зачем гасишь огонь?

— Ну, хватит, поднимайся.

— Я сказал: не пойду.

— А я сказал: пойдешь.

— Ну, в общем, шагай.

Откуда только сила взялась в Пушкареве — загремел:

— Тебе говорят, вставай, сучье племя!

— Не ори, Борис Никифорович. Не пойду. Вот спичку на всякий случай оставь.

Пушкарев почти прыгнул к Юре, натужившись, рывком поднял его, тот вырвался и, охнув от боли,

плюхнулся в снег. Пушкарев опять поднял его. Задыхаясь, Юра крикнул:

— Уйди! Пластом лягу... брыкаться буду!..

Выдохшись, Борис отступил и прислонился к дереву, переводя дыхание.

— Ну ладно.— Глаза его сделались влажными.— Не идешь — все равно заставлю!

Он наклонился, схватил Юру и, рванув на себя, поднял. Негромко, но с громадной внутренней силой, как будто не голосом, а всем своим существом, выговорил:

— Излуплю до бесчувствия, свяжу, а все равно поволоку! На четвереньках, ползком, а поволоку. Ну!.. Давай руку.

Юра смотрел на Пушкарева, силился что-то сказать и не замечал, как по собственным его щекам стекают слезы. Борис нагнулся за рюкзаком, подал Юре костыль и палку и легонько подтолкнул:

— Ничего, брат... Пошли.

Они заковыляли, и сумрачные таежные гиганты, покореженные свирепыми буревыми ветрами, чуть расступились перед этими двумя людьми.

3

Дойдя до Вангура и описав крутую дугу, Кузьминых и Василий Куриков возвращались обратно. Никаких следов пушкаревской группы они не обнаружили. Идти вдоль берегов реки, обследуя их? Но эта задача лежала на тех, кто шел вверх по течению. И Кузьминых повернул обратно в урман. Теперь он взял севернее. Очень возможно, что Пушкарев свернул с реки к базе раньше, не дойдя до намеченной планом точки.

Однажды они с Василием увидели самолет. И летчик заметил их и снизился. Тогда они быстро выложили на снегу крест из веток. Это был условленный знак: «Мы не те, кого вы ищете».. Самолет скрылся, и стало ясно, что Пушкарев и его люди до сих пор не обнаружены.

Кузьминых торопился. Но все же идти так быстро, как хотелось, они не могли: хотя болота и подстыли,

кочки мешали оленьим упряжкам, и, кроме того, нельзя искать бегом.

Профессор не любил зимний урман. Он казался ему неживым. Снег однообразным покровом занес таежный хаос, ледяная дрема сковала деревья, все выглядело пустынно и уныло. И где тут найдешь следы людей? Разве что прошли совсем недавно...

— Лексей Архипыч! Иди, однако, сюда!

Это кричал Василий, шедший в стороне от профессора. Кузьминых побежал к нему. Василий топтался у небольших пеньков свежесрубленных деревьев, торопливо разгребая занесенную снегом кучу веток.

— Недавно, однако, рубили. Надо снег мало-мало кидать.

Нехорошо заныло сердце. Кузьминых сошел с лыж и принялся помогать парню. Где-то тут может оказаться кострище.

Действительно, скоро показались головешки. Присев на корточки, Василий осторожно разгребал снег руками. Вот он нагнулся ниже и подобрал с золы какой-то мелкий предмет.

— Шибко худо, Лексей Архипыч. Кожу кушали, ремень.— Василий протянул профессору обгорелый, сморщенный кусочек.

Кузьминых, насупившись, тоже присел на корточки. Лицо его сделалось совсем суровым и встревоженным: профессор хорошо понимал, что означает эта находка.

— Верно. Худо. Очень.

Он встал, угрюмо огляделся. Никаких следов. Все занес холодный, мертвый снег...

Глава четырнадцатая

1

Обняв своего Томми, Наташа сидела на крыльце базы. Густо-серые, чуть отливающие синевой сумерки сжали мир. Он стал совсем маленьким: расплывчатые силуэты нескольких изб, неяркие светляки окон — вот и весь он. А вокруг черная стена урмана и мутная тьма неба.

Который вечер выходит она на крыльцо и сидит вот так, коченея от тоски!.. Ваня Волчков весь день хлопочет: настраивает рацию, ведет прием и передачу, топит печь, готовит пищу, моет посуду. А Наташу сковала тупая тоска, и часами она сидит молчаливо и неподвижно, пугливо вздрагивая при каждом взлае поселковых собак.

Вот и сейчас они залаяли, и Томми беспокойно завозился и уже не хочет сидеть, уткнувшись носом в пышный мех малицы. Наташа подняла голову, отвернула капюшон и прислушалась. Кто-то едет, уже близко: слышны легкий поскрип нарт и шумное дыхание оленей.

Наташа вскочила, и в то же время по светлому четырехугольнику одного из окон мелькнул силуэт оленьих рогов. Упряжка остановилась в трех метрах от девушки. С нарт шагнул приземистый старик.

— Здравствуй. Ты с базы человек? (Наташа кивнула, и манси подал ей сухую шершавую руку.) Здравствуй! Прибежал тебе сказать: прапесар и Вася Куриков у нас, в Охляпауле. Близко, тут. Из урмана прибежали. Людей в урман посылают ходить. Снова искать.

Он замолчал, с любопытством глядя на Наташу, ждал, что она ответит.

— Значит... не нашли? — спросила Наташа, как будто это не было и так ясно, и повернула голову, стараясь за чем-то заглянуть в глаза старику.

— Если нашли, зачем снова в урман ходить? — поймал он девушку на слове.— Не нашли. Искать будем. Найдем. Прапесар завтра к тебе прибежит. И Вася прибежит. Снова в урман пойдут. Все пойдем.

— Снова...— тихо сказала Наташа и долго покачивала головой.

Она не слышала, как манси попрощался с ней, и не заметила, что упряжка исчезла: старик завернул к кому-то из жителей поселка. Наташа постояла, потом, не зная куда и зачем пошла. Не она пошла — ноги. Когда она сообразила, что куда-то идет, огоньки поселка меж деревьев были видны еле-еле.

«Что же это я? Брожу... Надо что-то делать, людям рассказать. Радиограмму в город...»

— Томми!

Он лаял где-то в лесу. Какой-то странный, бесноватый лай. Напоролся на зверюгу?

— Томми!

Непослушный пес!.. Она пошла к нему.

А Томми лаял и прыгал возле Пушкарева. Пес сбил его с ног, и теперь Пушкарев пытался подняться и не мог. Юра тоже упал, хотел выругаться, но только хрипел...

2

Прикрытый меховым одеялом, Юра лежал в углу избы на широкой лавке. Сквозь густо смазанную жиром кожу, между корост проступали неровные красные пятна, губы покрылись мелкими белыми чешуйками, Юра дышал отрывисто. Пушкарев, сидя у него в ногах, курил трубку и растерянно поглаживал выбритое лицо; оно казалось ему чужим. Кузьминых часто поглядывал на них, но думал о чем-то другом.

— Да... Все-таки очень, очень непонятная история.— Наташа встала и принялась собирать со стола грязную посуду.

Пушкарев вскинул на нее глаза, нахмурился:

— Наташа, вы повторяете это уже в третий раз, и все таким тоном, словно хотите сказать, что мы бросили Николая, сбежали от него!

— Нет, этого сказать я не хочу. Но ведь речь, товарищи, идет о жизни человека! Неужели это непонятно? — И, боясь, что расплачется, нагнувшись над столом, она глухо добавила:— Видно, собственная дороже...

Борис Никифорович встал, губы его затряслись. Юра приподнялся, бросил на Наташу укоризненно-гневный взгляд, хотел, должно быть, сказать что-то очень резкое, но сдержался и, откинувшись на ложе и глядя в потолок, тихо выговорил:

— Это еще неизвестно, кому что дороже. Вот Николаю, я думаю... Он сбежал, я думаю.

Наташа круто повернулась к нему;

— Ох, как это тебе, оказывается, легко — обвинить человека в таком!.. Но скажи: если Николай Сергеевич сбежал, так почему вы здесь, а его нет? Ведь нет его!..

Лицо Пушкарева потемнело. Ладонь Алексея Архиповича, поглаживавшая стол, начала похлопывать по нему. Профессор решил вмешаться в разговор:

— Вот что. Вы, Наташа... это... полегче.— Ладонь хлопнула по столу сильно и замерла.— Опять, я полагаю, ошибаетесь. Вам иногда это свойственно. Факты покажут. Факты.

— Но поймите меня, Алексей Архипович... Борис Никифорович, я очень уважаю вас, но поймите...

— Я все очень хорошо понимаю,— глухо прервал Пушкарев.— И... отложим этот разговор. Вот найдем Плетнева...— Пушкарев умолк и начал набивать трубку, табак рассыпался.

Ваня Волчков с испугом и растерянностью поглядывал на всех. Наташа тряхнула головой, бросила в горку грязных мисок последнюю и молча быстро отошла от стола.

Кузьминых взглянул на нее неодобрительно, но, успокаивая других и главным образом, наверное, себя, продолжил свою мысль:

— Я говорю, факты... Вот старик Куриков... Очень жаль, что мы до сих пор не догадались послать когонибудь к нему. Да ведь кто же знал? Неизвестно было, что он ушел, что потом Плетнев... исчез. Поездка к Курикову, я полагаю, поможет что-нибудь выяснить... Ну ладно.— Профессор, бодрясь, поднялся.— Давайтека, пока там Василий готовит оленей, все-таки посмотрим вангурские образцы...

Он начал выкладывать из рюкзака Пушкарева на стол мешочки со шлихами и горделиво и радостно воскликнул:

— Вот ведь человечищи — что тащили с собой!

А «человечищам» было совсем не до гордости и не до радости. Пушкарев, уныло и зябко сгорбившись, сосал свою трубку, с беспокойством посматривая на Юру. Юру корежили боль и жар, ему хотелось кричать и метаться, но он только мотал из стороны в сторону головой. Кузьминых понял, что даже титаном ему сейчас не развлечь свою «молодую гвардию», не отвлечь от дум и боли. Он тихо опустил рюкзак на стол и начал прохаживаться по комнате. Что-то насторожило его, он остановился, прислушиваясь, и вдруг рванулся к двери.

— Вертолет!

Через распахнутую дверь все услышали необычный для тайги гул.

Вертолет вызвали, чтобы вывезти Юру. Утром, осмотрев его разбухшую, посиневшую ногу, Кузьминых тихонько позвал Пушкарева на улицу.

— Боюсь, гангрена. Это вещь, знаете, такая... Впрочем, я не медик, судить не берусь.

Радиограмму, когда Волчков передавал ее, Юра, конечно, слышал. Страшное слово в ней не упоминалось, но многое можно было понять. Однако парень крепился и пытался разговаривать в своем шутливом тоне.

— Вот отхватят у меня эту дубину,— сказал он.— всю жизнь буду на каком-нибудь самокате ездить.

— Кто это тебе сказал, что отхватят? — рассердился Кузьминых.— Ишь, какой быстрый!

— Я ж, Алексей Архипович, не утверждаю. Я предполагаю, научно, на основании фактов...

Сел вертолет прямо в поселке. Невиданную металлическую стрекозу окружили манси. Самолеты они знали, а вот как и почему летает эта бескрылая штука, было непонятно.

К машине Юру принесли. Экипаж вертолета и врач торопились. Они отказались даже от чая. Врач, желтоусый сухопарый старичок, на вопрос Кузьминых ответил, что у больного гангрена.

Наташа, услышав это, охнула и, отвернувшись, тихо заплакала...

Пушкарев влез в кабину вертолета и опустился на пол у носилок, на которых, укутанный в меховые одеяла, лежал больной. Глаза Юры лихорадочно блестели, на щеках горел румянец, но все же он попытался подмигнуть и хрипловато сказал:

— Вот. На вертолете прокачусь. А вам всем по земле придется топать. Завидно?

«Что же ты передо мной-то еще храбришься?» — хотел сказать Пушкарев, но не сказал, а только взял его руку, стиснул и долго вглядывался в лицо — пухлые губы, крупный широкий нос, мягкая линия подбородка,— простые, не очень красиво вылепленные черты, ставшие для Пушкарева родными.

Юра не выдержал, у него дернулась нижняя губа,

он отвернул лицо и опустил веки, будто очень устал. Пушкарев припал ему на грудь, крепко поцеловал и сразу же поднялся и шагнул к выходу...

Мощно взревел мотор, лопасти ротора от вращения стало не видно, машина мелко задрожала и поднялась. Взмыв над лесом, она чуть наклонилась и, продолжая набирать высоту, быстро двинулась к югу...

Когда Василий сообщил, что олени для поездки к его отцу готовы, профессор обрадовался: слишком уж гнетущим было бездействие после отправки Юры.

— Ну вот! Вот и хорошо! Будем двигаться.— Профессор потянул с гвоздя малицу.

Пушкарев остановил его:

— Нет, Алексей Архипович, поеду я...

Кузьминых взглянул на его худющее, в царапинах, с большой коростой на щеке лицо, в скорбно-решительные глаза и понял, что речь идет о долге и чести. Он склонил голову и сказал:

— Пожалуй.

А Наташа уже натягивала на себя малицу, торопливо засовывала в рюкзак походную аптечку. Томми беспокойно поглядывал на нее.

— Лексей Архипыч...— Василий сказал это очень тихо, но профессор услышал и обернулся.— Я, Лексей Архипыч, к отцу не поеду.

— Это почему же?

— Как на отца смотреть? Почему людей в урмане бросил? Стыдно, ой!.. Здесь останусь.

Профессор задумался. Собственно, из состояния задумчивости, тяжелой и тревожной, он не выходил все эти дни. Сейчас он подвигал косматыми бровями, глянул на манси сочувственно, но возразил:

— Нет, Василий, поезжай. Все-таки отец. Он, конечно, худо сделал, но ведь ты понимаешь, старый он человек, темный... Поезжай. И вот им помочь надо.— Кузьминых кивнул на молодых геологов.— Поезжай.

Василий внимательно посмотрел в глаза профессору, будто сверяя сказанное с невысказанным.

— Ладно, Лексей Архипыч. Ты хороший человек, светлый. Сака ёмас... Поеду.

Профессор стоял около базы до тех пор, пока упряжки не скрылись в тайге. Они скрылись, и Алексей Архипович, склонив тяжелую голову вперед и чуть

набок, будто вглядываясь в следы на снегу и прислушиваясь к чему-то, побрел к дому. Только сейчас он разрешил себе полностью ощутить, как устало его большое тело и как густой, стареющей кровью наливается затылок. Очень захотелось лечь и ни о чем не думать — отдохнуть.

Он вошел в комнату и уже начал примеряться к лавке, на которой недавно лежал Юра, но почему-то оглянулся на радиста. Тот смотрел на него, и в ясных, чистых глазах паренька перемешались удивление, страх и растерянность. Глаза его стали такими, когда вернулись Пушкарев и Юра. Глаза эти спрашивали о чем-то большом и очень важном.

— Что, Волчков?

— Да ничего... Так...

Кузьминых сел, широко расставив колени и положив ладони на них. В висках сильно токало. Радист продолжал смотреть на него все тем же вопросительным и просящим взглядом.

— Ничего,— устало сказал профессор,— разберемся... Разберемся, Волчков! — повторил он уже другим тоном.

И, хотя Ваня не совсем понял профессора, что-то в интонации его голоса, в косом, из-под косматых бровей взгляде, хитроватом и по-стариковски мудром, должно быть, утешило паренька и подбодрило.

— Алексей Архипович, подушку надо? — встрепенулся он.— У меня есть, я дам.

— Подушку?.. Эх, была не была... займусь-ка я вангурским песочком.— Опираясь ладонями в колени, Кузьминых встал и шагнул к столу.— Давай садись сюда, помощником будешь.

Глава пятнадцатая

1

Оконце в избе Михаила Курикова пропускало мало света, и в углах таился густой сумрак. Было душно, и пахло кислым. Сидя на лежанке, застланной оленьей шкурой, хозяин юрты и Николай Плетнев ели вареную оленину. Они брали мясо прямо руками. На

заросшем лице Николая тускло лоснился жир. Волосы на голове свалялись в жесткий и грязный войлок.

Николай взял флягу и опрокинул в кружку:

— Ну, Куриков, по последней... Спасибо тебе, хорошо меня принял. Пей.

Оба захмелели. Хотя половину фляги они распили еще при встрече, оставшегося спирта хватило, чтобы вновь затуманить, закружить хмелем головы.

— Возьми фляжку.— Николай подвинул ее старику.— На память. Дарю. Хорошая фляжка.

— Хорошая,— одобрил старик.— Возьму, спасибо.

— И помни наш уговор: я сюда пришел не сразу за тобой, а позднее. Через много дней пришел. Заблудился, случайно наткнулся на юрту.

Куриков согласно покивал:

— Хорошо, хорошо... Только как говорить будешь? Моя юрта — на восход, ученая база — на закат. Почему ходил на восход, не ходил на закат?

— Компас потерял. Без компаса нашему брату заблудиться недолго. Понял?

— Понял, понял. Я все понял. Не мое сердце будет мало-мало больно — твое сердце. Не я убежал. Я начальнику говорил — ты не говорил.

Николай разозлился:

— Разболтался, старый!.. Я, брат, тоже говорил. И не раз. Что я, не видел, что ли, чем это может кончиться? Мне пока жизнь дорога... Да... А диссертацию я и без того сделаю. Так?

— Так, так.

— «Так, так»! Что ты, темная душа, понимаешь?.. Ну ладно, не обижайся, не сердись. Лыжи дашь?

— Лыжи можно. И олени можно. Проводить можно.

— Нет, нет, я один. На лыжах. Хотя... ведь компаса-то у меня нет... Немножко надо проводить.

— Можно... Бабы нет, сына нет... Хорошая фляжка... Пойдем — песни тебе буду петь... хорошие песни. Можно...

Бормоча, старик прислонил свою маленькую темную голову с растопыренными косицами к столу и заснул.

«Как бы во хмелю когда-нибудь не проболтался,— с тревогой подумал Николай.— Хотя кому он пробол-

тается? Своему брату манси? И когда? Когда отряд будет уже далеко отсюда».

А все же на душе было очень неспокойно. Николай болтнул флягу над ухом, вылил остатки спирта в кружку и выпил.

Не забыть бы выбросить компас. И патроны. Отдать старику, и все будет хорошо. Все будет хорошо.

Но как же скребет душу это чертово беспокойство о себе, о будущем... и о товарищах! Вышли они из урмана? Едва ли. Но надо быть готовым и к этому. Не вышли? Жаль ребят, но, собственно, в этом виноват не он. Что он мог сделать?.. Кузьминых, конечно, организовал поиски. Надо побыстрее двигаться. И так уже больше, чем надо задержала здесь его трусость. Трусость, Николай, трусость! Себе-то ты можешь признаться... Ведь когда-то все равно надо же держать ответ. Раньше ли, позже ли — надо. И не откладывай его. Этому нужно идти навстречу.

Николай встал и потряс Курикова:

— Вставай. Идти надо.

Старик вскочил, ошалело поморгал, торопливо пригладил волосы.

— Мало-мало поспал. Крепкая водка.

Николай усмехнулся:

— Я тебе из Ивделя еще пришлю. Только уговор помни. Понял? Вот патронов еще оставлю.

Николай взял рюкзак и начал доставать патроны, но старик вдруг замахал руками:

— Тихо. Слушать надо... Люди сюда бегут.

Николай сначала не сообразил, а потом, догадавшись, в чем дело, заметался по избе. Неужели за ним? Так скоро? Кто приехал? Кузьминых? Василий? Степан?.. Кто бы там ни был, спокойнее! Спокойнее, спокойнее, спокойнее. Может, просто какой-нибудь манси-охотник.

Скрипнули доски крыльца, дверь открылась, и в дверном проеме встала Наташа. Рюкзак выпал из рук Плетнева.

— Николай!

— Наташа?!

Нет... это послышалось: они замерли молча.

Неуверенно, робко, даже испуганно перенесла Наташа ногу через порог.

Николай шагнул к ней, протянул руку:

— Здравствуйте, Наташенька!

Она машинально подала ему руку, спросила:

— Но как же это... как вы сюда попали?

— О, длинная история... и страшная.

Николай взглянул на ее запорошенное снегом, такое милое лицо, и вдруг ему захотелось упасть перед ней на колени, заплакать и рассказать правду. Это продолжалось лишь мгновение, как будто он взлетел в высокое чистое небо... но тут же увидел перед собой жуткую пропасть. Как? Ей... рассказать? Чтобы она вот тут же назвала его подлецом? Ударила? Растоптала?.. Николай с трудом перевел дыхание.

— Проходите, Наташа, садитесь, вот сюда... Пушкарев и Петрищев... они вернулись?

— Пушкарев...— Наташа хотела обернуться к двери, но что-то остановило ее. Совсем не думая о том, что идет на хитрость, она сказала: — Они... Я у вас собиралась спросить...

Значит, не вернулись. Николай лихорадочно соображал. Вот он, момент, когда настала пора ответить, выкрутиться, оправдаться. Трудно лгать первый раз. Потом будет легче. И нельзя тянуть. Эти милые, эти чудные глаза смотрят требовательно и настороженно. Впрочем, его заминка выглядит, наверное, вполне закономерно: он поражен тем, что сообщила Наташа, и огорчен.

— Вот... Эх! Жалко ребят... Понимаете, я пошел поохотиться. Неважно было с едой. Возвращаюсь на стоянку — нет стоянки... Что такое? Заблудился!..

Начал Николай медленно, осторожно, прислушиваясь к собственному голосу, но скоро фразы стали легко низаться одна к другой, Николай увлекся.

Наташа слушала, не глядя на него. Взглянуть она боялась. Чего? Она сама не знала. Но уже чувствовала, ощущала почти физически, что ей лгут. И этот водочный запах...

А Николай торопился:

— ...В общем, плутал я долго. Еле выбрался. Забрел бог знает куда. Тонул... А потом наткнулся на юрту Курикова. Он раньше от нас ушел... Думал уже: конец, погиб. Вдруг юрта. И — такое совпадение! — юрта Курикова. Отогрелся у него, немного пришел в

себя. Сегодня собирался на базу. Вот сейчас думал выходить... Да что ж, придется их искать. Обязательно надо искать...

Николай почувствовал, что где-то, в каких-то фразах фальшивит, и вновь стал вслушиваться в свой голос. Вдруг звуки голоса исчезли: их отбросили другие — негромкие, едва слышные. Кто-то подходил к двери. Наташа опустила голову ниже. И, хотя Николай уже знал, что дверь сейчас снова откроется,— она распахнулась неожиданно, и Николай вздрогнул и подался назад: перед ним стоял Пушкарев. Следом входил Василий.

Сквозь обмякшие губы Николай невнятно вытолкнул:

— Борис Никифорович?.. Дорогой... Значит...

Пушкарев смотрел на него внимательно и как будто спокойно. Так же внимательно и спокойно он обвел глазами комнату и остановил взгляд на раскрытом рюкзаке Николая, на патронах. Нижнее веко левого глаза начало подергиваться.

С силой нажимая скрюченными, словно закостеневшими, пальцами, Пушкарев провел рукой по глазам. Веко продолжало дергаться. Губы Пушкарева скривились; вскинув голову, он шагнул вперед — к предателю, подлецу — грудью. Николай отшатнулся, инстинктивно протягивая руку к Наташе, будто ища опоры, Наташа отстранилась, и он спиной прижался к стене.

Пушкарев постоял секунду-две, круто повернулся и, так и не произнеся ни звука, вышел, с силой, со стуком прижав дверь снаружи.

У Николая кружилась голова. И все кружилось, летело, низвергалось куда-то. Николай ухватился за стену.

Теперь Наташа не сводила с него глаз. Она смотрела на него с брезгливым испугом, но где-то в глубине взгляда теплилась маленькая боязливая надежда. Наташа ждала: может быть, Николай объяснится и ее подозрения, такие страшные, почти нелепые подозрения, окажутся ошибочными? Почему Пушкарев ничего не сказал? Что тут вот сейчас произошло? Что произошло там, на Вангуре? Может быть, Николай все объяснит?..

Старый Куриков медленно, бочком обходя геоло-

тов, приближался к сыну. Он подошел к нему и сказал тихо и ласково:

— Паче, рума! Здравствуй, Вася. Сака ёмас, светлый человек, сын мой.

Василий смотрел на него отчужденно и строго, как старший. Потом покачал головой:

— Нет. Сака люль, худой ты человек, отец. Меня как учил? Нельзя друга бросать в беде. Сам бросил. Как на тебя смотреть? Как тебя слушать? Как жить с тобой?

У старика заслезились глаза. Он взял сына за руку:

— Вася!..

Не грубо, но решительно Василий высвободил руку.

— Вася! Зачем, однако, так говоришь? Я не бросил их, не убежал. Я начальнику сказал — тогда ушел. Путаешь ты. Вот он сбежал,— старик ткнул в сторону Николая,— он друга бросил. Я не тайком ушел. Тайком он ушел. Я ничего не взял, он патроны украл. Вот как, однако, было. Зачем так говоришь?

Ах, как хотелось Николаю придушить этого старикашку, выдрать у него язык!..

Наташа встала. Страшная обида и горечь были в ее глазах, но она усмехнулась и сказала совсем о другом:

— А рутил на Вангуре они все-таки нашли. Впрочем, вас это едва ли интересует... и не касается.

Только тут Николай пошевелился. Он оттолкнулся от стены:

— Наташа! Но поймите... Я вам объясню...

Сквозь дрожащие губы она набрала в грудь много-много воздуха — было похоже: чтобы удержаться, не упасть,— полузакрыла глаза и выдохнула:

— Не надо... объяснять.

Круто, как недавно Пушкарев, она повернулась и вышла, ударившись о косяк, и не закрыв дверь.

Следом за ней шагнул Василий.

Старый Куриков рванулся было за сыном, но остановился, коротко и беспомощно махнул рукой, опустился на лежанку и принялся раскачиваться, как человек, который мучается нестерпимой болью.

Ветер бросил в открытую дверь снег. Николай не шевельнулся. Выражение страха так и застыло на его лице.

2

Пушкарев одиноко сидел на обрывистом берегу Никли. Его мутило, злая тоска мяла и тискала душу.

Не замечая его, на берег вышла Наташа. Остановилась и стояла, глядя куда-то вдаль и ничего не видя.

Томми, повизгивая, метался между ними. Псу было непонятно, почему это они не обращают внимания ни на него, ни друг на друга. Подбегая к Наташе, он вставал на задние лапы и тыкался мордой в ее грудь.

— Отстань, Томми,— сказала Наташа наконец и, повернувшись к псу, увидела Пушкарева.

Она еще постояла, пытаясь ухватиться за какую-то мысль, потом почти машинально подошла к нему, прижимая руки в варежках к груди:

— Борис Никифорович... Вы меня очень презираете? Я так грубо тогда... Простите меня. Я...

— Не нужно, Наташа.— Он сказал это так же тихо, как и она; его веко все еще подергивалось.

Потом они ехали на базу. Или... Да, раз оказались на базе... Потом собирались в путь, домой. Потом делали еще что-то. Все было как в тумане. Наташа что-то говорила, как-то отвечала на вопросы, но не знала, что и как,— все прислушивалась к боли, сверлящей ее. Постепенно боль тупела, но все острее делалось мучительное недоумение. Она оглядывалась на события недавних дней, и снова и снова ей делалось страшно. Страшно своей беспомощности, неумения понять людей, страшно того неизвестного, что ее ждет впереди.

На Николая она старалась не смотреть. Он не только предал товарищей и оскорбил ее чувства к нему — он, казалось, мазнул чем-то черным и гадким по всему миру, который до сих пор был для нее так прекрасен. Правда, иногда при взгляде на его потускневшее, съежившиеся и все-таки красивое лицо начинало просыпаться что-то похожее на жалость, но тут же Наташа вспоминала ногу Юры, разбухшую, посиневшую, и поспешно отворачивалась.

Наступил день отъезда. Оленьи упряжки уже стояли у дома, багаж был погружен на нарты. Профес-

сор, положив рюкзак на стол, рылся в нем, доставая бритву, которую хотел подарить одному из манси. Наташа, укрывшись за ситцевой занавеской у печи, влезала в ватные штаны. Дверь открылась, и Василий крикнул:

— Лексей Архипыч, Пушкарев велел говорить: время!

— Сейчас, сейчас иду.— Легонько звенькнули пряжки рюкзака.

— Профессор...

Это был голос Николая. Он только что вошел. Кузьминых не отозвался.

— Алексей Архипович...

— Ну, слушаю, слушаю!

— Как мне теперь?.. Нужно какое-то заявление подать или... Как я буду уволен из института?

Наташе из-за печки не было видно их, но она ясно представляла, как внимательно и хмуро смотрит Кузьминых из-под насупленных бровей.

— Из института?.. А вы, сударь, не торопитесь. Заявление!.. Больно просто.— Рюкзак шаркнул по столу: профессор рванул его к себе.— Сначала мы судить вас будем.— И закричал: —Судить! Как уголовника. Не иначе! — И потопал к двери и зло хлопнул ею.

Занавеску колыхнула воздушная волна, и Наташа увидела, как, пришибленный, жалкий, Николай побрел вслед за профессором. И тут почему-то она вспомнила и только сейчас поняла особый смысл давних слов профессора и беззвучно выговорила их:

— На вечеринках, наверное, хорош...

Василий прибежал за ней, и она вышла на улицу. Весь поселок окружил отъезжающих. Мужчины громко высказывали пожелания доброго пути, что-то лопотали ребятишки, женщины усердно кивали и улыбались.

Кузьминых уже взялся за хорей; он умел управлять оленьей упряжкой и, должно быть, гордился этим. Николай растерянно топтался около нарт, словно не зная, найдется ли для него место.

На ближних нартах сидел Пушкарев. Он ссутулился и молча и недвижно глядел на толпу провожающих. В жестких морщинах у рта затаилась печаль... Острая

жалость и бесконечная доброта внезапно охватили Наташу, она подбежала к Пушкареву и бросила на его опустившиеся плечи меховое одеяло. Он удивленно посмотрел на нее и протестующе поднял руку, но Наташа крикнула:

— Нет, нет, так надо! — и вскочила на свои нарты.

Василий взмахнул хореем, олений поезд тронулся и быстро побежал мимо толпы, мимо домиков, мимо кедров, величаво и сдержанно помахивавших вслед широкими огрубелыми лапами в снежных рукавицах.

1957 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЕГ ФОКИЧ КОРЯКОВ. ОЧИЩЕНИЕ

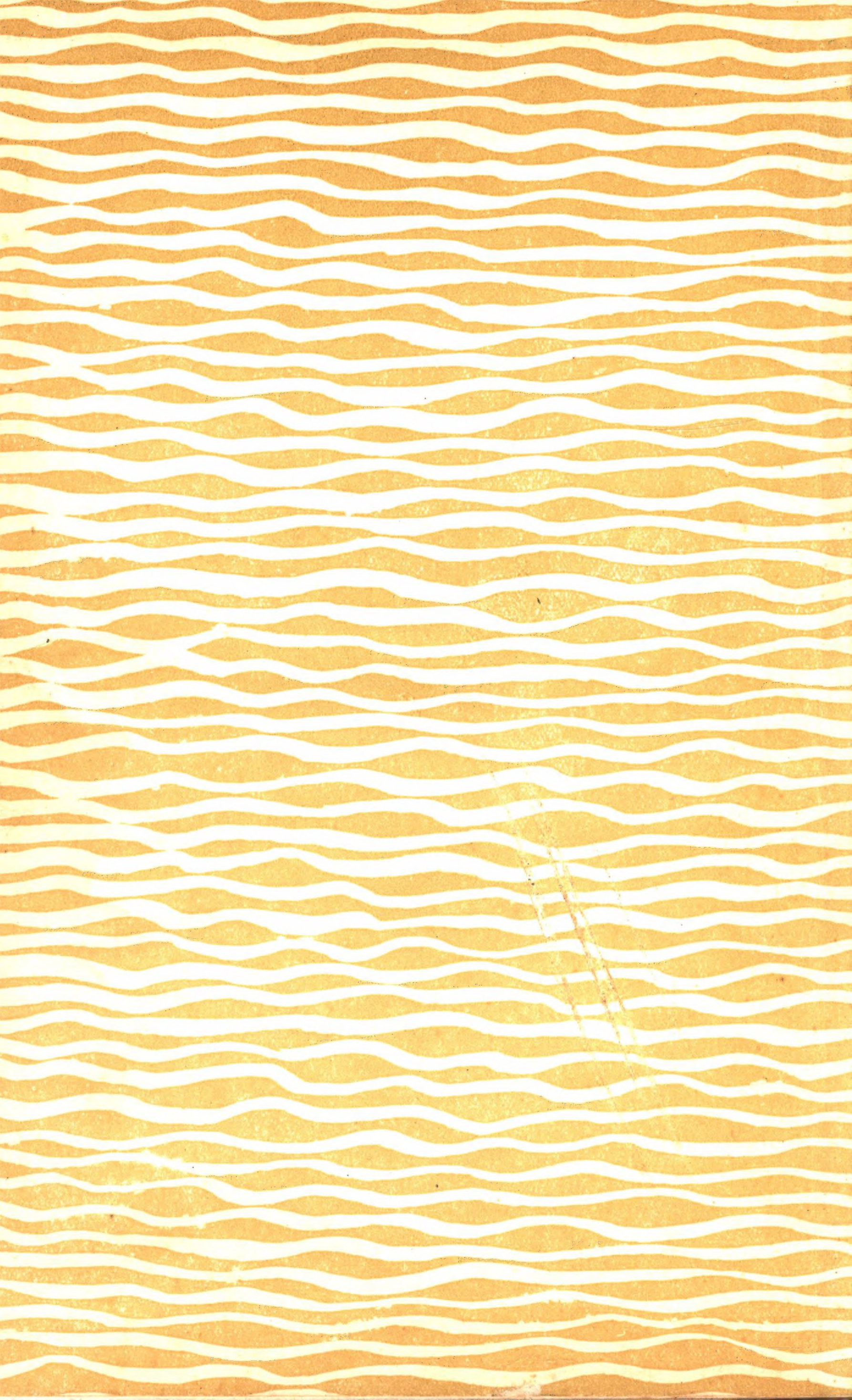
Редактор Н. Каткова. Художник С. Киприн. Худож. ред. Б. Тюфяков. Техн. ред. Л. Голобокова. Корректоры К. Ушакова, М. Казанцева.

Сдано в набор 6/III 1970 г. Подписано в печать 29/V 1970 г. НС 14224. Бумага тип. № 1. Форм. 84×108/32. Уч.-изд. л. 27,42. Усл. печ. л. 25,9. Тираж 15 000. Зак 115. Цена 1 руб. 08 коп.

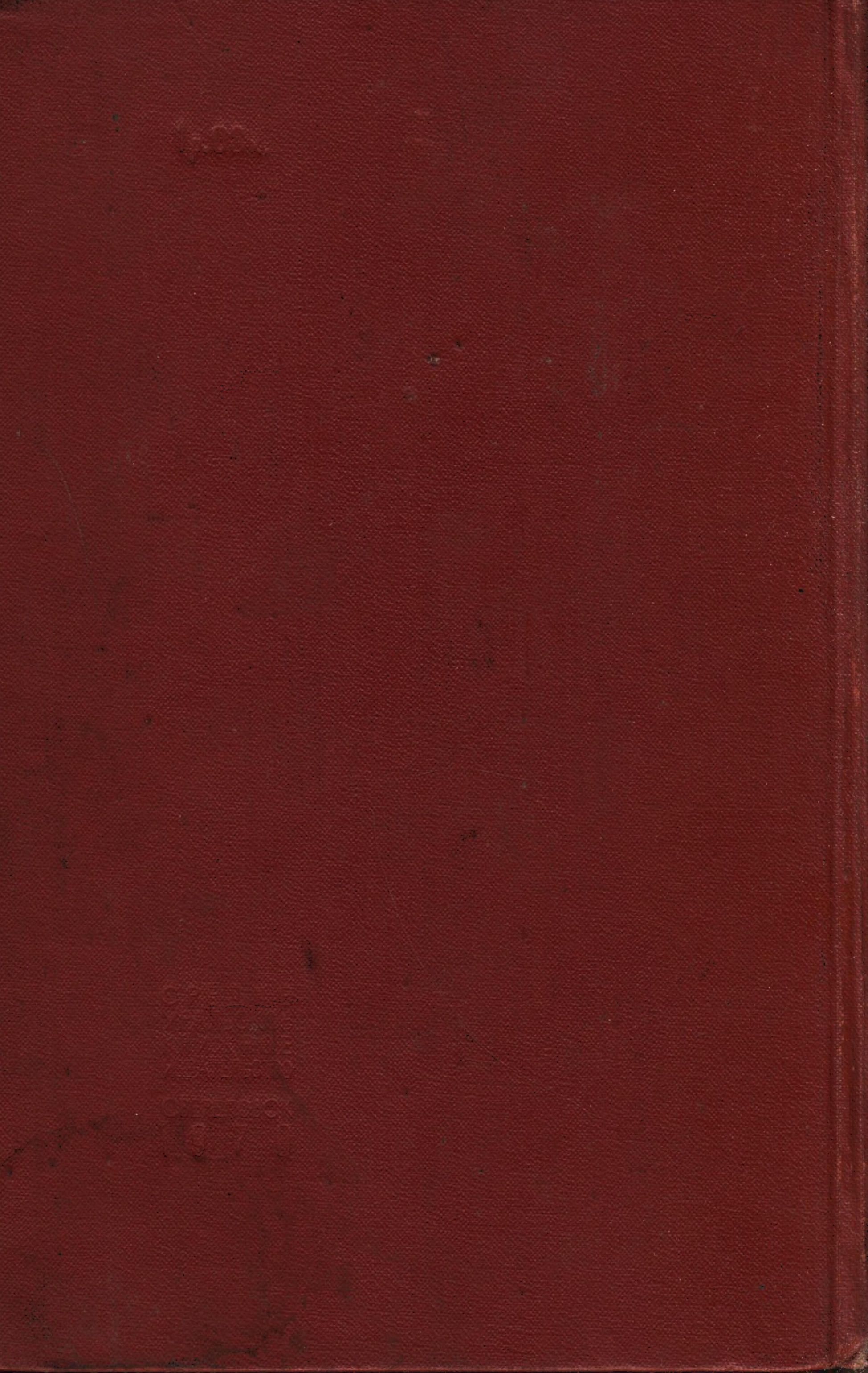
Средне-Уральское Книж. изд-во, Свердловск, Малышева, 24. Тип. изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

мага
5 000

зд-ва








Олег Коряков
Очищение